

ЛЕОНИД СЕРГЕЕВ

УТРЕННИЕ ТРАМВАИ

•

ВЕТЕР НАМ В СПИНУ!

•

БЕЛЫЙ ЛИСТ БУМАГИ

ПОВЕСТИ

Москва
«У Никитских ворот»
2011

УДК 82-3
ББК 84(2Рос=Рус)6.44
С 55

СЕРГЕЕВ
Леонид Анатольевич

УТРЕННИЕ ТРАМВАИ
ВЕТЕР НАМ В СПИНУ!
БЕЛЫЙ ЛИСТ БУМАГИ
повести

Исправленное издание
Оформление автора

С 55 Сергеев Л.А. ПОВЕСТИ. – М.: «У Никитских ворот», 2011. – 404 с.

ISBN 978-5-91366-285-9

Прозу Леонида Сергеева отличает проникновенное внимание к человеческим судьбам, лирический тон и юмор.

Автор лауреат премий им. С. Есенина, им. А. Толстого, им. С. Михалкова, Первой премии Всероссийского конкурса на лучшую книгу о животных 2004 г., Первой международной премии «Литературный Олимп» 2011 г.

ISBN 978-5-91366-285-9



УТРЕННИЕ ТРАМВАИ

кое-какие воспоминания из детства

НАШ ГОРОДОК

Там, где прошло моё детство, все краски были ярче, а запахи сильней обычных. Там даже небо было более глубоким и чистым, чем всюду. Убежать от тётки, влезть на дерево, пустить по воде голыш – вот от чего я был счастлив. Пропадёт ножик, сломается велосипед – вот и всё, что меня огорчало.

Моё детство прошло на окраине небольшого городка, на узкой улице с фонарями, которые мы постоянно разбивали, чтобы вечерами играть в прятки. Перед всеми домами росли тополя; когда они цвели, по улице плыл пух – он залеплял заборы, набивался в комнаты, сугробами наметался в канавы – взрослым доставлял массу хлопот, а у нас вызывал дикий восторг; мы бросали в канавы зажжённые спички, пух вспыхивал, и пламя бежало по ложбине, как по бикфордову шнуру.

А около нашего дома росли берёзы. Одна была особенно огромной – её ветви лежали на крыше и перекрывали улицу. По берёзе можно было забраться на крышу и оттуда запустить змея или стрелнуть из лука. А можно было просто устроиться на ветвях и смотреть на улицу. Сверху хорошо просматривались мощённая булыжником дорога, блестящая в дождь, точно чешуя, ветвистые тополя у обочины, двухэтажные дома с палисадниками и сараями. Как на ладони стоял дом напротив, в котором на первом этаже жил шофёр дядя Федя, а на чердаке – мой дядя, непризнанный художник, брат моей матери. Отчётливо был виден дом бабушки в конце улицы и окна Вовки Вермишелева – моего друга с соседней улицы.

Можно было подняться по берёзе ещё выше, и тогда виднелись компрессорный завод, на котором работал отец, и школа, и качели в парке имени Горького, и флаги стадиона, и церковь на кладбище. А с самых верхних ветвей открывался весь наш городок: четырёхэтажные дома в новом районе и трамвайная линия, тянувшаяся от хлебозавода до техникума на противоположной окраине, где скрывалась в дымке, но всё же различалась дамба, а за ней угадывался спуск к реке.

Как-то я лазил по берёзе вверх-вниз. Просто так, от нечего делать. А наша соседка Кириллиха, крайне скандальная особа, ходила по саду и ворчала:

– Вот шалопай! Никому не даёт житья! – и грозилась «открыть отцу глаза» на мои проделки.

В это время мимо проходил мужчина в гимнастёрке.

– А по-моему, он хороший парень! Капитально! – незнакомец подмигнул мне, как бы благословляя на новые подвиги.

«Вот отличный человек», – подумал я. Это был дядя Федя; тогда он только демобилизовался и поселился на нашей улице и с первых дней привлёк к себе внимание тем, что постоянно был «навеселе», и тем, что любил спорить обо всём на свете и со всеми подряд, причём с детьми на фантики, с девушками на торт, с парнями на кружку пива, с моим дядей на бутылку портвейна, с моей бабушкой на двести граммов конфет. Только со мной дядя Федя не спорил, сразу обнаружил во мне единомышленника.

В доме рядом с дядей Федей жил врач профессор, высокообразованный, тонко воспитанный человек. У него были рыжие, в завитках, волосы и рыжие глаза. Он ходил с огромным жёлтым портфелем. Каждое утро набивал портфель книгами и шёл в клинику, и каждый раз, видя, что я не отрываю взгляда от его вместительного кожаного сокровища, кивал:

– Да, сюда помещается немало книг. Целая библиотека.

Он видел во мне пытливого книголюба, а я в этот момент думал, как много рогаток получилось бы из портфелевой кожи. Всех детей профессор называл «голубчиками», а взрослых – в зависимости от впечатления, которое на него производили. Поговорит с кем-нибудь и сразу «ставит диагноз»: «приятный человек», или «изящный человек», или «скользкий человек». Моего дядю профессор называл «взбалмошным человеком», дядю Федю – «грубым человеком», а моего отца – «замечательным человеком». По воскресеньям в палисаднике профессор с отцом играли в шахматы. Я обычно стоял рядом и подсказывал. После каждого моего совета профессор беззвучно смеялся:

– Интересная версия, – надувал щеки, собирая у глаз пучки морщин, и мягко добавлял: – Не подсказывай, голубчик, здесь и так всё ясно, как в солнечный день!

Бывало, Кириллиха на улице затевала с какой-нибудь женщиной перепалку. Тогда профессор иронично вздыхал:

– Эх, поигрульки! Игры наши девичьи! – подходил к изгороди и просил разгорячённых женщин говорить потише.

В конце улицы жил Домовладелец – высокий угрюмый старик вдовец с презрительной гримасой на лице. Он обитал в подвальной комнате особняка, который, по слухам, до революции целиком принадлежал его родне, – с таким положением он не смирился и не упустил случая ругнуть Советскую власть (поразительно, как при этом оставался на свободе). Походка у Домовладельца была стремительная – он шагал точно измерял улицу, и всегда ходил в тёмных очках, чтобы «не видеть этого безобразия»; от его облика веяло каким-то таинственным мраком. Мне казалось, тот, кто скрывает глаза, имеет нечистую совесть, а то и криминальное прошлое.

Однажды, когда Домовладелец, точно циркуль, вышагивал мимо палисадника профессора, тот кивнул ему:

– Доброе утро!

– Чего там доброго! – буркнул Домовладелец. – После семнадцатого года не помню доброго дня! – и прошёл мимо, чертыхаясь – злость прямо сжигала его.

– Смелый человек, – вскинул голову профессор и, обращаясь ко мне, пояснил: – Не боится говорить то, что думает. Это, голубчик, редкость в наше время, да.

Эти слова я истолковал по-своему – в моём воображении Домовладелец окончательно превратился в монстра.

В саду Домовладельца росло полчище колючих кустов шиповника – они теснились, вылезали на улицу, а от цветов не было спасения – на запахи слетались жуки со всей окрестности; под осень ягоды с кустов так и сыпались. Как-то мы с Таней, девчонкой с соседней улицы, собирали ягоды перед забором, вдруг рядом возник Домовладелец.

– Ягоды не рви! – обратился к Тане, а мне погрозил пальцем. – А ты кусты не ломай! – и отошёл от забора, бормоча: – Черти, а не дети! Новое советское поколение называется!

Проходя по улице, Домовладелец успевал наругать сапожнику дяде Коле, учинить разнос дворнику, осыпать ругательствами мальчишек. Но бывали дни, когда из его подвала слышались звуки рояля – казалось, водопад звуков выливается из окон и, растекаясь по улице, замирает где-то в отдалении. Если мелодия была весёлой, передо мной возникала ярмарка с шумными аттракционами, а если грустная – далё-

кие таинственные страны. В такие минуты все неудачи казались ерундой, и я чувствовал: в жизни есть что-то другое, более важное, чем мои мальчишеские увлечения. Я слушал волшебные звуки и не мог понять: как могут уживаться в одном человеке талант и злость? Я думал, так играть могут только хорошие люди, а получалось – хороший музыкант может быть и грубияном, и сумрачным деспотом.

Домовладелец совершенно не выносил, когда кто-нибудь пел и фальшивил; услышав такое пение, он морщился и затыкал уши, «чтобы не портить себе кровь». Зная об этом, мы нарочно перед его подвалом затягивали песню и с превеликим усердием, не щадя голосовых связок, коверкали мелодию.

У Домовладельца было немало старинных картин. Он считал себя знатоком «настоящей» живописи и работы моего дяди всерьёз не принимал. На этой почве у них не раз происходили словесные перестрелки. Однажды я нарисовал нашу берёзу в палисаднике – скопировал её до мельчайших подробностей, до каждого сучка – вложил в рисунок всю душу, но, когда показал его дяде, он поморщился:

– Очень плохо. Замученный рисунок. Нет легкости, и нет волнующего момента в твоей работе. В каждой работе этот момент должен быть, а в твоей его нет. Ну стоит берёза, и что? А она должна взволновать тебя, взбудоражить. Ну сделать грустным, что ли, или развеселить. Не знаю, я на твоём месте занялся бы чем-нибудь другим. Вряд ли из тебя выйдет художник. Ты не вдохновенный человек, в твоих глазах нет внутреннего света, творческого голода, жажды открытий.

Резкая, точнее, убийственная оценка дяди меня не огорчила, я расценил её как чуть прикрытую зависть и придумал, что он просто увидел во мне опасного конкурента. Взяв рисунок, я направился к Домовладельцу. Тот неожиданно встретил меня любезно: внимательно рассмотрел рисунок, подвёл к картинам и подробно рассказал о старых мастерах. Рассказывал он легко, его голос звучал тепло, почти ласково. Проводив меня до калитки, он даже положил мне руку на плечо (в избытке сердечности чуть не обнял) и доверительно шепнул:

– Помни главное: ты художник! Ты должен всё изображать лучше, чем есть на самом деле. То есть убирать всё уродливое! – он сделал широкий жест, как бы объедая весь наш городок, скривился и плюнул.

Забегая вперёд, скажу, что Домовладелец и Кириллица – только эти два человека – являлись в моём детстве носителями зла. Ругать плохое всегда легче, чем хвалить хорошее – потому и не буду на этом особенно задерживаться, да и хороших людей на нашей улице было гораздо больше, чем плохих.

ДОМ ЗА БЕРЁЗАМИ, или КОМНАТЫ, ПОЛНЫЕ СОЛНЦА

Мы жили в двухэтажном срубе. На первом этаже в коридоре стояли подпорки-колонны с рассохшейся резьбой. Здесь же была антресоль, при случае грозившая рухнуть, и винтовая лестница на второй этаж. Под лестницей начинались чуланы и застекленная терраса, заваленная разным хламом. Парадная дверь дома – плохо сколоченные доски – запиралась на щеколду, а черный ход красовался английскими замками и витражами. Весь нижний этаж представлял собой нагромождение нелепостей, но имел и достоинство – солнечные окна. В первой половине дня солнце затопляло комнаты, а после полудня освещало пыльную террасу, расцветчивало витражи, играло в посуде на кухне.

В детстве ум и талантливость взрослых я определял степенью участия в моих играх. Чем больший интерес они проявляли к игре, тем выше стояли в моей табели о рангах. По этой классификации самый высокий ранг имела бабушка: за особую активность я дал ей звание генералиссимуса. Дядя был генералом. Затем в ранге полковника шёл шофёр дядя Федя. Дальше стояли разные майоры и капитаны. Эти звания я раздавал щедро, как подарки. В моей армии любой солдат за удачную реплику мог моментально стать генералом, и наоборот: провинившийся генерал в одно мгновение быть разжалованным в рядовые. Например, звания моего отца менялись по несколько раз в день.

Как-то отец три часа возился с моим заводным грузовиком, но так и не смог его починить. И тут мать сунула в грузовик шпильку для волос, и машина поехала. Авторитет отца сразу упал в моих глазах, правда, на короткое время. Мать была слишком непогрешимой, чтобы я долго ею восхищался, – уже тогда я заметил, что положительные люди прекрасны, но с ними скучно. То ли дело отрицательные! Никогда не зна-

ешь, что они выкинут в следующую минуту, – они не позволяют расслабляться, прозябать в спокойствии.

Так вот, долго своей святой матерью я не восхищался, да и отец скоро реабилитировал себя. Это произошло так. В школе я получил двойку. Двойку как двойку. Но её я схватил накануне своего дня рождения. Обычно отец за двойки не ругал – ругала мать, а отец просто не давал денег на кино. Кстати, в школе я вообще особыми успехами не отличался. Нельзя сказать, что совсем ничего не знал, – кое-что, конечно, знал, но чаще всего поверхностно и понаслышке. Единственное, что меня спасало, – это какая-то отчаянная решимость. В нашем классе было немало способных учеников, но одни из них не верили в свои силы и, даже отвечая с места, говорили чересчур робко – эта неуверенность придавала им жалкий вид и наводила на мысль о скудных познаниях. Другие, выучив весь урок, сидели за партами как на иголках. Если их вызывали к доске, они, забыв всего-навсего какую-нибудь дату, от волнения начинали краснеть и заикаться, словно сомневались в правильности своих ответов.

Я всегда говорил громко и смело, правда, не всегда по теме, зато тараторил без передышки, и со стороны казалось, что я выучил урок, но многочисленные побочные знания мешают мне сосредоточиться, и от этого изложение теряет стройность. Я был настолько уверен в себе, что во время ответа еще успевал подумать, как красиво у меня всё получается, а направляясь к парте, намечал отметку, какую должен был получить.

Известное дело – пока не полезешь на стену от зубной боли, к врачу не пойдёшь. После того, как в школу вызывали родителей, я готовился к урокам серьёзно, отвечал блестяще и получал пять с минусом. Ни один учитель не ставил мне просто пять – обязательно пять с минусом. Этой отметкой они, видимо, хотели подчеркнуть, что я знаю материал, но мне не хватает как бы вдохновения, а попросту – вообще желания учиться. Вспоминая время учебы, я прихожу к выводу, что добиться можно многого, главное вовремя преодолеть лень.

В тот вечер, когда я получил двойку, отец, как всегда, после ужина читал газету. Не знаю, что он там вычитал, но неожиданно отложил газету и стал ходить взад-вперед по комнате и что-то напевать себе под нос. Потом остановился и предложил мне сыграть партию в шахматы.

– Давай расставляй фигуры, – сказал, потирая руки. – Вмажу тебе пару партий.

Мы с отцом часто устраивали шахматные баталии. Отец играл со мной без ладьи, но после такой форы мы уже сражались на равных. Отец играл рискованно, с жертвами. Я же стремился только к разменам, чтобы в конце партии остаться с лишней ладьей. Моя простая тактика часто приносила плоды, и отец проигрывал. Проигрывая, он всегда хвалил меня и подтрунивал над собой, в отличие от меня, который никогда не замечал, что противник сыграл хорошо, – всегда считал, что просто сам сыграл неважно. Всё-таки однажды, после нескольких проигрышей подряд, отец вышел из равновесия:

– Ну кто так играет?! – усмехнулся. – Только и знаешь свои размены. Ни одной комбинации. Таковую партию испортил!

Этими словами отец не столько подчеркивал мою твердолобость, сколько поддерживал свой престиж.

В тот вечер, когда я получил двойку, расставляя фигуры, отец всё продолжал напевать. Я вижу – у него хорошее настроение, «ну, – думаю, – самое время сказать о двойке, всё равно в субботу дневник показывать».

– Пап! – говорю. – Я двойку получил.

– Молодец! – сказал отец и сделал первый ход.

Всю партию он молчал, только морщил лоб и хмурился, и было непонятно – то ли рассчитывает ходы, то ли придумывает мне наказание. В конце концов отец выиграл партию, складки на его лбу разгладились, и он улыбнулся:

– Вот так мы вас, лентяев и двоечников!

У меня отлегло от сердца, и сразу мелькнула мысль: проиграть отцу ещё партию, чтобы он окончательно развеселился, но на моё предложение «сыграть ещё» отец заявил:

– Нет, хватит. Хорошего понемногу. Мне поработать надо.

Он стал убирать фигуры и снова что-то напевать. Я сообразил, что такой случай не скоро подвернётся, и решил использовать отцовский настрой до конца: напомнил ему про день рождения и намекнул про подарок. Отец – ноль внимания, всё продолжал убирать фигуры и напевать. Потом хмыкнул:

– Ты, братец, совсем обнаглел! Получаешь двойки да ещё требуешь подарка. Ты уже преподнёс себе подарочек, – он рассмеялся, а на другой день всё же подарил мне марки.

Первый этаж кроме нашей семьи населяли супруги Кириллины и одинокая женщина с двумя кошками. Кириллиха, темноволосая толстуха, отличалась тем, что носила яркие, цветастые платья, в которых была похожа на клумбу, и тем, что, когда говорила, притопывала и размахивала руками, а говорила она много, потому что была прирождённая общественница, в том смысле, что ни одно, даже самое ничтожное, событие не обходилось без её участия. Она во все дела совала нос, всегда была в курсе всего происходящего и постоянно рвалась к власти над нашим домом, если не над всей улицей. С утра до вечера её зычный голос слышался во всех комнатах.

По вечерам она вязала мужу свитер; вязала на кухне, чтобы опять-таки быть среди людей. Часто из-за неё на кухне между женщинами возникали раздоры. Всё начиналось с замечаний по кулинарии, лёгких пикировок, потом следовали перебранки и оскорбления, которые перерастали в рукопашную битву, причём в ход пускалась вся кухонная утварь – от кружек и половников до чайников и кастрюль.

Каждый раз, заслышав, что Кириллиха начинает говорить в повышенном тоне, мужчины, точно от приближающегося землетрясения, убегали из дому. Но я в такие минуты всегда торчал на кухне, потому что после побоищ мне доставалось много поломанных вещей – их я складывал на террасе в надежде когда-нибудь использовать. Наша терраса в то время представляла собой целое кладбище помятой и разбитой посуды.

Для всех мужчин нашего дома кухня была чем-то вроде арены гладиаторов, и только муж воинственной Кириллихи не замечал кухонных склок. В редких случаях, когда грызня на кухне выливалась на улицу и ставила под угрозу мир в других домах, он появлялся на кухне и с виноватой улыбкой уводил свою распалённую супругу. При этом подмигивал мне:

– Коммунальная квартира – источник веселья.

Покинув поле сражения, Кириллиха ещё долго не успокаивалась и продолжала что-то выкрикивать из комнаты. Разгромив своих непосредственных врагов – женщин, соседка принималась обвинять в мяг-

котелости мужчин. И в первую очередь мужа, который, по её понятиям, был воплощением трусости.

– Ты размазня – вот ты кто! – кричала она. – Муж называется! Его жену совсем заклевали, а он хоть бы хны! Ну погоди, ты у меня ещё попляшешь! Схватишься за голову! – и, как прелюдию к будущей мести, она распукала наполовину связанный свитер и начинала вязать себе кофту.

Наша агрессивная Кириллиха ругалась со всеми жильцами, лишь мой отец долгое время избегал этой участи, но наступил и его черёд.

Отец любил после обеда покурить где-нибудь в тени, чтобы обдувал ветерок. Первое время он отдыхал в коридоре у парадной двери. Развалится в плетёном кресле, читает газету и курит. Началось с того, что однажды Кириллиха заявила ему: табачный дым из-под двери тянет к ним в комнату, никотином у них пропитаны все обои, и она просит отца курить на крыльце, предварительно закрыв за собой дверь.

Несколько дней отец курил на крыльце, но потом от соседки поступила новая жалоба – дым просачивается через замочную скважину. Она потребовала, чтобы отец курил в палисаднике. Отец стал курить перед домом, но через неделю Кириллиха объявила: когда отец возвращается в квартиру, от него так пахнет табаком, что у неё болит сердце. После этого отцу ничего не оставалось, как после курения с полчасца отсиживаться в палисаднике.

У меня с Кириллихой шла настоящая война. Стоило мне только сбить на её яблоне несколько яблок, как она кричала, что я всё дерево обтряс. Стоило сорвать цветок – она голосила, что я весь куст оборвал, и вдобавок об этом оповещала родителей. Свои выступления она заканчивала театрально, всплеснув руками:

– Сколько его поступки будут оставаться безнаказанными?! И до каких пор он будет таким дуралеем?! Весь в своего дядю!

Иногда Кириллиха обвиняла меня в совершенно чудовищных вещах. Например, что у неё крыша сарая поржавела, потому что я по ней лазил. После одного из таких несправедливых обвинений я решил насолить ей по-настоящему. У них были какие-то невероятные часы: каждый час так громко били, что в доме дребезжали стёкла. По ночам я не раз вскакивал от страшного грохота. Однажды, когда Кириллины были на работе, я через открытое окно пробрался в их комнату и обор-

вал у часов гири. После этого Кириллиха закатила скандал на всю улицу, а потом потихоньку сломала мои удочки. Эта война продолжалась долго, до тех пор пока я не повзрослел и не понял, что лучшей мезтью является молчаливое презрение.

Со временем Кириллиха восстановила против себя всю улицу. Особенно её не выносил дядя Федя – за то, что она называла его «горьким пьаницей». Как-то дядя Федя сказал:

– Убить её мало!

Я не помню, в связи с чем он это сказал, но помню точно – тут же предложил свою помощь.

Больше всех от Кириллихи доставалось её мужу – отставному офицеру, тучному мужчине с седыми усами. По слухам, он не раз собирался уйти от сварливой жены, но «не хватало духа»... Он всё время менял профессии, но не потому, что не мог найти работу по душе, а потому что был мастер на все руки – умел плотничать и столярничать, разбирался в технике. Как-то ему привезли старый мотоцикл, который даже в мастерской отказались чинить, а он посидел над ним два вечера и починил. Очевидно, со своими способностями он быстро достигал мастерства в любой работе, а достигнув, терял к ней всякий интерес, и ему не терпелось заняться чем-нибудь другим. Сам он объяснял это так:

– Это всё трамплинчики. У меня чешутся руки по настоящей работе. Мужчина рождён для созидания. А некоторые думают, – он показал глазами на жену, – для того, чтобы развлекать женщин.

Одно время он работал дегустатором на чаеразвесочной фабрике. Устроился туда временно, «пока не подвернулось чего-либо подходящего».

– Поработаю с месячишко, – оповестил нас, – а там посмотрим. Я в юности жил на Кавказе и научился разбираться в чае. И подумал: «А почему не использовать свои знания?».

Но на фабрике он задержался, в него там вцепились, ведь в городе оказалось всего два специалиста в области чая: девица с выпученными глазами и наш небезызвестный Кириллин; их называли «совет носов» – они нюхали разные чаи, смотрели их на цвет, пробовали на вкус; «хороший букет» или «терпкий букет» – бормотали и ставили каждому чаю отметки – я не раз был свидетелем этого священнодействия.

Каждому из жильцов нашего дома Кириллин составил индивидуальный рецепт чая, соответствующий пристрастиям и возможностям организма того или иного жильца. По сути дела Кириллин являлся домашним доктором, ведь давно подмечено – чай заменяет лекарства.

По утрам Кириллин долго булькал и кричал у раковины, потом выходил на кухню, потягивался и басил:

– Что-то сегодня хочется приключений! – подмигивал нашей соседке, у которой были кошки, и открыто делал жест, пытаясь её обнять, начисто забыв свою заповедь «для чего рождён мужчина».

– Вы заходите слишком далеко! – бормотала женщина, отстраняясь и краснея.

– С ума можно сойти! – восклицала Кириллиха и, возмущённая уходила в комнату.

Женщина, которая имела кошек, была красивой брюнеткой с гладкой причёской. Её звали Олимпиадой Васильевной, а мы, дети, просто – тётя Липа. Она работала учётчицей на хлебозаводе и отличалась крайней рассеянностью: всё время что-то теряла. Например, перчатки – она не успевала их покупать. Как-то купила десять тарелок, но домой принесла только одну.

Тётя Липа держала двух кошек, которые, как ни следила за ними хозяйка, были редкостными грязнулями; под лестницей для них стояла коробка, которую женщина называла «ночная ваза», но кошки ни разу не использовали её по назначению и гадили где попало (эта зоологическая аномалия выводила Кириллиху из себя – она визжала от ужаса).

Тётя Липа любила петь, и, надо сказать, пела прекрасно – Домовладелец, тонкий знаток музыки, услышав её голос, непременно останавливался около нашего дома и, запрокинув голову в небо, подолгу внимал руладам нашей талантливой соседки. Что показательно – репертуар тётя Липы менялся в зависимости от окружения. Так, разговоры с моей матерью она перемежала романсами, в присутствии моего отца или мужа Кириллихи пела песню Паганеля о влюблённом капитане, после пререканий со мной – пиратскую песню «Йо-хо-хо! И бутылка рома!», после ругани с Кириллихой – песни про войну. По тому, что пела тётя Липа, всегда можно было точно определить, с кем она недавно общалась. Пела она негромко, спокойно и естественно. Но это-то мне и не нравилось. Я считал, что петь надо с горением. Когда я пел

марш из «Весёлых ребят», я вымучивал себя вконец: брал такие высокие ноты, что на шее вздувались вены. Чем громче и яростнее пел певец, тем значительней становился в моих глазах. И это касалось не только пения. Я считал, что во всём должна быть страсть, что ничего нельзя сделать значительного без горения и страсти.

Иногда тётя Липа казалась женщиной, решившей во что бы то ни стало выглядеть несчастной. Она ходила с загадочностью в глазах и следами невысохших слёз. А иногда она говорила, что у неё есть возлюбленный, и множество подруг, и «очень интересная работа». Время от времени она получала цветы и письма, будто бы от возлюбленного, который, по её словам, уже много лет добивался её расположения. Только по вечерам я слышал всхлипывания из её комнаты, а потом вдруг случайно узнал, что подарки и письма она посылает себе сама.

Кириллиха называла тётю Липу «старой девой» и постоянно насмеялась над ней, а однажды грубо пошутила, подкинув письмо о том, что её возлюбленный женился на другой. После этого тётя Липа несколько дней не показывалась на кухне... Кстати, это было одно из первых анонимных писем Кириллихи. Через несколько лет, когда я подрос и у меня тоже появилась возлюбленная, Кириллиха ответила за меня на её письмо. Не знаю, что она накатала, но девушка перестала со мной переписываться.

Однажды, когда тётя Липа пела на кухне, я как-то незаметно для себя стал ей подпевать. Забыл сказать – её мелодии были какие-то прилипчивые: услышишь один раз и непроизвольно поёшь всё время. А если не поёшь, то эта мелодия всё равно звучит в тебе и не даёт покоя до тех пор, пока не напоёшь её ещё кому-нибудь, прямо-таки как вирусный грипп.

Услышав, что я подпеваю, тётя Липа повернулась ко мне:

– Вижу, ты воспитанный мальчик. Не какой-нибудь там безнравственный хулиган, – она нахмурилась и кивнула в сторону комнаты Кириллихи, затем взволнованно продолжила: – Я покажу тебе то, чего не показывала никому. Только пусть это будет между нами, договорились?

Я кивнул и сосредоточился, а тётя Липа позвала меня к себе в комнату, подвела к секретеру, открыла дверцу – и передо мной возник бу-

мажный замок и мужчины и женщины вокруг него; на женщинах были старинные платья, на мужчинах – шляпы с перьями и накидки.

– Вот эта графиня очень властная и гордая... А эта – кроткая и застенчивая... А этот герцог ухаживает за этой леди...

Она почти забыла о моём присутствии и всё дальше переносилась в прошлый век. Я поглядел на неё сбоку и вдруг понял, что она не в своём уме.

Вскоре нашу странную соседку увезли в больницу; спустя месяц она выписалась, и к ней прикрепили приходящую няню, а в комнате поставили телефон, чтобы она могла вызвать врача. Это был единственный телефон на нашей улице, и к тётке Липе все ходили звонить. Зайдут, спросят для вежливости:

– Как здоровье? – и сразу: – Кстати, можно позвонить?

Больная добросердечная женщина думала, что всех тревожит её здоровье, и, только когда у неё сняли телефон, поняла цену этому вниманию.

Чаще всех звонила наша общественница. Она прибежала с утра сказать «пару слов» и начинала обзванивать всех родственников. А их у неё была целая туча. Кириллиха разговаривала по несколько часов подряд. Где-то в середине разговора начинала прощаться, но вдруг вспоминала новую подробность и продолжала говорить. Иногда терпение её мужа лопалось, и он стучал в дверь:

– Хватит звонить, звонарь!

Все заходили к тётке Липе звонить, и только дядя Федя не приходил никогда. Зато, когда телефон сняли и всех «соболезнующих» как ветром сдуло, дядя Федя стал наведываться; переминаясь с ноги на ногу, протягивал мне букет цветов и, отводя глаза в сторону, говорил:

– Пойди скажи, что заглянул по пути справиться о самочувствии.

Спустя некоторое время роман между дядей Федей и тёткой Липой уже расцветал пышным цветом. Дядя Федя подкатывал к нашему дому на полutorке и на руках выносил нашу соседку из её комнаты; тётка Липа заливалась счастливым смехом, а Кириллиха кусала губы от злости. Влюблённые уезжали за город и возвращались поздно вечером, и снова дядя Федя нёс тётку Липу на руках – от машины до крыльца, и она снова смеялась, но уже потише.

Верхний этаж нашего дома, непосредственно над Кириллиными, занимал легендарный Борис – крепкий, вечно улыбающийся парень. Борис работал официантом, а по воскресеньям помогал дворнику грузить уголь – так, для разминки. Борис был знаменит тем, что две свои комнатухи превратил в самую шикарную квартиру во всём районе. Прежде всего он сломал перегородки и сделал один большой зал с антресолюю, двумя фонтанами и камином, причём трубу от камина вывел в вентиляционную отдушину. Это было нерасчётливо: в первое же пробное разжигание камина мы чуть не задохнулись от дыма. После этого жильцы начали протестовать, и каждый раз, когда Борис задумывал воздвигнуть новое сооружение и подносил материал, устраивали перед домом пикеты. Особенно усердствовала Кириллиха. Она была уверена, что наш дом вот-вот рухнет или сгорит и что причиной тому – безрассудство жильца наверху.

Но Борис только улыбался и продолжал совершенствовать свою квартиру. Закончив сооружение камина, установил на балконе какую-то американскую электропечь, но оказалось, ток для этой печи требовался трёхфазный, и его пришлось вести от чаеразвесочной фабрики через две улицы. Правда, когда печь всё-таки подключили, Борис показывал на ней чудеса кулинарии, все женщины сбегались смотреть.

В комнате Бориса всё было необычно: и дверь невероятной толщины, которая одновременно служила и шкафом, и уют, включавшийся автоматически, когда откидывалась гладильная доска; но самым необычным был радиопроигрыватель «Колокол». Каждый вечер, вернувшись с работы, Борис выставлял «Колокол» в окно и запускал музыку; сам садился рядом с проигрывателем и осоловело счастливый смотрел на улицу. Заводил он одну и ту же джазовую пластинку Утёсова. Борис считал, что своей музыкой осовременивает, учащает ритм жизни нашей улицы, будоражит сонливые умы, подгоняет тех, кто идёт не в ногу со временем.

В те дни наш дом вообще напоминал музыкальную шкатулку или, вернее, расстроенный орган. Женщина с кошками пела, Кириллиха слушала радио, Борис запускал джаз. Трудно представить, каково было матери с её привязанностью к классике, уж я не говорю об отце, который вообще любил тишину.

Надо отдать должное Борису – иногда он появлялся на кухне и спрашивал:

– Вам не мешает моя музыка?

– Мешает! – опережала всех Кириллица. – И мешает дым! Когда вы курите, он так и идет сквозь щели в потолке.

Вот какие истории происходили у меня перед глазами. Что и говорить, весёлый был у нас домик.

Каждый из наших соседей на всё имел собственное мнение. Как-то мой отец простудился, и Кириллин посоветовал ему выпить чай с коньяком. Отец выпил, но тут же пришла тётя Липа и принесла ликёр с молоком. Отец выпил и его. А потом зашёл Борис с водкой, и они с отцом опорожнили целую бутылку. Отец был сильно пьян, но поразительная штука – на следующее утро выздоровел.

Прославленный Борис работал официантом в единственном ресторане нашего города «Встреча». Стоило кому-нибудь появиться во «Встрече», как Борис подскакивал с ослепительной улыбкой и, поигрывая мускулатурой, говорил:

– Добрый день! Вам опять то же самое? – и приносил блюдо, которое посетитель заказывал в прошлый раз.

У него была профессиональная память: он помнил любимые блюда абсолютно всех в нашем городе и даже приезжих из других городов, которые появлялись во «Встрече» хоть раз.

Борис был официантом-виртуозом. Он мог нести на подносе восемнадцать тарелок! И при этом, как слаломист, лавировал меж столов. Он нёс тарелки «на зрителя» – легко, играючи. Наверно, можно научиться носить десяток тарелок, но это ещё не будет артистизмом. Так же, как можно научиться стоять на проволоке, но это не будет искусством. А вот если ты стоя ещё и улыбаешься! Циркач на турнике делает фигуры хуже спортсмена-гимнаста, но мы ахаем, потому что он ещё и обыгрывает каждый трюк.

Кроме всего прочего у Бориса было чутьё: стоило взяться за бутылку, как он вырастал рядом; только подумаешь про жаркое – он тут как тут. Да еще рассказывает городские новости, советуется, покупать ли брату велосипед, то есть сразу устанавливает атмосферу непосредственности. Под конец, если не было директора ресторана, он вообще садился за стол посетителя, выпивал с ним, закусывал.

В пристройке к особняку Домовладельца обитал с семьёй дворник, бывший фронтовик. Это был многогранный человек: он писал стихи, ходил на выставки в краеведческий музей и спорил с художниками. По утрам перед работой он делал гимнастику и обливался водой по системе какого-то голландского врача, а на ночь пил чай, заваренный по способу Кириллина, «чтоб проснуться со свежей головой».

Часто наш дворник договаривался с дворником из соседнего квартала: они делили нашу улицу на две части и подметали мостовую наперегонки – тем самым одними из первых в стране ввели в практику метод соревнований.

Кроме чая наш дворник имел пристрастие к бодрящим напиткам; он делал наливки из ягод и фруктов и вообще из всего, что попадалось под руку. Выпьет стакан вина и ходит по улице, ищет собеседников. Под Новый год он подрабатывал в детских садах, наряжаясь Дедом Морозом, а летом ходил по домам, ремонтировал «мелочовку»: оконные рамы, косяки дверей, почтовые ящики.

Дочь дворника, девчонка лет шести, меня ужасно мучила: то «пойдём в парк», то «давай поиграем в разбойников» – тоже нашла товарища! Кстати, в то время я не имел успеха у девчонок моего возраста, зато нравился детям, собакам и старушкам. Детям потому, что, став подростком, так и не повзрослел, собакам – за дикие игры и склонность к авантюрам, старушкам – потому что был невероятно болтлив – известное дело, все старушки любопытны, они выуживали из меня самую свежую информацию. И вот, стало быть, приставала ко мне дочь дворника, приставала, и однажды я решил ухлопать на неё полдня с тем, чтобы покончить с этим раз и навсегда. Я всё утро играл с ней в разбойников, потом мы пошли в парк и там я укатал её на каруселях, потом мы карабкались на дамбу, катались до одури на трамвае... Наконец она сказала:

– Пойдём домой, я устала.

К нашей улице мы добрались почти на карачках, зато с тех пор она оставила меня в покое.

Но из всех наших соседей самым интересным и загадочным был человек, который жил над нами. Помню, прошёл целый месяц с момента нашего приезда, а я всё его не видел. Говорили – он инвалид, столяр-надомник. Целыми днями из его комнаты доносились звуки

строгающего рубанка и удары деревянного молотка. Я представлял его комнату заваленной стружкой, верстак с набором инструментов и новую пахучую мебель. Каждый вечер, засыпая под строгание, я отчетливо видел его склонившимся над верстаком, с папиросой за ухом, с каплями пота на лбу и очками, съехавшими на кончик носа... Утром, когда я просыпался, сверху уже слышался визг рубанка. Помню, в эти минуты мне всегда было стыдно, что так долго сплю – мастер теребил мою совесть, пробуждал желание тоже поработать, сделать что-то полезное. В конце концов он добился своего: я не выдержал, попросил у дяди Феди пилу, молоток, доски, гвозди и принялся мастерить полку на кухне. Полка получилась не ахти какой ровной, тем не менее меня похвалили все женщины и попросили сделать ещё одну.

После полка я сделал табуретку, потом этажерку для книг, валявшихся в коридоре. Последние мои работы были вполне удачными. Слух о моём мастерстве прокатился по улице, и на меня посыпались заказы – кто ж не хотел получить полку или табуретку, да ещё задаром?! Я не отказывался и старался вовсю. Мои руки покрылись волдырями и занозами, я сильно уставал, но это была приятная усталость – усталость, которую я не испытывал до сих пор. Впервые я делал полезные вещи и познавал счастье от работы. Самым неожиданным оказалось то, что это счастье было намного сильнее, чем всякое другое, – более полным и сияющим, что ли, – чем счастье, которым я упивался, когда убегал из дома, и когда бездельничал у бабушки, и когда мне купили велосипед, и даже когда разговаривал с девчонками, которые мне нравились.

После этого столяр стал для меня как бы напарником по работе, я всё время хотел познакомиться с ним, но долго не решался, а когда решился, он неожиданно уехал.

НАД ПРОТОКАМИ

Смутно помню – было ли это на самом деле или я всё выдумал. Иногда так отчетливо вижу многие детали этой истории, что готов клясться чем угодно – в ней нет ни капли вранья. А иногда мне кажется – рассказываю её только для того, чтобы приукрасить своё детство.

Однажды летом меня отправили на дачу к тётё Груне, сестре моей матери. Бездетная тётя фанатично любила детей, а на меня, «родственничка», естественно, обрушивала такую зверскую любовь, что порой мне становилось страшно. Она пыталась сделать из меня «хорошего мальчика во всех отношениях» и сильно переживала, что у неё ничего не получается. Тётя не могла на меня надышаться, даже никогда не звала по имени – только «моё сокровище» или «ангел». Со временем я уже воспринимал это как должное, то есть уверился, что являюсь посланцем неба, и впоследствии сильно удивлялся, что слово «сокровище» тётя употребляла всё реже, а потом и перестала совсем.

Для тётки я был парниковый цветок – она оберегала меня от простуды и солнечных ударов, от комаров, мух и слепней; от всех, кто хоть как-то отваживался посягнуть на мою особу; и на всякий случай до предела ограничила круг моего общения. Мы с ней жили в маленьком побеленном доме, окружённом подстриженным палисадником и ровными грядками со стрелками лука и пучками редиски. Весь этот аккуратный мирок был огорожен высоченным забором, в котором, к счастью, зияло несколько дыр.

Я всегда ощущал рядом дыхание тётки, она постоянно стояла между мной и окружающим миром, как защитное облако, как непроницаемый колпак. Тётя не отступала от меня ни на шаг, и неудивительно, что через некоторое время я возненавидел её и только и думал, как бы улизнуть с участка и делать то, что запрещено. Стоило тётке на минуту забыть, как я пускался со всех ног к забору, пролезал через дыру и мчал, не оглядываясь, к реке. Но мой телохранитель неизменно меня настигал. Скоро от такой жизни меня стало выводить из себя каждое тёткино слово. Не говоря уж о её грядках. На них я просто не мог смотреть – их чрезмерная ровность приводила меня в неистовство. Будь тогда моя воля, я бы их затоптал. Зато всё, что начиналось за забором, мне казалось чудом. В те дни я особенно симпатизировал разбойникам – они мне казались самыми независимыми.

Справедливости ради стоит отметить: всё-таки иногда с тёткой было более-менее интересно – когда она принимала участие в моих играх. Например, охотилась с луком на ворон. Но, естественно, на охоте я отводил тётке незначительную роль оруженосца, чтобы не умалять свой приоритет. Правда, несколько раз я давал тётке возможность пустить

стрелу и каждый раз смеялся над её неловкостью, а позднее красочно описывал родителям тётину неумение. Ясное дело, унижая тетю, я возвеличивал себя.

Стого времени прошло много лет, но жизнь у тёти наложила на меня отпечаток: во мне осталась боязнь замкнутых пространств. Я задыхаюсь в маленьких комнатах, не выношу подземных переходов и тоннелей и даже в горах чувствую ущемление своей свободы.

Однажды я всё-таки удрал от тёти, и надолго. Тот день запомнился по двум причинам: во-первых, потому что я освободился от опеки в момент, когда меньше всего на это рассчитывал. Тётя уронила очки, и, пока их искала, я исчез. Именно тогда я понял, что прекрасное ещё прекраснее, если оно неожиданно, а когда подготовлено – уже не совсем то. Во-вторых, в тот день я нашёл ключ, которым открывают дверь в мир природы.

Очутившись за забором, я побежал к реке, но не напрямую, как обычно, а через низину, заросшую тальником. Этим хитрым манёвром я сразу сбил тетю с толку. Она не могла поверить, что малолетний племянник способен до такого додуматься. Как и мои родители, она явно недооценивала меня. Я точно помню – в детстве понимал гораздо больше, чем предполагали мои родственники.

Так вот, пробежав низину и очутившись у реки, я смекнул, что тетя уже выскочила на поиски, и решил временно замаскироваться: лёг под огромную корягу и прикрылся ветвями. Через несколько минут мимо пронеслась запыхавшаяся тетя; она, как танкетка, неслась сквозь кусты и вопила:

– Батюшки! Ангел мой пропал!

А я лежал под корягой и злорадно посмеивался – наконец-то отомстил тёте за всё. Момента приятней этого и не вспомнить. У меня даже мелькнула мысль насолить тёте ещё больше – утопиться, но, взвесив все за и против, пришёл к заключению, что собственная жизнь всё-таки дороже тётиных страданий, и передумал.

Так и лежал под корягой, пока обессиленная тетя не засемила к дому глотать таблетки от сердца и звать соседей на поиски; тогда вылез из укрытия и пошёл вдоль реки.

Настроение у меня было – лучше нельзя придумать. Я знал, что отдаюсь всего-навсего воспитательной взбучкой, а о тётиных пережи-

ваниях не думал вообще. Самым главным для меня была собственная судьба, а за неё особенно волноваться не приходилось – тётя постаралась распланировать её на много лет вперед, предварительно застраховавав от неприятностей. Наверно, поэтому у меня отвращение ко всему слишком упорядоченному.

Я шёл по берегу, пинал ракушки, бросал в воду гальку, ловил жуков. Тогда, кстати, я был убежден, что все насекомые существуют только для того, чтобы их ловили. Скоро я ушёл довольно-таки далеко. Река разделилась на множество мелких протоков с маленькими островами; на них росли высокие растения, похожие на зонты и граммофоны, а у воды по плотному влажному песку бегали трясогузки – носились за мухами, быстро перебирали лапками и застывали, раскачивая хвостики, как маятники крошечных часов. Протоки были мелкие и прозрачные, каждый камешек просматривался на дне. Иногда в воде, точно серебристые молнии, мелькали пескари. Над протоками трепетали стрекозы.

Я шлёпал по тёплому мелководью, как первооткрыватель, обследовал каждый островок и ручей и всему давал названия. Чаще всего связанные с моим именем. Но в то же время я был не настолько глуп, чтобы в памяти потомков остаться эгоистом. Несколько мелких островов назвал в честь близких и знакомых, причём размеры называемой площади не были в зависимости от родственных уз, а измерялись количеством подарков, подаренных мне тем или иным человеком. Вспомнил о всех знакомых, кроме тёти, конечно, – я считал, что тираны не стоят того, чтобы о них оставалась хотя бы маленькая память.

Через час, порядочно поплутав, я вдруг увидел у одного протока загорелого мужчину, в майке, галифе и сапогах. Он сидел на корточках и строил через ручьи... игрушечные мосты. Подкравшись ближе, я раздвинул кусты и стал наблюдать.

Мужчина был высокий, светловолосый; он то сосредоточенно строгал прутья, то, как фокусник, перебирал разные чурки и бруски, и тогда уголки его губ подрагивали от улыбки. Мужчина непрестанно курил, но хлопья от папиросы не падали вниз, а каким-то странным образом вились вокруг «строительной площадки», словно рой мошкары у фонаря.

Но особенно странно выглядели мосты. Одни из них были лёгкими и зыбкими, державшимися на еле видимых бечёвках; казалось, дунь

на них – и они рассыпятся. Но время от времени, чтобы проверить прочность своих конструкций, мужчина наступал на них, и удивительная вещь – хрупкие сооружения его держали.

Другие мосты были очень длинные: тянулись с одного берега ручья на другой без всяких опор – и казалось просто невероятным, что они не рушились. Были мосты, напоминающие арки и виадуки, со множеством разных лепнин, украшенные галькой и ракушечником. И были мосты из разноцветных ветвей, как маленькие дождевые радуги.

«Кто этот дядька? – мелькнуло в голове. – Волшебник или чудак? И почему строит игрушечные мосты?» Я готов был кричать на всю окрестность, чтобы все бежали смотреть на это чудо, но онемел от восторга, а придя в себя, понесся сломя голову домой, чтобы привести к реке хотя бы тётю. Но, когда вбежал в дом, тётя сразу начала меня отчитывать за «безобразный поступок», потом долго взывала к совести, сетовала на мою неблагодарность. Потом ещё некоторое время всхлипывала, приходила в себя, а когда наконец у неё появились проблески интереса к увиденному мною, неожиданно хлынул дождь.

После дождя тётя, кряхтя, надела боты и поплелась со мной на речку. Всю дорогу она бормотала о протёкшей крыше и размытых грядках, только когда мы подошли к реке, замолчала. И я подумал: она потрясена не меньше меня, ведь никаких мостов не было. На их месте шумели мутные пенистые потоки.

УТРЕННИЕ ТРАМВАИ

С самого раннего детства мне хотелось убежать из дома. Я всё время мечтал пожить без родителей, без их нравоучений и контроля, без постоянного ограничения моей свободы. Едва научившись ходить, я начал прятаться: в шкафы, под кровати, в сундуки, а года в три уже забирался в такие недоступные закутки, что в поиски включались жильцы всего дома, а иногда и милиция. В пять лет, когда моё воображение несколько расширилось, а свободолюбивый дух окреп, я начал знакомство с соседними дворами и улицами. Что только со мной не делали! Запирали в квартире, отдавали в детские сады – ничего не помогало.

Домой меня возвращал только голод, да и то поздно вечером, когда мать с отцом сбивались с ног от беготни по дворам.

Став постарше, я пришел к замечательному открытию – путешествию в трамвае. Как-то утром сквозь сон я услышал, что родители собираются на рынок. Когда они ушли, я вскочил с постели и выбежал из дома. Было ещё очень рано; по пустынным улицам бесшумно скользил ветер, где-то в домах звенели будильники. Я прошёл все знакомые переулки и очутился на улице, по которой пролегали рельсы. На рельсах стоял трамвай. Первый утренний трамвай, умытый и сверкающий. Пошарив в карманах, я нашел несколько монет и шагнул в вагон. В то время кое-какую мелочь мне выдавали на мороженое и кино, правда, после долгих вымогательств и угрозы – убежать из дома навсегда. С деньгами я почему-то чувствовал себя намного свободнее, чем без них.

Войдя в то утро в трамвай, я взял у кондукторши билет и уселся на лучшем, переднем месте у открытого окна.

– Далеко направился в такую рань? – спросила кондукторша.

Я буркнул что-то неопределённое и отвернулся к окну. Через некоторое время в трамвай вошёл вожатый, кивнул мне в знак приветствия, и вагон тронулся. Замелькали улочки, вывески, лотки. Трамвай катил по городу, но я не боялся заблудиться – знал: стоит только пересечь в трамвай, идущий в обратную сторону, как он примчит меня назад.

А город за окном оживал, улицы заполнялись прохожими и машинами; из булочных тянуло горячим хлебом, звякали бидонами молочницы, дворники из шлангов поливали мостовые – чувствовалось приближение шумного и жаркого дня. Проехав остановок пять, я решил, что для первого дня впечатлений получил предостаточно, и вышел из вагона. Потом пересел в трамвай, идущий в обратную сторону, и вскоре как ни в чём не бывало вернулся домой.

Постепенно я удлинял маршруты путешествий, а потом вообще стал выходить из трамваев на разных остановках и более подробно знакомиться с окрестностями. К моменту поступления в школу в городе не осталось ни одной незнакомой для меня улицы, я успел на всех побывать. И это к счастью, конечно, – представляю, как изнывал бы за партией, если б за окном оставалось хоть что-то загадочное. Впрочем, это всё равно не мешало мне впоследствии сбегать с уроков.

Однажды, в классе пятом, обидевшись на учителя, на мой взгляд, явно занизившего мне оценку, я ушел с уроков и сел в первый попавшийся трамвай. Мне было всё равно, куда он идёт, ведь я никуда не спешил. Через несколько остановок я заметил, что дома за окнами стали ниже, а остановки реже. Потом дома пропали совсем, и трамвай загромыхал среди огородов с трещотками и чучелами и шалашами сторожей.

Трамвай остановился на далёкой окраине; город чуть белел вдалеке. На окраине струилась речка в голубых шапках тальника и пролегла узкоколейка, по которой бегал маленький, точно игрушечный, паровозик-кукушка. Паровозик отчаянно пыхтел, свистел и таскал взад-вперёд такие же игрушечные вагоны с глиной. Я уже однажды был на этой остановке. Вернее, смотрел на неё из окна трамвая. Но тогда трамвай быстро сделал круг и покатил назад. И вот теперь у меня появилась возможность обстоятельно исследовать местность. К тому же у меня было неважное настроение, и я решил как можно дольше не возвращаться домой. Наверно, именно тогда я пришёл к выводу, что лучший способ поднять своё настроение – немного испортить его другим. Не знаю, так я думал или иначе, но, во всяком случае, когда прошёл по пружинящим доскам через речку и очутился на необитаемом островке, твёрдо решил не возвращаться домой совсем.

Растянувшись на траве, я жевал чистую горьковатую зелень и наблюдал, как тянутся цепочки муравьёв меж травинок и горок из пыли; потом перевернулся на спину и стал смотреть, как ветер шевелил верхушки деревьев и как среди ветвей, наполненных солнцем, мелькали птицы. Погода была замечательная, и мне стало легко. Я начал лазить по деревьям, запускать в воздух голыши. Забыв о неприятностях в школе, я окончательно развеселился и решил обойти свои владения.

Через несколько шагов я понял, что на острове уже кто-то побывал: в одном месте тянулись ряды окученной картошки, в другом – лежала свежеспеленная сосна, тёсаная и пахучая, с жёлто-розовыми разводами.

Я вдруг ужасно захотел есть, вспомнил про школьный завтрак, бросился к портфелю и съел бутерброд, но он только раздражил аппетит. Тогда я накопал молодой лиловой картошки, собрал сухие ветви и запалил костёр. Спички у меня были всегда, и не потому, что тайком

покуривал. Просто со спичек мы сдирали серу и набивали её в ключи. Потом приставляли к ключам гвозди и бахали об стену.

Побросав картошку в костёр, я решил ещё наловить рыбы и стал изготавливать удочку. Распустил часть носка и к нитке привязал булавку, которой скреплял отделение в портфеле; вместо поплавка пристроил огрызок карандаша, а под удилице сломал обыкновенный прут тальника. После этих манипуляций выкопал червяка, нацепил его на булавку, спустился к речке и закинул удочку в травы, развевающиеся по течению. Приманку быстро отнесло в сторону, и только я хотел её перекинуть, как поплавок дёрнулся и запрыгал на воде. Я резко подсёк. Какая-то рыбёшка наполовину вылетела из воды, но сорвалась с булавки и шлёпнулась обратно в воду.

Так повторилось ещё несколько раз. Я уже отчаялся что-нибудь поймать и хотел с досады выкинуть удочку, но именно в этот момент поплавок замер, немного покрутился на одном месте и вдруг нырнул. Я схватил удилице обеими руками и дёрнул. И надо же! В траву плюхнулся окунь.

Потом я жарил рыбу на рогульке, переворачивал картошку в золе... Мне было радостно: я мог делать всё, что хотел, никто не стеснял моей свободы. Наконец-то я избавился от опеки и стал самым счастливым мальчишкой в мире.

Когда я пообедал, солнце уже почти село и на острове появились длинные тени. Эти ползущие и дрожащие тени несколько омрачили моё настроение, а тут ещё, как назло, я вспомнил мамины оладьи, которые она пекла по утрам. После пресной картошки захотелось выпить сладкого чая с оладьями, но я взял себя в руки – отогнал мысли о лакомствах и принялся за сооружение шалаша: сделал остов из прутьев и закидал его травой. Вскоре я уже лежал в роскошном собственном доме и вдыхал запах разогретой за день листвы.

Проснулся от холода. Сквозь крышу шалаша виднелось звёздное небо. Костёр потух, под пеплом еле светились красноватые угольки. Вылезать из шалаша и разжигать костёр было лень, да и собирать в темноте сушняк показалось страшновато. Чтобы согреться, я сел на корточки, обхватил колени и начал дышать на грудь. Но это не помогло: задрожали колени, по спине побежали мурашки, потом затрясло всего. А тут ещё стала донимать какая-то щемящая тоска. Я вдруг

почувствовал себя ужасно одиноким и никому не нужным. Ни одному человеку на всём белом свете! Разве только родителям. Я представил, как на другом конце города светится одно-единственное окно и там, за столом, сидят мать с отцом; представил, как мать вздыхает, убирая мой обед: прозрачный бульон с кружками моркови и кисточками укропа, пшённую кашу с тающим куском масла и яркий пахучий кисель. Представил, как мать смахивает слёзы и садится штопать мои брюки. Вспомнил, как отец приходит с работы и боксирует со мной на диване. Вспомнил его смеющееся лицо, когда он дарил мне марки, и вспомнил отца серьёзным, когда он чинил мой самокат. Почему-то такими родителей я увидел впервые, и меня непреодолимо потянуло домой.

Мне повезло – в это время послышался лязг трамвая. Я выглянул из шалаша и, увидев цепочку огней, схватил портфель и со всех ног бросился к остановке.

Удивительная штука – родительский дом! Странно только, что я это понял, когда провёл потрясающий день на свободе.

МОЯ МИЛАЯ СТАРУШЕНЦИЯ

Моей бабушке было много лет, но она никогда не казалась старой, и всё потому, что имела весёлый характер и редкое остроумие – качества, которые в детстве я ценил больше всякого таланта. Бабушка жила в конце нашей улицы в деревянном доме с расшатанным крыльцом. В коридоре дома была уйма всякого хлама: хромые стулья, подсвечники с огарками свечей, ветхие книги, торшер, прялка, разное тряпье. А бабушкину комнату заполняли растения: огромные фикусы и пальмы, как зелёные терема, круглые кактусы, похожие на спящих ежей, множество столетников и герани. Фикусы и пальмы помещались в кадках на полу и тянулись до самого потолка. Растения поменьше стояли на окнах в горшках. Комната была большая, светлая, с высоким потолком; мебель старинная, из тёмно-красного дерева, с окантовкой и резьбой. Особенно я любил огромный шкаф с львиными головами на дверцах. В этот шкаф я часто забирался, когда мы с приятелем играли в прятки. Раз залез и уснул среди одежды, пересыпанной нафтали-

ном. Меня искали по всему дому до вечера, пока я не проснулся и не вылез из укрытия.

Ещё у бабушки стоял высоченный буфет с выдвигаемыми ящиками – от него пахло сладким, в нём стояли банки с вареньем. Буфетом, шкафом и растениями в кадках комната была перегороджена на несколько закутков: «спальню», «столовую» и «дедушкин кабинет». В «спальне» помещалась только кровать, похожая на огромное слоёное пирожное из-за нескольких одеял, покрывал и кружевных накидок. «Столовую» занимали стол и три стула с круглыми спинками – над ними, точно голубая медуза, покачивался абажур. В углу, у окна, начинались владения дедушки: стол, обитый оцинкованным железом, настольная лампа, книги и ящик с набором столярных инструментов (дед умер, когда мне было два года, я только и помню – большую лысину с пушком и улыбку из-под пышных усов). Заходить в дедушкин угол мне было строго-настрого запрещено – разрешалось только смотреть на него издали, с расстояния не ближе четырёх шагов. Зато всю бабушкину собственность я мог трогать сколько хотел: и швейную машинку, и катушки с нитками, и душистые коробки из-под мыла, и многое другое.

Из всего бабушкиного хозяйства только одна вещь была для меня неприкосновенной – сундук. Но именно к нему-то меня сильнее всего и тянуло. Он стоял около двери, под вешалкой, тяжёлый, кованный медью, покрытый ковром с тёмно-зелёным орнаментом. Сундук притягивал меня своей таинственностью; почему-то мне казалось, что он набит драгоценностями, а ковёр на нём – не что иное, как ковёр-самолёт, который только и ждёт, чтобы перенести меня вместе с сундуком на необитаемый остров. Я уже представлял, как закапываю сокровища и время от времени наведываюсь к ним, чтобы пополнить карманы.

Много раз я спрашивал у бабушки, что лежит в сундуке, и каждый раз она загадочно улыбалась и отводила глаза в сторону:

– Так, ничего особенного!

Но я-то видел, что она хитрит, и продолжал к ней приставать с расспросами. Наконец бабушка не выдержала, вздохнула и пошла отпирать сундук. К моему удивлению, в нём лежали старые платья, блузы, юбки и дедушкин портрет, на котором он был совсем молодым. Во всём сундуке только две вещи мне показались стоящими: железная брошь с изображением шмеля и дедушкина медаль.

– Этого шмеля сделал твой дедушка, – сказала бабушка. – Давно сделал, когда я была совсем девчонкой. Чуть старше тебя. Тогда я любила всяких жуков и стрекоз. Поймаю стрекозу, засушу и приколю на платье как брошку. А дедушка жил на нашей улице. Он тогда хоть и был мальчишкой, только уже работал подмастерьем. Увидел как-то мою засушенную стрекозу, взял и сделал мне шмеля в подарок... А медаль! Медаль он получил в царской армии за храбрость...

Бабушка поправила платок, закрыла сундук и заспешила на кухню. Через много лет, когда бабушка умерла, я как-то снова открыл сундук, и удивительная вещь! – шмель и медаль вдруг приобрели для меня огромную ценность; как память о моих стариках.

Когда я приходил к бабушке, она усаживала меня за стол и выдавала кучу салфеток: на грудь, на колени, под тарелки и стаканы. Она кормила меня пшённой кашей с тыквой, яичницей с помидорами и пирогами с опятами. А сладостей я ел, сколько влезет. Наемся и побегу на бабушкин двор. Там росли высокие деревья, по ним можно было лазить вверх-вниз. И домой меня бабушка не отпускала без пакета ватрушек и пирогов. (Во время войны, когда наступил голод, я частенько вспоминал бабушкину стряпню и глотал слюни).

Целыми днями я околачивался у бабушки. Когда она отправлялась в керосинную лавку, я ходил с ней – нюхать керосин. Когда она гладила, я махал чугунным утюгом, раздувая угли. Иногда во время домашней работы бабушка просила меня почитать вслух сказки. Чаще всего нравоучительные. Если при чтении я ошибался, она поправляла меня по памяти. Частенько я говорил бабушке:

– Давай, баб, надевай перчатки, будем боксировать. Я покажу тебе приёмчики.

Или:

– Давай становись вратарём. Буду тебе забивать голы.

Или:

– Нагнись-ка, бабушка, я сяду на тебя. Ты будешь лошадью.

И бабушка никогда не отказывалась от этих игр, в отличие от моих родителей, которые, кстати, вообще меня не понимали. Я, например, любил, когда к нам приходили гости. Думал, выкину пару шуточек, покажу гостям, на что способен, и тогда отец с матерью поймут, что явно меня недооценивали, и сразу изменят своё пренебрежительное

отношение ко мне. Но как только гости являлись, родители совали мне конфеты и запирали на террасе. Тогда я пришёл к выводу, что и отец, и мать бездушные, чёрствые люди и всё делают мне назло, и я начал пользоваться этим. Если мне чего-нибудь очень хотелось, говорил наоборот, что не хочу, и мне в наказание это покупали. Таким образом я умудрялся посещать бабушку по несколько раз в день. Стоило мне только заикнуться о том, как много бабушка заставляет трудиться, как меня сразу посылали к ней.

Но бабушка-то всё понимала – всегда заступалась за меня и с серьёзным видом кивала, когда я объяснял, почему набедокурил. Тайком от родителей бабушка давала мне деньги на сладости и даже приходила делать за меня работу по хозяйству. А потом мы с бабушкой гоняли в футбол, ходили на речку удить рыбу. Да что там говорить! – я считал бабушку самым близким другом. Она была очень молодой, моя шестидесятилетняя бабушка. Её и бабушкой-то не стоило называть, ведь возраст измеряется не годами, а состоянием духа.

Правда, иногда бабушка всё-таки поступала хитровански. Например, поиграем с ней в шашки час-другой, а потом я предложу ещё погонять в футбол, но только выскажу свою захватывающую мысль, как бабушка прикидывается глуховатой, делает вид, что не слышит, хотя до этого всё прекрасно слышала. Я только начну повторять, а она вдруг вскочит, схватится за голову и забормочет:

– Господи, совсем забыла! Нам же надо с тобой постирать, в магазин сходить. Совсем из головы вылетело. Вот старая перечница!

Вспоминая эти её притворства, я теперь думаю, что плохой слух не такой уж большой недостаток – всегда можно сделать вид, что не слышал того, чего не хочешь слышать. Или переспросишь и, пока тебе повторяют, тщательно обдумаешь ответ. А плохое зрение вообще, по-моему, не недостаток, а достоинство – близорукий всегда может не замечать того, чего не хочет видеть.

Как у каждой бабушки, у моей тоже имелось несколько причуд. Например, она верила в Бога, но, когда тот не выполнял её просьб, начинала его ругать. Как-то бабушка купила билет лотереи Осоевиахим и стала просить Бога послать ей выигрыш.

– Чудотворец! Пошли мне рубликов так сто, – бормотала. – Дочке Груне надо послать. Пошли мне деньги, Всевышний!

Наверно, Бог услышал голос бабушки – на её билет пал выигрыш. В следующую лотерею бабушка приобрела несколько билетов – очень ей хотелось купить подарков родственникам. Снова бабушка начала молить Бога о помощи, но тот почему-то не расщедрился. Тогда бабушка рассердилась и стала обвинять Бога в бессердечии. Через некоторое время она забыла обиду, но с тех пор уже не просила Бога о чём-то конкретном – только о спокойствии для умерших. В основном для дедушки. Чтобы там, на небе, у него общество было интересным, чтобы он почаще виделся с родственниками и прочее. Ещё бабушка настоятельно просила Бога присматривать за нравственностью дедушки. Мне думается, об этом бабушка просила, потому что при жизни её супруг (по словам матери) был большой любитель поговорить о грехах молодости. Наверно, бабушка боялась, что и в другом мире дедушка не оставит своих замашек, и Бог отправит его в ад, и тогда они с бабушкой не встретятся.

Каждый раз, когда я слышал бабушкины молитвы, потусторонний мир представлялся мне чем-то вроде нашего городка, где полно цветущих садов и весёлой музыки, где не нужно думать ни о еде, ни о работе, ни об учёбе. Короче, мне казалось, на том свете совсем не хуже, чем на земле, а кое в чём даже лучше.

Бабушка безмерно любила кошек и постоянно кормила всю кошачью братию во дворе. И кошки души не чаяли в бабушке. Другие старушки выходят во двор – кошки и ухом не поведут, а моя бабушка только появится – несутся к ней изо всех дыр. Любила бабушка и собак, но не каких-то там породистых, а обыкновенных дворняжек – их считала гораздо умнее и преданнее.

Бабушка всегда что-нибудь делала; даже когда отдыхала после стирки и работы на кухне – вязала или штопала носки на электрической лампе и при этом всегда пела. Негромко так, для себя. Бабушкины песни были протяжные и грустные; чаще всего о любви. А всё, связанное с этим словом, тогда мне казалось не заслуживающим внимания. Потому я и не любил бабушкины песни. Я любил огненные марши. Они укрепляли мой дух и поддерживали бодрость. Закончит бабушка пение, спросит:

– Хорошая песня, правда?

– Угу! – промычу я, чтобы не обижать её.

– Раньше все песни были хорошие, – скажет бабушка и улыбнётся каким-то своим мыслям.

У неё всегда было хорошее настроение. За всё детство я только один раз помню бабушку ворчащей. Как-то мы ехали в трамвае, а перед вагоном то и дело пробегали прохожие. Вожатый не переставая звонил ротоzeug, а они хоть бы хны. Тут уж моя бабушка не вытерпела.

– Ох уж эти зеваки, – возмутилась она, – никогда не уступят, не останятся, не пропустят транспорт. А некоторые нарочно медленней пойдут или вообще останятся и начнут шнурки поправлять. Посидели бы хоть раз за рулём – перестали бы над водителями издеваться.

Все согласились с бабушкой, стали ей поддакивать. Но только мы сошли с трамвая, как мимо, точно бешеный, пронёсся грузовик. Бабушка вспыхнула:

– Ох уж эти водители! Им бы только обдавать грязью!

Вот такая у меня была бабушка. Что и говорить, с ней скучать не приходилось. Когда я находился у родителей, радостные дни чередовались с печальными, а когда я жил у бабушки, дни были наполнены одной радостью, с утра до вечера.

Бабушка со всеми находила общий язык: с мальчишками была мальчишкой, с девчонками – девчонкой, с художниками – художником, с учёными – учёной. Так, врач профессор, который жил на нашей улице, любил поговорить с моей бабушкой. Он постоянно наведывался к ней за советами, правда, чисто житейского характера, но это лишний раз говорит о немалом жизненном опыте бабушки. Как-то при мне профессор спросил у неё:

– Подскажите, пожалуйста, какое-нибудь средство, чтобы вовремя просыпаться. Я постоянно опаздываю на работу. Завёл три будильника, но, когда они гремят, это какой-то ужас.

Моя бабушка спокойно выслушала профессора и ответила:

– Лучший будильник, дорогой профессор, – беспокойные мысли. Побольше думайте о своих больных, и никогда не будете просыпаться.

Некоторые не любили мою бабушку за её непосредственность и остроумие, но половина этих недругов просто завидовала её энергии, а вторая половина состояла из лентяев и глупцов. По одному этому можно догадаться, какая у меня была бабушка, ведь о человеке можно судить по его врагам точно так же, как и по его друзьям. Благодаря бабушке

это я усвоил с детства, и теперь мне заранее симпатичны незнакомые люди, которых чернят мои знакомые из числа завистливых и злых.

Иногда я оставался у бабушки ночевать. В такие вечера она рассказывала мне о том, как было раньше.

– Раньше всё было не так, – вздыхала она. – Взять хотя бы мужчин. Сейчас они какие? Грубияны! Увидят пожилую женщину – дорогу не уступят. Толкнут – не извинятся. А раньше мужчины были внимательные, предупредительные. А какие отважные были! – бабушка махала руками и вздыхала.

После этого начинал говорить я. В основном о том, каким отважным буду, когда вырасту. И бабушка всегда внимательно слушала и гладила меня прохладной рукой. Она-то видела меня таким, каким я хотел быть. Под конец наших разговоров, когда у меня уже начинали слипаться глаза, бабушка сбивала подушки и стелила мне постель. Потом целовала в лоб и говорила «чтоб печали тебя миновали».

Я ложился спать, а бабушка вынимала из волос гребень и множество шпилек, расплетала седую косу, закрученную вокруг головы, и садилась писать тёте Груне письмо, такое длинное, что оно выглядело уже не письмом, а целой повестью.

Сейчас мне стыдно: за всё то замечательное время я ни разу не сказал бабушке, как сильно её люблю. Может быть, потому что относился к ней как к приятелю, а скорее всего, потому что стеснялся проявлять нежность. Мне стыдно вдвойне ещё и потому, что с годами я всё больше пользовался бабушкиными слабостями. С утра до вечера гонял во дворе мяч или болтался по улицам в поисках приключений. Наблю бабушкиными пирогами карманы – и только меня и видели. И никогда палец о палец не ударил, чтобы бабушке в чём-то помочь. Частенько я совсем наглел. Зная бабушкины старомодные взгляды, направлял её как индикатор на фильмы, которые ещё не видел. Если бабушка приходила вся в слезах, я знал, что картина – ерунда, какая-нибудь сентиментальная мелодрама. А если приходила сердитая и возмущённая – значит, то что надо. На дни рождения бабушки я дарил ей то, что сам хотел иметь. Как-то подарил перочинный ножик.

– Спасибо! – засмеялась бабушка. – Только зачем он мне?

– Как зачем?! Пироги резать!

А на следующий день объявил:

– Баб, я поиграю в твой ножик!

Потом и вовсе его присвоил.

Всё это, если б было можно, я с удовольствием зачеркнул бы в своей памяти.

Самое удивительное, что моя необыкновенная бабушка для многих была обыкновенной старухой, а кое для кого – и вообще старой каргой. Известностью пользовались бабки, которые целыми днями сидели на лавках и, как в театре, наблюдали за происходящим на улице (их посиделки мой дядя удачно называл «курятник»). Эти пустомели только и сплетничали, кто с кем да кто в чём, да болтали о своих болезнях и близкой смерти, хотя потом все проскрипели до ста лет. И вот эти жалкие бабки были известны в городе как всезнающие и рассудительные старушки. Только, мне кажется, эта слава была незаслуженной, а вот моя неизвестная бабушка явно заслуживала славы. Впрочем, это часто бывает и не только среди бабушек.

ТАЙНА

Одно время я рассуждал: «Ох уж эти взрослые! Говорят одно, а делают другое. Их невозможно понять. Они все уши мне прожужжали, что врать нехорошо, а сами врут на каждом шагу». Например, отец всем объявил, что бросает курить, но не прошло и трёх дней, как начал тайком покуривать, а потом разошёлся вовсю и стал курить больше прежнего. Каждый раз после ужина уходил в сарай, усаживался среди садового инструмента и начинал дымить. Однажды я заглянул в сарай и, увидев меня, отец не спрятал папиросу, а, наоборот, демонстративно затыкнулся, подмигнул мне и сказал:

– Не говори матери, что я курю.

Мать поступала ещё хуже: частенько шептала мне заговорщицким голосом:

– Не говори отцу, что я продала своё платье! – и целовала меня в щёку и прикладывала палец к губам.

Самым странным во всём этом было то, что стоило мне только указать им на разницу между их нравами и поступками, как они сразу выходили из себя.

– Не твоё дело! – кричал отец.

– Какой ты стал грубиян! – возмущалась мать.

В то время я вообще считал взрослых никчёмными; например, был уверен, что у них совершенно нет воображения. Как-то я поджёг резину во дворе и представил себя на пиратском судне; только разыгрался – подбегает отец.

– Хватит дурака валять! – буркнул и потушил пламя.

Он был уверен, что я развёл костёр ради вони и копоти.

Каждый вечер мать говорила, что улица оказывает на меня плохое влияние, «развивает пагубные привычки, дурные наклонности». Если при этом присутствовала бабушка, она сразу вставала на мою сторону, выясняла, от кого же пошли эти дурные наклонности. В такие минуты я сжимал кулаки и про себя бормотал: «Молодец, бабуля! Так их, громи!». «Бабушка у нас ничего, – думал я. – Понимает меня. Не до конца, конечно, но всё же».

Отец и мать явно меня недооценивали; чуть ли не до десяти лет рассказывали мне сказки про аиста и капусту. Я делал вид, что верил, и посмеивался про себя. Из взрослых я восхищался только своим дядей (здесь я припоминаю общение с ним в послевоенное время, а в войну его призвали в армию, но вскоре комиссовали из-за ранения и контузии). «Вот дядя – это да! – думал я. – Это человек что надо!». Мать называла дядю «горе луковое», а отец – «бестолковый». Дядя, в свою очередь, называл отца «шляпой», а мать – «булкой».

Дядя был непризнанным художником и жил на чердаке в доме напротив, жил разбросанно, неаккуратно (где снял одежду, там и бросил), зато свободно. Днём он рисовал, а с наступлением темноты отправлялся на другую половину чердака – в гости к друзьям, тоже художникам. Они много курили, пили портвейн и до хрипоты болтали о политике, что было небезопасно в те годы – даже в нашем патриархальном городке. Когда-то дядя учился в строительном институте, но на втором курсе бросил учёбу, сказал, что каждый дом должен быть произведением искусства, а у нас строят « типовые бараки – не дома, а горшки».

Каждую пятницу прямо на улице дядя устраивал выставку картин. Разложит работы, и всех уговаривает купить их, и говорит, что он «самобытный талант, которого, к сожалению, никто не знает».

Дядя писал вычурные картины – в них была масса экспрессии, но еле прослеживался сюжет – одни сверхъяркие пятна. Интеллигентных, но неподготовленных зрителей это обескураживало; ярых приверженцев соцреализма выводило из себя. Странно, но и Домовладелец, ценитель «настоящей» живописи, непримиримый противник всего социалистического, ругал дядины картины за «бездушие, наплевательское отношение к натуре» и прочее, но всё же заканчивал брань приободряющими словами:

–...Но, конечно, это лучше, чем на официальных выставках. Там вообще чёрт-те что, сплошная макулатура.

Мне тоже не нравились дядины картины – в них было много непонятного, а я любил всё конкретное и ясное.

Во время дядиных выставок-продаж кто-либо из прохожих непременно бросал:

– Не картины, а мазня.

Дядя хмурился:

– Невежды! Лопухи! Где им оценить мои творения! У них пустые души, нет духовного пространства.

Он собирал работы и, если в эти минуты я оказывался поблизости, срывал на мне раздражительность и злость, я был для него настоящим громоотводом, точнее – подручной мишенью.

– И ты хорош гусь! – набрасывался он на меня. – Стоишь рядом, ушами хлопаешь. Нет чтобы разъяснить невеждам, кто твой дядя. Ты знаешь, кто самый лучший художник в нашем Отечестве?

– Кто?

– Я! Ты должен гордиться, что у тебя такой дядя.

Мы приходили на чердак, и, развешивая картины среди балок, перекрытий и художнических атрибутов, дядя продолжал, уже несколько умеренным тоном:

– Да, я неизвестный, непризнанный, но запомни – скоро мои картины будут стоять целое состояние. За них будут драться лучшие музеи мира, – дядя взволнованно открывал портсигар и закуривал папиросу.

Каждую субботу дядя седлал велосипед и катил на речку; там рисовал «обнажённые модели, положительное и отрицательное изумление», а потом ходил по берегу и бодро покрикивал:

– Кого научить плавать? – и тихо добавлял: – За кружку пива.

По воскресеньям дядя направлялся к нам. Как только он заходил, отец брал газету и уходил на крыльцо, а мы садились пить чай: мать, дядя и я. После чаепития, убирая посуду, мать начинала говорить, что, если бы дядя не увлекался спиртным, он уже давно стал бы строителем. На что дядя еле сдерживался, чтобы не расхохотаться:

– Строителем! Да когда я выпью, я чувствую себя Господом Богом! Вот так-то, глупая сестричка! А потом не забывай, я самобытный талант. Вот подожди, ещё подсыплю перца в свои работы, и все ахнут. Впрочем, что тебе объяснять! Ты этого никогда не поймёшь. Я пошёл. Не позволю тебе испортить мне воскресенье, зарядить меня отрицательной энергией.

– Жениться тебе нужно, характер станет помягче, – вздыхала мать, а дядя шёл на улицу петь песни.

«Вот это жизнь! А у меня что? Сплошная канитель! Но ничего, – рассуждал я, – скоро начну жить самостоятельно. Ведь у меня уже есть невеста – Таня, девчонка с соседней улицы. Самая красивая и самая добрая. Мы скоро с ней поженимся, и тогда я наконец уйду от родителей. Мы будем жить, как мой дядя, на чердаке». Мысленно я уже всё решил, оставалась чепуха – найти подходящий чердак да сообщить Тане. Она ведь ничего не знала. Даже о том, что является моей невестой. «Но это неважно, – думал я. – Как только найду чердак, обо всём ей скажу» (мысли о женитьбе посещали меня недолго, с неделю).

Моя невеста оказалась более решительной. Но вначале небольшое отступление. В то время я постоянно ходил в синяках и ссадинах. Не потому что любил драться, хотя, конечно, и без этого не обходилось, но в основном потому что всюду лазил: на заборы, на лестницы, столбы, чердаки – на всё, на чём бы ни останавливался взгляд. Случалось, когда слишком переоценивал свои возможности, срывался и летел вниз. Чаще всего мне везло. Так, с подоконника я свалился на кучу опилок, с чердака – в копну сена, с сарая – в бочку с водой. Но ещё чаще плюхался на землю. Каждый раз, увидев у меня кровоподтёк или лиловую отметину, отец говорил:

– В один прекрасный день ты сломаешь себе шею, так и знай!

Все взрослые меня не понимали. Только и слышалось:

– Этот сорвиголова плохо кончит.

Зато среди ребят я был героем. Каждый мой очередной синяк они рассматривали как новый орден. Особенно мной восхищалась Таня. Она всегда стояла в стороне и смотрела на меня тревожно и нежно. А однажды, когда я свалился с берёзы и, прихрамывая, побрёл домой, она подошла и прошептала:

- Ты умеешь хранить тайны?
- Умею, – выдохнул я.
- Тогда дай слово, что никому не скажешь.
- Про что?
- Про то, что сейчас тебе скажу.
- Даю слово, – выдавил я и замер от любопытства.

А Таня опустила голову и тихо проговорила слова, от которых мне стало так приятно, что я покраснел.

Через несколько дней Таня с родителями уехала из нашего городка, и больше я никогда её не видел. Первое время, пока о ней ещё вспоминали во дворе, меня так и подмывало рассказать эту тайну, но каждый раз я вовремя пересиливал себя и сдерживался. До зрелого возраста я умудрился разболтать все свои тайны, только эту, самую маленькую, храню в себе до сих пор. Может быть, потому что с того времени уже никогда не добивался такого успеха, хотя и старался вовсю.

«САМЫЕ ШАСТЛИВЫЕ»

Однажды осенью дядя в палисаднике своего дома поджёт листву. Мы с Вовкой Вермишелевым прибежали на наш участок и тоже запали небольшой костёрчик, но наша листва быстро вспыхнула и прогорела. А дядин костёр всё полыхает, даже сильнее прежнего.

- Что у него так горит? – спросил Вовка. – Пойдём посмотрим!

Прибежали мы к дяде, а он забор ломает и рейки кидает в костёр и, судя по улыбке, очень доволен собой.

- Ты, дядь, что делаешь?! – ужаснулся я.
- Что?
- Забор ломаешь!
- Ну и что? Ну скажите, зачем нужен забор?
- Как зачем? Отгораживаться.

– Отгораживаться! – передразнил дядя. – От кого? Противно слушать! И серьёзно ошибаетесь. Если вы хотите отгородиться от всего мира, то ничего у вас не получится... Я буду жить без забора. Мне не от кого отгораживаться.

Дядя отломал ещё несколько реек и неким ритуальным жестом бросил в костёр (даже в негодовании он был артистичен).

– Заборы просто дурь, сооружения исключительных бездарностей. К тому же – типичный пример бесполезного использования строительного материала. Ну, пусть кто-то стащит у вас десяток яблок. Это же ерунда. Нельзя из-за одного плохого человека от всех отгораживаться.

Эту речь я воспринял как руководство к действию и вечером предложил отцу сломать и наше ограждение, слово в слово повторив дядины доводы. Хотя отец и недолюбливал дядю, но всё же изгородь сломать разрешил. А потом и другие соседи поломали ограды, и на их месте вытоптались тропы. Только Домовладелец забор оставил.

– Так спокойнее, – сказал.

Иногда ни с того ни с сего дядя начинал писать картины в более-менее реалистическом духе, а потом, так же внезапно, раздаривал их, причём делал это с чёткой направленностью: бабушке дарил кошек, матери – цветы, отцу – акварели про рыбалку, шофёру дяде Феде – индустриальные пейзажи, мне – автопортреты. Дядя подарил мне штук двадцать автопортретов. Несомненно, этими подарками он преследовал определённую цель – постоянно напоминал мне, чей образ жизни я должен перенять. Только зря он старался – я и так его боготворил: как-то даже, в порыве восхищения, брякнул:

– Ты, дядь, великий!

– Ну уж, не преувеличивай, – хмыкнул мой кумир несколько оторопело, но тут же приосанился:

– Хотя, должен сказать, мне нравится ход твоих мыслей. Склонность к преувеличениям – признак талантливости. Ты это, рисование совсем-то не бросай, ведь художники, и вообще все творческие люди, самые счастливые. Они живут двойной жизнью: реальной и воображаемой... И запомни – ты мой настоящий друг.

Великим не великим, но необыкновенным человеком дядя был бесспорно. В шмеле он видел пчелиного медведя, в вечерних тенях – змей, в свисающих ивах – фонтаны, в нашей улице – целую страну, а в

каждом человеке – художника. Например, дядю Федю, к которому испытывал особую симпатию – оба были большими любителями крепких напитков, – называл «художником по механизмам», сапожника дядю Игната – «художником по обуви», а старого водопроводчика – «художником по трубам». За необычные поступки многие называли дядю чудачком. Некоторые и вовсе считали его чокнутым, но так считали только слишком заземлённые люди, ведь как ни посмотри, а в каждом необыкновенном человеке есть странность, иначе он и не был бы необыкновенным.

Одно время дядя работал оформителем витрин и за короткий срок переделал внешний вид всех магазинов в нашем городке. Вместо безвкусных стеллажей, заваленных в большинстве своём аляповатыми товарами, он сделал современные витрины с двумя-тремя красивыми вещами. Некоторые витрины дядя решил как декоративные витражи – они были похожи на калейдоскопы. На таких витринах дядя не выставлял вообще никаких вещей, давая понять, что в этом магазине товары в рекламе не нуждаются.

Дядины витрины имели большой успех. Мимо них нельзя было равнодушно пройти. Они гипнотизировали прохожих. Даже те, кто ни в чём не нуждался, заходили в магазины и что-нибудь покупали. Магазины стали перевыполнять планы, а дядя, естественно, щедро вознаграждался. Первые его заработки ушли на погашение долгов, последние – на покупку машины.

– Деньги надо тратить на впечатления, – объявил дядя. – Машина мне нужна как воздух. Я буду везде ездить, наблюдать жизнь, рисовать положительные и отрицательные изумления. И вообще, когда уезжаешь, растягивается время: уехал на неделю, а кажется, отсутствовал год – всегда столько всего случается.

Дядя купил подержанную эмку – ободранную, исковерканную колымагу с раскоряченными колёсами. Тем не менее, купив это «сокровище», дядя как бы перешёл в высшее сословие людей – владельцев собственного транспорта.

Недели две дядя только и делал, что разбирал и смазывал разные части эмки. Ездил редко и никого не возил. Большую часть времени он только запускал двигатель и прислушивался, как тот работает, да со страхом поглядывал на гараж-сарай, который от вибрации грозил

развалиться. В те дни дядя по всем улицам собирал болты и гайки, и постоянно носил их в карманах, как мальчишка, да ещё посмеивался:

– У детей один игрушки, у взрослых – другие.

Пожалуй, так оно и есть. Уж что-что, а владельцам автомобилей никогда не бывает скучно. Много раз из-за машины дядя забывал о друзьях и работе. Мне кажется, что и одной из основных причин дядиной холостяцкой жизни тоже была эта эмка. Она отбирала всё дядино время, ему даже некогда было найти жену. Но здесь следует оговориться – дядя всё-таки не терял надежду её найти. Во всяком случае, на лобовом стекле эмки постоянно красовались портреты разных киноактрис: Любви Орловой, Дины Дурбин, Мэри Пикфорд. Причём они часто менялись, и не потому что дядя был легкомысленным, просто его требования непрерывно повышались.

Со временем дядя стал ездить чаще, правда, постоянно забывал доливать в бензобак бензин, а в радиатор – воду, поэтому его эмка то и дело начинала чихать и отчаянно дымить, смотря по тому, что именно дядя забыл налить.

Дядина машина была очень капризна – могла на ходу свернуть в сторону, хотя дядя и не думал крутить руль, а иногда ни с того ни с сего вообще останавливалась, и тогда её трудно было сдвинуть с места. Чего только ни делал дядя в такие минуты: давил на кнопку стартера, крутил заводной ручкой – ничего не помогало. Машина стояла как вкопанная.

– Издержки частной собственности, – вздыхал дядя.

К счастью, в такие моменты рядом всегда оказывались знающие люди. Вначале эти любители техники стояли в стороне и с состраданием или усмешкой смотрели на дядины потуги. Затем подходили ближе и начинали давать советы; под конец, засучив рукава, лезли помогать. Постепенно помощников становилось больше, и каждый предлагал свой вариант ремонта, ссылаясь на многолетний опыт. Частенько между помощниками возникали нешуточные конфликты, которые продолжались и после того, как общими усилиями машину всё же заводили. Дядя уезжал, а помощники, охваченные боевым пылом, долго ещё доказывали друг другу свою правоту.

Замечательные люди эти незнакомые помощники! Забыв про все свои дела, они часами могут разбирать твою машину или смотреть, как

ты удишь рыбу, и в ответственный момент помочь сачком. И главное, их помощь всегда бескорытна.

Обкатав эмку, дядя начал возить на ней родных и знакомых и, разумеется, прежде всего меня. Я был главным дядиным пассажиром и могу достоверно засвидетельствовать, что первое время дядя водил машину совершенно безответственно. Во-первых, за рулём просматривал газету, снимал или надевал рубашку, причёсывался и пел. Причём, если пел весёлую, зажигательную песню, мы неслись так, что прохожие шарахались в стороны, а если грустную – машина еле плелась.

Однажды во время дядиного переодевания за рулём я в испуге крикнул:

– Дядь, что ты делаешь?! Мы чуть не врезались в дерево!

– Вот в этом чуть-чуть и всё дело, – ухмыльнулся дядя. – Классный водитель всё делает чуть-чуть лучше других. В жизни всё держится на мелочах. И в искусстве тоже. В искусстве всё дело в нюансах, деталях.

Во-вторых, дядя останавливался под всеми мостами – загадывал желания. Остановится и что-то бормочет (вероятно, хотел приблизить момент, когда из «непризнанного» художника превратится в художника, увенчанного славой, и встретит женщину, которая имела бы достоинства всех кинозвёзд). Стало быть, стоит дядя под мостом и отрешённо шевелит губами. Сзади сигналият, а он вроде и не слышит. Пока не загадает, ни за что не тронется.

В-третьих, дядя постоянно всех подвозил. Идёт по шоссе какой-нибудь человек, дядя притормозит и спросит:

– Вас не подбросить?

Только незнакомец возьмётся за ручку, а дядя добавляет:

– Но с условием – расскажете интересную историю.

Незнакомец замешкается, потом улыбнётся и полезет в машину. А в пути обязательно что-нибудь расскажет. Оглядываясь назад, я теперь думаю, что это дядино условие было не что иное, как поиск сюжета для работы. Я даже убеждён в этом, поскольку не раз замечал, как он подолгу дотошно расспрашивал обо всём того или иного попутчика. Правда, в то время находились люди, которые, зная дядину доброту, так и норовили использовать эмку в корыстных целях. Зайдут к дяде и прямо с порога – напористо, бестактно:

– У тебя машина на ходу?

И, если дядя кивал, канючили:

– Старина, выручай! Надо срочно отвезти то-то, туда-то.

Через несколько месяцев после приобретения эмки дядя решил совершить путешествие по стране. С этой целью закупил маршрутные схемы и справочники, но никакого снаряжения не покупал.

– Так будет интереснее, – горячо сообщил мне. – В слишком подготовленных путешествиях нет самого главного – приключений.

Выбрав маршрут, дядя начал подыскивать напарника.

– Каждый живёт по своим законам, – объявил мне, – но есть и общие, которым надо подчиняться. Один из них гласит: «Возьми в дорогу надёжного товарища».

К будущему спутнику дядя предъявлял высокие требования: чтобы он разбирался в машине не хуже дяди, чтобы не был очень толстым, то есть не занимал слишком много места в машине, чтобы умел петь и знал толк в живописи, а главное, имел покладистый характер и чувство юмора. Посмотрев на себя со стороны, я пришёл к заключению, что один к одному отвечаю всем дядиным требованиям. Больше того, по моим подсчётам выходило, что сверх нужных качеств у меня есть ещё масса дополнительных. Явившись к дяде, я предложил себя в напарники.

Дядя внимательно меня выслушал. Он умел слушать. Нелишне заметить – немногие это умеют. Большинство умеет слушать себя, а дядя умел слушать других. Он никогда не перебивал, когда говорил его собеседник, и смотрел ему в глаза без всякой усмешки, внимательно и просто.

Долго дядя размышлял над моим предложением. Ходил, заложив руки за спину, хмыкал и морщил лоб, потом заявил, что для первой поездки его, пожалуй, устроил бы человек и с меньшим количеством достоинств, а меня он непременно пригласит в более далёкое и опасное путешествие. В конце концов, так ни на ком и не остановившись, дядя нарушил «общий закон» и отправился в поездку один. Целый месяц от него не было известий. И вдруг однажды он появляется на нашей улице... шагающий с рюкзаком.

– Это всё, что осталось от эмки, – с горечью сказал мне, кивнув на рюкзак.

С дядей произошла нелепая история: где-то на Кавказе он вышел из машины сфотографировать горы при заходящем солнце и «необычные эффекты». Навёл фотокамеру на вершины, установил выдержку и нажал на спуск. Потом обернулся, а эмки как не бывало. Оказалось, дядя забыл поставить машину на ручной тормоз и, пока фотографировал, она преспокойно скатилась в пропасть. Спустя несколько лет дядя вообще стал противником всякого транспорта.

– Транспорт, – говорил он, – ненадёжная штука. Самолёт зависит от погоды. На поезд трудно достать билет. Пароход укачивает. Для машины нужен бензин и запчасти, с ней много возни – вот ещё забивать этим голову! И вообще, в жизни всего не успеть, надо выбирать самое ценное и интересное. Так что я путешествую только пешком. Самый надёжный способ передвижения. Сам себя никогда не подведёшь, – после этого дядя непременно добавлял: – Я не навязываю свое мнение. Пожалуйста, покупайте машины и поддавайте жару. Скатертью дорога! Только не пожалейте потом!

ЧУДЕСНЫЙ ПАРЕНЬ

Всё детство я мечтал иметь две вещи: музыку и велосипед. Под музыкой я подразумевал хороший радиоприёмник, на худой конец – патефон. Но в нашей семье не было даже радио. Мой отец больше всего на свете ценил тишину. Последние известия он узнавал из газет, а музыка... Музыку ему заменяло заунывное брэнчание дяди Федя на домбре в доме напротив. Каждый вечер, предварительно выпив, дядя Федя затыгивал свою тягомотину. От его музыки даже собаки уползали в сараи, а что говорить о людях! На них она нагоняла такую тоску, что многим становилось тошно. Только отец, заслушав дядю Федю, выносил стул на крыльцо и усаживался с блаженной улыбкой; иногда закрывал глаза и кивал головой в такт мелодии, а когда дядя Федя заканчивал дриньканье, глубоко вздыхал:

– Вот это музыка, я понимаю!

Но мне-то была нужна другая музыка. Шумная и бодрящая, которая поддерживала бы во мне тщеславный и самолюбивый дух, которая помогла бы осуществить многочисленные авантюрные планы. Больше

всего моим требованиям отвечали марши из кинофильмов «Весёлые ребята» и «Трактористы». Эти марши постоянно гремели во мне, и я напевал их с раннего утра, а днём, когда отец был на работе, вообще орал во всё горло. Домашние не переставая сыпали угрозы, но я не обращал внимания. Во второй половине дня, немного устав, я пел вполголоса, а вечером, с приходом отца, про себя. Годы шли, но вкусы мои не менялись. Я и сейчас марши люблю, правда, из других фильмов.

С велосипедом всё обстояло проще. Дело в том, что отец работал инженером на компрессорном заводе; работой он был завален – даже чертил дома по вечерам, выполнял заказы для хлебозавода и чаеразвесочной фабрики. У нас была большая семья (отец с матерью растили троих детей), и, сколько я помню, мы никогда не вылезали из долгов. Некоторые поговаривали, что отец «халтурит», на самом деле отец всю жизнь был честным, и страшно гордился своей честностью, и имел на это право, поскольку честность никогда не была нормой в нашем обществе – ни тогда, ни тем более сейчас, когда вообще забыли это слово. И слово «порядочность», кстати. Так вот, разговоры о халтуре выводили отца из равновесия.

– Пусть мы бедные, зато честные и дружные, – хмуро заявлял он. – Важно не только, чего человек добился, но и каким путём этого достиг. И не слушай этой болтовни, – вразумлял меня. – Твой отец всегда был честным. В высшей степени. Запомни это! Я никогда не халтурил. Халтура – это работа так себе, спустя рукава, шаляй-валяй, а не работа. А я всё делаю на совесть.

По вечерам над чертежами корпели и мы с матерью – помогали отцу. Мать ставила форматки, а я стрелки. Я делал отличные стрелки. Немногие взрослые могли сделать такие. У дяди Феди, например, стрелки получались жирные, как галки, а у бабушки так и вовсе как вороны. Мои стрелки были острые, как индейские дротики. Я и сейчас могу сделать отличные стрелки. Чертёж тоже могу начертить, но так, средненько. А вот стрелки поставлю – хоть куда! Этими стрелками в то время я увековечил себя на многих отцовских чертежах. За это отец обещал купить мне велосипед – не новый, конечно, подержанный. Отец был человеком слова и никогда не забывал своих обещаний. И однажды в воскресенье хлопнул меня по плечу, и мы отправились на барахолку. Всю дорогу до рынка отец разрешил мне петь марши.

Во времена моего детства не было комиссионных магазинов; вещи продавали на барахолках. На этих стихийных толкучках можно было купить всё – от кнопок до мотоциклов и мебели. Чаще всего эти рынки были завалены рухлядью: надбитой керамикой и статуэтками, выцветшими, облезлыми коврами, поломанными этажерками, саквояжами, полками... Но иногда попадались и ценные вещи: редкие книги, старинные картины в витиеватых рамах, китайская посуда и прочее.

Когда мы пришли на барахолку, торговля была в разгаре. Не прошло и пяти минут, как мы очутились в самом пекле. Только и слышалось:

– Кому пиджак? Новый, с иголки! Износа не будет!.. Уникальная вещь – чернильница Куприна! Купите, не пожалеете!

Кричали про английские граммофоны, редчайшие электроплитки и бесценные шкатулки – реклама на барахолке была поставлена на широкую ногу. Нерасторопному продавцу без зычного голоса там делать было нечего. Обычно такие скромники нанимали какого-либо горлопана, а иногда и подставных покупателей, которые делали вид, что покупают, а на самом деле только взвинчивали цену.

Пройдя через всю барахолку, мы наконец увидели продавцов велосипедов. Они стояли особняком, около утрамбованной площадки для обкатки машин; здесь же на заборе сидели мальчишки – бескорыстные испытатели для не умеющих ездить – брюки у них были защемлены бельевыми прищепками.

В тот день продавалось пять велосипедов. Английский, сверкающий никелем, со множеством всякого снаряжения. От него мы отвернулись, чтобы не расстраиваться. Рядом с ним – допотопная машинешка, неизвестно какой марки, с сигналом-грушей. На эту колымагу мы тоже не стали смотреть. И наконец, были три более-менее нормальные машины. К ним я и ринулся, но отец меня остановил.

– Не подходи, – шепнул мне. – В этом деле никогда не надо торопиться. Куда спешить? Времени у нас предостаточно. Походим, присмотримся, тогда и выберем.

Отец стал вышагивать около велосипедов. Вначале взад-вперёд, заложив руки за спину, делая вид, что просто прогуливается, но я-то видел, как он косил глазами в сторону продавцов. Потом отец стал ходить кругами, с каждым разом сужая виток и напряжённо вслушиваясь

в разговоры продавцов с покупателями, при этом понимающе усмехался. Почему-то отец смотрел только на продавцов, а сами машины его не интересовали. Когда я отозвал его в сторону и сказал об этом, он скорчил недовольную мину:

– Ты не понимаешь! Эти три велосипеда абсолютно одинаковые. Что этот, что тот. Всё дело в продавцах. Их надо раскусить, вот в чём дело! Здесь могут так надуть – у-у! – отец многозначительно поднял палец и закатил глаза. Потом вдруг засмеялся: – Но меня не проведёшь! Я стреляный воробей. Я их всех насквозь вижу. Вон тот парень в кепке лучше всех. У него глаза добрые и улыбка открытая. Сразу видно – честный человек. Наверное, какой-нибудь студент. Поймай здесь, я сейчас выясню.

Отец снова стал кружить вокруг продавцов, чуть задерживаясь около парня в кепке. Потом подошёл ко мне:

– Ну что я тебе говорил?! Точно, студент. Пишет диплом. Если бы, говорит, не диплом, ни за что не продал бы. Пойдём, обкатаешь его велосипед.

Парень напоминал спортсмена на плакатах: его тело облегал тренировочный костюм, а кепка с длинным козырьком как нельзя лучше подчёркивала устремлённость к рекордам; он был гладко выбрит и всё время улыбался. Когда мы подошли, он меня обнял.

– А, так это тебе? – весело бросил. – Тебе не жалко. Другому ни за что не отдал бы, а тебе ладно, так и быть. Береги моего коня. Он мне пять лет служил без ремонта и тебе ещё двадцать послужит. Эх, если бы не диплом! – парень подтолкнул ко мне велосипед и отвернулся, чтобы мы не видели его расстроенного лица.

Я разогнал машину и вскочил на сиденье. На маленьком пятаке машину трудно проверить, но я успел заметить, что колёса восьмерят, а задняя втулка скрипит, и, подъехав к отцу, сказал об этом.

– Вот чепуха – «восьмерят»! – засмеялся парень. – Да подтянуть-то их пара пустяков. Раз-два – и готово. Я думал, ты профессионал, а ты всего-навсего любитель.

– Да вы его не так поняли, – вступился за меня отец.

– А втулка! – продолжал парень. – Да треск я нарочно сделал. Убрал пару шариков. С треском-то веселее. Едешь, а сзади точно моторчик, – парень подмигнул мне и рассмеялся ещё громче.

– Давай посмотрим другие велосипеды, – шепнул я отцу, но он меня уже не слышал – тоже смеялся и жал парню руку. Я оттащил отца в сторону, но он не дал мне открыть рта:

– Чудак ты! Уж кто-кто, а я-то вижу, кто из них порядочный человек, а кто пройдоха. Посмотри на тех. Стоят, о чём-то шепчутся... И пробовать нечего. Наш парень лучше всех. Чудесный парень! И велосипед у него чудесный. Он мне сразу понравился.

Отец повернулся к парню и полез за деньгами.

Когда мы вышли с барахолки, отец торжественно заявил:

– Ну, а теперь садись на раму, подкатим к дому вдвоём.

Только мы тронулись, как лопнула цепь.

– Вот досада! – отец поджал губы. – Но ничего, бывает.

Пока чинили цепь, спустили камеры.

– Странно, – отец нахмурился.

Накачали камеры – слетела педаль и лопнула пружина на сиденье.

Отец смахнул пот, вздохнул и тихо буркнул:

– Ладно, поезжай один. Дома разберёмся.

Но не успел я проехать и десяти метров, как случилось непоправимое: рама треснула, и велосипед разломился надвое. Я очутился на земле. Поднявшись, стряхнул с себя пыль и взял одну половину велосипеда; отец подошёл и поднял другую. Так и зашагали мы к дому – я беззвучно ревел, а отец сконфуженно усмехался.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Вскоре отец починил велосипед – отнёс его на компрессорный завод, и там заварили раму, перетянули спицы и перебрали втулку. Вид у велосипеда оставлял желать лучшего, зато ход стал вполне приличный.

Долгое время я никак не мог накатиться; с раннего утра вытаскивал свою машину и гнал по пустынным переулкам. Выехав на широкую улицу, по которой ходил трамвай, начинал вращать педали быстрее; серая асфальтированная лента всё стремительней бежала на меня – заплаты и пятна мазута так и мелькали.

Иногда ездил на стадион и там носился по гаревой дорожке, или уезжал на речку покататься по узким зыбким мосткам, или просто

въезжал в перелесок и катил по извилистым тропам. Это было настоящее чудо. Вместе с велосипедом в меня вселилась лёгкость и ощущение безграничной свободы. Никто не мешал мне в любую минуту сесть на велосипед и уехать в какую угодно сторону. В те дни домой я приезжал только обедать, да и обедал-то на ходу; проглочу тарелку супа и снова вскакиваю на своего железного коня. На велосипеде я проводил всё утро, весь день и вечер. Часто катался и перед сном, в темноте, как бы про запас, на случай дождливой погоды на следующий день.

Моим любимым маршрутом был отрезок улицы между предпоследней и конечной остановками трамвая – там дорога пролегла через луг, по дамбе, по которой, кроме трамвая, ходил синебокий автобус. По краям дамбы росли старые липы; их ветви над дорогой переплетались – я мчал как в зелёном тоннеле, под сплошным навесом, сквозь который еле просеивалось солнце.

Обычно я выезжал на дамбу рано утром, когда солнце было особенно ярким, а от лип особенно сильно пахло мёдом. Перед дамбой находилась трамвайная остановка, где в утренние часы ждали транспорта одни и те же люди. Многих из них я знал в лицо, и они меня, разумеется, заметили – как не заметить столь раннего оголтелого гонщика?! Помню трёх полных говорливых мужчин. Завидев меня издали, один из толстяков локтями подталкивал приятелей, и все трое начинали жестами давать мне советы. Один принимался неистово крутить рукой – давай, мол, парень, жми на педали! Другой приподнимал голову и выпячивал живот – не забывай, мол, про осанку! А третий нарочито широко улыбался, всячески показывая, что бодрость духа и уверенность в себе – главное в спорте.

Помню на остановке молчаливую пару – мужчину и женщину – красивых, печальных, замученных то ли работой, то ли сложными отношениями; они всегда задумчиво смотрели в разные стороны; только когда я проезжал мимо, вначале на её лице, а потом и на его появлялись грустные полуулыбки.

Миновав остановку, я разворачивался на перекрёстке и гнал по солнечной стороне улицы к дамбе. И в этот момент из переулка с сухим треском вылетал велосипед с самодельным моторчиком. За рулём восседал старичок в соломенной шляпе и круглых очках; на его пиджаке блестели медали. Старичок постоянно лукаво ухмылялся. К раме

его машины были привязаны удочки и сачок. Мы со старичком одновременно въезжали на дамбу, и тут начиналось самое интересное: я бросал старичку вызов – приглашал к гонкам наперегонки и сразу вырывался вперёд. Мопед старичка тарыхтел на пределе, но всё равно отставал. Оборачиваясь, я видел лицо старичка – он вроде старался не замечать своего поражения – по-прежнему ухмылялся.

К середине дамбы я немного уставал, но к этому времени разрыв между мной и старичком уже достигал полукилометра, и я позволял себе немного расслабиться. Уверенный в победе, я несколько раз вообще сходил с велосипеда и делал небольшую разминку, а когда мой великовозрастный, но «моторизованный» соперник подъезжал достаточно близко, снова разгонял велосипед и вскакивал на сиденье. После этого мне уже не удавалось намного вырваться вперёд – сказывалась усталость от бешеной гонки в начале пути. Я напрягал все силы и, стиснув зубы, старался удерживать дистанцию, но старичок меня настигал. Потрескивание моторчика за спиной слышалось всё отчётливей, переходило в громкое тарыхтенье, сбоку показывались концы удочек и переднее колесо... Старичок смотрел на меня поверх очков и беззлобно, но достаточно плутовски усмехался. Я жал на педали изо всей мочи, но он всё равно меня обгонял. Это выглядело особенно унижительно, если рядом громыхал трамвай; тогда с площадки кто-нибудь обязательно кричал:

– Спрячь голову! Много ешь! Не жми, сзади уже никого нет!

Я не обращал внимания, но обидно было до чёртиков.

Обогнав меня, старичок оборачивался и махал мне рукой, приглашая пристраиваться за ним, но тут уж я отворачивался, не скрывая презрения к роли гонщика за лидером.

Каждый день старичок выезжал из переулка именно в тот момент, когда я переезжал перекрёсток – ни раньше, ни позже. Тогда я объяснял это простой случайностью, а теперь думаю – это была чётко продуманная стариковская хитрость.

Однажды утром я, как обычно, проехал остановку трамвая, но старичок из переулка не выехал. Прокатив несколько метров, я вернулся назад и ещё раз пересёк остановку, но старичок опять не появился. Решив его подождать, я сошёл с велосипеда и долго, не меньше получаса, стоял на дамбе, но напрасно.

И на другой день старичок не выехал, и на третий. Позднее пронёсся слух – будто бы какой-то старый рыболов на мопеде разбился – попал под колёса грузовика. Не знаю, так это или нет, только с того времени катание на дамбе для меня потеряло всякий смысл. Несколько раз я пробовал там ездить, но всё уже было не то.

Лишь на следующее лето я возобновил поездки по дамбе: произошло исключительное событие – там появилась «принцесса». Тонкая и длинноногая, она была обладательницей бесценного синего спортивного велосипеда – он, как синяя молния, бесшумно разрезал воздух; я даже не мечтал догнать её на моём тяжёлом «коне» – это было совершенно невозможно.

А ездила девушка, как принцесса: сидела прямо, высоко подняв голову, и никогда не смотрела по сторонам. Сейчас с достаточной точностью я не могу сказать, что мне больше нравилось – девушка или её велосипед, но тогда подолгу заглядывался на неё, прячась за липами. Каждое утро с книжками на багажнике она ездила в техникум на окраине города и к вечеру возвращалась назад. Не раз, завидев девушку, я собирался вскочить на свой «велик» и продемонстрировать разные трюки, ведь катался я отлично. Даже, чего там скромничать! – великолепно, потрясающе! Мог, например, ехать «без рук» и «без ног», мог лежать на сиденье и крутить педали руками, мог ехать задом наперёд и с закрытыми глазами. Мог вообще не ехать, балансируя на одном месте. Всё это я делал без усилий, запросто, шутя; оставалась чепуха – отличиться перед девушкой, и казалось, это не составит особого труда, но... едва она подъезжала к месту моей засады, как я почему-то дрейфил и не двигался с места. А девушка пронесётся мимо и даже не посмотрит в мою сторону.

И вот однажды я переборол себя. Заметив синий велосипед, выкатил на обочину и только хотел показать мастерство, как потерял равновесие и упал. До этого сотни раз проделывал все трюки и никогда не падал, и надо же! Именно при ней грохнулся, потерпел сокрушительное поражение. Я думал, девушка засмеётся, но она только позволила в звонок и, обогнув меня, исчезла.

На другой день я ехал на речку купаться. Вращая педали, смотрел на стрижей, пронесившихся перед колёсами, на ехавшие навстречу повозки колхозников, набитые овощами. Вдруг сбоку вынырнул синий

велосипед. «Принцесса» была в белом платье, с венком из ромашек. Обгоняет меня и улыбается. Я поднажал на цепную передачу; велосипед закричал, затрещал, а «принцесса» легко так, играючи, обошла меня и стала удаляться. Немного отъехав, она замедлила ход. Я сразу пошёл на обгон, но сзади отчаянно засигналил грузовик. Я резко свернул в сторону, выскочил с дамбы и шлёпнулся в кювет, при этом порвал штанину и ободрал ногу. Велосипед не пострадал, только переднее колесо превратилось в «яйцо». Подняв «велик», я стал взбираться на дамбу, вдруг слышу:

– Сильно ушибся?

Наверху стояла «принцесса». Белое платье полоскал ветер. Подошла, осмотрела мою ногу, достала из кармана платок и перетянула колесо. Я покраснел и отвернулся.

– Как тебя зовут? – спросила «принцесса» и засмеялась. – Садись сзади, отвезу тебя домой, гонщик!

Я вскинул свой велосипед на плечо и сел за «принцессой» на багажник «синей молнии». И мы помчали назад. Меня подбрасывало, и упругий ветер срывал рубашку, и волосы «принцессы» хлестали по лицу – они пахли цветами.

– Держись крепче! – оборачиваясь, кричала «принцесса».

И от её смеха, и от запаха её волос было хорошо и весело.

ЛЕТО КАК ЛЕТО

По счастливому стечению обстоятельств «принцесса» вскоре стала жить на нашей улице. В один прекрасный день, по-настоящему прекрасный – в смысле погоды, мы с ней встретились на дамбе – она догнала меня на «синей молнии» и, вырвав рядом, сказала:

– Послушай! Ты не мог бы завтра помочь нам с мамой погрузить вещи? (позднее я узнал – её отец погиб на фронте).

– Ты уезжаешь?

– Нет! Мы обменялись и переезжаем на вашу улицу.

На другой день в условленное время я направился к её дому, по пути зашёл за Вовкой и взял его на подмогу, как рабочую силу. Когда мы

подошли к дому «принцессы», там уже стоял грузовик, и около него виднелась мебель, тюки...

Давно подмечено, переезжать всегда интересно, а время от времени и необходимо. Во-первых, освобождаешься от многого привычного, но ненужного; во-вторых, волей-неволей начинаешь новую жизнь – появляются новые знакомые, новые заботы; в-третьих, и это самое важное, перемены, как правило, ведут к лучшему. Помнится, Ольга безудержно радовалась переезду.

Как только мы въехали на нашу улицу, из всех окон высунулись любопытные. Дядя Федя, а за ним отец и дядя помогли таскать вещи. Через час всё было разгружено, перенесено в дом и на нашей улице появились новые жильцы.

Ольга оказалась «принцессой» добрейшей души: уже в день переезда разрешила нам с Вовкой покататься на «синей молнии», а вечером подарила по приключенческой книге. Стояло лето, и у нас в школе, и у Ольги в техникуме были каникулы; мы стали проводить вместе все дни напролёт. Всё началось с рогаток. Как-то мы с Вовкой запустили змея, но, набрав высоту, он вдруг зацепился мочалом за провода и стал болтаться из стороны в сторону, точно заарканенный. В этот момент из дома вышла Ольга.

– Плакал ваш змей, – проронила. – Делайте новый.

– Дудки! – отчеканил я и достал рогатку, чтобы сбить мочало с проводов.

Только вложил голыш в кожу, как вдруг порыв ветра освободил пленника, и он, взвившись в высоту, застыл на одном месте. Но, так как рогатка всё равно была у меня в руках, я выстрелил в неподвижный квадрат. Голыш пробил его насквозь.

– Здорово! – Ольга щёлкнула языком. – Научите меня стрелять.

– Мы сейчас едем рыбачить, – важно провозгласил Вовка.

– Ой! И я с вами!

– А рыбу ты ловить умеешь?

– Вы меня научите. Я способная, вот увидите!

На рыбалку отправились на велосипедах. Ольга на своём спортивном, а мы с Вовкой на моём (Вовка пристроился на багажнике). До реки доехали без приключений и расположились под деревьями у нашей с Вовкой излюбленной заводи.

Солнце стояло в зените, и было жарко; сквозь седую, запылённую листву просачивались горячие струйки. Мы с Вовкой пыжились изо всех сил, чтобы выглядеть перед Ольгой искусными рыболовами; отталкивая друг друга, учили её ловить рыбу нахлестом: забрасывать леску с наживкой как можно выше по течению и ждать, когда она проплывёт мимо и её начнёт прибивать к берегу, – тогда леску перебрасывать. И так до тех пор, пока не клюнет. Показывая этот способ ловли, мы с Вовкой великодушно сносили Ольгины ошибки и не забывали вовремя поддержать её за локоть, чтобы при взмахе удилища она не упала в воду. Мы относились к ней по-рыцарски, хотя она была уже девушкой, а мы ещё мальчишками.

Что мне нравится в рыбаках, так это то, что среди них ценится умение, а не звание и возраст. Один раз Вовка удил рыбу рядом с врачом профессором и тихо ворчал:

– Вот дурак, как подсекает, лопнуть можно!

И профессор ничего – только улыбался смущённо, воспринимал Вовкино хамство как лёгкую бестактность.

Первую рыбу поймал Вовка. Он выудил плотву с ладонь. Вторую плотву неожиданно поймала Ольга, её рыба была чуть меньше Вовкиной, но подсекла её Ольга мастерски (вскоре она уже забрасывала удочку не хуже нас, а часто и лучше, поскольку была выше ростом и легко перекидывала наживку через прибрежные травы). Потом Вовка поймал ещё одну плотвичку, и наконец повезло мне, причём так, как никогда за всё то лето. Я вытащил голавля на килограмм; когда тянул его к берегу, удилище изогнулось, как обруч от бочки. Я даже думал – ореховый прут не выдержит и обломится, но удилище не подвело.

После такого улова наше настроение поднялось до небывалых высот. Особенно у меня. Чтобы подчеркнуть свою радость, я даже зятянул марш.

Домой мы не спешили – возвращались пешком, вырубив велосипеды по дороге; шлёпали босиком по горячей, пышной, словно пудра, пыли. Перед нами шмели рисовали в воздухе узоры, мелькали разноцветные бабочки, и повсюду на тонких стеблях стояли ромашки, пахучие, словно флаконы с духами. Денёк был потрясающий – из тех, которые запоминаются на всю жизнь.

На окраине города мы сели на велосипеды и через луг покатали к дамбе. Мы с Вовкой неслись напрямик, сбивая головки цветов; Ольга ехала медленно, объезжая чуть ли не каждый цветок – и в этом просматривалась разница между нашим бездумным варварством и её бережным отношением ко всему живому.

С того дня мы регулярно (два-три раза в неделю) ездили на рыбалку, и каждая вылазка на природу была праздником – за лето набралась целая охапка праздников. Мы так привыкли удить рыбу с Ольгой, что, когда однажды она не смогла с нами поехать, вся рыбалка пошла насмарку, – уже через полчаса нам надоела и заводь, и удочки, и не радовала пойманная плотва...

Мы втроём ходили на стадион «Компрессор», в кинотеатр на любимых актёров Алейникова и Жарова, в читальню в парке имени Горького, в кафе-мороженое и просто гуляли по улицам. Мы бродили в незнакомых районах города, рассматривали дома, заглядывали в окна и угадывали, кто за ними живёт. Прогуливались определённым образом: Ольга, словно королева, вышагивала в середине, а мы с Вовкой, как верные стражники, – по бокам. Кстати, узнав Ольгу поближе, я из «принцесс» произвёл её в «королевы». Повторюсь – в то время я не очень-то стеснялся в раздаче чинов и званий, но из всех, кому пожаловал высокий титул, одна только Ольга носила его с достоинством.

Когда мы шли по улицам, все прохожие оборачивались и, ясное дело, – не на нас с Вовкой. Нас не замечали – так красива была Ольга. Каждый раз, когда на неё засматривались прохожие, меня так и распирало от гордости. В такие минуты я казался выше и сильнее, и уж, конечно, всерьёз был уверен, что на земле только две королевы: в Англии – Елизавета да Ольга – на нашей улице. Несмотря на свой титул, Ольга была ещё и преданным другом: кто бы ни позвал её в кино или на танцы, она вежливо, но твёрдо отказывалась. Много раз мы с Вовкой замечали восхищённые взгляды парней, слышали возгласы:

– Вот красавица! А с ней-то кто это? Что за голодранцы?

Или:

– Ну и фея! И с такими шалопаями!

Услышав эти оскорбления, мы с Вовкой стискивали зубы, сжимали кулаки и уже готовы были броситься на обидчиков, но Ольга обнимала нас за плечи и, улыбаясь, спокойно говорила:

– Не обращайтесь внимания. Они просто завидуют нашей дружбе.

Однажды на рыбалке Ольга сказала:

– Скоро приедет мой друг. Я вас познакомлю, он вам понравится, и мы будем рыбачить вчетвером – он тоже заядлый рыболлов.

– А где он сейчас? – поинтересовался Вовка.

– Служит в армии.

Ольга отложила удочку, присела на корточки и задумчиво уставилась на воду. Потом вскочила.

– Знаете что! Давайте приготовим ему удочку. Вот он обрадуется!

– А когда он приедет? – спросил я.

– Что-нибудь через неделю. А может, и раньше.

Вначале меня не очень обрадовал предстоящий приезд Ольгиного друга, но потом я подумал, что вчетвером рыбачить интереснее, чем втроём. «К тому же, – решил я, – Ольгин друг будет ходить с нами только на рыбалку, а в остальные места мы ещё подумаем, брать его или нет. И вообще, – тут я сделал сомнительное заключение, – Ольга всё равно не будет ему близким другом, ведь они дружили когда-то, а мы с ней дружим сейчас».

В тот же день мы приготовили снасть для Ольгиного друга. А на следующее утро меня разбудил свист Вовки. Выглянув в окно, я увидел рядом с ним Ольгу и высокого парня в солдатской форме; все трое были с удочками.

– Познакомьтесь! – сказала Ольга, когда я выскочил на улицу.

– Валерий! – назвалса парень и пожал мне руку.

У него был глуховатый голос и серьёзное выражение лица.

– Ну а теперь мы покажем вам, Валера, нашу чудесную заводь. Хорошо, мальчики? – Ольга взяла парня за локоть.

«Мальчики!» – это меня сразу насторожило; она всегда называла нас «друзья». А тут вдруг – мальчики! Я почувствовал, что она умышленно подчёркивает дистанцию между нашим возрастом. И потом, она называла своего друга на вы. «Значит, он никакой не друг», – рассудил я. По моим понятиям настоящая дружба исключала условности.

На рыбалку поехали на велосипедах: мы с Вовкой на моём, а Ольга с Валерием – на «синей молнии». Валерий вёз Ольгу на раме и что-то рассказывал ей в самое ухо, и она всё время смеялась. Иногда вспоми-

нала про нас с Вовкой. «Догоняйте!» – кричала и махала рукой, но тут же отворачивалась, слушала Валерия и смеялась.

Мы с Вовкой ехали молча. Настроение у меня было неважное, и причиной тому послужил Ольгин друг. Он мне не понравился. Я представлял его весёлым и компанейским, но компанейским он был только с Ольгой, а нас как бы и не замечал.

В тот день погода соответствовала моему настроению – была пасмурная, ветреная. Не успели мы подъехать к нашей заводи, как речка покрылась кружками от дождя.

– Ничего, дождь – это к удаче, – с показной бодростью заявил Валерий и стал разматывать леску.

Мы тоже взяли удочки, только лучше б их не брали. В тот день ни у Ольги, ни у меня, ни у Вовки не клевало. Только Валерию везло. Вначале он поймал двух окуней, потом небольшую плотву, а затем вытащил краснопёрку. Это было какое-то колдовство. Мы ловили в трёх шагах от него, и у нас совершенно не клевало, а он вытягивал рыбин одну за другой. И тут я узрел, что он ловит почти с поверхности. Передвинув свой поплавок, я сразу тоже поймал краснопёрку. Но даже эта пойманная рыба не подняла моего настроения. Наоборот, убедившись, что Валерий скрыл от нас свой способ ловли (наверняка, чтобы стать в глазах Ольги героем), я окончательно его невлюбил. В то время я был убеждён, что каждый хороший рыбак всегда и хороший товарищ.

Через некоторое время дождь усилился и мы решили вернуться домой. Уже на нашей улице, обращаясь к Ольге, Валерий спросил:

– Вечером ходим в кино?

– Обязательно! Жаль только, мальчики не смогут пойти.

– Да, жаль, – согласился Валерий, и они с Ольгой обменялись многозначительными взглядами.

Это уже было не похоже на Ольгу. Это не делало чести «королеве». Зная, что на вечерние сеансы нас не пустят, она могла бы тоже не пойти. В последний момент она это поняла и спросила извиняющимся голосом:

– Вы не будете сердиться, если мы ходим вдвоём? Говорят, такой фильм интересный.

– Иди, – разрешил Вовка. – Мы не сердимся.

Я промолчал.

Следующее утро было солнечным. Часов в десять за мной зашла Ольга и поздоровалась приветливой обычного.

– Привет! – сказала. – Сегодня замечательная погода. Куда мы пойдём?

– Как фильм? – буркнул я и отвернулся.

– Фильм так себе, – Ольга изобразила кислую гримасу. – Я даже жалела, что пошла.

– Ты нам не друг, – проговорил я. – Ты пошла без нас.

– Нет, я друг, – защищалась Ольга. – Я вовсе не хотела идти на этот глупый фильм. Просто все говорили, что хороший, ну я и пошла, – она улыбнулась и положила руку мне на плечо.

– Я всё время думала о вас. Вы даже мне во сне снились.

Я представил, как Ольга с Валерием гуляли после кино, и отдернул плечо:

– Не подлизывайся!

Она растерянно заморгала, потом тихо сказала:

– Наверное, я правда гадкая. Но я больше не буду, вот увидишь.

Эти слова не взбудрили меня. Если бы Ольга защищалась до конца, я подумал бы, что она и правда не так уж виновата, но, признав свою вину, она сразу подтвердила, что моя обида небезосновательна. И всё-таки я не мог долго злиться на неё. Как только она замолчала, заговорил я – поведал, как мы с Вовкой бездарно провели вечер (слонялись по улице). А потом Ольга рассказала о какой-то смешной книге, и от моей обиды не осталось и следа. Мы зашли за Вовкой и втроём побежали запускать змея.

В полдень появился Валерий и пригласил всех в парк покататься на каруселях. Ольга с Вовкой тут же согласились. Находиться в обществе Валерия мне совершенно не хотелось, но, чтобы не противопоставлять себя большинству, я пошёл.

День был жаркий, и, когда мы подходили к парку, всем ужасно захотелось пить.

– В парке отличные фонтанчики, – возвестил Вовка, хотя все и так об этом знали.

– Зачем в парке? Попью сейчас, – Валерий направился к киоску с газировкой, а подойдя, небрежно бросил: – Четыре стакана с сиропом.

Меня мучила жажда, но не было денег, а пить воду, купленную Валерием, я счёл унижительным. Но продавщица уже налила четыре стакана прохладительного напитка с красным сиропом.

– Я не хочу газированной, – сказал я как можно равнодушнее. – В парке вода лучше.

– Попей хотя бы немного, – Ольга протянула мне стакан.

Шипящий напиток приятно защекотал ноздри, но я пересилил себя и отвернулся.

– Хорошая водичка, – пропыхтел Вовка, смакуя сладкое питьё.

Я грозно посмотрел на него, и, видимо, у меня было достаточно устрашающее выражение лица, потому что Вовка поперхнулся, отставил недопитый стакан и пробормотал:

– Плохая вода. Вот я пиво настоящее пил...

Он сказал это с таким дурацким видом, что Ольга рассмеялась, а Валерий чуть не захлебнулся. И даже я, как ни крепился, прыснул.

Угостив всех водой, Валерий, как мне показалось, решил ещё больше удивить Ольгу своей щедростью.

– Пойдёмте в тир, потом в комнату смеха? – предложил он.

– Нет, пойдёмте, как решили, на карусели, – сказала Ольга.

Я посмотрел на неё с благодарностью и помчался к маленьким бесплатным каруселям.

Накатавшись на каруселях, мы двинули в зону отдыха играть в прятки. Первому водить выпало мне, но, когда я досчитал до десяти, ко мне подошёл Вовка и сказал:

– Не считай! Они всё равно убежали.

– Как убежали? – не понял я.

– А так. Убежали от нас, и всё.

Я стал носиться от куста к кусту, но Ольги с Валерием и в самом деле нигде не было. Сели мы с Вовкой на скамейку, стали их ждать. Они появились спустя полчаса. Ольга подбежала первая.

– Ты где была? – грозно выдали мы с Вовкой одновременно.

– В беседке.

– Ты была с ним в беседке? – ужаснулся я.

– Да. Ну и что? – удивилась Ольга. – Мы там спрятались, а ты не идёшь и не идёшь.

В этот момент подошёл Валерий.

– Здорово мы спрятались от тебя?

Не дожидаясь моего ответа, он посмотрел на заходящее солнце.

– Может, пора по домам?

Всю дорогу я кусал губы от злости.

Проводив Ольгу до дома, Валерий что-то ей шепнул.

– Договариваются идти в кино, – тихо подал голос Вовка.

– Ну уж дудки! – процедил я.

Мы с Вовкой решили их выследить: попрощались, для видимости разбежались по домам, но через несколько минут встретились снова, прокрались в сад за Ольгиным домом и притаились в кустах. Было тихо, и в саду стояла вечерняя стеклянная прозрачность.

Прошло полчаса, потом час, но Валерий всё не приходил. У нас стали затекать ноги, как вдруг на крыльце появилась Ольга. Она накинула тёмный платок и направилась в нашу сторону. Мы с Вовкой прижались друг к другу и замерли, но, не доходя до нас нескольких шагов, Ольга свернула в сторону и подошла к скамейке. На скамейке сидел... Валерий. Каким образом он бесшумно пробрался в сад, осталось для нас загадкой. Она села рядом с ним, и они зашептались. Темнело, их силуэты терялись на фоне листвы, но всё же я отчётливо видел, как он пододвинулся к ней. А потом вдруг она поцеловала его.

Они сидели до тех пор, пока откуда-то не донеслись позывные радио и диктор не объявил время: «Десять часов пятнадцать минут», – тогда она встала со скамейки и исчезла в доме.

На другой день мы с Вовкой сидели на углу нашей улицы и молча смотрели на работу сапожника дяди Коли. Вдруг подошла Ольга и совсем как обычно, без тени смущения сказала:

– Здравствуйте!

– Мы всё о тебе знаем! – сразу ошарашил её Вовка.

– Что? – с наигранной невинностью она вскинула глаза, но тут же покраснела. – Я ничего такого не сделала.

– Не ври! – почти крикнул я.

– Ты с ним целовалась! – бухнул Вовка и усмехнулся.

Ольга покраснела ещё больше, и от волнения у неё задрожал подбородок.

– Не ругайте меня! – взмолилась она. – Я уже в десять была дома.

– В начале одиннадцатого! – внёс я существенную поправку и посмотрел на неё с яростью; я был взвинчен до предела.

– Ну может, в начале одиннадцатого, – Ольга пожала плечами.

– Ты предательница! – сказал Вовка и, поднявшись, пошёл по улице.

– Никакая я не предательница, – растерянно проговорила Ольга. – Не предательница я...

– Предательница! – твёрдо повторил я и пошёл за Вовкой.

Я шёл медленно и ни разу не обернулся до самого конца улицы, хотя всё время чувствовал на спине её взгляд.

БРОСЬ ГОРЕВАТЬ, МАЛЬЧУГАН!

Вовка Вермишелев был черноволосый, с круглыми, как пуговицы, глазами и такой низкорослый, что на одноклассников смотрел снизу вверх. Маленький рост не отразился на Вовкином характере: он был дружелюбным, в отличие от большинства ущербных людей. Кстати, мы с Вовкой оба страдали из-за роста: я рос так, точно меня тянули за уши, и при этом был страшно худым, а Вовку и в двенадцать лет принимали за первоклассника.

Нас с Вовкой сдружила любовь к футболу. Мы могли гонять мяч с утра до темноты, пока счёт не доходил до астрономических цифр (45:50 или 60:72). В наших командах были разновозрастные игроки (и даже «женатики»), в воротах стояли девчонки (в том числе моя младшая сестра), а судил матчи – самый беспристрастный судья на свете – дядя Федя. Разумеется, мы сполна были обеспечены зрителями – они стояли вдоль улицы, выглядывали из окон и «болели культурно», не то что на стадионе «Компрессор», где болельщики бесновались и выкрикивали всякую ерунду.

Подружились мы с Вовкой после знаменательного матча. Однажды на нашей улице появилась ватага ребят с соседней улицы; самый маленький из них вышагивал впереди компании и в роли предводителя выглядел убедительно; поигрывая мячом, он предложил сыграть – улица на улицу – это и был Вовка.

Мы играли четверо на четверо. В команде Вовки в воротах стоял голубоглазый карапет-дошкольник; наши ворота защищала моя сестра. Описывать игру нет смысла – Вовка вытворял чудеса; он не забил нам с полсотни голов только благодаря отличной реакции моей сестры. Мячи на неё так и сыпались, но она успевала их отбивать в аут. Сестра спасла нас от разгромного счёта; через час мы проигрывали всего 15:0, но честь нашей улицы была посрамлена, и я разозлился не на шутку. Ещё бы! Мы бегали за Вовкой, хотели отнять у него мяч, но это было не так-то просто. Вовка вёл мяч, не глядя под ноги, и казалось, мог его вести с закрытыми глазами – всё равно мяч был послушным, словно привязанным на верёвке. Собственно, Вовка и не играл, а забавлялся с нами. Несколько раз я пытался остановить его недозволенным приёмом, но он ловко уворачивался, и я плюхался на землю. В конце концов я просто рассвирепел и, после очередного падения, схватился за колено и крикнул:

– Грубая игра! Будем бить штрафной!

Вовка остановился и растерянно забормотал:

– Извини. Штрафной так штрафной!

Я ещё немного похромал для приличия, потом разбежался и со всей силой ударил по мячу; и, если бы попал по воротам, голубоглазый шкет улетел бы вместе с мячом, но я промахнулся.

От этого промаха я стал симулировать «грубую игру» через каждые пять минут: делал вид, что меня сбивают, и, корчась от боли, требовал штрафного – из тридцати моих ударов половина достигла цели, и счёт сравнялся. Честь нашей улицы была восстановлена.

Вовкина команда начала игру с центра «поля», а мы всей дружиной выстроились перед своими воротами, устроили неприступный бастион – были полны решимости сохранить почётный для нас счёт до конца игры. Но тут произошло невероятное: желая растянуть нашу оборону, Вовка отпаснул мяч своему вратарю, но тот вдруг споткнулся и упал. И мяч тихонько вкатился в ворота. Мы схватились за животы и запрыгали от радости:

– Гол в свои ворота! Мастер-пепка!

Расстроенный Вовка только махнул рукой.

– С каждым бывает. Сейчас отквитаю.

– Нет уж, дудки! – я перестал смеяться. – Матч окончен. 16:15 в нашу пользу, – я вскинул руку и запел победный марш.

– Может, поиграем ещё? – предложил Вовка. – Вы что, устали?

– Ничего мы не устали, – хмыкнул я. – Мы никогда не устаём. Просто у нас дела. Много всяких дел.

– Жалко! – Вовка вздохнул и пожал мне руку, поздравляя с победой. – Ну, ладно. Конечно, обидный гол, но ты всё равно здорово бьёшь по воротам, и ваш вратарь молодец.

Мне было приятно слышать эти слова, но почему-то после них уже не хотелось петь марш. А тут ещё к нам подошёл голубоглазый вратарь и дрожащим голосом произнёс:

– Это я виноват, – он не выдержал и расплакался.

Вовкина команда ушла, а мне вдруг стала противна наша победа.

На следующий день я разыскал Вовку и покаялся, рассказал про свои трюки. Он великодушно простил меня и быстро всё забыл, но я почему-то помнил долго. И расстроенное Вовкино лицо, и чумазый живот голубоглазого вратаря, и его дрожащие губы. До сих пор тот день лежит тёмным пятнышком на моём детстве; оказалось, самый беспощадный судья – собственная совесть.

В нашем городке было две команды: «Компрессор» и «Трудовые резервы» от хлебозавода; они сражались меж собой на стадионе, который представлял собой огороженное поле, три ряда сколоченных досок и раздевалку с билетной кассой. Мы пролезали на стадион через забор со стороны кладбища.

Однажды состоялся Большой футбол – товарищеская встреча наших и украинских компрессорщиков. Мы ждали этого матча целую неделю, но в тот день билеты на стадион взвинтили втрое, а вдоль забора поставили милиционеров. Мы с Вовкой топтались перед входом на стадион и с завистью смотрели на счастливых с билетами. Некоторые из них впервые пришли на стадион (завсегдатаев мы знали в лицо), пришли с женами, только потому, что приезд украинских футболистов был событием в нашем городке. Один за другим на трибуну проходили случайные зрители, а истинные знатоки этой волшебной игры околачивались перед входом.

Когда началась игра, мы с Вовкой и десяток таких же несчастных стали вслушиваться в гул трибуны. Временами слышались крики:

– Попов! Не отдавай мяч! Бей сам!

Вовка подмигивал мне, сжимал кулаки, пинал воздух. (Нападающий Попов был знаменитостью, единственным футболистом, имеющим звание «мастер спорта»). Но потом трибуны стихали, и мы догадывались – атакуют гости; Вовка хмурился и грыз ногти.

К концу первого тайма раздался свисток судьи, по трибунам прошёл стон, и один из болельщиков из-за ворот стадиона сообщил нам:

– Украинцы забили!

В это время какой-то мальчишка крикнул, что милиционеры отошли от забора и смотрят игру. Мы ринулись на кладбище и, перепрыгивая через могилы – проявляя жуткую непочтительность к усопшим, вскоре очутились на стадионе.

Во втором тайме наши решили отыграться; при мощной поддержке болельщиков всей командой навалились на ворота гостей, а те ушли в глухую защиту, тянули время – их вполне устраивал счёт. На трибунах начали свистеть, улюлюкать:

– Мастера, называется! Это разве ж игра, одна тягомотина!

– И куда судья смотрит! – распалился Вовка.

То ли судья услышал Вовкино негодование, то ли до него дошло, что гости умышленно затягивают время, только он сделал капитану украинцев предупреждение, а в сторону их ворот назначил штрафной. Бил, конечно, Попов. Кто ж, как не он?! Он был мастер кручёных ударов – мог так послать мяч, что тот, описав дугу, снова к нему возвращался; ну, не совсем в ноги – немного в сторону, ведь мяч всё же не бумеранг...

Попов пробил классно: мяч, обогнув стенку из игроков, попал в перекладину; ещё бы чуть-чуть, совсем каплю – и был бы в воротах. По трибуне прокатился тяжёлый вздох; Вовка с досады ругнулся.

Эта неудача сильно отразилась на игроках «Компрессора» – они раскисли и смирились с поражением – все игроки, но не Попов. «Мастер кручёных ударов» с двойным усердием забегал по полю. Так было всегда: чем в худшем положении оказывалась его команда, тем напористей он рвался к воротам противника. Усилия Попова не пропали даром: во время очередного прохода его снесли во вратарской площадке, и судья назначил пенальти. На трибуне все повскакали с мест; Вовка взвизгнул:

– Щас им даст Алексей Петрович девяточку!

Попов разбежался, ударил... и промазал. По трибунам вновь прошёл стон. Вовка отвернулся и чуть не зарыдал. Знаменитый Попов! Надежда болельщиков! В момент, когда решается судьба матча, не попадает по воротам. Любой мальчишка попал бы! Мы с Вовкой были уверены – после игры Попов покончит с собой или, по крайней мере, навсегда уйдёт из спорта.

С немалой обеспокоенностью мы ждали команду около раздевалки и вдруг увидели: Попов идёт улыбающийся, весело перекидывается словами с вратарём украинцев. Проходя мимо нас, подмигнул Вовке и развёл руки в стороны:

– Всё бывает. На то и спорт. И брось горевать, мальчуган!

В ТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ...

Многим я увлекался в детстве, но все мои увлечения рано или поздно проходили, большинство даже до того, как я успевал по-настоящему ими увлечься. Чаще всего меня просто-напросто останавливали первые же трудности. И только поездки в трамвае я не бросал. Даже когда заимел велосипед и перестал нуждаться в транспорте, всё равно продолжал кататься на трамвае. Я и сейчас трамваи люблю и, если никуда не спешу и замечу – красный вагон катит по рельсам, – обязательно проеду пару остановок.

Когда я просил у отца деньги на трамвай, он говорил:

– Не получишь. Почитай лучше, чем кататься без дела, – он начинал перечислять книги, которые мне необходимо было прочесть.

Как-то я послушался его и уселся за чтение. Причём читал запоем – за день три толстые книги осиливал. Читал я только самую суть. Разные описания пропускал, скучные монологи – тоже. Уж не говоря о сценах про любовь – те просто перелистывал. Слово «любовь» не было для меня загадочным, поскольку я любил Таню, девчонку с соседней улицы. Ничего хорошего мне эта любовь не давала. Наоборот, только вносила душевное беспокойство.

Вскоре я с полным правом стал доказывать отцу, что время, которое трачу на чтение, можно с большей пользой провести во дворе. На это отец говорил, что я просто не умею читать, что над написанным надо

размышлять, делать выводы и кое-что различать между строк. Эти туманные рассуждения ещё больше убеждали меня в собственной правоте, и я продолжал уверять отца, что одна поездка в трамвае стоит десяти книг, что, когда едешь, у тебя перед глазами жизнь всего города, все новости. Короче – я доказывал отцу, что знания, почерпнутые из жизни, важнее знаний из книг.

Поняв, что отца не переубедить, я переключился на мать – пытался ей доказать, что поездки в трамвае мне нужны как воздух и что ограничение в деньгах может отразиться на моём умственном развитии. В те дни я жил в атмосфере постоянного доказывания. Даже бабушке приходилось доказывать, что родители относятся ко мне предвзято. Бабушка не соглашалась со мной, но, пытаясь успокоить, совала мне в руку медяки на трамвай. Я немедленно отправлялся на остановку, садился в трамвай, брал билет и, прислонившись к стеклу на задней площадке, смотрел на убегающие рельсы.

Я любил кататься на всём, что двигалось: на калитке, бочке, самокате и, конечно, на коньках, лыжах и санках, на плоту и лодке и, само собой, – на велосипеде, но больше всего на трамвае. А как я вскакивал на подножки и «колбасу»! Один раз только разбежался и хотел впрыгнуть, как какой-то бородач обхватил меня и не пускает. Я его ругаю и колочу, а он смеётся:

– Ничего, вырастешь, спасибо скажешь!

Он до сих пор стоит передо мной – хороший такой бородач.

В другой раз мы с отцом спешили в баню. Подбегаем к остановке, а трамвай потихоньку отходит.

– Эх, была не была! – вздохнул отец (он впервые решался на такое). – Сможешь впрыгнуть? – и отец вдруг вскочил на подножку, да так легко, будто проделывал это не раз.

Я усмехнулся и, решив показать класс, небрежно разбежался и прыгнул на ступень, не касаясь руками вагона, при этом ещё посмотрел на отца – оценит ли он моё мастерство. Но надо же! Моя нога попала не на ступень, а гораздо ниже – на булыжники, да ещё как-то нелепо подвернулась. Короче, я потерпел фиаско и, сконфуженный, хромая, заковылял в сторону. Отец соскочил ко мне:

– Ну ничего, ничего! Без навыка это, конечно, трудновато, но этому и учиться не нужно.

Что я мог сказать?! Мои слова выглядели бы жалким лепетом.

По нашему трамвайному маршруту ездило немало интересных людей. Часто я встречал рыбака, который всегда рассказывал попутчикам один и тот же случай, как он вылавливал рыбин в обхвате с самовар. Говорил он тихо, как-то заученно, всё время замолкал на полуфразе, прислушиваясь к разговорам соседей; иногда встревал в чужие беседы, вносил поправки и уточнения. Вряд ли он был чересчур любопытен, скорее – просто хотел таким образом обратить на себя внимание, чтобы потом рассказать свою историю, а может быть, как каждый врут, требовал от других точности.

Нередко в трамвае ездила старушка, вся в кружевах, рюшках, со спиральками волос около ушей. Она постоянно вздыхала о прошлых временах и укоризненно посматривала на молодых девушек. Случалось, слишком расхотелась и на весь вагон критиковала современную моду. Тогда кто-нибудь из пассажиров непременно заступался за молодёжь, пытался оправдать стремление к смелым, открытым формам. Эти возражения ещё больше распалили старушку: она вскакивала с места и, сердито бормоча, начинала проталкиваться к выходу. В такие минуты я боялся, что она выпрыгнет на ходу, но возбуждённая старушка никогда не забывала подёргать верёвку звонка и только после полной остановки вагона победоносно выходила на улицу...

Существует предположение, что у некоторых женщин к старости появляется какой-то воинственный дух. Возможно. С другой стороны – наша Кириллиха находилась в «цветущем» возрасте, но вела себя словно генерал в юбке – ей было мало командовать своим мужем, она покрикивала и на чужих мужей, и на совсем незнакомых мужчин.

Однажды я ехал в трамвае в полдень, когда улицы пестрели от прямо-таки пульсирующего света. Вагон был совершенно пустой, только на передней площадке стояла «читательница» – так я прозвал светловолосую девушку с раскосыми глазами – она всегда читала Чехова. Я часто встречал её – она входила на остановке «Дамба», брала билет, смотрела – счастливый ли номер, и проходила на переднюю площадку. И, как я сказал, всякий раз читала Чехова.

Как только трамвай подъезжал к остановке «Цепной мост», девушка закрывала книгу и подходила к двери. На этой остановке входил парень с добрым лицом – полный, круглолицый, похожий на комических

персонажей в «Крокодиле»; он целовал девушку в щёку, протягивал ей горсть леденцов и начинал без умолку рассказывать о своей автобазе, где работал слесарем (это я знал точно, поскольку слушал парня разинув рот), о занятиях штангой в спортобществе «Трудовые резервы», расхваливал своих товарищей, с которыми строил буер, – он таращил глаза, смешно надувался и пыхтел. Девушка смотрела на него не отрываясь, с безмерным восхищением. Да и как ещё можно было смотреть на такого парня?!

Но иногда у этой парочки возникали размолвки, они спорили о каких-то «непонятных чувствах» и «затянувшихся отношениях» (я напряжённо вслушивался, но мало что понимал в их разговоре, только догадывался – у них что-то не ладится). А иногда они оцепенело молчали, взявшись за руки и улыбаясь каким-то тайным мыслям. Если тогда и смотрели в мою сторону, то всё равно меня не видели. Они выходили вместе на остановке «Перекрёсток».

Я так привык к этим влюблённым, что, если долго их не видел, мне прямо чего-то не хватало. Однажды осенью девушка вошла в вагон расстроенная; проскользнула на переднюю площадку и прислонилась щекой к стеклу. Чехова так и не раскрыла, держала под мышкой. Около «Цепного моста», как обычно, подошла к двери и стала всматриваться в остановку, но в вагон никто не вошёл. После этого я долго её не видел. И не видел того парня. Каждый раз, катаясь в трамвае, надеялся их встретить, но они не появлялись.

В дальнейшем, как-то само собой, я всё реже вспоминал эту парочку, но вдруг, однажды весной, когда по всему городу текли ослепительные ручьи и от сохнущего асфальта шёл пар, «читательница» объявилась – вошла на «Дамбе» в трамвай с веткой вербы; улыбнулась мне как старому знакомому, взяла билет и прошла на переднюю площадку. У неё были счастливые глаза. Раскрыв Чехова, она принялась за чтение, но читала не так внимательно, как прежде: поминутно отрывалась от книги и улыбалась мне, как безмолвному соучастнику важного события. Приближался «Цепной мост», и я забеспокоился... А на остановке девушка выпрыгнула из вагона, обернулась, приветливо махнула мне рукой и исчезла в толпе.

Кстати, на той остановке никакого моста не было – так называлось место, где запланировали построить подвесной настил через топкую

низину, но так и не построили, и горожане пересекали трясину по камням, так что название воспринималось насмешкой. Особенно слово «цепной».

СТАРАЯ РАЗВАЛИНА

Одно время я ужасно хотел разбогатеть. Не помню, с чего началось. Вроде бы я начитался книг о пиратах, но скорее – из-за постоянной нужды в нашей семье. Так или иначе, но целыми днями я искал клады: лазил по подвалам и чердакам, раскапывал каждое возвышение, копал с утра до вечера, точно обезумевший крот, и, естественно, испортил немало земельных гряд и садовых участков (после чего Кириллиха окрестила меня «бандитом»), но все мои поиски были тщетны. Казалось бы, это охладит любой пыл, но я настолько верил в конечную победу, что поражения только подстёгивали меня. Кроме предполагаемых близлежащих кладов, я уже намечал прибрать к рукам и более отдалённые – рассматривал географические карты, намереваясь посетить некоторые острова.

Многие возмущались моей деятельностью (не говоря уж о Кириллихе – та даже писала в милицию), кое-кто ядовито смеялся, но это меня не останавливало. Я был убеждён – рано или поздно сказочно разбогатею. Больше того, даже знал, на что потрачу богатство. Оставалось только его найти.

Иногда я так отчётливо видел россыпи драгоценных камней, что чувствовал головокружение; в такие минуты воображение уводило меня в мир роскоши, где я жил на широкую ногу, без всяких забот. Тогда я представлял раскаяние своих насмешников и видел их глаза, полные зависти. Разумеется, я надеялся, что вместе с богатством ко мне придут слава и власть (что, собственно, в порядке вещей). Поэтому часто воображал себя благодетелем, щедро одаривающим друзей и знакомых, а в ряде случаев и совсем незнакомых людей, если налицо было их восхищение мною, или хотя бы признание моих заслуг, или, на худой конец, просто симпатия. Крайне редко, но всё же видел себя миротворцем, прощающим своих врагов – не всех, конечно, а тех, у которых степень вины передо мной не превышала определённой нормы.

В то время каждая валявшаяся безделушка мне казалась потерянной драгоценностью, особенно если эта безделушка блестела. Почему-то я думал, что все ценности непременно должны сверкать. Но здесь я делал некоторые отступления и иногда собирал малоприметные на вид вещи, в расчёте на то, что со временем они могут представлять ценность: медные гвозди, латунную окантовку, свинцовые трубки, олово, пробки, фольгу. Все эти вещи я носил с собой, в карманах; в карманах же держал и руки. Мои сверстники тоже ходили, засунув руки в карманы, но просто из желания казаться взрослыми и независимыми, я же так ходил только для того, чтобы ежеминутно ощущать свои сокровища. Я с удовольствием и спал бы с ними, но они впивались в бока.

Каждый раз, увидев меня с оттопыренными карманами, мать грозила зашить их, и мне приходилось уговаривать её не делать этого. Бывало, карманы не выдерживали тяжести, рвались, и я терял что-нибудь из драгоценностей и каждый раз такую потерю воспринимал как катастрофу. Странно, но через два-три года все эти потери мне уже казались чепухой – такой поворот приободряет меня теперь, поскольку я и сейчас кое-что теряю. Правда, теперешние потери несоразмерны с теми, мальчишескими.

К двенадцати годам я перестал копать землю, но не потому, что отчаялся найти клад, а потому что узнал более доступный способ разбогатеть – получить наследство. С этой целью начал перебирать всех родичей, взвешивать их возраст и оценивать состояние, но быстро понял, что здесь мне рассчитывать не на что. Тогда я засел за теоретическую разработку вопроса о богатстве и довольно скоро открыл ещё несколько способов сколотить капитал. Кажется, в то время я сделал эти открытия одним из первых, но тем не менее их не замалчивал, а, наоборот, постоянно делился ими с каждым встречным.

Один из способов заключался в следующем: нужно купить породистую собаку и каждый год выращивать десяток щенков; потом продавать их по бешеной цене – через пару лет набирается приличная сумма. Были и другие, не менее стоящие мысли. Многие отмечали достоинства этих способов. Но некоторые всё же сомневались в их реальности. Кое-кто вообще называл меня «изобретателем чепухи», но именно эти

последние вскоре использовали мои идеи и сейчас преуспевают, совершенно забыв, кому обязаны успехом.

На нашей улице жил один старик. Девчонки звали его «мухомором», «брюзгой», «противным старикашкой», а мы, мальчишки, – «старая развалина». Нам он казался самым старым на свете, и что самое страшное – когда он рассказывал о временах своей молодости, мы никак не могли поверить, что он вообще был молодым. В самом деле, он представлял собой унылое зрелище: дряхлый старик с сиплым голосом, со множеством морщин и складок на лице. Глаза у него всегда были прищурены, и в них постоянно бегали какие-то иголочки. Когда я встречался с его колючим взглядом, мне казалось, что он не просто смотрит, а всё взвешивает и прикидывает.

Он очень много курил, просто не вынимал изо рта трубку; когда кончался трубочный табак, смолил всё подряд: папиросы, «козьи ножки» и толстые самодельные сигары, внутри которых виднелись кубики наструганного табака. Целыми днями он сидел на лавке перед домом и пыхтел трубкой. О нём говорили всякое, даже что он лунатик; будто по ночам, во сне, ходит по крыше дома и может летать. Одни говорили, что лунатиком он стал после того, как его сын пропал на войне без вести. Другие были уверены, что он вообще не имел сына и просто его в младенчестве осветил луч луны. Это последнее несколько скрашивало облик деда, но всё-таки не настолько, чтобы мы интересовались им. На нашей улице и без него хватало колоритных фигур.

Дед был разведённым; со своей старухой прожил пятьдесят лет, справил золотую свадьбу, а потом разошёлся. Разделил дом перегородкой надвое и благородно переселился в меньшую часть. В оправдание своего решения дед приводил разные доводы, чаще всего противоречащие один другому, и, главное, столько о них говорил, что все стали сомневаться в их истинности. В конце концов многие пришли к выводу, что единственной причиной развода была болтливость старухи, а дед сам любил поговорить.

Раз в неделю у него собирались старики с нашей и близлежащих улиц. Встречу старики отмечали «чаепитием», за которым больше всех ораторствовал дед. Среди стариков было немало любителей поговорить, но в гостях они всё же соблюдали приличие и в основном слушали деда. Но случалось, забывались, и тогда происходили инцидент-

ты. Начиналось с того, что какой-нибудь старичок затевал спор с соседом. В полемику вступал третий старикан, затем четвёртый, и вскоре в комнате поднимался гвалт. Тут уж дед не выдерживал: хитрые блёстки в его глазах уступали место ярости; охваченный боевым пылом, он швырял трубку на стол и выдавал сиплую брань, потрясая кулаками.

Когда все успокаивались, дед закуривал трубку и в его глазах снова появлялись хитроватые искорки. Иногда после затянувшейся словесной схватки его лицо неожиданно принимало виноватый вид, и было непонятно, то ли он смущён поведением друзей и тем, что снизошёл до словопрений с ними, то ли ему стыдно за минутную слабость, за то, что его покинула всегдашняя выдержка.

Обычно дед, как патриарх, восседал в углу на высоком табурете – он вообще любил сидеть повыше, возможно, для того, чтобы подчеркнуть свое старшинство и чтобы его приятели не забывали, кто возглавляет их сообщество. Но, скорее всего, угол был просто его любимым местом, как есть такое место у каждого хозяина. К тому же, ощущая за спиной стену, почему-то чувствуешь себя уверенней.

В начале собрания старики говорили о прошедшей войне, поминали погибших, затем распекали бесхозяйственность в нашем городке (что было сущей правдой – взять хотя бы цепной мост, который так и не построили), потом переключались на политику: сперва осторожно – на уровне местных властей, но постепенно, входя в раж, поднимались выше и громили областное начальство; случалось, доставалось и правительству, но об «отце всех народов» непременно говорили с почтением.

Под конец встречи старики говорили об одном и том же – о профессиях. Прослушав два-три выступления, дед закуривал, поднимал руку и, дождавшись тишины, начинал рассказывать о своей профессии водопроводчика.

– Водопроводчики народ особый, – говорил он. – У них перед глазами жизнь как на ладони. Отсюда и большой жизненный опыт.

Дальше дед совершал экскурс в историю водопроводного дела и, в форме справки, сообщал, как всё обстоит сейчас; при этом современных водопроводчиков называл халтурщиками, а о мастерах своего поколения отзывался с особой сердечностью.

Многие подтрунивали над сборищем стариков, а дядя так и вовсе смеялся:

– Бурунные стариканы! Если и мы будем такими, пусть смеются над нами.

Однажды, во время очередного «чаепития», дед подозвал меня и попросил сбегать в магазин «прикупить кое-что». Несмотря на мою неприязнь к нему, я согласился – нам всё-таки вдалбливали чтить старших. Вернувшись из магазина, я застал у деда всех его дружков; они уже прилично нагрузились и пребывали в блаженной расслабленности, и тут влетел я. Старики оживились, заулыбались и взялись наперебой судачить обо мне. Надо сказать, на нашей улице все знали, что я ищу клады, и старики в первую очередь – ведь они самые любопытные. На меня посыпались советы на все случаи жизни; я сразу услышал такое количество заповедей, что, если бы стал их придерживать, прослыл бы великим праведником. Основная заповедь звучала так: «Учти! С семи лет уже отвечаешь перед Богом за свои поступки... Но можешь и исповедаться...». Последним выступил дед, и в его глазах не было хитринок.

– Богатство, богатство! У меня ничего нет, кроме друзей, – дед обвёл седые и лысые головы широким жестом. – Но этим я и богат. А мои ученики, которые работают по всему городу?! У каждого кроме учителей должны быть ученики, – дед закурил и исчез в клубах дыма, потом возник снова: – Я вырос в Средней Азии! Там воды нет. Потому и стал водопроводчиком, что с детства люблю воду. В воде есть волшебство, – дед снова затянулся, а старики закивали:

– Деньги не должны быть главным в жизни... Достаток лучше богатства... Можно быть бедным и счастливым...

Выпустив дым, дед разогнал его рукой и продолжил:

– Сколько я на своём веку труб проложил, один Бог знает, сколько людей напоил. В этом и есть моё богатство... А фонтан в парке знаешь? Я делал... Ребятишкам там раздолье, купаются. А взрослым радость от красоты и прохлады. Это тоже моё богатство... А твои клады! Такие богатства не делают человека счастливым. Никакие богатства не сделают счастливым, если живешь только для себя... Деньги наполняют карманы, но не сердце...

Дед потушил трубку, высыпал в баночку пепел, поклонился и вышел на улицу. Было неясно, что означал этот поклон и кому он предназначался. То ли мне в назидание, как представителю безмозглого поколения, то ли своим друзьям, как ритуал закрытия их собрания. Впрочем, дед всегда красиво уходил, только в тот раз сделал это слишком рано – наверно, по ошибке, но это и простительно – он был чересчур взволнован.

Как ни странно, красивые и мощные сентенции деда возымели своё действие: с того дня мне стали глубоко безразличны богатые люди и даже деньги превратились почти что в фантики.

НА ДАЧЕ

Однажды меня отправили на дачу к тётё Груне. Мне было тогда двенадцать лет – как раз тот возраст, когда в каждого мальчишку вселяются вначале самовлюблённость и уверенность, потом какое-то смутное чувство, похожее на любовь. Я не был исключением, правда, у меня всё шло в обратной последовательности, и моё чувство было далеко не смутным.

В дачном посёлке жила худая светловолосая девчонка с задумчивой, блуждающей улыбкой и огромными тёмными глазищами, как два паука. Её настоящее имя было Юлька, но все звали её Тихоня, потому что она говорила слишком тихо. Юлька была такая красивая, что я боялся на неё смотреть, – чуть завидев её, сразу опускал голову. Если в тот момент Юлька и заговаривала со мной, я всё равно её не слышал, только видел, как двигаются её губы; а когда однажды Юлька прикоснулась к моей руке, я онемел, словно обмороженный.

Я и боялся Юльку, и в то же время меня тянуло к ней. И потому что она была красивой, и потому что смотрела на меня как-то загадочно... Я успокоился, только когда обнаружил, что Юлька плохо играет в футбол, а поскольку подходил к ней с меркой своих приятелей, то, естественно, и многие другие Юлькины достоинства сразу причислил к недостаткам: худобу и плавные женственные движения, любовь к музыке и цветам, и даже её улыбку. Я осознал своё заблуждение только через год (на следующее лето) и снова потянулся

к Юльке, но к тому времени уже немного отрезвел и чувствовал себя увереннее.

Юлька кроме красоты обладала ещё одним положительным качеством – умела слушать. Это было как раз то, что я ценил в девчонках превыше всего, потому что, повторюсь, был невероятно болтлив. В то время я спешил себя утвердить и каждому незнакомому человеку выкладывал всё, что знал, причём для большей убедительности надувался. В кругу знакомых, которые уже не раз слышали мои рассказы, обычно придумывал небылицы и опять-таки был в центре внимания.

Юльке я рассказывал о велосипедах. О сложном устройстве велосипеда, о трудностях управления машиной и сохранении равновесия, об опасностях, подстерегающих гонщика на каждом шагу. И Юлька всегда внимательно слушала. Прижмёт лицо к рейке забора, улыбается и слушает. Иногда я рассказывал какой-нибудь страшный случай из своей жизни, когда был на волосок от гибели, тогда улыбка с Юлькиного лица исчезала, а в глазах появлялись слёзы. Под конец, чтобы закрепить успех и взбодрить Юльку, я небрежно бросал:

– А вообще, водить машину несложно. Главное – не бояться синяков.

Я уже говорил, что на самом деле катался на велосипеде мастерски (это было единственное, в чём достиг успеха), довёл технику вождения машины до высокого класса; мог даже на ходу проделывать разные трюки. Но больше всего любил просто раскрутить педали и катиться «без рук». Легко, играючи, небрежно. Как-то, подражая дяде, я спросил Юльку:

– Знаешь, кто лучше всех ездит на велосипеде?

Я думал, Юлька будет долго гадать, но она сразу откликнулась:

– Знаю. Ты!

После этих слов я задрал голову, расправил плечи и ходил по посёлку, как петух.

Рассказывая Юльке про велосипеда, я заметил, что она перенимает кое-какие мои словечки и даже копирует жесты – это особенно притягивало меня. Как-то само собой я стал ходить за Юлькой, точно привязанный. Мой приятель Колька, тоже велосипедист, как-то сказал:

– Она морочит тебе голову, а ты ходишь за ней как тень (это он процитировал кого-то из взрослых).

Другой бы обиделся, а я нет – знал, что Колька мне просто-напросто завидует. Я видел и чувствовал – Юлька тоже нравится ему, и втайне ревновал её... Колька почему-то редко ко мне подъезжал, когда я был один, но стоило ему увидеть меня с Юлькой, сразу подкатывал:

– Здорово! Как дела?

И начинал болтать о велосипедах: какая там у него цепная передача или как он по ступеням крыльца съезжал.

– Уж помалкивал бы! – останавливал я его. – Что ты согласишь в передачах? По ступеням... ха-ха! Лапша, а не гонщик.

Прямых доказательств Колькиного увлечения Юлькой у меня не было, я подозревал его интуитивно, но, сравнивая себя с ним, быстро заключал, что он для меня не конкурент. Колька даже о велосипедах говорил как-то растянуто, и от этого казалось, что он не очень хорошо знает то, о чём говорит. Я же всегда почти орал, и мне думалось, Юльке было ясно, кто мастер своего дела.

С Юлькой связано много хорошего, но оно стёрлось в памяти. Почему-то всё хорошее мы воспринимаем как должное, и почему-то, когда хорошо, время летит незаметно. Отсюда, наверно, можно сделать вывод: если не заметил, как прошла жизнь, значит, прожил неплохо. Но кое-что всё-таки запомнилось. Однажды я предложил Юльке прокатить её на велосипеде. Она согласно кивнула, но, когда захотела влезть на раму, у неё ничего не получилось.

– Помоги мне! – попросила она.

Я нарочито глубоко вздохнул и посадил её. Это была моя первая галантность, и, хотя нас никто не видел, мне всё равно стало неловко перед самим собой.

Разогнав велосипед с Юлькой, я вскочил на сиденье и погнал в сторону от посёлка. В тот день было солнечно и жарко. Перед моими глазами, как пламя, трепетали Юлькины волосы, и виднелось её ухо, розовое, просвечивающее насквозь, как лепесток цветка. Мы катились быстро; цветы по краям дороги слились в сплошное пёстрое марево. Юлька сидела, вцепившись в руль, то открывая, то закрывая рот, – захлебывалась встречным воздухом. Она пицала от восторга и просила:

– Осторожней! Мы разобьёмся!

– Ерунда! Трусиха! – хрипел я и гнал сильнее.

Эта поездка осталась во мне маленьким праздником, жаль только, что Юльку не обмануло предчувствие и в конце пути мы грохнулись. Кажется, я засмотрелся на Юлькино ухо и не объехал булыжник. Юлька упала удачно: перелетев через руль, плюхнулась в куст орешника. А мне не повезло – врезался в дерево. Руль саданул меня в живот, и от боли я долго не мог открыть глаза и пошевелиться. Юлька подбежала ко мне, присела на корточки, стала тормозить, звать дрожащим голосом. Внезапно к нам подкатил Колька (постоянно таскался за нами) и стал делать мне искусственное дыхание.

– Без сознания! Но жить, наверно, будет, – поставил он диагноз.

После этих слов Юлька заревела, и эти слёзы были лучшим доказательством её преданности.

Плохое, как и хорошее, имеет обратную сторону. Тот случай убедил меня в Юлькиной любви, но и положил начало моему небрежному к ней отношению. С того дня мы часто катались на велосипеде, но уже не было того состояния лёгкости и новизны. Больше того, чем доверчивей и привязчивей становилась Юлька, тем больше черствел я: стал опаздывать на наши свидания, стал Юльке врать. Наверняка Юлька чувствовала, что я обманываю её, но заставляла себя верить, ведь поверить всегда легко, когда хочешь поверить. И только когда я совсем обнаглел и начал Юльке грубить, её гордость взбунтовалась, и она перестала со мной встречаться.

По недалёкости я не мог понять Юлькиной перемены, не мог догадаться, что каждая, даже самая сильная любовь должна всё время чем-то питаться, её постоянно надо поддерживать и, уж конечно, не разрушать.

Потеряв Юльку, я не очень огорчился; во-первых, потому что был прирождённым эгоистом; а во-вторых, потому что у меня появилась новая возлюбленная. Ещё когда мы с Юлькой катались на велосипеде, к нам часто подбегала девчонка с раскосыми хитроватыми глазами и веснушками, которые, по-моему, она подрисовывала. На шее у неё висело ожерелье – нанизанные на нитку ягоды рябины. У неё было странное имя – Севелина. Когда мы с Юлькой ездили на велосипеде по посёлку, Севелина часто стояла у забора и смотрела на нас с усмешкой, а иногда кричала какие-нибудь колкости:

– Липовый гонщик!

Или:

– Ну и парочка: гусь и гагарочка!

Я не обращал внимания, поскольку был убеждён, что Севелина так себе девчонка. Но однажды, когда я подруливал к тёткиному дому, Севелина подошла и спросила:

– Ты только Юльку можешь катать?

Я соскочил с велосипеда и несколько секунд осмысливал слова Севелины. Потом пробубнил:

– Кого хочешь могу.

– Тогда прокати меня. Сможешь? – Севелина прищурила глаза и как-то странно на меня посмотрела.

Я подкатил к ней велосипед, и она ловко вскочила на раму. Я заметил, что с Севелиной велосипед бежал гораздо легче, чем с Юлькой, и управлять им было намного проще. Севелина сидела на раме без всякого напряжения, чуть касаясь руками дужки руля. Она то и дело оборачивалась, смеялась и кричала:

– Быстрее, быстрее! – и болтала ногами, как бы помогая мне.

Я напрягался изо всех сил, мы неслись так, что ветер пузырил Севелинино платье, а мою рубашку просто срывал с тела, но Севелина только смеялась и совсем не трусила, в отличие от Юльки. Вот тогда-то я и понял, что Севелина совсем не хуже Юльки, а кое в чём даже лучше её.

Мы проехали с километр от посёлка и, развернувшись, покатали назад. Я подвёз Севелину к её дому, и несколько минут мы постояли молча, чтобы отдышаться. Севелина стояла рядом, я ощущал её дыхание и запах загорелой кожи и видел светлый, как иней, пушок на её щеках.

Отдышавшись, Севелина тихо сказала:

– Спасибо.

И вдруг приблизила своё лицо и поцеловала меня.

– До свидания... – еле слышно прошептала она.

Возвращаясь домой, я уже был уверен, что Севелина несравненно лучше Юльки, и ругал себя за то, что не видел этого раньше.

Это было одно из самых значительных и грустных открытий в моей жизни. В тот день я встал на путь всё увеличивающихся возможностей. Тогда я ещё не знал, что чаще всего эти возможности ведут к недолгой восторженности и последующему разочарованию. Но, встав однажды

на этот заманчивый путь, я так и не смог освободиться от этих иллюзорных представлений, и в этом вся непоправимость моего открытия.

Самым обидным тогда было то, что на другой день Севелина как ни в чём не бывало снова начала подтрунивать надо мной. Как будто между нами ничего не произошло. Я-то думал, что после поцелуя всё будет иначе. Настроился на серьёзную, долгую любовь, и вдруг – на тебе! Севелина оказалась легкомысленной девчонкой или, что хуже, коварной актрисой.

Я очень переживал. Даже заболел. Тётя несколько дней поила меня лечебными травами – решила, что у меня какая-то таинственная болезнь, ей и невдомёк было, что её беспутного племянника раздирают нешуточные страдания.

Поправившись, я стал делать вид, что Севелина мне безразлична. Встречая её на улице, демонстративно громко насвистывал и, пританцовывая, проходил мимо. Среди ребят строил ей рожи и грубил. Наверняка мне плохо удавалось казаться безразличным. Я слишком подчёркивал своё безразличие, и от этого всем было ясно обратное. Как ни крути, а всё неестественное, показное вызывает подозрение и выдаёт неуверенность в себе.

Через несколько дней Севелина подкараулила меня, когда я возвращался домой, и снова попросила прокатить на велосипеде. Я не смог перебороть себя и согласился. И опять мы совершили замечательную прогулку. Как и в первый раз, когда я отвёз Севелину домой, она тихо поблагодарила меня и поцеловала.

А потом Севелина вдруг прокатилась с Колькой на его велосипеде и дала мне повод для новых переживаний – всё было таким зыбким, неустойчивым, обманчивым, любая минута могла разрушить моё счастье или снова его вернуть.

Однажды мы сидели на брёвнах около её дома, у забора в белорозовых граммофонах вьюна. Был полдень, и сильно парило. Я водил пальцем по воздуху, а Севелина угадывала, что я рисовал. Вдруг она сказала:

– Знаешь что?! Давай поедem купаться на Мёшу?

Мёша находилась в пяти километрах от посёлка – небольшая река с потрескавшимся, вспученным слоем ила на берегах. Иногда среди ила проглядывали островки песка, заросшие лопухами. Мы выбра-

ли самую лучшую отмель. Разгорячённые от езды, кинули велосипед на песок и помчались к воде. Сбросив на ходу рубашку, я сразу влетел в воду. Севелина остановилась, сняла платье и прыгнула за мной. Я отчаянно колошматил по воде руками, булькал и кричал от удовольствия. Севелина то подплывала ко мне, смеялась и брызгала, то бесшумно отплывала, высоко держа голову над водой.

Накупавшись до синевы, до гусиной кожи, мы упали в белый сыпучий песок и долго неподвижно лежали; загорали под палящим солнцем и рассматривали жуков, карабкавшихся в осыпных воронках. Незаметно рука Севелины подползла ко мне под песком, и я от неожиданности вздрогнул. Севелина засмеялась, вскочила и, стряхнув песок, побежала собирать раковины от улиток.

Я решил смастерить шалаш. Натаскал прутьев тальника, воткнул их толстыми концами в песок, а наверху перевязал камышиной. Затем нарвал лопухов и закрыл ими остов шалаша – жилище получилось отменным, и я спустился к реке, чтобы похвастаться Севелине. Она сидела у кромки воды и прутиком выводила на иле: «Севелина + Лёша = любовь».

Потом мы сидели в шалаше и сквозь ветки смотрели на облака и стрижей, потом лазили по деревьям, бегали по лугу, играли в салки; после игры побежали в лес собирать ежевику и не заметили, как углубились в чащу и заблудились. Наш радостный настрой сразу угас. Между нами даже возникла небольшая перебранка с взаимными обвинениями в глупости.

Вскоре мы всё-таки вышли из леса и увидели речку в круглых кустах тальника. К этому времени солнце уже стало низким и таким неярким, что на него можно было смотреть.

Когда мы подошли к реке, в воду зашлёпали лягушки и от берега отплыла стайка мальков, напуганная нашими тенями. Мы думали, что спустились прямо к месту нашей стоянки, но оказалось, она осталась где-то в стороне.

– Наше место там! – я уверенно показал вверх по течению и пошёл по мелководью.

Севелина, поёживаясь, поплелась за мной. Она уже устала и медленно передвигала ноги; за ней от взбаламученного дна поднимались пузырьки и песчинки.

В верховье реки нашей стоянки тоже не оказалось. Тогда мы выбрались на берег и пошли назад, вниз по течению. Мы шли по мокрой от росы траве. Оборачиваясь, я видел, что глаза у Севелины часто моргали, а губы дрожали – она еле сдерживалась, чтобы не заплакать. Я чувствовал, надо сказать что-то хорошее, чтобы опередить её плач, но что – не мог придумать. И вдруг увидел – солнце почти спряталось за холмы, остался лишь маленький краешек.

– Смотри, Севелина! – я показал на далёкую затухающую полосу.

Севелина остановилась, и мы стали смотреть, как солнце прямо на глазах спускалось за горизонт. Когда оно совсем исчезло, я заметил – Севелина всё ещё всматривается в дымчатую даль, даже привстала на цыпочки.

В полной темноте мы всё-таки разыскали нашу отмель, но на песке ни одежды, ни велосипеда не было. Вокруг виднелись следы от сапог и валялись разбросанные ветви нашего шалаша. Я стал носиться от куста к кусту – был уверен, кто-то пошутил, припрятал велосипед и вещи. Но поиски оказались тщетными. Севелина села на песок, обхватила колени руками и заплакала. Я растерянно встал рядом.

Внезапно Севелина вскочила и побежала к далёким огонькам посёлка. Я ринулся за ней. Севелина бежала всё медленней, потом перешла на шаг. Она уже не плакала, только всхлипывала, а около посёлка совсем успокоилась и впала в какую-то печальную сосредоточенность. Я был сильно расстроен, да ещё злился на Севелину за малодушие и панику. Ну стащили у неё платье, ну и чёрт с ним. Я остался без велосипеда и то не ревел. Впервые за последние дни я вдруг вспомнил о Юльке. Вспомнил, как мы упали с велосипеда и как она тормозила меня и звала. До самого дома думал о Юльке.

...Спустя три дня тётя повезла меня к родителям. Из посёлка мы выехали на телеге, а на Мёше пересели в моторную лодку. Я пристроился на передней банке, моторист запустил двигатель, и лодка, задрав нос, заскользила вниз по реке. И вот тут, рассматривая многочисленные отмели у берегов, я вдруг увидел нашу потерянную отмель. Как и несколько дней назад, на ней среди лопухов возвышался наш шалаш, рядом валялся велосипед, платье Севелины и моя рубашка. Отмель выглядела точно так же, как в тот солнечный день, даже не смыло слова, которые Севелина писала на иле.

ЛИВЕНЬ В ЛЕСУ

Я считал, что меня постоянно все обманывают, причём одни дурачат на каждом шагу явно, грубо и беззастенчиво, другие втирают очки, краснея и заикаясь. По моим наблюдениям, только два-три человека меня не обманывали, но я был уверен – они просто ждут случая, чтобы как следует надуть. Так я думал, потому что был чрезмерно мнительным и потому что сам врал напрапалую. К тому же шпиномания во время войны коснулась и нашего городка и заронила немалую подозрительность в наши души.

На соседней улице жила одна бабка. Каждое воскресенье она брала корзину и уезжала в лес за грибами, но, что странно, – из дома выходила поздно, часов в девять утра, когда настоящие грибники уже возвращались. Не проходило и трёх часов, как старуха снова появлялась на улице, но уже с полной корзиной грибов, прикрытых листьями орешника. Грибы она привозила только белые и всегда чистые и ровные, один к одному.

Лес, в котором собирали грибы, начинался на окраине города в трёх трамвайных остановках от нашей улицы. В том лесу росли почти одни сыроежки. Редкие хорошие грибы – подосиновики, лисички, белые – обирали на рассвете заядлые грибники. А после воскресений, когда лес заполняли приезжие, исчезали и сыроежки. Поэтому обильный урожай бабки выглядел каким-то колдовством.

Первое время её полные корзины я объяснял простым везением, но, когда увидел их постоянство, заподозрил неладное. Я стал присматриваться к старухе и заметил в ней немало странностей.

Внешне она мало чем отличалась от других старушенций – была морщинистой и сгорбленной, с сухими, корявыми руками; одевалась, как и большинство её сверстниц, – чёрное платье, кофта и обыкновенный ситцевый платок. Но ходила эта бабка далеко не как все пожилые люди. Она не шаркала ногами и не стучала палкой, а как-то бесшумно кралась. Вначале я обращал внимание только на её простодушный взгляд и какую-то глуповатую улыбку. Встречая на улице знакомых, она кланялась с елейным видом и, если ей что-нибудь рассказывали, сосредоточенно слушала, наклонив голову набок, всё время поддакивая и кивая. Потом я стал подмечать, что при этих встречах бабка как-то

неестественно меняется. То изобразит ужас на лице: округлит глаза, приложит ладонь к щеке, закачает головой, заохает. А то вдруг впадёт в другую крайность: начнёт отворачиваться от собеседника, махать на него руками и хихикать беззубым ртом. Я стал всё больше убеждаться, что старуха тонко работает под наивную дурочку, а сама выуживает из людей разные сведения. Сколько раз я слышал, как доверчивый собеседник, пользуясь мнимым вниманием старухи, изливал ей душу, выкладывал всё, что наболело, а старуха прослушает то, что её интересует, потом вдруг украдкой отведёт глаза и на её лице появится такое спокойное выражение, какое может быть только у безразличного ко всему человека.

Правда, иногда она тоже что-нибудь рассказывала. Чаще всего о своём сыне, который жил, по её словам, где-то за городом, но почему-то никогда её не навещал. Каждый раз, рассказывая о нём, старуха всхлипывала и театрально прикладывала платок к глазам. Вся эта неестественность, фальшивость бабки, её постоянная игра и настроили меня против неё и навели на мысль, что она занимается какими-то тёмными делами. Ко всему прочему, бабка никогда не смотрела в глаза собеседнику, и это подтверждало мои подозрения.

Однажды в воскресный полдень, когда старуха возвращалась с полной корзиной, я изобразил на лице пронзительную понимающую усмешку и двинулся ей навстречу, предварительно нахлобучив кепку на лоб и засунув руки в карманы, чтобы придать себе устрашающий вид.

Заметив меня, старуха побледнела и перешла на другую сторону улицы. Этот её манёвр окончательно убедил меня в том, что она, боясь разоблачений, избегает наших встреч, и подумал: «Пора заявлять в милицию о бабкиных махинациях», но потом решил не спешить и собрать побольше улик, чтобы вывести на чистую воду не только бабку, но и её возможных сообщников. Короче, замахнулся на героический поступок.

Спустя неделю в воскресное утро я взял корзину, будто бы для грибов, и стал подкарауливать бабку. Как только она вышла из дома, я принял беспечный вид и, насвистывая, пошёл за ней. Пройдя всю улицу, бабка свернула в переулок и пружинящей, мягкой походкой направилась к трамвайной остановке. Я держался от неё на почтитель-

ном расстоянии, делал вид, что рассматриваю афиши, на самом деле всё время косился в сторону загадочной грибницы.

Когда показался трамвай, я ускорил шаг и в вагон вошёл одновременно с бабкой. Покупая билет, она заметила меня и сразу перешла на переднюю площадку. Всю дорогу она озабоченно посматривала в окно. На конечной остановке вышла из вагона и зашагала по дороге в сторону леса. Я направился за ней.

Было неясно, к каким неожиданностям готовиться, поэтому, как только мы вошли в горячий седой ельник, я решил особенно не рисковать и посвятить первую вылазку разведке.

В тот день сильно пекло и в глазах рябило от солнечного света. Воздух был жгучий и серебряный от пыли. По краям дороги виднелись лесные купавы и клевер. От цветов текло горячее испарение.

Пройдя ельник, бабка обернулась и, заметив меня, поправила платок и, прибавив шаг, затопала меж деревьев вдоль дороги. Я усёк – она решила поводить меня за нос и завести в глухомань, и, чтобы дать ей понять, что разгадал коварный замысел, подбежал к ней почти вплотную, а для большей убедительности ещё и запел марш. Это должно было означать: «Всё, милая бабуся, хватить притворяться, твоя песенка спета». Услышав мой голос, бабка пошла ещё быстрее, на ходу всё время поправляя платок. «Нервничаете, бабуся, – усмехнулся я. – Ничего не попишешь, плохи ваши дела, если за вас взялся такой человек, как я».

Увлёкшись погоней, я и не заметил, как ельник давно перешёл в густой сосновый бор. На мгновение задрал голову, я увидел качающиеся верхушки сосен – они жутко шумели. Опустив голову, я вдруг обнаружил, что бабка исчезла. Пробежал несколько метров, взгляделся в дорогу, но «грибницы» и след простыл. В меня вселился страх, я подумал – уж не причастна ли бабка к потусторонним силам, но тут же отбросил эту мысль и, расстроенный, поплёлся назад. Бабка оказалась хитрее, чем я думал. Стоило мне на минуту отвлечься, как она обвела меня вокруг пальца.

В следующее воскресенье я решил выследить её во что бы то ни стало. С раннего утра взял корзину и демонстративно уселся на скамью напротив бабкиного дома. Часов в девять, как обычно, она вышла, поправила платок и, увидев меня, прошепелявила:

– По грибочки, сынок, собрался? – и затрусил к трамваю. Я не отставал от неё ни на шаг.

День опять был знойный. Парило, и от раскалённой брусчатки струился горячий воздух; даже в тени стоял сухой и светлый жар.

На окраине старуха неожиданно свернула с дороги и пошла к лесу наискосок, через бледно-зелёные посевы овса. Я был не такой дурак, чтобы не понять, что это делается для отвода глаз, с целью запутать меня, но на этот раз решил быть осмотрительней и шёл за бабкой по пятам; «больше обманный номер не пройдёт» – цедил про себя. Несколько раз старуха оборачивалась и укоризненно качала головой, но мне уже было всё равно, уже надоела эта игра, и я упрямо маршировал рядом.

Когда мы вошли в лес, внезапно загрохотал гром. Потом солнце закрыла большая туча и на дорогу упали тяжёлые, как дробь, капли дождя. В лесу стало темно.

– Вернулся бы ты, сынок, – проямлила старуха, не оборачиваясь. – Гроза будет.

Я и сам подумывал о возвращении, но после этих слов, явно рассчитанных на то, чтобы от меня избавиться, решил перенести все лишения и довести героическое дело до конца. Здесь уже было задето моё самое любимое, мой престиж.

Неожиданно над лесом сверкнула молния, и так шарахнуло, что в воздухе закружили хвоинки. Потом послышался нарастающий шум, и на дорогу обрушился ливень. Я думал, старуха спрячется под дерево, но она только участила шаги. Я еле за ней поспевал. Идти было трудно, намокшая трава стала скользкой, к ботинкам липла глина и разная труха, то и дело я спотыкался о корни, ползущие через дорогу. А старуха как ни в чём не бывало семенила кошачьей походкой и только бормотала:

– Ну и сынок! Ну и сынок!

Дождь захлестал сильнее; казалось, сверху извергается водопад; перед глазами всё слилось в мелькающие серые полосы, точно кто-то невидимый штриховал и деревья, и дорогу. Я промок до последней нитки, в ботинках хлюпало, мокрая одежда неприятно прилипла к телу.

Но вскоре тучи над лесом разошлись, и вокруг разлилось море света. Сквозь листву ещё просеивались редкие капли, но от деревьев уже валил пар, и в лужах, как острова, плыли облака – я брёл прямо по лужам, разбивая облака вдребезги.

– Пронесло, слава Богу, – пробормотала бабка и сразу резко свернула на тропу. Я бросился за ней и через десять шагов увидел впереди сруб с высокой изгородью из горбыля. Внутри у меня что-то закололо, а ноги сами по себе остановились.

– Пошли, сынок, – обернулась бабка. – Обсохнешь и пойдёшь по грибы.

«Ну уж нет», – подумал я, и перед моими глазами сразу возникла шайка грабителей. Я замотал головой и сошёл с тропы. Старуха что-то проговорила и направилась к дому.

Сделав небольшой крюк, я подошёл к строению с другой стороны, присел под кустом и стал всматриваться.

Дом был необычный: между бревён вместо пакли виднелся мох, по крыше стелилась не черепица, а дранка, над окном висел лист фанеры с надписью: «Дом лесника Кузьмина». Даже для не посвящённого в дела старухи было ясно – надпись носит отвлекающий характер, поскольку единственный дом в лесу ничем другим быть и не мог. Но главное, дом огораживал высоченный забор, который, конечно, тоже неспроста был таким высоким. На этом мокром заборе, как манящий мираж, дрожала радуга.

Пока я сидел под кустом, листва подсохла, снова раскрылись цветы и над разнотравьем замелькали бабочки. О прошедшей грозе напоминал только поток в канаве перед домом, где плыла размытая трава. Я уже хотел вылезти из укрытия, как вдруг калитка в заборе скрипнула и со двора вышла лохматая собака; широко зевнув, она стала лениво чесать задней лапой за ухом.

За собакой показались старуха и высокий бородатый мужчина – он обнимал бабку и что-то говорил. Потом вдруг передал корзину, прикрытую листьями, и поцеловал старуху. Когда бабка отошла, мужчина окликнул её и попросил что-то захватить с собой в следующий раз. Старуха закивала, а мужчина добавил:

– И приезжайте пораньше, мама! Теперь, после дождика, много на беру!

Возвращался я в скверном настроении. Мне было жаль времени, которое потратил на обыкновенную бабку. Только подходя к дому, я немного повеселел. Наверно, до меня дошло, что всё-таки лучше жалеть о том, что было, чем о том, чего не было да и не могло быть!

ВИТАЮЩИЙ В ОБЛАКАХ

В детстве меня всё время тянуло к ребятам со странностями, к мальчишкам с фантазией, совершающим такие немислимые поступки, которые нормальному человеку и в голову не придут. Немногие отваживались дружить с такими, а меня к ним тянуло. Я думаю, потому что во мне сидел какой-то чёртик, который подталкивал к разным авантюрам, а скорее, потому что я сам был слишком нормальным, чтобы придумать что-нибудь необыкновенное.

В нашем классе было трое учеников со странностями – это по моим наблюдениям; многие считали, что их гораздо больше, а один даже – что все, кроме него. Он-то и являлся самым странным.

Его звали Игорь Межуев. Это был долговязый мальчишка с большими испуганными глазами. Он ходил утиной, переваливающейся походкой, вечно неряшливо одетый, весь в чернильных пятнах, с болтающимися шнурками, с торчащими в разные стороны волосами, жёсткими, как проволока. Шапку он носил задом наперёд; если нагибался, его ранец летел через голову; но, несмотря на ротозейство и неуклюжесть, по успеваемости он не вылезал из отличников, а по пению заслуженно носил звание «даровитый».

Говорят, талант – это прежде всего требовательность к себе и усидчивость. Ответственно заявляю – ни того, ни другого у Межуева не было и в помине – он всё схватывал на лету и никогда не корпел над учебниками, и пению нигде не учился, и вообще это своё «дарование» всерьёз не воспринимал.

Каждое утро Межуев заглядывал в класс и с усмешкой сообщал:

– Пришёл неряха, грязнуля и драчун Межуев!

После этих слов исчезал, но сразу же появлялся снова и тихо, крайне серьёзно, объявлял:

– А это пришёл я.

В таком двойном появлении как нельзя лучше отражалась его противоречивая натура.

Межуев был страшно горячим, невыдержанным и всё время каким-то возбуждённо-напряжённым – казалось, дотронься до него – и он взорвётся. С нами «фитиль» Межуев держался высокомерно, разговаривал в агрессивном тоне, при этом тряс головой, размахивал кулаками, а если кто-либо ему перечил, сыпал угрозы:

– Щас как дам – три раза в воздухе перевернёшься!

Или:

– Щас как тресну – мокрое место останется!

Приставучий, бесцеремонный, задиристый, он постоянно изводил нас криками и угрозами, правда, редко приводил их в исполнение, чаще после уроков извинялся перед теми, кому нагрубил, и делал это так искренне, что его нельзя было не простить.

На переменах Межуев неизменно вытворял всякие фортеля; в зависимости от настроения – а оно у него менялось каждую минуту – он то носился по классу и всё сшибал на своём пути, то подкидывал к потолку ранец и до того, как его ловил, успевал отбить чечётку (и кучу подобных штук – лишь бы привлечь к себе внимание); то раскрывал окно и выкрикивал всякие глупости прохожим (за эти художества не раз объяснялся с директором), то внезапно ни с того ни с сего забивался в угол и впадал в уныние, и тогда казалось, все его выходки – игра, он нарочно выглядит балбесом. Так или иначе, но после каждого звонка мы с интересом ждали, что он ещё выкинет, и не обманывались – его выходки становились всё зрелищней.

Во время урока, когда учитель объяснял новый материал, Межуев мог запросто улизнуть из класса (позднее перед директором оправдывался, что знал тему и не хотел попусту тратить время). И мог вообще объявиться в более старшем классе – потому что, видите ли, в своём ему «скучно» (на это директор только разводил руками).

В самом деле Межуев был на голову выше нас (в смысле знаний и умственных способностей), и рядом с его талантами наши таланты выглядели всего лишь мелкими способностями (при наших жутких потугах). Но и по диким выходкам, вспыльчивости и грубости он нас переплюнул. И что знаменательно – был страшно обидчив – чуть что надувал губы и вносил обидчика в список, кого надо отлупить. Но, как

я уже сказал, дрался считанные разы – обычно ограничивался тем, что после уроков вставал в стойку и колошматил воздух.

За чудачества Межуева наградили несколькими прозвищами, которые совершенно выводили его из себя: «вулкан», «ошпаренный», «растерявший винтики». Природа одарила Межуева кучей достоинств и недостатков, но начисто лишила чувства юмора – иначе он оценил бы свои прозвища, а не обижался на них.

Позднее по поводу обидчивости отец прочитал мне длинную лекцию, которая в сжатом виде выглядит приблизительно так: всякая повышенная ранимость идёт не от чувствительности, а от чрезмерного самолюбия, а то и от ущербности. Отец приводил пример: нормальный человек хотя бы задумывается над замечанием, в какой бы грубой форме оно ни было сказано, и, если в этом замечании есть доля здравого смысла, принимает к сведению (имелся в виду врач профессор); себялюбец, не задумываясь, отвергает любое замечание и защищается в поте лица (имелся в виду дядя); а невежда даже невинное замечание встречает в штыки, по принципу «сам дурак» (имелся в виду, естественно, я).

Вторым «странником» слыл Володя Сорин – толстый, с круглым румяным лицом, на котором нелепо торчал длинный острый нос. Несмотря на тучность, Сорин был на редкость ловким: мог с разбегу сделать несколько шагов по столбу электропередачи (этот трюк никто не мог повторить) и легко перепрыгивал через заборы (в школу он никогда не ходил по дороге – всегда дворами, через изгороди).

Сорин приехал из другого города и появился в классе к концу учебного года; как только вошёл в класс, все захихикали и каждый мысленно стал придумывать ему прозвище, но он всех опередил:

– Во какой я бочонок! Чучело! Пугало! Бармалей! Я буду первым толстяком в школе! Ха-ха!

Все заулыбались, обезоруженные. Мы привыкли смеяться друг над другом, но чтобы смеяться над собой?! Такое видели впервые.

– Я буду самым толстым дядькой в мире! – кричал Сорин на перемене. – А до школы я был тощий, как Кощей. Меня разносит от знаний!

Класс заливался, а Сорин потихоньку куда-то исчезал. Только однажды я бросился на поиски и нашёл его в подвале плачущим. С тех

пор я знаю, что не всякое самоутверждение есть признак уверенности и силы – иногда это и защита от незащитности.

Как и Межуев, по успеваемости Сорин был одним из лучших, но, в отличие от безалаберного Межуева, которого директор не раз обещал отчислить из школы (разумеется, только запугивал, прекрасно понимая, что у яркой личности, как правило, характер не подарочек), Сорина ставили нам в пример как «прилежного, умного» – эдакого носителя культуры. Понятно, любимчики учителей не пользуются уважением ребят, но Сорин являл исключение. Доброжелательный и весёлый (на людях), неиссякаемый на выдумки (вроде взбегания на столб), он ко всему прочему был невероятно начитанный – рассказывал такие истории, от которых перехватывало дыхание и немело сердце.

– Когда ты успел всё это прочитать? – как-то спросил я.

– Успел, – Сорин понуро опустил голову. – Я наврал, что до школы был худой. Я с рождения такой. Ребята надо мной смеялись, звали Жиртрест, ну я и стеснялся выходить на улицу. Ребята играли в футбол, купались на речке, а я читал книжки, шастал по библиотекам.

В силу своей толстокожести я не оценил откровения Сорина и продолжал, как все, с неосознанной жестокостью подтрунивать над его внешностью. В то время я не знал, что такое комплекс неполноценности, и не догадывался, какие формы он может принять. Но что помню точно – благодаря Сорину наконец открыл книги. А об его «уродстве» вспомнил позднее, когда сам начал страдать от худобы, но здесь уже дядя объяснил мне что к чему, и объяснил со знанием дела, поскольку сам был контуженый и раненый.

–...Глупо стесняться своих физических недостатков. Надо выжимать из них максимум, чтобы они как бы работали на твой облик в целом. Некоторые выпячивают свои недостатки. Возьми калек-нищих и прочих ущербных людей. Они спекулируют на чужом сострадании. Такое отрицательное изумление. А некоторые обращают недостатки в достоинства, гордятся ими, как фирменным знаком... Возьми очень высокую девушку, которая сильно переживает, что к ней не подходят парни. Она идёт в волейболистки и становится знаменитой спортсменкой, и у неё отбоя нет от ухажёров. Такое положительное изумление...

Кроме Межуева и Сорина в классе было ещё несколько ребят со странностями и даже одна девчонка с зелёными глазами. Ее звали Колдунья, потому что она угадывала отметки:

– Я предсказываю тебе сегодня тройку.

Или:

– Мне видится твоя двойка.

Она была вообразалой и недотрогой, и круглой отличницей, первой ученицей в классе (плакала, если получала четвёрку, что выводило меня из себя, ведь я не расстраивался, если получал и двойку, и, понятно, её «несчастья» считал радостью). Теперь-то мне кажется, что основная её странность состояла в том, что она притворялась странной, а в действительности была нормальнее нас всех. Наверно, ей просто нравилось строить из себя загадочную фею (да и какой девчонке не хочется выглядеть таинственной?), но то, что она обладала сверхъестественной интуицией, – это факт.

И всё же самым необыкновенным в классе был Алексей Ялинский, застенчивый паренёк, с которым я мечтал сидеть за одной партой. Его интеллигентное лицо выражало чистоту помыслов, а голубые близоручие глаза – святую простоту, доверчивость, наивность. Среди ребят он держался предельно скромно, старался быть в тени, никому не навязывал своего общества, больше слушал, чем говорил, и никогда не смеялся, а если и радовался, то как-то печально. Он сидел на первой парте у окна, постоянно задумчиво смотрел в одну точку и чему-то улыбался. Всякий раз, вызывая Ялинского к доске, учитель по пять раз повторял его фамилию, прежде чем он поднимался. В классе шумели:

– Яля, тебя! Очнись! Опустись на землю!

Ребята посмеивались, подмигивали друг другу. Ялинский вскакивал, смущённо теребил пуговицу, что-то бормотал в оправдание. Зная о своей рассеянности, он как-то договорился с соседкой, великаншей Олей, чтобы она толкала его, когда он «размечтается», но при первом же Олином толчке очутился на полу, а поднявшись, отругал её, начисто забыв о договоре.

Говорил Ялинский тихо, но, когда выходил к доске, в классе наступала тишина; все откладывали «свои дела» и слушали – так захватывающе он рассказывал. Начинал как снег на голову:

– Я по учебнику урок не знаю. Знаю по другим книгам.

– Что ж с тобой поделаешь, рассказывай! – вздыхал учитель и склонился к журналу.

Ялинский заводил бессвязную говорильню и не о сути дела, а о предыстории с многочисленными отступлениями в сопутствующие области. Подбираясь к теме, распаялся и, не повышая голоса, говорил вдохновенно и быстро, точно боялся не успеть высказаться полностью; его лицо покрывалось пятнами, руки рисовали в воздухе разные образы – он завораживал весь класс; точнее, гипнотизировал, ведь даже когда плёл явный вымысел, ему верили. Самым непонятым во всём этом было то, что на перемену мы выходили обалделые – никто не мог вспомнить, о чём он говорил, – какие-то обрывки фраз, полусказочные картины, и ничего больше.

Во время сочинений все подглядывали в учебники, Ялинский не заглядывал никогда и опять-таки писал не сочинение на заданную тему, а что-то вроде отвлечённой новеллы. Во время решения задач он всякий раз выводил новые формулы – учителя только ахали.

Вне школы Ялинский был ещё более чудаковатым. Например, постоянно терялся. Идёт, допустим, класс на выставку, он тоже где-то в конце болтается, вдруг бац! – Яли нет. Ищут всем классом. А он, оказывается, где-то разглядывает цветок.

Ялинский любил тихие переулки, музеи – то, что на меня наводило тоску, и всё же я постоянно искал общения с ним, прежде всего за его способности. Он мог, например, заглянуть в технический кружок, где ребята ломают голову над какой-то проблемой; подойдёт, мельком взглянет и на ходу бросит неожиданное и прекрасное решение – и главное, такое простое, лежащее на поверхности, что у всех глаза на лоб лезли – почему сразу до этого не додумались. И так сплошь и рядом. Над чем бы кто ни бился, подойдёт и легко, не напрягаясь, бросит находку и невозмутимо отойдёт.

С самых начальных классов Ялинский отличался замкнутостью и ни с кем не дружил. Что только я не делал, чтобы добиться его расположения: пускал голубей в классе, рисовал на доске чёртиков – все смеялись, а Ялинский молчал. А ведь я для него старался, его хотел удивить шальными проделками и без конца рассказывал ему о неограниченных возможностях валять дурака у нас во дворе. Целыми днями я мая-

чил у него перед глазами, но он меня не замечал. Только однажды, когда я и не рассчитывал на его внимание, он меня оценил.

В тот день я притащил в класс обычные куски вара. Ни на кого они не произвели особого впечатления, но Ялинского привели в восторг (он был коллекционер – постоянно таскал в карманах какие-то травки и жуков; жуки то и дело вылезали из карманов и ползали по его рубашке, а травки он растирал в ладонях и нюхал).

– Ух ты! – подскочил Ялинский ко мне в тот день. – Чёрные зеркала! Где достал?

– Стянул на стройке, – просто ляпнул я.

– Как стянул? – удивился Ялинский (он был честен и простодушен до смешного). – Взял без спроса?

Я кивнул.

– Но ведь это нечестно!

Тут уж я не вытерпел:

– Ты, Яля, совсем того! – я покрутил пальцем у виска и отошёл.

Неожиданно Ялинский поплёлся за мной; сморщив лоб, он о чём-то думал. Потом выдавил из себя:

– Вообще-то я не прав. Это для нас ценность, а для них мелочь, правда? – он внезапно схватил меня за руку: – Знаешь что! Пойдём после школы ко мне? У меня есть кое-что интересное.

Ялинский жил с тёткой (его родители погибли на фронте). В домашней обстановке Ялинский оказался намного раскованней, чем в школе: показал мне коллекцию камней и подробно рассказал о каждом камне. Потом вытащил из-под дивана папку с рисунками (в школе он считался признанным художником – без его оформлений не обходился ни один праздник; я был у него подмастерьем) и показал иллюстрации к прочитанным книгам, и карандашные наброски зверей, и рисунки доисторических чудовищ. Особенно впечатляли морские акварели, где терпели кораблекрушение матросы, а царь Нептун уже ждал их на дне.

Показывая рисунки, Ялинский не умолкая говорил, закатывал глаза к потолку, теребил шевелюру, а убрав папку, вдруг спросил:

– Ты любишь музыку?

Я кивнул:

– Люблю марши.

Ялинский достал из шкафа продолговатый футляр, открыл крышку, и его лицо засветилось – в футляре лежала скрипка. Он долго настраивал инструмент, тёр смычок канифолью; я мужественно делал вид, что сосредотачиваюсь, напрягаю слух. Наконец «маэстро» закрыл глаза и заиграл. Вначале что-то грустное: с застывшей улыбкой медленно водил смычком и раскачивался. Потом улыбка с его лица исчезла, брови на лбу сошлись, пальцы левой руки быстро забегали по грифу, а смычок стал выделять отчаянные скачки. Спокойная мелодия превратилась в бурный каскад звуков. Он играл песню «Весёлый ветер»; красный от напряжения, тряся, вскакивал на носки и приседал, закручивая мелодию в неистовую карусель. И внезапно оборвал её на самой высокой ноте и плюхнулся, обливаясь потом, на диван, измученный и опустошённый. Я стал спрашивать его, что он играл вначале, а он смотрел на меня, но ничего не слышал – был весь там, в музыке.

С того дня мы подружились и дали клятву – дружить до конца наших дней, а чтобы действенной скрепить обещание, обменялись дорогими вещами: Ялинский подарил мне чернильницу-непроливайку и перо рондо, я вручил ему настенный календарь.

Ялинский основательно привязался ко мне, ведь я был его единственным другом. До этого он видел только похлопывание по плечу и усмешки, и вдруг моё навязчивое внимание. Наша дружба развивалась стремительно и была не просто близким приятельством, а настоящим братством. Мы вместе делали уроки (и я поражался, как ему всё легко даётся), ходили в кино на трофейные фильмы и на выставки в краеведческий музей, вместе рисовали (под его руководством я прошёл начальный курс грамотной живописи – эти уроки являлись украшением нашей дружбы). Ялинский научил меня строить планеры и собирать парусники в бутылках, при этом особо нажимал на «простоту»:

—...Надо стремиться к простоте, к колесу. Простая вещь – прочная вещь. Чем сложнее механизм, тем быстрее сломается...

Это были бесценные советы, я запомнил их на всю жизнь.

Я тоже кое-чему научил своего друга: выделять пируэты на велосипеде, удить рыбу – но, конечно, мои уроки не идут ни в какое сравнение с его, драгоценными. Впрочем, кто знает, быть может, я помог Яле заземлиться, иначе он так и остался бы на облаках.

Ялинский был верным, надёжным другом. Когда меня учителя ругали, он прямо сжимался от боли, когда же хвалили (редчайшие случаи), радовался больше меня самого: поминутно ёрзал на парте, толкал великаншу Олю локтем и шептал ей в ухо:

– Вот молодчина, а? Мой друг, ты знаешь?

Ялинский совершенно не умел скрывать свои чувства. Когда однажды я пришёл к нему чуть позже, чем мы условились, он встретил меня тревожным голосом:

– Ну что же ты так долго?! Весь вечер тебя жду. Я уж думал, случилось что, – от волнения он даже заикался.

Как-то Межуев внёс меня в список своих жертв. Я-то знал цену его угрозам и посмеивался, но простодушный Ялинский, узнав об этом, побагровел.

– Вычеркни сейчас же! – набросился он на грозного противника.

Межуев не ожидал такого напора от «тихони Яли» и в растерянности достал карандаш и вычеркнул мою фамилию.

В восьмом классе Ялинский уехал из нашего городка. В день отъезда прибежал ко мне, запыхавшись, и подарил коллекцию камней и все свои рисунки. Я проводил его до трамвая, и он долго махал мне рукой с последней площадки вагона.

Только теперь, через много лет, я понимаю, что Ялинский был моим самым искренним другом. Теперь он стал известным художником, и я горжусь, что в то время, ещё мальчишкой, угадал в нём необыкновенного человека. Правда, мне немного стыдно, что тогда его странность я называл не совсем так, как она этого заслуживала.

МАЛЕНЬКИЕ И БОЛЬШИЕ ОБИДЫ

Недалеко от нашей улицы начиналась окраина города, где основными достопримечательностями были: свалка, каморка утильщика, москательная лавка и склад военного снаряжения, перед которым постоянно вышагивал охранник. Там же, на окраине, зимой заливали ледник – слой за слоем наращивали водой из шланга, а чтобы вода не стекала, делали барьеры из опилок, которых не жалели. Ледник сохранялся до середины лета, его использовали как «хладокомбинат» –

куски льда развозили по овощным базам и магазинам. Ну а для нас, естественно, ледник был лучшим в мире катком. Мы прикручивали коньки к валенкам и играли в хоккей с «мячом» (консервной банкой).

У меня были разные коньки: один – «английский спорт» – его я нашёл на свалке, второй, «снегурку», мне подарил Вовка. Первое время я сильно «хромал» из-за разной высоты коньков, но потом приспособился и даже обнаружил, что мои ограниченные возможности могут быть и преимуществом. Например, во время игры я мог на одной «снегурке» с ходу развернуться на 180 градусов – такой финт не каждый мог сделать на обычных «спотыкачках».

Однажды мы, как всегда, играли в хоккей; те, у кого не было коньков, катались с горы: плюхались на лист фанеры и неслись по извилистому ледяному жёлобу; ребята помладше (в их числе и мои сестра с братом) выкапывали в сугробах лабиринты, устраивали «тайники из хрусталя» (льдинок).

Неожиданно к военному складу подкатил грузовик; вышли солдаты, стали разгружать металллом; охранник, напуская на себя повышенную строгость, крикнул ребятам, копошившимся в снегу:

– А ну, пацаны, быстро отошли в сторону!

Мой брат с досады, что ему портят игру, запустил льдинку в воздух, но не рассчитал, и льдинка упала на заиндевевшее железо.

– Ну всё! – гаркнул солдат. – Сегодня же доложу лейтенанту. Вы из какого дома?

– Вон из того, – моя сестра показала пальцем, а брат не мешкая припустился от склада.

Вечером отец сказал, обращаясь к сестре с братом:

– Вас вызывает лейтенант, начальник склада, – сказал спокойно, точно имел какую-то особую информацию.

Сестра с братом притаились, а отец невозмутимо продолжил:

– Ничего не попишешь. Придётся идти, – и обратился ко мне: – Проводишь их?

Я кивнул, мне и самому было интересно, чем закончится эта история.

Утром по пути в школу я повёл своих младших к складу; сестра всхлипывала, брат тревожно сопел.

В приёмной лейтенанта стояла лавка, а в углу на табурете блеснул бачок с кружкой на цепочке. Когда мы вошли, из соседней комнаты выглянул кудрявый офицер и, изображая праведный гнев, спросил:

- Больше военную технику портить не будете?
- Не-ет! – разногласно пропели мои младшие.
- Тогда входите!

Сестра с братом переступили порог... на полу красовались игрушечная легковушка и кукла с большими глазами.

- Забирайте! Ваше! – сказал офицер, а мне подмигнул.

Кудрявого офицера звали Пётр Николаевич; с ним связан ещё один зимний эпизод. Как-то фантазёр Ялинский, в пик нашей дружбы, придумал потрясающую вещь – самодеятельный театр. Он взялся за дело рьяно: сколотил труппу, в основном из дошколят (в неё вошли и мои сестра с братом), подобрал пьесу, мне поручил делать декорации из фанеры и тряпья, сам осуществлял режиссуру. Репетировали на кухнях – то в одном доме, то в другом, при этом Ялинский предельно вежливо спрашивал жильцов:

– Вы не будете возражать, если мы на кухне недолго порепетируем? Очень тихо?

Надо сказать, «мелюзга» с энтузиазмом и добросовестностью относилась к своим ролям и, разинув рот, ловила каждое слово «режиссёра». Когда спектакль был готов, встал вопрос: где играть? Ялинский и здесь оказался на высоте – предложил обратиться за помощью к Петру Николаевичу. Он сказал просто и убедительно:

- В армии самые находчивые люди, и у них есть всё.

Мы ввалились в приёмную лейтенанта всей труппой. Он ничему не удивился и, будучи человеком с юмором, прежде всего выяснил, кто у нас главная героиня.

- Эй, Алька, где ты там? – бросил я «артистам».

Вперёд вышла пятилетняя пигалица и объявила:

- Я!

– Ну тогда всё ясно, – кивнул Пётр Николаевич. – Поможем. Поговорю с директором клуба хлебозавода. А для гастролей – я надеюсь, вы покажете свой театр и в других местах – выделим автобус и грузовик для декораций.

Пётр Николаевич действительно договорился с директором клуба, и нам «забили» один из воскресных дней для спектакля. Но накануне на заключительной репетиции (в нашей кухне) Кириллиха сказала:

– Ничего у вас не получится... Не позорьте своих родителей.

Заметив, что мы сникли, она пояснила назидательным тоном:

– Театром должен руководить настоящий артист. У меня есть племянница. Она занимается в драмкружке, идите к ней. Если уговорите, она вам поможет.

Её племянницей оказалась двенадцатилетняя высокомерная, напыщенная девица; она явно страдала манией величия и встретила нас нескрываемо сухо; провела в комнату, уселась на стул, закинув ногу на ногу, и произнесла «поставленным голосом»:

– Покажите отрывок из вашей пьесы.

Наши артисты стушевались, но всё же кое-что изобразили.

– Не годится! – возвестила девица и дальше надменно стала разбивать нашу постановку в пух и прах.

Кончилось всё это тем, что она отстранила Ялю от режиссуры, мне приказала переделать декорации, главную роль забрала себе (Алька с рёвом убежала), а в остальной «труппе» закрутила такие интриги, до которых и взрослому театру было далеко. Но самое печальное – она превратила наше, пусть дилетантское, наивное, но чистое и искреннее «искусство» в правильные штампы, которым её обучали в драмкружке. И уж совсем поступила коварно, когда в день спектакля заявила, что «плохо себя чувствует и спектакль придётся отменить» (по всей видимости, её прихватила «звёздная болезнь»). А ведь мы уже написали объявление, изготовили пригласительные билеты...

У лейтенанта Петра Николаевича была «дама сердца» – тётя Даша, стрелочница с зелёным и красным флажками. Будка стрелочницы находилась у переезда, где дорогу пересекала железнодорожная ветка, тянувшаяся по окраине. Целыми днями тётя Даша подметала дощатый настил, протирала шлагбаум и сигнальные огни, и приветливо здоровалась с нами по два раза – когда мы шли в школу и когда возвращались из неё.

Маленькая, худая, косоглазая, тётя Даша в войну потеряла мужа и растила двоих малолетних детей. Было доподлинно известно, что раньше она работала на хлебозаводе, но после войны к ней стал на-

ведываться вернувшийся с фронта лейтенант Пётр Николаевич. Жена лейтенанта, сутулая, нескладная женщина с вытянутым подбородком (её звали «Лошадиная голова»), постоянно пилила мужа за «постыдные визиты к косоглазой Дашке», на что Пётр Николаевич (совершенно правдиво) говорил:

—...Хожу не к ней, а к её детям. Ей одной тяжело растить детей, и я приношу мелкие подарки.

Эти благородные доводы не успокаивали жену лейтенанта: детей у них не было и, вероятнее всего, она ревновала мужа не столько к «Дашке», сколько к её детям. Так или иначе, но однажды жена лейтенанта нажаловалась на мужа его начальству. Петра Николаевича понизили в звании (до младшего лейтенанта) и с места службы перевели на склад снаряжения. А тётке Даше на хлебозаводе вынесли «общественное порицание», после чего она уволилась и перешла работать на железную дорогу.

Доподлинно неизвестно, но, по слухам, после этого случая у лейтенанта со стрелочницей и в самом деле начался тайный роман, как говорят – «назло всему и всем».

ДОРОГА НА НЕБО

Летом мы часто рыбачили. Иногда на речку ходили через кладбище по узким аллеям, заросшим акацией и плодами брызгалки «болиголова». Перед входом на кладбище калеки-нищие просили подаяние; многие говорили, что одни из этих нищих – пьяницы, а другие – миллионеры; будучи подозрительным, я верил во второе.

Сразу за входной аркой кладбища стояла церквушка с блестящими луковичами куполов, над которыми, как бумажный сор, кружили вороны. Перед церквушкой обычно сидел поп с богомольными старухами. У попа была длинная, запылённая снизу ряса, редкая, в серебристых кольцах борода и близко поставленные глаза; на его губах, как змейка, играла ехидная ухмылка. Я никак не мог понять её смысла; одно время мне казалось – он мнит себя всепонимающим мудрецом, но потом понял – его рот просто свела судорога от каждодневного бормотанья заученных фраз.

За церковь начинались аллеи кладбища. Первые места около церкви считались лучшими; здесь изгороди окаймляли довольно приличные территории, некоторые размером с волейбольную площадку – за их решётками высились склепы, холодные мраморные изваяния, надгробья и плиты с фотографиями, посвящениями и венками из железных цветов. По мере удаления от церкви огороженные квадраты для усопших уменьшались, а на окраине, над обрывом к реке, были уже такими крохотными, что, похоже, в них хоронили стоя.

Много раз я видел похороны, но слово «смерть» до меня не доходило; моя жизнь только начиналась, и, казалось, ей не будет конца. Во всяком случае, я не мог поверить, что когда-нибудь умру. Погибнуть – ещё туда-сюда, это ещё мог представить, особенно геройски и при свидетелях. Но просто умереть – ни за что! Я был убеждён, что буду бессмертным или, по крайней мере, проживу дольше всех.

Наверное, именно этим объясняется моя тогдашняя бесшабашная храбрость. Мне ничего не стоило броситься вниз головой в незнакомый омут или влезть на нашу высоченную березу и раскачиваться на тонких ветвях; я был уверен – надо мной постоянно витает ангел-хранитель. Ну а ребята, естественно, не сомневались, что я отчаянный смельчак. Такое положение меня вполне устраивало. Больше того, я догадывался, что восхищение надо поддерживать, и с этой целью время от времени выкидывал какой-нибудь трюк, рассчитанный на публику: влезал по водосточной трубе на крышу двухэтажного дома или на карнизы верхнего этажа.

Мои восхождения пользовались огромным успехом у прохожих, ведь я не просто лез, а ещё и играл на нервах у зрителей: то, делая вид, что соскальзываю, эффектно замирал в воздухе и висел на одних руках, то закрывал глаза и раскачивался – притворялся, что теряю сознание. Эти театральные сцены производили сильное впечатление – как-то я чуть не отправил на тот свет от сердечного приступа свою мать.

Однажды, чтобы закрепить за собой славу храбреца, я объявил, что ночью пройду через кладбище. Это считалось равносильным самоубийству: среди мальчишек только и говорили о разных духах и шапотающихся по ночам мертвецах.

В ту полночь приятели проводили меня до входной арки, подождали, пока я дошёл до церкви, и побежали вокруг кладбища встречать меня у реки.

Как только я вошёл в аллею, меня обволокла густая тьма с сырým могильным запахом; от мраморных плит и крестов повеяло таким холодом, что меня начало знобить. На мгновение я пожалел о своей затее, но, вспомнив про ангела-хранителя, пересилил страх и пошёл в темноту.

Чем дальше я углублялся, тем становилось холоднее и сильнее сгущалась тьма; но главное, над всем надгробным царством стояла жуткая тишина. То тут, то там лопались перезревшие стручки акаций, и звук падающих горошин казался какими-то голосами из-под земли. Несколько раз мне чудилось, что за могильными холмами кто-то прячется, но каждый раз я вовремя вспоминал о своём бессмертии и успокаивался.

Я уже прошёл половину кладбища, как вдруг услышал сбоку какое-то цоканье – по спине сразу побежали мурашки. Остановившись, я напряг слух. Цоканье приближалось. Теперь я уже отчётливо различал ещё и чьё-то дыхание – глубокое, тяжёлое, с хрипотой. Меня затрясло. Собрав все силы, я в панике припустился в сторону реки, но, пробежав и десяти шагов, споткнулся о какую-то железку и упал, а когда поднялся, цоканье раздалось в двух шагах. Заледенев от страха, я закрыл лицо руками и замер. Кто-то огромный затоптался вокруг меня. Я чувствовал ветер, гуляющий по ногам, совсем рядом ощущал чьи-то тяжёлые вздохи, но открыть глаза не мог. И только когда моего лица коснулось что-то горячее, я с криком отпрянул и почти хлопнулся в обморок, но увидел перед собой... лошадь! Она стояла рядом, со спутанными передними ногами, и обмахивалась хвостом.

Тот случай окончательно убедил меня в бессмертии. После него я натворил особенно много глупостей и, главное, стал закоренелым лентяем, то есть ничего не делал в расчёте на уйму времени впереди. Только однажды наконец понял, что бессмертие зависит не от количества прожитых лет; что можно «вечно жить» благодаря личным достоинствам или работам, которые остались после тебя. Всё это мне доходчиво объяснил сапожник дядя Игнат, фронтовик, одноногий калека.

Он сидел на углу нашей улицы – полный, много курящий, кашляющий, с блестящими озорными глазами. Дядя Игнат был мастер высокого класса; починенная им обувь носилась гораздо дольше отремонтированной в мастерских. И потом он всё делал красиво: над обу-

вью подолгу корпел, отмачивал в воде, чтобы кожа стала эластичной, подгонял кусочки по цвету, строгал специальные распорки. В каждый ботинок, в каждую туфлю он вкладывал всю душу, как будто они были его последними шедеврами. Он был человеком каких-то высших неписанных правил. Правда, за свою работу установил несколько больший тариф, чем в мастерских, но, по-моему, это было справедливо, ведь он работал не только ради одних идеалов, но и содержал огромную семью. И потом каждая хорошая работа стоит больше всяких денег.

Восседал на табурете он царственно: почти не меняя положение корпуса, чудодействовал одними руками. И, если я стоял рядом, что-нибудь рассказывал. От его тихого голоса, от неторопливой манеры говорить, от всего его облика веяло каким-то теплом, уверенностью и силой. Каждое утро я подходил к его будке, и он сразу мне кивал:

– Здравствуй, Алексей!

Он никогда не говорил просто «здравствуй», всегда называл по имени. Как-то поздоровался и спрашивает:

– Чтой-то ты сегодня такой развесёлый?

– Да так. Все боятся смерти, а я ни капельки, – и дальше начал хвастаться своими подвигами.

Дядя Игнат слушал, улыбался, потягивал воду из бутылки в плетёнке и работал – вгонял в башмак гвозди один за другим. Потом закурил, начал кашлять, краснея от натуги, и вдруг сказал:

– Всё живое рано или поздно умирает. Но чего об этом думать-то. Особенно тебе... Надо стараться с пользой жить, и всё. Делать своё дело. И быть честным. Вот и весь секрет... А сначала понять, к чему ты больше способен, выбрать правильный путь и трудиться... Каждый к чему-нибудь способен, хотя часто об этом и не знает. А вот какой-нибудь случай поможет или хороший человек заметит. А дальше уже всё зависит от тебя самого. Вот и весь секрет...

– А разве вы не боитесь смерти? – неуместно вставил я, зная, что у дяди Игната туберкулёз.

– На фронте боялся, а теперь-то чего? Я, к примеру, могу спокойно умереть, ведь кое-что сделал полезное. Построил дом, вырастил детей, сотни людей обул в ботинки, посадил тополя на нашей улице, – он засмеялся, начал задыхаться от кашля...

Когда дядя Игнат умер, я долго не мог поверить в его смерть. Мне всё казалось, что весёлые и добрые люди не умирают, а остаются рядом с живыми как их незримые товарищи. Теперь-то я знаю, что так оно и есть, – каждый оставляет после себя не только детей и свои работы, но и память о себе, и, пока человека помнят, он жив.

Дядю Игната хоронило много людей. Когда возвращались с кладбища, мой дядя сказал:

– Да-а, это большая потеря. Мир потускнел, на одного художника стало меньше. Художника по обуви. Могучего художника. О человеке не говорю. Если б он был плохим человеком, его не пришло бы столько народа провожать... Вон и дождь стал накрапывать – похоже, и небеса его оплакивают.

ЛУЧШАЯ ТЕНЬ – ТЕНЬ ОТ РОДНОГО ДОМА

Детство закончилось неожиданно; став подростком, я вдруг начал страдать от двух вещей: худобы и имени Лёсик. Я много ел, но всё равно был на редкость худым. Мать водила меня к врачам, но те говорили, что я просто «подвижный и калории из организма быстро улетучиваются». В то время, стесняясь худобы, я никогда не купался на пляжах – всегда в стороне от всех, где плавали утки или по брюхо в воде стояли коровы. Что я только не делал, чтобы пополнеть: вставал и ложился спать по расписанию, старался как можно меньше двигаться и как можно больше есть – месяцами боролся с худобой, но в конце концов признал, что у меня нет шансов на победу. Я понял, что мне просто нужно было родиться более спокойным.

Ещё хуже обстояло дело с именем Лёсик. Оно постоянно портило мне настроение. Например, играю во дворе, вдруг мать кричит:

– Лёсик! Иди обедать!

Ребята сразу начинают изощряться:

– Лёсик, пёсик, колёсик!..

Я стою и краснею от стыда и злости. Это совершенно выводило меня из себя, особенно если рядом находились девчонки. Разве я мог тогда предположить, что через двадцать лет много отдал бы, чтобы снова услышать от матери это имя?

В то время я хотел быть другим – высоким и широкоплечим, с ослепительной, располагающей улыбкой и стальным взглядом. Я представлял себя путешественником или предводителем шайки пиратов. И всегда женским сердцеедом. В своих странствиях я значительное место отводил романтическим приключениям. Сюда входили: прямые похищения возлюбленных, расправы с соперниками, блестящие монологи и пение под гитару. Но всё же роль основного оружия, убивающего красавиц наповал, отводил своей улыбке и гипнотическому взгляду. И конечно, имени. Ведь звали бы меня тогда не каким-то там Лёсиком, а Майклом или Робертом.

Представляя всё это, я частенько мысленно объезжал весь мир и становился известным, богатым – обладателем не только невероятных сокровищ, но и огромного гарема. В такие дни, опускаясь на землю, я обливался холодной водой, поднимал кирпичи в саду; по улице ходил вразвалку, выпятив грудь, всем улыбался, без умолку трепался о своих «подвигах» и горланил марши. Кажется, я догадывался, что состояние духа накладывает отпечаток на внешность, и был уверен – на моём лице написана значимость, а в походке видна уверенность. Но, к сожалению, это видел только я, а другие даже не догадывались. Больше того, почти все видели, что на моём лице написано совсем другое, и, ясное дело, отворачивались при встрече. И в первую очередь девчонки.

На какое-то время я впал в другую крайность – стал изображать из себя мудреца: на моём лице появился усталый взгляд, понимающая усмешка, на все вопросы я отвечал многозначительным молчанием. Но и тогда успеха не имел. Все только посмеивались, а девчонки так просто бежали от меня без оглядки.

Лишь повзрослев, я понял секрет успеха таких людей, как дядя, – оставаться самим собой. Как только я отбросил напускные маски, сразу стал со всеми ладить. Даже с девчонками. Но особенно со старушками, потому что всегда знал все новости. Кстати, та бабушка-грибница, за которой я когда-то следил, стала моим самым благодарным слушателем. Я сочинял ей такие небылицы, что у самого захватывало дух, но она всему верила.

В жару нашу улицу охватывала мягкая дремота: все открывали окна и двери и водой поливали полы для прохлады. В комнаты с палисад-

ников текли запахи цветов, с террас – запах созревающих на солнце помидоров... Я любил лежать в тени за домом в высокой прохладной траве, смотреть, как летают бабочки-лимонницы, мелькают стрекозы и шмели; слушать, как где-то выбивают коврик, где-то лает собака, а на окраине позвякивает трамвай. Оттуда, из тени, через окно я видел, как мать резала овощи для борща, стирала бельё на доске, гладила...

Иногда я думал: когда вырасту, у меня будет огород и сад, и будет столярная мастерская, и жена будет, чтобы кто-то заботился обо мне. А жить я предполагал на чердаке, как дядя. Дядя являлся для меня образцом для подражания, я любил его больше матери и отца. Да и как его было не любить, если он с радостью поддерживал все мои начинания?! И не просто поддерживал, а расцвечивал новыми красками, наполнял смыслом. Стоило мне подбежать к нему и предложить, например, построить лодку, как он тут же принимал серьёзный вид.

– Ни слова больше! Всё понял. Значит, так! Немедленно попроси у дяди Феди доски, собери инструмент. Как только допишу картину, сразу начнём строительство.

Дядя никогда не говорил со мной как с младшим, не сохранял дистанцию между собой и мной, как это делало большинство взрослых – уж не говоря про их занудливые нравоучения. Дядя говорил со мной как с равным. Поэтому я и любил его. Однажды он привёл меня в свой сад и доверил чрезвычайно важное дело.

– Ну-ка, давай подрезай деревья! – сказал. – Ты, кажется, это умеешь (я и представления не имел, что это такое).

Надо сказать, подрезать деревья – сложная штука; кто не умеет, лучше не лезть, можно всё дерево испортить. Но дядя верил, что я подрезу без промаха, – конечно, для начала показал, как это делается, буркнув:

– Лучший способ воздействия – личный пример.

Осмотрев первое обкромсанное мной дерево, дядя сделал несколько замечаний, но в общем похвалил. И, воодушевлённый его одобрением, я стал подрезать лучше. Вспоминая это, я думаю, что поощрением можно развить в человеке способности и хорошие качества гораздо быстрее, чем наказанием. Другими словами – говоря о человеке лучше, чем он есть на самом деле, завышая его, мы тем самым вселяем в него уверенность, и он действительно становится лучше.

А если учесть, что некоторые из поощрений и похвал запоминаются на всю жизнь, это немаловажная вещь.

Часто воскресенья мы с дядей проводили на реке. Удили рыбу, заплывали на острова. Там, на островах, развалившись на песке и положив руки под голову, дядя всегда мне что-нибудь рассказывал. Чаще всего о будущем. Он представлял будущую жизнь потрясающей: просторные стеклянные дома, широкие автостреды, огромные мосты и корабли. Он любил всё яркое и грандиозное...

После разговоров с дядей всё вокруг мне начинало казаться маленьким и жалким, становилось тесно на реке и душно в нашем городке. Мне хотелось взлететь и перенестись в то чарующее будущее, о котором говорил дядя, – так сильно он умел увлечь меня своей мечтой. Пожалуй, эта сила – заражать окружающих своим состоянием – лучшее из всего, что может подарить один человек другому.

До сих пор дядины мечты остались во мне как маленький памятник этому необыкновенному человеку. У меня было много бесценных вещей: приключенческие книги, велосипед, самострел, перочинный ножик, бинокль, шашки, шахматы, лото; я любил плавать на лодках, рыбачить, гонять в футбол, бегать на лыжах и коньках, рисовать, строить модели самолётов и парусников... Да что там говорить! Я многое любил. Проще перечислить, что не любил. Но всё, что я имел, и всё, что любил, я отдал бы за час, проведённый с дядей.

Странно, но в семнадцать лет дядя перестал быть для меня примером. Больше того, я уже считал его старомодным, ворчливым и неталантливым. Мне казались смешными и широкие дядины брюки, и его напыщенная манера говорить, и его вычурные картины. Вся дядина жизнь на чердаке в это время мне казалась глупым пижонством. И только когда мне исполнилось тридцать лет, дядя снова стал для меня необыкновенным человеком, и, главное, я понял, что дядин оптимизм был не просто весёлым отношением к жизни, а радостью от преодоления трудностей. Он, например, рассуждал:

– Вот часто говорят о человеке, который чего-то добился: «ему повезло» – и забывают о том, что он не опускал крылья, когда не везло, не отступал. Почему-то чаще везёт упорным, настойчивым. Жизнь каждому посылает достаточно случаев, когда можно взять судьбу в свои руки, не все умеют воспользоваться ими. А потом не в себе ищут при-

чины, а ссылаются на обстоятельства. Чепуха это! Всё зависит от нас самих. Как ни крути, а положительных изумлений побольше, чем отрицательных, даже в наше сложное время. Надо только уметь видеть, а это не всем дано.

В подростковом возрасте я замечал вокруг себя много несовершенного и целыми днями лежал в тени за домом и представлял, что сотворил бы, если б был всемогущим. Прежде всего мне казалось несправедливым, что лето проходит слишком быстро: не успеешь и глазом моргнуть, как опять надо идти в школу. Я решил увеличить количество летних месяцев за счёт зимних. Впрочем, кажется, допускал и круглогодичное лето с одним месяцем всех других времён для разнообразия.

Ещё я считал большой ошибкой существование нечистой силы только в легендах. По моему убеждению, её представители должны пребывать среди нас, чтобы украшать жизнь, вносить в скучные будни сказочность и опасность – это являлось бы лучшей страховкой от вредной успокоенности и пресыщенности. Именно поэтому в каждый дом я пристроил домового, по водоёмам и лесам расселил водяных и леших, а в школах ввёл урок: «Потусторонний мир».

Ещё мне казалось нелепым, что одни люди рождаются красивыми, а другие – не очень; одни сразу во всём встречают поддержку, а на других обрушиваются удары судьбы. В момент рождения и детства я всем давал равные возможности, а дальше каждый строил свою жизнь своей головой и своими руками.

Вдобавок мне хотелось, чтобы все талантливые имели возможность проявить свой талант, чтобы все одинокие обрели друзей, а несчастные стали счастливыми (сам-то в мечтах я просто купался в счастье). В тот период я много чего напридумывал, но особая глупость – хотел переделать людей. Во всех знакомых, за исключением дяди и бабушки, я видел массу недостатков – всё время замечал, что они поступают не так, как хотелось бы мне.

Представив себя всемогущим, я создал целый внутренний мир и с каждым днём взлетал над землёй всё выше, уносился к самым далёким облакам. Мне уже было мало мечтать в тени за домом, и я распался фантазию на улице и на уроках. Причём иногда мои мечты напоминали игру в кошки-мышки. Каждый раз, когда из огромного дерева представлений я выбирал одну какую-нибудь ветвь и пытал-

ся охватить её всю сразу, она тут же исчезала. Приходилось мечтать осторожно, придумывая мельчайшие детали и не спеша развивая их. По несколько дней я вынашивал ветвь-мечту и, только когда перед глазами вырисовывалась подробная картина, складывал её как готовый сюжет где-то в извилинах памяти.

В те дни я ухлопал немало времени на эти бесполезные мечтания. Наверно, это была полоса переломного возраста. Ну а потом я втянулся в житейский водоворот и стал на многое смотреть другими глазами. Главное, я пришёл к заключению: оставить всё как есть и не идти против природы.

Став взрослым, я ещё сильнее полюбил наш городок. С первого взгляда он обычно не нравится – ведь он не может похвастаться широкими асфальтированными улицами, набережными, театрами; зато у нас улочки тихие и чистые, а зелени – хоть отбавляй! Приезжие у нас не задерживаются, «скучновато» говорят, а я люблю наш городок. Иногда украдкой (всё-таки уже не мальчишка) заберусь на берёзу и сверху просматриваю нашу улицу: дом напротив, где по-прежнему живёт дядя Федя, только теперь у него есть жена – наша бывшая соседка, дама с кошками; они слынут самой счастливой парой в нашем районе – их «неземной» любви можно только позавидовать – каждый вечер они встречаются так, словно не виделись несколько недель.

Самая несчастная пара – наши соседи Кириллины – разошлись и разъехались в разные районы; правда, Кириллин частенько приезжает гулять по нашей улице.

– Ничего не могу поделаться, – говорит, – тянет сюда.

Бабушка умерла во время войны, а дядя давно уехал из нашего города. Никто не знает, где он и чем занимается. Он никому не пишет, но если б знал, как мне сильно его не хватает, наверняка вернулся бы или хотя бы написал.

Валерий женился на «принцессе» Ольге, у них уже много детей.

Я смотрю с берёзы в окна друзей на соседних улицах, на компрессорный завод отца, на новое, недавно построенное чёртово колесо в парке имени Горького, на флаги стадиона... Больше ничего не видно. Чтобы увидеть остальное, нужно забраться на самые верхние ветви, а туда мне уже не влезть.

1970 г.



ВЕТЕР НАМ В СПИНУ!

**исключительно правдивое
путешествие автора
с загадочными приятелями
со множеством приключений
и всем прочим**

Тем, кто борется с неудачами и не теряет надежды на лучшее, фантазёрам и чудакам – короче, тем, кто любит путешествовать.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Да, ребята, сейчас немало подростков, у которых в голове только компьютерные игры и дискотеки; от них только и слышишь: «тусовка», «прикольно», «гламур» и прочую словесную дребедень. Эти подростки не приучены к труду, они хотят делать лишь то, что нравится – в основном развлекаться. И, конечно, они никогда не видели восхода солнца, не слышали кукованье кукушки, не сидели у костра, не испытали себя на выживание в сложных условиях – короче, не путешествовали.

Но, к счастью, всё же больше ребят, которые что-то делают своими руками, что-то изобретают, занимаются творчеством, спортом. Само собой, такие подростки любят природу и совершали походы с рюкзаком или ходили на байдарке – то есть проверили себя на прочность, доказали, что не пропадут в любой ситуации. Надеюсь, вы из этих ребят и вам не надо объяснять, как в путешествиях насыщенная жизнь, сколько в коротком отрезке времени случается захватывающих приключений. Так что начну сразу с нашей поездки.

Было это давно, когда нам только исполнилось по двадцать лет. Представьте себе верховье порожистой реки и меж валунов, точно призрак, плот с парусом. Парусник то и дело бросает в пучину, он совсем исчезает в пене, и кажется, что смельчаки на плоту обречены, а они выплывают целёхонькие, как ни в чём не бывало. На плёсах их поджидают ловушки водяного, на стоянках – капканы лешего, но они вовремя разгадывают козни нечистой силы, а русалкам, зазывающим в глубину, отвечают ироничными усмешками.

Я расскажу всё по порядку, но прежде познакомлю вас с моими друзьями. Вот уж чудаки так чудаки! Таких вы вряд ли встречали.

ГЛАВА ПЕРВАЯ, В КОТОРОЙ, НАДЕЮСЬ, ВЫ ПОСМЕЁТЕСЬ

Один из моих приятелей – Валерий Котельников. Родственники зовут его Лерик, девушки – Валерчик, приятели – Котёл. Он длинный и плоский, как доска, его лицо всяких оттенков, от сизого до цвета варёной брюквы, руки тонкие и болтаются, как на шарнирах, а ноги кривые, точно он всю жизнь сидел на бочке. Вот такой портрет, такая отталкивающая внешность. И я не преувеличиваю, ни в коем случае. Но внешность Котла – мелочь в сравнении с его сутью.

Прежде всего он постоянно выпячивает свою исключительность, от него исходит дух превосходства, он считает себя страшно умным, а своих приятелей, соответственно, полными дураками. Мало того, он притворщик и безответственный лодырь. Мы не гнушались никакой работы, вкалывали в поте лица, а он целыми днями созерцал природу (то, видите ли, натёр ногу, то отлежал руку), и вдобавок у этого бездельника ещё хватало совести давать всякие ехидные советы и указания: «принеси, подай, захвати!» «Раз уж ты поднялся, посмотри, как там... и заодно прихвати...». Прямо хоть не вставай.

Бывало, Котёл весь день корчил из себя больного: стонал, прикладывал руку ко лбу, но, стоило заикнуться про обед, бодро вскакивал, и от его болезни не оставалось и следа. Или стоило заметить какую-либо несуразность на реке – сразу чувствовал прилив энергии и с яростью обрушивался на всё, на чём бы не останавливался его взгляд.

Спешу сообщить – Котёл языкастый и задиристый, с изощрённо агрессивными замашками. Не вздумайте поинтересоваться просто так, для приличия: «Как дела?». Будет болтать до изнеможения. В путешествии он частенько заводил разговор о недостатках в нашей жизни (в своей обычной заковыристой, въедливой манере). Начинал издали, о том о сём. Я-то бывалый, избегаю подобной болтовни – согласитесь, если постоянно видеть только плохое, то и жить не захочется. К тому же надо не говорить, а действовать. Говорить-то все мастера, но как доходит до дела – в кусты. А ведь мы все в ответе за то, что происходит вокруг нас, верно? Так вот, как только Котёл заводил эту говорильню, я сразу сматывал удочки, а какой-нибудь простофиля вроде Кукина (мой второй приятель, о нём потом расскажу, это тоже фрукт

тот ещё!) – такой простофиля, не подозревая, что его ожидает, разве-сит уши и слушает. Котёл его и заговаривал насмерть.

Котёл когда-то окончил музыкальную школу, увлекается джазом и всех делит на музыкантов и немусыкантов. Меня-то ещё терпит (у меня абсолютный слух), а Кукина вообще не принимает всерьёз (тот ни одной песни не может спеть правильно; ещё в школе на уроке пения ему сразу ставили четыре, чтобы он только не пел). В путешествие Котёл взял транзисторный радиоприёмник и гитару, и своим джазом перевернул наши внутренности.

Поймите меня правильно. Я человек современных взглядов и люблю классический джаз, но всему своё время и место, не так ли? Ну не глупо ли на природе, когда хочется слушать пение птиц, шелест трав, звон ручья, запускать оглушительные ритмы, разные музыкальные коктейли?! Честное слово, иногда хотелось взять его гитару и долбануть о дерево. Между прочим, соседи Котла постоянно жалуются на него за «слишком громкую музыку», за «неуважение к людям», за «бездушие и каменное сердце». А по-моему, у Котла вообще сердца нет – у него внутри насос для перекачки крови. Кстати, с соседями Котёл воевал пять лет и – надо же! – победил, они смирились с его какофонией.

Котёл чрезмерно чистоплотен, до противного. Ему везде мерещатся микробы; хотя он прекрасно знает, что мы живём в мире микробов и с каждым вдохом поглощаем их тысячами, тем не менее панически их боится: дома постоянно протирает мебель и обеззараживает воздух ультрафиолетовой лампой, посуду моет марганцовкой, а после ухода гостей устраивает дезинфекцию хлоркой.

По утрам Котёл прихорашивался, надевал новую рубашку и галстук, выливал на себя полфлакона одеколona – хоть надевай противогaз – и делал на голове пробор, причём вылизывал его так долго, что казалось, разделит пополам и череп. Представляете, как это выглядело со стороны? На плоту среди разных снастей стоит тип, одетый с иголочки! Он портил весь вид и смотрелся совершенно нелепо – словно парфюмерная этикетка на крепком мужском напитке.

Каждый вечер этот пижон клялся, что с утра начнёт новую жизнь: будет вставать чуть свет, заниматься гимнастикой, обливаться. Справедливости ради замечу – один раз действительно рано встал, начал кувыркаться, но потом плюнул и снова лёг. Котёл вообще выглядел

жалким в нашей компании. Трудно было поверить, что он способен что-то делать, что-то мастерить. Между нами затесался не мужчина, а парниковый цветок и белоручка. Он, видите ли, не мог укрываться колючим одеялом и спать на жёстком. Но, когда я его пристыдил, он вспыхнул:

– Да почему, собственно, я должен терпеть неудобства? Я вам предлагал взять раскладушки и спальные на пеликаньем пуху. Вы подняли меня на смех, а теперь вот мучаемся.

Ещё перед поездкой Котёл извёл меня идиотскими вопросами:

– А что будем делать, если польют затяжные дожди? А вдруг лодка перевернётся, что тогда?

По словам Котла, он обладает неограниченными возможностями: может влезть на самое высокое дерево или убить самого свирепого хищника. Но это по его словам, вы же понимаете, а очки втирать он умеет здорово. Говорит, например, что отлично стреляет. Не знаю, правда это или нет. Скорее, сочиняет. Даже точно, врёт. Ведь ружьё-то мы захватили, но он его почему-то побаивался.

Или плавание! Хотите верьте, хотите нет, но за всё путешествие я так и не понял, умеет ли он вообще плавать. По-моему, может только недолго держаться на воде. Во всяком случае, этот рохля постоянно намекал на какую-то свою таинственную болезнь, что-то вроде водобоязни.

Каждый вечер, укладываясь спать, Котёл вокруг себя поливал жидкость от насекомых, но те ползли по стенам палатки до потолка и прыгали на него сверху. И, кстати, только на него. Нас с Кукиным они не трогали.

Со мной и Кукиным Котёл разговаривает бесцеремонно, язвительным тоном и громко, почти кричит; так обычно говорят с дураками, думая, что до них быстрее дойдёт (я не раз убеждался, что он нас недооценивает; например, расскажет анекдот и объясняет, что в нём смешного).

Другое дело – почитатели джазовой музыки, их Котёл любит всем сердцем; разговаривает с ними умиленно-размягчённым тоном и веселится в их обществе до неприличия. А этих самых почитателей-обожателей, фанатиков-меломанов у него целая туча. Он чуть ли не ежедневно шастает из компании в компанию, бренчит на гитаре, «ожив-

ляет общество», как массовик-затейник. Наблюдая за Котлом, я сделал открытие: человек, неизбирательный в дружбе, имеющий слишком много знакомых, не может быть порядочным человеком. Пояснить? Не надо! Вот именно!

Всё, что касается собственных успехов в джазе, Котёл беззастенчиво преувеличивает. Он закоренелый врун, то есть врёт с подробностями. Послушаешь его, так именно он родоначальник русского джаза. Но не вздумайте усомниться в проповеди Котла и перебить его. Начнёт всё сначала и загнёт похлеще, обрушит на вас неиссякаемое словоизвержение. Лучше всего ему поддакивать и делать вид, что верите. А ещё лучше удивиться: «Ну и ну, скажи пожалуйста!». Неплохо также вставить: «Беспорно!». Котёл сразу опустит глаза и замолчит. Но не думайте, что ему стыдно. Если Котёл опускает глаза, ему ни капли не стыдно – он обдумывает новую липу. В это время можно уйти. Другого способа нет, поверьте мне. Однажды очень вежливо я напомнил Котлу:

– Учи, Бог видит твои злодеяния. Ты наверняка попадёшь в ад.

И знаете, что он мне ответил?

– А я туда и хочу. Там общество лучше.

Последний и самый ужасный недостаток Котла – безумные идеи. Он весь набит идеями, как сделать нашу страну процветающей.

– Чего изобретать велосипед! – вещает он. – Надо взять самую богатую страну, всё скопировать с неё, и дело с концом.

Я человек осторожный, выслушиваю разные мнения и терпим к чужим взглядам. Может быть, в идеях Котла что-то и есть, но пусть от них трещит только его голова. Беда в том, что, когда Котлу втемяшивается новая идея, он становится опасен для окружающих – ведь он не успокоится, пока не изложит её приятелям и не проверит их реакцию – такие у него драконовские методы.

Вот, кажется, о Котле всё. Всё плохое, конечно. Хорошее в нём тоже есть, иначе он не был бы моим другом, вы же понимаете. Только добрые дела Котла настораживают, даже вызывают подозрение – все привыкли к его подвохам. Его достоинства вы увидите дальше – хорошее в людях всегда видно, ведь они скрывают только плохое. Вот я и вывел Котла на чистую воду, чтобы вы не строили иллюзий на его счет.

Да, чуть не забыл! У Котла есть ещё один недостаток – он студент медицинского института; не знаю, как вас, а меня вид халата и запах лекарств выводят из равновесия. Вот уж кто мастера морочить голову, так это врачи! Сколько раз я от них слышал: «Примите это, примите то, хуже не будет». Или: «Это может помочь, но может и навредить». Короче, я знаю только один способ выздороветь – внимательно выслушать врача и поступить наоборот.

ГЛАВА ВТОРАЯ, В НЕЙ, ДУМАЮ, ВЫ ТОЖЕ НЕ БУДЕТЕ СКУЧАТЬ

Теперь о втором моём приятеле – толстяке по прозвищу Кука, которого я тоже знаю как облупленного.

Настоящее его имя и фамилия – Александр Кукин. Он сокурсник Котла по институту, тоже будущий врач. Кука – это сто килограммов жира, втиснутые в широченные брюки и женскую кофту (он почему-то всегда носит кофты своей бабушки и при этом говорит: «Красиво то, что удобно»). Лицо у Куки круглое, как сковородка, его щёки виднеются из-за спины, глаза водянистые и мутные, а губы выпячены, и кажется, что он всё время лезет целоваться. Кука рыжий, со светлыми ресницами и бровями – точь-в-точь огородное пугало. Пальцы у Куки толстые, как сардельки, и, когда он их сжимает, его кулачищи внушают трепет. Рядом с Кукой мы чувствуем себя в безопасности – чуть что посылаем его вперёд, как танк.

При встрече Кука крепко пожмёт вам руку, так крепко, что у вас захрустят пальцы – здороваясь с ним, будьте начеку. Но не думайте, что он рад встрече – просто даёт понять, что занимался борьбой и намерен разговаривать с позиции силы. В этом вы убедитесь с первого же вопроса. Например, спросите:

– Не знаешь, какая завтра будет погода?

А он тут же бестактно:

– А ты знаешь?

То есть сразу заставляет вас обороняться. В этом сквозит какая-то болезненная подозрительность, вызванная, как мне кажется, общением с Котлом (у них не просто витиеватые отношения – всё значительно сложнее). Прощаясь, Кука непременно хлопнет вас по плечу (или об-

нимет медвежьей хваткой) и пожелает удачи, но не очень большой – гораздо меньшей, чем обычно желает самому себе.

У Куки тоже набирается охапка отрицательных черт. Меньше, чем у Котла, но всё же штук пять-шесть есть. Сейчас их перечислю.

Прежде всего у Куки излишняя фантазия. Подогретый болтовнёй Котла, распалив гжучее воображение, он по вечерам бегал вокруг палатки, надувался, принимал устрашающие позы, пинал воздух, делал выпады и фырчал – пугал невидимых врагов. Днём он носился по окрестностям и безостановочно палил из ружья в воздух (днём он был гораздо смелее, чем ночью, – Котёл это называл «преувеличенным почтением к темноте»).

Всё путешествие напористый Кука изнывал от тоски. Его кипучая натура тянулась к подвигам, он всё время хотел если не переделать весь мир, то хотя бы столкнуться с опасностью, но это ему никак не удавалось. Он постоянно ходил увешанный охотничьими доспехами (с утра напяливал патронташ) и, чтобы поддержать в себе воинственный дух, горланил марши. Из своих вылазок он приходил взлохмаченный и помятый, ложился на землю, пыхтел, сопел и хрипло тянул:

– Когда-нибудь призовут к ответу всех, кто измывался над природой, рубил живые деревья, загрязнял реки.

Куке всюду мерещатся грабители. Как-то я возвращался с грибной прогулки и он, безрассудный, приняв меня за разбойника, выстрелил. Хорошо, что попал в корзину, а ведь мог и в меня! Когда же мы на самом деле засекли браконьера, он, естественно, промазал. Вот эта воинственность Куки, его безответственность в поступках – огромный недостаток. Думаю, вы согласны со мной. За него Куку рано или поздно упекут в тюрьму.

По ночам Куку мучили кошмары: во сне он хрюкал, и свистел, и улюлюкал, и лягал нас, и бил, и вопил какие-то команды. Первое время я толкал его в бок. Но разве этот чурбан что-нибудь чувствовал! Он переворачивался и гремел ещё громче. Тогда я будил его и посылал за чем-нибудь и, пока он ходил, успевал заснуть.

Главное, Кука спал с открытыми глазами. Поэтому никогда нельзя было сказать с полной уверенностью: спит он или бодрствует. Тем более что спал он где попало. Прикорнёт, например, у дерева, ему орешь, а он не слышит. Подходишь, а он спит стоя, как лошадь. Один раз так

уснул и свалился в костёр, но мне, к сожалению, не довелось увидеть этого интересного зрелища. Знаю только, что Котёл еле стащил дымящегося Куку с углей.

– Я постоянно не высыпаюсь, – говорил Кука. – У меня накопленная усталость, дел невпроворот. Это Котёл в институте лишь бумажки перебирает, а я на практике в больнице вместе с врачами оказываю людям конкретную помощь, – Кука смеялся, довольный своим благородством.

Кука невероятный обжора – еда для него важная часть жизни; пищу он уминает с рычанием и копает ложкой, как экскаватор. Похоже, у него пять желудков, и ничего нет удивительного, что его разнесло. Сам Кука так объясняет своё пламенное пристрастие:

– Я привык есть про запас. На всякий случай. (Кстати, он может одновременно есть суп с печеньем или селёдку запивать сладким чаем. «В желудке всё встретится», – говорит).

Бывало, набьёт себя, погладит живот, «червячка заморил», – пробасит. Я ни минуты не сомневаюсь, что при определённых условиях Кука стал бы людоедом, то есть умял бы и нас с Котлом... С ним стыдно ходить в приличные компании – за столом сжирает всё в радиусе метра; что не успевает съесть, забирает с собой. Такие замашки! Разумеется, второй раз в гости Куку не приглашают.

Однажды захожу к нему, а стол ломится от еды, прямо ножки трещат от всяких заморских яств.

– Вот устроил праздник живота, – объясняет мне. – Решил отведать экзотики. Садись лопай! Небось, такое видел только на картинках. И правильно, нечего баловать себя, от этого может быть изжога... Но сейчас наемся, и больше мне этого и даром не надо. Я живу по-пиратски и ем то, что под рукой. И скажу тебе, как врач: простая пища полезней всего. Ну и бодрящий, неслабый воздух.

Четвёртый недостаток Куки – полное отсутствие музыкального слуха, но, как все люди без слуха, он особенно много и громко поёт. У каждого есть любимая песня, у Куки её нет. Он любит марши с барабанным боем; в поездке он вскакивал ни свет ни заря и во весь голос распевал бравурные куплеты. А голос у Куки – гул из погреба, и, разумеется, я постоянно не высыпался и отчитывал горлопана.

– Марши у меня вырываются непроизвольно, – оправдывался он. – Хочу что-то лирическое, поймать кайф, а вырывается марш.

Кука страшный спорщик. В основном с ним спорит Котёл. Они постоянно сцепляются, и я удивляюсь, как за годы совместной учёбы в институте не прибили друг друга. Стоило, например, Котлу сказать, что у нас мало производят лекарств, как Кука встал в боксёрскую стойку.

– Зато придумали инструмент для сшивания сосудов! И вообще России во многом принадлежит первенство: Кулибин изобрёл микроскоп и прожектор. Мы изобрели молниеотвод, радио и телевизор. И ледокол, и трёхфазный ток, и полупроводники... И конвейер до Форда придумал Мосин. Да у тебя пальцев не хватит, если я начну перечислять! Нашими талантами питается весь мир!

– Кое-что изобретали, но что толку?! – повысил голос Котёл. – Полупроводники объявили ненужными. Генетику тоже. От всего нового отмахивались, а потом, когда на Западе развивали наши открытия, начинали лихорадочно навёрстывать упущенное, да не тут-то было – уже отброшены назад. Сейчас в технике и медицине отстаём на несколько лет.

– Мы и сейчас во многом неслабые! – не сдавался Кука, растопырив руки. – Возьми гидростанции, суда на подводных крыльях, ракеты, атомные ледоколы!

Я не ввязываюсь в споры с Кукой. Для меня он слишком мелок как соперник, да и что это за спор, если я только припру его к стенке, как он набрасывается на меня с кулаками и тупо бормочет:

– Давай защищайся! Сила – лучший довод в споре!

Поднаторевший в словесных баталиях, Кука спорит по каждому пустяку и при этом клянётся дурацкими клятвами вроде: «Упади мне на голову кирпич, если вру!». Но допустим, ладно – он что-нибудь докажет, на этом спору и закончиться бы, так нет – Кука внезапно всё объявляет наоборот.

Во время спора Кука ужасно распаляется: в горячке сбрасывает рубашку, башмаки, а после особенно затяжных споров вообще остаётся в одних трусах (его коронный номер). И постоянно демонстрирует бицепсы, давая понять, что в критический момент любому противнику даст оплеуху.

Ещё Кука – игрок-маньяк. Это его шестой недостаток. Он с детства имел ненормальные увлечения (игра в кости, карты), сейчас играет во все игры, да ещё имеет разряд по теннису и потому считает себя на голову выше нас. Вернее, Котла. (Я-то отличный спортсмен – об этом выскажусь чуть позднее). В путешествии Кука со всеми (и с нами, и с попутчиками) до одури резался в шахматы. Безотлагательно замечу – если вы не умеете играть в шахматы, не рассчитывайте на дружбу с Кукой, но, если умеете, да ещё будете ему проигрывать, станете его близким другом.

Кука ужасно расстраивался, когда проигрывал, начинал нервничать, чесаться, грызть ногти, потом ложился на траву, и подолгу неподвижно смотрел в небо, и отвечал односложно и зло, как будто проиграл не партию, а невесту. В такие минуты Котёл снова пододвигал к нему доску и нарочно поддавался. И простодушный Кука, не распознав жалкой хитрости, снова начинал веселеть (вот первобытная наивность!), а выиграв, вскакивал и так сильно сжимал нас в объятиях, что рёбра лезли наружу.

Последний, седьмой, недостаток Куки – пристрастие к технике. Я ошибся – недостатков у Куки не пять, не шесть, а семь. Я лучше о нём думал. Кука выписывает кучу технических журналов и при случае не прочь что-нибудь смастерить, починить. Дома у него всё механизировано; попробуешь открыть форточку, а он сразу: «Подожди!» – и нажмёт какую-то кнопку; раздастся треск, стены комнаты зашатаются, и форточка с грохотом распахнётся.

В качестве мастера на все руки Кука просто донимает меня: то предлагает залудить кастрюлю, то готов заменить проводку или наладить телевизор, который постоянно барахлит. Но я, конечно, не прибегаю к его услугам. Знаю я этих кустарей-самоучек! Всё разбирают, от часов до автомашины, а соберут – вещь не работает.

Чем ещё дополнить и усилить образ Куки? Ну кроме всего прочего, он неряха и грязнуля. И грубиян. Выражается непристойно, к каждому слову добавляет ругательство – здесь у него обширный словарный запас, а любимое слово в его арсенале – «неслабо» (у него вообще какой-то замусоренный язык). И хвастливый Кука. Не такой, как Котёл, но всё же. Например, носит плащ с дыркой на груди, чтобы афишировать медаль «За спасение утопающих». И ещё Кука не упустит случая

посмеяться над другими. Однажды он простудился и на ночь Котёл всучил ему горчичники. Наутро мы его спрашиваем:

– Ну как, помогли?

– Нет, – качнул головой Кука.

– Почему? Должны были помочь. Ты их снял через час?

– Нет. Они и сейчас на мне.

Поворачивается, а они у него на куртке. И так заржал, что стал румяный, как блин. Но попробуйте вы посмеяться над ним, сразу его глазаищи завращаются в орбитах – верный признак, что у него чешутся кулаки. Кука обидчив (обиды помнит по много лет) и не прощает шуток над собой.

Вот, пожалуй, основные пороки Куки. Это, конечно, не означает, что всё остальное у него достоинства, хотя в общем Кука оптимист, как все разбойники, и добрый парень, ведь толстяки редко бывают злыми, а если они ещё и рыжие, то не бывают вообще.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ, В КОТОРОЙ НЕМНОГО РАССКАЖУ О СЕБЕ

Я сторонник объективности и в данном случае просто обязан сказать пару слов о себе. Понятно, о себе говорить трудно, но всё же попробую. Я высокий, неплохого сложения и тонкой душевной организации; взгляд у меня открытый, на губах лёгкая усмешка, волосы мягкие, как у большинства добрых людей, душа благородная, отзывчивая, характер покладистый. Я культурный, деликатный, уравновешенный, прекрасно воспитан, веду себя естественно и просто, со скромным достоинством. В разговоре удачно острою, в спорах противоборствовать мне (в смысле ума) не стоит – расчихвощу любого, и сделаю это без напряжения. Мой ум непобедим!

Что ещё? В еде я непривередлив – ем всё подряд, вот только от капусты расстраивается желудок. Галстуки предпочитаю большие, яркие, рубашки с отливом, ботинки скрипучие, лакированные. По профессии я будущий художник (учусь в художественном училище и в творчестве достиг немалой высоты или глубины – не знаю, как лучше сказать. Дело в том, что я невероятно талантлив, но это отдельный серьёзный разговор), ну а по призванию я путешественник.

Перечислю основные черты моего характера: я наделён природной пытливостью и богатейшей фантазией. Особой застенчивостью не страдаю, но и не выпячиваюсь, как некоторые. Моя искренность в сочетании с честностью дают отличный результат – люди ко мне тянутся. Я не из робкого десятка, но в то же время не так глуп, чтобы быть бесшабашно храбрым и по каждому ничтожному поводу ставить свою жизнь под угрозу. В опасностях я стойкий, хладнокровный, а в обычной обстановке действую осмотрительно, долго всё взвешиваю, но поступаю решительно и бесповоротно.

В плане накопленного опыта у меня крепкая, даже могущественная база. Я достаточно практичен и не стремлюсь к нереальным целям, то есть не замахиваюсь на неосуществимое. Я не такой мрачный пессимист, как Котёл, и не такой оголтелый оптимист, как Кука, хотя они считают меня «стоящим в стороне от всего», «не видящим дальше своего носа». Чудаки! Как раз пронизательные наблюдения и вдумчивые, неторопливые выводы – признак мудрости, а разные трепыхания и словеса – просто-напросто мальчишество.

Что ещё о себе сказать? Есть у меня ещё второстепенные, вспомогательные, крайне редкие качества. Например, к девушкам отношусь иронично и времени на ухаживания и всякие поцелуйчики не трачу. Только какая-нибудь красавица начнёт меня околдовывать или, чего доброго, выяснять отношения – сразу рву. «Всё! – говорю. – Пока! Теперь обнимай воздух вместо меня».

Вам, ребята, не терпится узнать о моих недостатках. Угадал? Не тешьте себя этой мыслью. Вы о них не узнаете. Потому что их попросту нет. Да-да – нет! Больше того, вы уже, наверное, заметили мои достоинства. Согласитесь, нужно иметь отменное мужество, чтобы отважиться путешествовать с такими, как мои приятели. Ведь Котёл поехал только потому, что накрылась его путёвка в дом отдыха, а Кука хотел оторваться от родных и отведать деревенских харчей. Существуют и другие предположения, но, по-моему, это наиболее правдоподобное. Вы представляете, каково в этой компании было мне, который хотел побывать в романтической глуши, набраться впечатлений и порисовать.

К сожалению, приятели относятся ко мне без должного почтения. С лёгкой руки злослова Котла приятели зовут меня Чайник. Он как-то, насмешливо хохотнув, брякнул:

– Твоей фамилии как грибов поганок. Будем-ка звать тебя Чайник – у тебя нос как у чайника.

Так и пошло... Но что я хотел вам объяснить? Сами-то вы наверняка не догадались – каким образом мои приятели, два таких разных человека, дружат? Ведь один из них (Кука, конечно), увидев по телевизору, что где-то рушатся мосты, опрокидываются пароходы, обваливаются здания, скрипит зубами и рвётся в пекло.

– Бесхозяйственность! – гремит. – Я бы им!

А другой (Котёл, соответственно), ядовито усмехается:

– Чем хуже, тем лучше, тем скорее чиновники начнут шевелить мозгами и делать дело.

Вот и ответьте мне, пожалуйста, как же они уживаются? Вы бормочете что-то уклончивое, будто нас тянет к тому, в ком есть то, чего нам не хватает, – в смысле, контрасты притягиваются и что в спорах рождается истина. Это всё ерунда, вот что я вам скажу. Я затыкаю уши, когда слышу такие разговоры. Во-первых, спор подрывает дружбу, а во-вторых, никто не знает окончательных истин. Да их и нет, поверьте мне, с моими недюжинными знаниями во всех областях. Ладно, не буду вас мучить и открою тайну: их спасаю я, мои рассудительность и спокойствие, и я... трудно объяснить, умнее их, что ли. Да-да, бесспорно, умнее их обоих, вместе взятых. Да, собственно, что я! У меня вообще есть все основания считать себя незаурядным человеком. Даже выдающимся.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ, ПРЕДЕЛЬНО СЕРЬЁЗНАЯ

Теперь, ребята, хочу вам предпослать несколько крайне ценных советов. Внимательно слушайте.

Во-первых, если вы отправитесь в путешествие, ни в коем случае не берите с собой болтливую приятеля – он изведёт вас болтовнёй. И не приглашайте в напарники джазового музыканта – он обольёт грязью всю нашу популярную эстраду и, навязывая свой вкус, обрушит на вас ураган тошнотворных звуков.

И, конечно, не берите азартного игрока, приверженца любой игры, даже шахмат. Вы поняли меня? Примите это к сведению. Все игры

рано или поздно приводят к уязвлённому самолюбию, затаённой злости и как конечный результат – к ссорам, а то и дракам.

И толстяка не берите, влезет в палатку – не оставит вам места или зажмёт так, что не вздохнёте. И слишком тощего не берите: ночью вопьётся костями вам в бок – узнаете, где раки зимуют. Лучше всего вообще никого не берите. Поезжайте один. И не на какую-то там речку, а на юг, к морю. Поселитесь в гостинице, там пушистые ковры, глубокие диваны, поваляйтесь на горячем песке, поднажмите на фрукты и всё такое. Забегая вперёд, скажу, что именно к этому я и пришёл в конце наших скитаний (это моя основная мысль).

И ещё один дополнительный чрезвычайно дельный совет. Будете писать о путешествии, измените имена приятелей. Не дай бог они прочтут – сразу станут заклятыми врагами. На меня не смотрите. Я оставил настоящие имена только потому, что мои приятели никогда не прочтут этот очерк, ведь Котёл читает только газеты, а Кука – одни детективы. Ко всему повторяю – Котёл отпетый лентяй, а в суматошной жизни Куки серьёзной литературе нет места.

ГЛАВА ПЯТАЯ. НАШИ СБОРЫ

О чём, пожалуй, стоит рассказать подробнее, так это о сборах. Если вы думаете, что сборы пустяковая штука, то выкиньте это из головы. Сборы – основной элемент путешествия. С них, подчёркиваю, с наших сборов всё и началось, уже они вывели меня из равновесия, и я понял, что мои приятели и собраться толком не могут.

Просто уму непостижимо, как долго мы выбирали маршрут. Котёл не хотел уезжать далеко от Москвы (боялся, его забудут дружки, что ли?) и настойчиво звал на Селигер, говорил: «Там отличные пляжи, и, если подсуетиться, можно достать путёвки на турбазу».

– Это несложно, – повизгивая, дёргался Котёл. – Ты, Чайник, достанешь билеты в театр и отдашь их Куке. Он отнесёт их нашему профессору. За билеты профессор позвонит в турбюро, ему не откажут, он там кому-то делал операцию. Так всё и обстряпаем. Нет проблем. Заодно избавимся от лишних денег. (Отметьте холодную расчётливость Котла, его потребительскую психологию).

Кука хотел укатить как можно дальше – настырно тянул нас в дебри Саян, не понимая, что без проводника мы там окочуримся.

Я уговаривал обоих махнуть в Карелию; даже отправил туда письмо знакомому леснику, чтобы он готовился к встрече; правда, допустил некоторую неосторожность – в конце письма черкнул два лишние слова: «Что захватить?». Кто бы мог подумать, что именно эти неприличные слова утяжелят мой план. Лесник прислал такой внушительный список, что от Карелии пришлось отказаться.

– Ничего удивительного, – зачитав список, хмыкнул Котёл. – В провинции нет многих вещей. Кстати, подумайте, чем и нам обзавестись. У нас ведь не Америка, где в любой глухомани то же самое, что и в столице.

– Да, американцы добились высокого жизненного уровня, – сверкая глазами, бойко заговорил Кука, – но никуда не годится, что горстка людей миллионеры и заправляют всем только потому, что предприимчивей, изворотливей других. Деньги не раскрепощают. Богатство делает людей самоуверенными, самодовольными. Не случайно твоих американцев нигде не любят. И потом деньги решают многие проблемы, кроме главных – настоящей дружбы, любви, таланта, – это или примерно это сказал Кука и судорожно сглотнул.

– Нет идеального общества, – сделал я осторожный вывод. – Уже не один умник над этим сломал голову. Давайте ближе к делу. Обмозгуем, куда мы поедем.

Должен заметить, выбор маршрута немаловажная вещь, надо учитывать, как добраться до места. Поразмыслив, мы решили двинуть просто наугад; крутанули бутылку на карте, и черт её дёрнул остановить горло на какой-то реке непонятного географического положения, где-то южнее Москвы. Впрочем, это в целом меня устраивало. «Река, так река, – подумал я. – Какая в общем-то разница, куда ехать, важно, с кем. А ведь я поплыву с такими чудаками, хоть посмеюсь вволю».

И вот в одно прекрасное утро мы наконец упаковались и в благодушном настроении отправились в путь. Попробую восстановить последовательность наших действий. Дотошные среди вас заинтересуются нашим снаряжением. Я охотно поделюсь. Сию минуту.

Котёл взял с собой спасательный жилет, шляпу, зонт, гамак, фотоаппарат, гитару, транзисторный приёмник, коврик, сумку с пряниками,

кучу талисманов, «чтоб приносили удачу», множество таблеток и пузырьков с лекарствами и книги: «Съедобные и несъедобные грибы», «Система Йогов», «Как дожить до ста лет» (он очень печётся о своем здоровье, хочет стать бессмертным).

Ещё Котёл взял две банки лимонного сока, очки от солнца и сто рыболовных крючков – «для обмена с местными жителями на продукты» – как объяснил нам. И взял будильник, который так громко тикал, что впоследствии мы заворачивали его в одеяло.

Словом, Котёл взял с собой всё что угодно, только нужных вещей не взял, вещей для повседневного пользования. И главное, явился разодетый с претензией на что-то и наутюженный до блеска, точно собрался не в поход, а в консерваторию. И, само собой, опоздал к месту встречи (он страшно недисциплинированный). Он шёл картинно – этакой пружинящей, подпрыгивающей походкой, невероятно развесёлый, с... воздушным шариком в руке!

Кука явился вооружённый до зубов. Это надо было видеть – прямо конец света! На нём висели ружьё, патронташ, подозрная труба, охотничий нож, спиннинг, гарпун и пробочный пугач цвета раскалённых углей. А в рюкзаке (набитом под завязку), по его словам, лежали: набор инструментов, два килограмма гвоздей для строительных работ, шахматы, домино и фотография его девушки.

На Куке была женская кофта, шорты, сапоги, из которых, как шаровары, вываливались его жирные ноги. А на голове Куки красовалась то ли кепка, то ли хлопучка для мух – её Кука напялил на лоб, как бандит. Глаза у Куки были выпучены, а уши оттопырены. Кука важно маршировал, попыхивая трубкой, высоко поднимая голову и выпятив живот – даже не маршировал, а как-то двигался рывками, точно ему сзади давали пинка. Казалось, он весь накачан воздухом, будто огромная резиновая игрушка.

Осмотрев Котла и Куку, я забеспокоился – понял, что мои приятели ещё недостаточно подготовлены; и, предчувствуя, как намучаюсь с этими дилетантами, пожалел, что связался с ними. Видимо, говоря, что у меня нет недостатков, я высказал некоторое преувеличение на свой счёт. У меня есть один недостаток: я слишком доверчив, иначе не поехал бы с такими любителями беспечного отдыха. Но что бы вы думали? Как только я сообщил приятелям о содержимом своего рюкзака, эти ка-

нальи переглянулись, легкомысленно хихикнули и начали постукивать согнутым пальцем по лбу, потом схватились за животы и покатались со смеху.

А между тем я, в противовес этим туристам-заочникам, взял самое необходимое, образцовый набор путешественника: сковородку, таз для варенья, бечёвку для сушения рыбы, кусок парусины не совсем дырявой, два ведра и, конечно, альбом для рисования. Ну и ещё кое-что из сопутствующих мелочей.

Насмеявшись вволю, эти выскочки меня же ещё вздумали учить, что с собой брать. Учить тому, о чём не имели ни малейшего понятия. И кого? Человека, который провёл в походах полжизни и на этот счёт имел основательные знания! Не скрою, было обидно, но я не потерял контроля над собой, а, преодолев волнение, поставил их на место. Приличествующим, но решительным тоном предупредил их об опасностях в путешествии, рассказал несколько случаев из собственной практики, когда спасся чудом, только благодаря колоссальному опыту. И они, балбесы, притихли.

ГЛАВА ШЕСТАЯ. НА ВОКЗАЛЕ

Мы договорились встретиться в четыре часа около дома Котла, поймать такси и подкатить к вокзалу, но наши намётки реализовались не совсем гладко – таксист наотрез отказался нас везти:

– Слишком большой багаж! – протянул он. – Такой груз стоит немало! – и заломил такую цену, что мы направились в метро.

Но и в метро нам не повезло – из-за Куки (в метро в шортах пускали только иностранцев). Пришлось добираться на троллейбусе.

От остановки до вокзала за нами валила толпа ротозеев. Не спрашивайте меня, как они выглядели, я ничего не могу сказать, каков был их возраст и какие у них были намерения. Для меня эти люди не существовали, хотя они всё время свиристели и пфыкали и давали дурацкие советы. Особенно усердствовал один с сусличьим лицом. Этот прили- пала всё время маячил перед глазами и орал:

– Эй! Вы кровати забыли! Эй, ты, худой! Не переломись смотри! А ты, жирный, почему пушку не взял?! Ой, а этот-то в тельняшке! Ой,

братцы, помогите, умираю от смеха! Морской волк! Весь зад в ракушках! Небось, волны от берега отгонял!

Тип с сусличьим лицом задёргался, схватился за живот, потом за голову. Я думал, с ним будет обморок. Обескураженные Котёл с Кукой растерялись: на лице Котла появился страдальческий взгляд, вымученная улыбка; Кука выглядел обмякшим, словно из него выпустили воздух. Казалось, им предстоит не путешествие, а отпевание покойника. Но я-то, бывалый, не потерял самообладания – мгновенно оценил обстановку и, словно выбирая способ казни, презрительно смерил сулика красноречивым взглядом; и под моим испепеляющим взглядом он скрючился и засеменил в сторону.

Вокзал был забит народом, стояла духота и жуткий гул. Котёл, двигая локтями, винтообразно стал протискиваться сквозь толпу, за ним Кука как увеличенная тень Котла. Я замыкал шествие.

От кассы тянулась длиннущая очередь, её хвост терялся где-то на улице – не очередь, а морской змей, но Котёл разглядел кассу «для имеющих льготы», где стояло всего два человека – туда напрямик мы и ринулись. Проявив изобретательность, кивая на Кукину медаль, Котёл исхитрился достать билеты. После этой значительной операции, потрёпанные, с оторванными пуговицами, мы заковыляли на перрон.

Вагоны брались штурмом. Нашего проводника оттеснили в сторону; он вскинул кулаки и разразился руганью. Я человек интеллигентный и не переносу бранных слов. Согласитесь, сквернословить по каждому случаю проще, чем сдерживаться.

– Ох уж эти проводники, – возмутился я, врываясь в тамбур. – Прежде чем их брать на работу, следует научить вежливости.

– Точно! – бросил Кука, тяжело дыша мне в затылок. – Если впустят в вагон, то с такой миной, словно делают одолжение.

– А мне проводники помогают, – где-то сзади проскрипел Котёл. – Я с ними отправляю посылки родственникам. Но о чём я подумал? Приветливость, гуманизм – удел богатых. И восхищение тоже. Возьмите американцев. Они уже накопили богатства, и теперь для них главное – человеческие отношения, вежливость, милосердие.

– Чепуха! – хрипло отозвался Кука. – В несчастье, как правило, первыми на помощь приходят бедняки. Твои американцы говорят: «Если

ты такой талантливый, то почему бедный?» – и презирают неудачников. Они смотрят не каков ты, а что имеешь. У них мало друзей, в основном – партнёры. Только и скалятся: «Всё о'кей!», «Ноу проблем!». Им до лампочки твои дела, что у тебя в душе.

Я, само собой, не ввязывался в их препирательство.

В вагоне, пока пробирались на свои места, на нас пялили глаза и загадочно ухмылялись те, кто уже разместился, но мы так измочалились, так ошалели от суматохи, что ни на кого не обращали внимания; распихали вещи и, примостившись на лавках, задремали.

Я просыпался дважды. Первый раз, когда состав отходил от какой-то станции и вагон рвануло так, что я чуть не слетел с лавки. В нашей закутке было темно; сверху от лампы сочился жёлтый свет, за окном поднимались и опускались провода, перечёркивая розовое, как кисель, небо. И мои приятели, и соседи громко храпели. Второй раз, когда в вагон ввалились новые пассажиры; они так громко перекидывались словами, так зычно хохотали, точно находились не среди спящих, а на пикнике в лесу.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. МЫ МЕНЯЕМ ТРАНСПОРТ

Утром Котёл встал насупившийся, долго приглаживал шевелюру, пока не сделал из неё шлем, а Кука после сна вообще туго соображает – он тупо смотрел себе под ноги.

Мы вышли на глухом полустанке; всё железнодорожное полотно было залито солнечным светом.

– Эй, далеко ли до реки? – окликнул Кука стрелочника.

– На кукушке с полчаса, – стрелочник кивнул в сторону узкоколейки, где стоял прямо-таки игрушечный паровозик с одним вагончиком; паровозик напоминал первую паровую машину с вывернутыми наружу внутренностями; он пыхтел и фыркал, изрыгая клубы пара, расплёвывая брызги.

Мы припустили со всех ног и спустя пару минут уже качались в полупустом вагончике, который скрипел, лязгал, мяукал и вообще, казалось, вот-вот развалится. За окном тянулись луга, потом показалось картофельное поле, на котором копошились молодые люди.

– Студенты убирают урожай, – пояснил Кука и без того ясный факт. – В коллективизме, взаимовыручке есть великий дух братства.

– Отрывают студентов от занятий, – насмешливо выдавил Котёл. – В Америке всего три процента населения занято в сельском хозяйстве, а обеспечивают необходимым всю страну и ещё вывозят за границу. А у нас столько земли и продукты закупаем у западников. Страна с такими пространствами, такими богатствами не должна быть беднее других! Впрочем, наш ленивый народ и не достоин таких пространств.

– Чушь несёшь! – вскинул руки Кука. – Наш народ трудолюбивый и талантливый, да ещё незлобивый, отзывчивый, простодушный, доверчивый – да попросту святой! Даже немного беззащитен в своей доверчивости, и этим пользуются разные негодяи.

Я хотел было напомнить Котлу про духовные ценности, но, опередив меня, Кука продолжил:

– И что ты, Котёл, всё нажимаешь на материальную сторону! Да в твоей Америке у большинства только личные интересы. Им с детства прививают инициативу, предпринимательство, внушают, что счастье в богатстве. Если у твоего отца деньги, ты уже получаешь фору. А если ты родился робким, застенчивым и в бедной семье, тебе что, крышка?!

– Правильно их воспитывают – рассчитывать только на себя, – хмыкнул Котёл. – Из таких и вырастают личности.

– Перестань! – вспыхнул Кука. – В большинстве своём американцы примитивы, их основа – культ денег. Уж я не говорю о том, что капиталисты, думая о прибыли, плевать хотели на больных и нищих в бедных странах, на экологию... У меня, к примеру, есть всё необходимое для жизни, а всякие роскошества мне не нужны. И вообще деньги в России никогда не были главным. У нас главные ценности – общение, творчество, духовность.

– А почему благополучие исключает духовность?! – важным тоном произнес Котёл. – Да в Америке такая культура, которая тебе и не снилась. В каждом колледже симфонический оркестр.

– Брось! – нахмурился Кука. – Я знаю, что такое массовая культура! Боевики, голые девицы! Фигня! Дешёвка!

– А Джек Лондон, а Марк Твен, а...

– Это единицы, а в основном американское искусство погрязло в коммерции, рассчитанной на низкие вкусы, – Кука уже побагровел от натуги. – Пусть у нас всё примитивней, но чище. Пусть мы бедные, зато щедрые, а они все жмоты. У нас тяга к общению, а у них каждый сам по себе. И потом, я должен быть там, где борются, плывут против течения, где нужна моя помощь. Я многим помогаю устроиться с жильём, работой. Благополучная жизнь не для меня. Благополучие – болото с цветами; оно засасывает, растлевает, убивает многие стремления.

– Мне иногда кажется, что мы на планете – всего лишь подопытные кролики, – тончайшим образом я встрял в спор приятелей. – Что кто-то наблюдает за нами и однажды скажет: «Ну, людишки, поиграли в социалистов, капиталистов и хватит, а то ещё развяжете атомную войну и всю планету угробите, нарушите равновесие во вселенной. Вот вам рецепт идеального общества, и кончайте распри, а то вмешаемся, и вам будет худо».

– Ты Бога имеешь в виду? – решил прояснить Котёл. – В некотором смысле?

– В Бога я не верю, – заявил Кука. – Мне не нужна его помощь, я рассчитываю только на свои силы. Но верю в какие-то вземные силы.

– Это и есть Бог, – проникновенно сказал Котёл. – Заметь, время от времени человечество охватывают опустошительные болезни: то чума, то туберкулёз, то рак. Это наказание за воинственность и безнравственность. В некотором смысле.

– Ерундистика! Не владеешь ситуацией! – махнул рукой Кука. – Возникновение болезней объясняется законами природы. В мире постоянно возникают и отмирают различные формы жизни. Одни микробы под влиянием среды неслабо размножаются, другие исчезают...

Я усмехнулся:

– Если Бог есть, то он создал жестокий мир, в котором постоянно льётся кровь, всё живое уничтожает друг друга. Мы с вами создали бы что-то получше.

– Без проблем! – кивнул Котёл. – В самом деле, Бог забыл про табу на уничтожение себе подобных... Я вообще не верю в теорию Дарвина. Я знаю, откуда люди взялись, у меня есть экзотическая версия. Вот скажите, почему на земле войны, насилие, зависть, злость? Отвечаю.

Мы потомки преступников, которых выселили с других планет. У нас насилие в крови. Причём негров переселили с жарких планет, эскимосов с холодных...

Кука что-то возразил Котлу, и они продолжили спор, правда, уже в менее накалённой атмосфере, но это и понятно – сама тема требовала серьёзного подхода.

Вот за такими разговорами мы и доехали до ближайшей к реке станции. Собственно, станция – громко сказано. Перед нами открылась обычная платформа. За ней женщины прямо на земле продавали кучки овощей; здесь же бродили куры и дворняжки, чуть в стороне пролегал грунтовая дорога – вот такой словесный набросок той местности, и всё под раскалённым небом.

Нам объяснили, что по дороге до реки шесть километров, а напрямик, через перелесок, четыре. Мы решили поймать попутную машину и вышли на дорогу голосовать. Целый час стояли, и всё без толку. За это время в сторону реки прошло с десятков легковушек, но ни одна не остановилась. Некоторые шофёры, завидев нас, даже прибавляли газ. Меня охватила некоторая досада, Кука сжал кулаки.

– Дело принимает увлекательный оборот. Вот тебе и всеобщее братство, – язвительно промямлил Котёл, но тут же около нас притормозил запылённый грузовик.

– Сидай, попутчики! – крикнул шофёр.

Мы залезли в кузов, и машина покатила, вернее, запрыгала, словно на огромной стиральной доске. Через десять минут от тряски у меня разболелся живот, а потом, когда дорога перешла в ухабистую колею и грузовик стало кидать из стороны в сторону, затощило. Я еле дотерпел до конца пути – небольшой деревни, где не было ни души, даже собаки и куры попрятались от удушливой жары.

– Кайф! Уютная деревушка, – отдуваясь, сказал Кука.

– Дома какие-то приплюснутые, – злорадно проговорил Котёл. – И телевизионных тарелок не видно.

– Приехали, вылазь! – крикнул шофёр.

Мы заплатили ему десять рублей, и Кука осведомился:

– Как пройти к реке?

Тот кивнули на тропу, петлявшую в низине.

– Дуйте напрямиком!

Мы побрели по лугу. Вокруг было настоящее половодье цветов, перед глазами рябило и плыли тёмные точки, от приторных запахов голова отяжелела, но, главное, цветы были на невероятно высоких стеблях, и, чтобы разглядеть тропу, приходилось подпрыгивать.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. МЫ СТРОИМ ПЛОТ

Наконец притопали к реке – глинистому склону, скользкому, хоть на лыжах кати. Ближе к воде глина перешла в непролазный ил: ступишь – ногу не вытащишь. И повсюду какие-то кратеры, из которых с хлюпаньем и бульканьем вырывался пар. Ну, скажу вам, и река в том месте! Никто, даже я не мог такого предположить – вся заросшая и узкая; вода цвела и выглядела зелёной кашей. По реке, словно черти, плыли коровы.

На противоположном берегу, среди огородов, похожих на одеяла из лоскутов, стояла ещё одна деревня. Она располагалась вдоль реки и смотрела на свое отражение, которое почему-то было сильно увеличено и смещено – видимо, от напора солнца. Эта деревня была побольше, чем предыдущая, но дома в ней стояли чересчур тесно, и казалось, ссорятся за лучшее место. За деревней темнел лес.

– Самое главное в незнакомом месте – найти хорошего товарища, – подумался Котёл. – Тогда всё устроится.

– Неслабо мыслишь. Продолжай, развивай свои мысли, – хмыкнул Кука и, расправив плечи, демонстрируя отличную физическую подготовку, куда-то понёсся с бравым видом, искоса посматривая на себя, наслаждаясь своей ловкостью.

Позднее выяснилось – без долгих проволочек он развил бешеную деятельность. Уже через несколько минут мы увидели его выплясывающим в плоскодонке на середине реки. В лодке с шестом он выглядел Бабой-ягой в ступе, с той лишь поправкой, что не летел и не плыл, а барахтался на месте, но явно требовал к себе внимания.

– Сейчас перевезу вас на тот берег, – простодушно загоготал он. – В лес, плот рубить.

Я столько повидал за свою жизнь, что меня уже ничего не удивляло, я и бровью не повёл, но Котлу сразу стало плохо. Он вообще очень впе-

чатливый, чуть что падает в обморок. Дальше вы увидите, как он из-за любой неприятности впадал в отчаяние, любое дуновение ветерка воспринимал как приближение урагана; его слабый дух постоянно нуждался в моей моральной поддержке.

Так вот, в тот момент Котёл имел вид приговорённого к сожжению на костре.

– Какой ещё плот? Что за шальные мысли?! – испуганно завопил он, и его лицо вытянулось в кувшин. – Что ты затеял?! Неужели здесь нельзя купить дешёвенькую лодку? Что-нибудь вроде каноэ? – беспокойство Котла росло с каждой минутой, он даже посинел, как утопленник, и слегка всплакнул.

По сути дела, Кукина затея с плотом у меня тоже не вызвала энтузиазма, но всё-таки, приняв беспечный вид, я сказал:

– Плот – это замечательно! Я немного знаю, что это такое, – раза два плывал на плоту. В бурю!

– Ни каноэ, ни яхт здесь нет, – Кука всё же причалил и подошёл к нам. – Вон в старице долблёнки, но дырявые. Да и плот добавит нам острых ощущений.

Котёл сразу ни с того ни с сего начал хромать и жаловаться на боли в пояснице – его обычные уловки. Послушать Котла – так у него полностью не действуют штук пять органов, а остальные работают с перебоями. Временами он так много говорил о болезнях, что я чувствовал, будто тоже заболел. И это будущий врач! Как вам такое нравится?

– Ладно, не прикидывайся! Меня не разжалобишь! – зычно гаркнул Кука и как бы играючи стал молотить Котла, будто тот мешок с опилками.

– Но у нас нет разрешения на порубку, – плаксиво отмахивался Котёл. – Мне доподлинно известно, что это противозаконно (он пытался найти лазейку).

– Будем рубить только сухие деревья, – внятно сказал я.

Вскинув рюкзаки, мы погрузились в лодку и отчалили.

Засохшие сосны в лесу были прямоствольные с твёрдой шершавой корой, одна лучше другой, но это отметил только я (понятно, художественная натура!). Котёл рубил, зажмурившись и сидя на толстой коряге, – так, мельтешил, тюкал, то и дело бросал ничего не значащие фразочки:

– Здесь надо подумать. Это сразу трудно решить.

Он явно отлынивал, точно мы его взяли просто так, за красивые глаза. Вы заметили – как только началась настоящая мужская работа, он сразу сник и выглядел жалким подобием Котла, который в поезде болтал об Америке? Вскоре я убедился, что он вообще ни на что не способен: не мог отличить топор от молотка, ель от сосны; убедился в его брезгливом отношении к физическому труду.

Перейду к Куке – этот удалец, напротив, чересчур буйствовал (даже потерял в весе): он не разменивался на разные там красоты, беспорядочно орудовал своими рычагами, как кувалдами, со свистом рассекал топором воздух и валил одно дерево за другим, ведь лес для него – просто дрова, а всё живое в нём – жаркое. Если бы я вовремя не утихомирил Куку, он вырубил бы всю опушку и набросился бы на деревню. У него совершенно отсутствует чувство меры. Настоящий дикарь, ему снова на деревья надо.

Во второй половине дня мы скатили брёвна к реке и стали по моему совету (а я знаю толк в этих делах) сбивать их скобами, которые нашли на окраине деревни среди поломанной техники. Вот тут-то и произошла эта глупая сцена.

– Позвольте заметить, предположительно плоты связывают, а не сбивают, – пробормотал Котёл. – Советую вам подумать, прежде чем приступить к делу.

«Вам!» – это меня возмутило больше всего. Как будто он плыл сам по себе и нечаянно попал в нашу компанию.

– Ну конечно, – преспокойно усмехнулся я и продолжил с лёгкой иронией. – Ты лучше меня осведомлён о строительстве плотов. Куда уж мне, который всю жизнь провёл на реках и знает о плотах практически всё, – выдержав паузу, я добавил как конечное решение вопроса: – Если хочешь, строй себе отдельный плот и вяжи его.

На этом передрыга и кончилась бы, но тут Кука, дырявая голова, решил подлить бензинчика в наш тлеющий спор; он отчеканил:

– Давать советы легче, чем самому следовать им. Что за вопрос – сбивать, вязать? Не владеете ситуацией. Настоящие мастера очевидные вещи не обсуждают. Надо и сбить, и связать. Чтоб мне запутаться в паутине, так будет неслабо, фундаментальней. И хватит мутить воду, у меня почти законченное высшее образование, и я знаю, что говорю.

У него был пунктик: он считал, что достаточно окончить вуз, чтобы всё знать; между тем, как известно, умные всю жизнь учатся. Да и он, дуралей набитый, не мог понять, что навык важнее знаний.

С моего языка чуть не сорвалось ругательство.

– Чтобы вязать, надо поднимать брёвна, а я и так уже наломался.

Я не жаловался, ни в коем случае. Здоровье у меня в порядке – просто не хотелось надрываться, вот и всё.

Тут Кука круто обернулся.

– Ха, наломался! Ну ты даёшь! Срубил одно дерево и уже захныкал. А я сколько ишачил? На весь плот нарубил – и то ничего.

Это был выпад, нацеленный в моё чувствительное сердце; такой наглости я не ожидал, у меня прямо кровь вскипела в жилах. Кука, конечно, поработал, даже перестарался с излишним рвением, но тыкать этим в глаза!

– И хватит болтать, принимайтесь за дело! Совсем разучились работать, сачки несчастные! – продолжал Кука резким нагловатым тоном.

– Неплохо сказано. Возвышенно! – с некоторым смущением согласился Котёл. – Само собой, разучились. Не зря западники нам говорят: «Мы так отдыхаем, как вы работаете». А тебе, Чайник, я вот что скажу, – Котёл повернулся ко мне. – Создаётся впечатление, что ты не только всё знаешь, но и всё умеешь. Будь добр, прибей скобы, но посмотрим, что ты запоёшь, когда поведёшь нас к пропасти.

Я только усмехнулся и абсолютно спокойным пошёл прибавать скобы. Я отлично владел собой.

Мастеровито, неторопливо, выверенными движениями, соблюдая чёткую последовательность в работе, я сколотил плот. Сделал великое дело, но, конечно, пришлось попотеть. Надеюсь, вы догадались, что я сотворил отличное плавсредство. Три на четыре метра примерно. У плота не было особой симметрии, зато он получился прочным, как железобетонная плита, ведь скоб я не пожалел.

Котёл с Кукой тем временем изготовили корявые шесты и вёсла, «из подручного материала», как выразился Кука. Погрузившись на пахнущие смолой брёвна, мы оттолкнулись от берега.

– Ветер нам в спину! – провозгласил я.

Было что-то историческое в этом моменте. Вода начала слизывать с брёвен чешуйчатую кору, и за нами потянулся шлейф трухи.

– Любопытный результат! Налицо некоторый успех. Если не хрястнемся, то скобы не подкачают, – с видом знатока произнёс Кука, совершенно забыв, кто был родоначальником этой идеи. Он всегда высказывал то, что часом раньше говорил я.

Котёл сразу стушевался и угостил меня бутербродом, будто и не он зажимал мою идею. Чужие идеи он рубил на корню. Да, собственно, вы и сами уже всё поняли, верно?

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. НЕБОЛЬШАЯ НЕПРИЯТНОСТЬ

Первым делом мы поплыли в деревню, чтобы купить на дорогу картошки и овощей. Кука шуровал шестом, Котёл, выделявая какие-то пируэты, чиркал по воде веслом. Здесь я умышленно умолчу о себе, поскольку для меня, опытного походника, гребти – вообще не работа, а разминка, которую можно делать в полсилы, и простите, в такие моменты я просто восхищаюсь собой; факт остаётся фактом: среди сверстников я самый рукастый, толковый, знающий.

Моё плавсредство, несмотря на некоторое несовершенство, микроскопические огрехи, оказалось на редкость устойчивым; правда, отдельные брёвна крутились и плот всё время заливало, но всё-таки на воде он держался прилично. Самое замечательное, что я придумал, – плот не имел ни носа, ни кормы; каким местом его течение несло, то и считалось носом. Очень удобно и совершенно не нужно править, но для ходкости я всё же приделал перо руля. Ну а со стороны моё универсальное плавсредство вообще смотрелось впечатляюще, как произведение искусства.

Я сразу дал приятелям понять, кто на плоту капитан, – распределил позиции для гребли и, как капитан, отвечающий за всё, ввёл строгие правила: не ругаться, не кричать, не говорить о политике и девушках. И, поскольку во всём люблю аккуратность, для каждой вещи обозначил своё место, а чтобы приятели считались с этой моей особенностью, повсюду надлежащим образом наклеил этикетки: «Здесь рюкзак», «Здесь топор». К сожалению, эти надписи постепенно смывало и они, словно сбитые мотыльки, качались за нами по волнам, а на плоту, естественно, воцарялась неразбериха.

На середине реки мы неожиданно врезались в камыш и сели на мель. Пришлось лезть в воду и раскачивать плот. После некоторых усилий нам удалось только сдвинуть его назад. Тогда мы решили проскочить мель на скорости. Оттянув плот, чтобы придать ему должную энергию, навалились на него, и ринулись вперёд, и проскочили не только мель, но и следующие за ней пережат, заплёсок, прибрежные кусты, и со всего маху вылетели на берег. Сгоряча тут же хотели спихнуть плот в воду, но наши усилия оказались тщетными. Чертыхаясь, устроили передышку; накопили силы для новой попытки, напряглись, но опять ничего не вышло.

– Пустая затея, – стонал Котёл. – Напрасный труд.

– Глухо, безнадёга, зря горбатимся, – судорожно хрипел Кука. – Укуси меня змея, гиблое дело, заговор природы. Неслабо врезались. Достигли противоположной цели. Впрочем, смысл путешествий – преодолевать трудности.

Проваландавшись до темноты, взмокшие от усердия, мы пошли в деревню за подмогой.

Несмотря на жаркую погоду на деревенской улице стояла глубокая грязь, в которой, как мухи на липкой бумаге, увязли два грузовика. Предположительно, они засели давно, один уже разбирали на части. В грязи же, похрюкивая, нежились свиньи – огромные, как дирижабли. По улице брело стадо коров; животные одно за другим сворачивали к домам и рогами открывали ворота.

– И как не ошибаются? – наивно спросил Кука.

– Номера-то на домах написаны, – хмыкнул Котёл, и Кука сразу сконфузился.

Мы разыскали тракториста, мужика с заспанным лицом, и стали ему втолковывать, что хотели бы с помощью трактора водворить наше деревянное детище на своё место. Тракторист долго почёсывался, бормотал: «Сложнейший вопрос», но, как только Кука показал пузырёк со спиртом, сразу оживился:

– Это меняет дело. С этого и начали бы, это другой разговор. Всё сделаем на высшем уровне.

И действительно спихивал плот нежно, как шкатулку. А позднее, после выпивки, предложил для ночёвки курятник с сеновалом, в котором были такие огромные щели, что в них свободно влетали воробьи; зато сена имелось в изобилии.

– Вы заметили, какая старая техника у тракториста? – подал голос Котёл, укладываясь в ворохах сена. – Никак не пойму, почему наши инженеры до сих пор не могут сделать нормальный автомобиль? Делают какие-то мыльницы на колёсах, – Котёл закудахтал – того гляди яйцо снесёт.

– Ерунда! – отрезал Кука, метнув на Котла уничтожающий взгляд. – В своё время «Победа» была лучшей машиной в Европе. И сейчас дай нашим инженерам хорошие материалы, они сделали бы такие агрегаты – закачаешься! Всё дело в том, что наша промышленность выпускает слабые материалы, а инженерная мысль у нас – ого! И всегда Россия славилась своими инженерами. Русские строили лайнер «Нормандия» и лучший мотоцикл «Харлей». И лучший танк, и первый вертолёт – наши. И роторные экскаваторы, и спутник... Я в технике собаку съел и знаю, о чём говорю, – от негодования Кука попытался привстать, но чуть не свалился с сеновала.

– Ну инженеры ладно, а почему в деревне неприглядные дома? – снова начал канючить Котёл. – Их что, нельзя сделать получше?

– Можно, – кивнул Кука. – Но, пойми, мы, в России, люди крайностей, нам надо дерзать, в нас бурлит фантазия. Мы должны изобретать, открывать. Забор покосился, крышу надо чинить – мелочёвка. Вот сделать летательный аппарат из бензопилы – это да. Или из старья построить ветряк, или побеседовать на вечные темы.

Я, понятно, в эту болтовню не вмешивался.

Ночью основательно продрогли и мы с Кукой всё время перетягивали наше байковое одеяло: то он на себя, то я, а Котёл беззаботно посапывал в середине. В конце концов Кука обернул всё одеяло вокруг себя и мне ничего не оставалось, как снять куртку и прикрыться ею. Часа два я пытался спрятать под неё ноги и голову одновременно. Видимо, мне это удалось, потому что я всё же уснул.

Вот так, ребята, прошёл первый день нашего путешествия, день, в который я внёс огромный вклад. Безусловно я, кто ж ещё? Это яснее ясного. И должен заметить – вам сильно повезло, что о поездке рассказываю именно я, а не мои приятели. Котёл всё переврал бы, а у пещерного Куки получились бы сплошные ссоры, мордобой и так далее, сами понимаете.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. ДЕРЕВНЯ ЛЕНТЯЕВ. КОТЁЛ ПРОИЗНОСИТ РЕЧЬ

Рано утром где-то спросонья заголосил петух. Наш петух испугался, что проспал, и хрипло отозвался. Первому певуну показалось, что он слишком слабо пропел, и он снова заорал во всё горло. Наш петух в ответ вскочил, захлопал крыльями и дал такого дрозда, что куры посыпались с насеста. Тут и началась кутерьма. В соседних курятниках забегали петухи и, чтобы не остаться в долгу, завопили что есть мочи. Сон как рукой сняло. Смахнув с одежды сено, мы вышли из курятника.

Утро было солнечное. В отличном расположении духа лёгкой трусцой мы потащили вещи на плот. Из палисадников на нас глазели жители деревни – в самое рабочее время они беззаботно сидели на лавках и щёлкали семечки.

Перед дорогой мы присели на бугорке, и вдруг Котёл брякнул:

– Да! А как мы назовём наше сооружение?

– Наш плот в рекламе не нуждается, – объявил я. – Каждому ясно – он сделан по последнему слову техники.

– Можно назвать «Эй, ухнем!» или «Волкодав реки», – сморозил глупость Кука.

– Лучше всего – «Связка дров», – предложил Котёл и залился смехом. (У него в запасе полно насмешек). Вытирая слёзы, он выдал ещё пару издёвок: – А ещё лучше «Буль-буль» или «Плавучий гроб».

В это время невдалеке появились косцы. Они направлялись в пойму, но, заметив нас, побросали косы, подбежали к реке и со жгучим любопытством уставились на плот, шушукаясь и потирая руки. Предчувствуя неладное (а интуиция меня никогда не подводит), я сказал:

– Надо давать тягу.

– Преждевременно! – пропел Котёл. – Куда спешить? Сейчас скажу небольшую речь, и тронемся. Пустяковая формальность. Надо же нас обеспечить зрителями.

– Валяй! – бросил Кука. – Но не говори красиво, не выпендривайся.

Я выразительно вздохнул, но Котёл не понял моего предупредительного вздоха и поплёлся к стоящей невдалеке телеге, бросив косцам:

– Идите сюда, я должен вам кое-что сообщить!

Косцы нехотя подошли. Котёл попытался взгромоздиться на телегу, но она тут же развалилась. Конечно, её бросился чинить Кука, ну и,

как вы догадались, она стала трёхколёсной. Это я помню как сейчас, у меня зверская память. Я, например, узнаю людей, с которыми много лет назад стоял в очереди. «Как тебе это удаётся?» – спрашивали Котёл с Кукой, когда я припоминал, что они говорили год назад, и ловил на противоречиях. «Это неважно, – отшучивался я. – Главное, врунам вроде вас надо иметь хорошую память».

Ну так вот. Выбравшись из-под обломков телеги, Котёл залез на пень – он не мог говорить без возвышений.

– Друзья! – начал Котёл. – Отрадно, что вы забыли о работе. На вашем месте я целыми днями сидел бы на берегу в ожидании разных событий... Сегодня вам особенно повезло, и можете вообще ничего не делать... Что мне больше всего понравилось в вашей деревне, так это кладбище техники. Молодцы, здорово вы с ней расправились и, судя по всему, не собираетесь чинить.

– Починим! – хором крикнули косцы.

– И понравились ваши дома, – продолжал Котёл. – Заваливаются, но всё же не падают. Смелые вы люди, не боитесь в них жить.

Котёл прямо упивался своим голосом. Я кивнул ему, чтобы закруглялся, но он заупрямился. Я потянул его за куртку, но растроганный Кука остановил меня:

– Не дёргайся! Застрели меня из рогатки, но Котёл неслабо, по делу их прикладывает. Пусть ещё что-нибудь скажет.

Жёстким взглядом я приструнил Куку, а Котла стащил с пня:

– Не вмешивайся в чужие дела!

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ

Мы ступили на плот и махнули провожающим. Наступил волнующий момент. Орава на берегу замерла и смотрела на нас с восхищением. Мы начали отталкиваться, но плот и не думал двигаться с места, он точно прилип к берегу. Я готов был провалиться сквозь землю, а мои приятели хоть бы что, подбадривают друг друга:

– Молодец! Изумительно! Продолжай в том же духе!

А мне въедливо бросают:

– Не экстазуй! Не трепыхайся! Ешь больше картошки, она снижает нервозность.

После отчаянных усилий нам всё же удалось оттолкнуться. Мы поплыли. На берегу облегчённо вздохнули. Путешествие началось.

– Семь футов нам под килем! – торжественно произнёс Котёл.

Уточню: Кука грёб вполне прилично, но, понятно, – для зрителей устроил парадное выступление, да ещё явно любовался собой. Котёл тоже старался (когда кто-нибудь смотрел, он трудился вовсю). Этот показушник даже встал на видное место и принял живописную позу – поднял голову, спину выпрямил и махал веслом с особым шиком. Но больше всех, конечно, работал я и при этом корректировал действия приятелей.

Всё шло как по маслу (мой приблизительный вывод), и со стороны мы производили неплохое впечатление, только плыли медленно и зигзагами, и почему-то казалось, вот-вот перевернёмся. Я сделал несколько критических замечаний моим приятелям, причём не назидательно, а в форме лёгкого напоминания того, что они, несомненно, знали, но просто забыли. Хвалиться я не люблю, это не в моих правилах, но гребу я с ювелирным мастерством, я сильный гребец. У меня был такой случай... впрочем, о нём в следующий раз.

– По-моему, Чайник совершает грубую ошибку, – вдруг прогундосил Котёл. – Слишком форсирует события, гребёт с нами не в такт. Это может привести к печальным последствиям, мы можем перевернуться и погибнуть.

Во мне всё просто закипело от возмущения, но я сдержался. Повторяю, в умении владеть собой я оставил приятелей далеко позади, а это что-нибудь да значит.

А наблюдатели на берегу давились от смеха, смеялись до истерики. «Обормоты, сели бы сами и попробовали. Думают, это легко», – мелькнуло в голове. И тут я заметил, что Кука слишком вошёл в раж, гребёт с каким-то остервенением, точно его свела судорога, даже до берега долетали брызги от его весла. Он готов был нас утопить. Ну и конечно, он начисто забыл о наших интересах – мы не просто должны были плыть, мы должны были плыть красиво, максимально зрелищно, ведь нас по берегу сопровождали косцы. Тут, правда, я дал маху – иногда

обстоятельства требуют крутых мер – надо было огреть Куку веслом, а я только сказал:

– Кука! Гребни на раз, два, три. И не яростно, а спокойно. Ну неужели это так трудно?

– А ты брось грести совсем! – рявкнул Кука. – Плот ровней пойдёт. Не приносишь пользы, не приносишь вреда.

– Поймите же! – не выдержал я. – Пока вы не будете меня слушать, мы не продвинемся ни на шаг.

Кука плюнул и выругался, а Котёл смотрит на меня и улыбается, как дуралей. Правда, дальше, по мере развития событий, его улыбка утратила свою лучезарность и уступила место гримасе страха, но тогда он отвернулся и стал грести по-своему. Котёл никогда не делал выводов из ошибок приятелей (в данном случае Кукиных), он мог что-либо уразуметь, только когда напортачит сам.

В самый неподходящий момент впереди показалась гряда камней. Это зловещее препятствие заставило меня собраться. Только не подумайте, что я струсил, – ни в коем случае, просто был начеку. Но вдруг меня точно ударили в солнечное сплетение – к гряде подходило стадо коров.

– Кука, мы в опасности, – повысил голос Котёл и задёргался, словно кукла на нитках. – От тебя зависит наша жизнь. Оттолкнись по своему борту, и дело с концом. Только не слишком мужественно.

Советы Котла имели то достоинство, что после них хотелось услышать мои, действительно дельные. Но здесь уже было поздно советовать. Я принял отчаянное решение – подбежал к Куке и со всей силы стал тормозить веслом. По какой-то неясной причине плот заходил ходуном, накренился, и между брёвен забила струя воды толщиной с дерево. Я поскользнулся и шарахнулся затылком о брёвна, да так сильно, что чёртики запрыгали перед глазами. Кука растянулся во весь рост рядом, а Котёл ухитрился остаться на ногах, но его беззаботность как рукой сняло, он онемел от страха и завертелся, как хорошо смазанный подшипник.

– Неудачно шутишь, Чайник, – проговорил он с искажённым лицом и топнул ногой... и тут же исчез под водой меж брёвен. Выплыл несколько в стороне и завопил:

– Подгребите ко мне, я не доберусь до плота!

Но Кука, которому всё нипочём, командовал:

– А ты не добирайся и не вылезай из воды. И без паники! Оглуши меня веслом, но мы всё равно тонем. Чайник натворил чудес. Сделал всё, чтобы мы гробанулись! Прощай, моя прекрасная жизнь!

В ту же минуту плот разъехался, и Кука в самом деле исчез под водой, а потом и я последовал за ним. На нас с грохотом обрушилась лавина бешеной воды.

На берегу один зритель начал кататься по земле и всхлипывать, другой зарыдал, да так, что свалился в воду, третий рухнул без чувств.

Когда я вынырнул, всё вокруг было мутным, точно затянутое плёнкой: и коровы, и толпа крикунов, и далёкое солнце, маленькое – с барабан. Повернувшись, я увидел смеющуюся физиономию Котла. Казалось, он только и ждал момента, когда мы пойдём ко дну.

– Здесь мелко! – невозмутимо крикнул он, направляясь ко мне.

Я попробовал встать, но захлебнулся. Ему-то, фитилю, везде мелко, а Кука – жирный, этакое надувное корыто, и, понятно, не тонет. Короче, я скоростным стилем поплыл к берегу.

Мне, ребята, придётся потратить немного времени, чтобы кое о чём предупредить вас. Если когда-нибудь вам случится попасть в кораблекрушение, не пугайтесь, это не так страшно – ручаюсь! Прежде всего, не надо торопиться. Куда спешить? Спокойно посмотрите – до какого берега ближе, и дуйте. Как только вылезете на берег, начинайте давать советы тем, кто ещё не успел выбраться. Все говорят, происшествие такого рода – опасная штука, а по-моему, не очень. Среди сведущих людей я рассказываю о нём подробнее, а вам это ни к чему. Вам я рассказал попутно, мимоходом. Главное, что я хочу сказать: в тот день, в самом начале плавания, я понял – долго со своими беспомощными приятелями не протяну. Запомните – я понял это в самом начале!

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. РЕМОНТ ПЛОТА И БЕЗРАССУДСТВО КУКИ

Мы проснулись от зуда. По нам ползали орды муравьёв. Накануне в темноте мы застолбили палатку прямо на муравейнике. Здесь я должен кое-что разъяснить. Проснулись мы с Котлом, а Куки в палатке не было. Лежала только его кофта. У меня сразу возникли большие

опасения, что Куку съели муравьи (что не раз случалось с путниками в тропических лесах), но вскоре в палатку просунулась его физиономия...

Но вы, наверное, сгораете от любопытства узнать – чем же закончилось наше кораблекрушение? Ну конечно, мы были на волосок от гибели. Позднее Котёл с Кукой в сильнейшем волнении до одури несли бредни, что я преувеличивал опасность, что могло быть и хуже, а так получилось всего полчаса позора, и что им сразу было ясно – на таком плоту далеко не уедешь. Особенно зажигательно тараторил Котёл:

– Я же вам говорил! Я же говорил!

Собравшись тогда на берегу, мы долго выжимали из себя, как из губок, воду... Спустя полчаса Кука оповестил нас, что изобрёл «устройство для добывания затонувших ценностей без водолазов», и стал забрасывать спиннинг, выуживая наши вещи (временами Кука делал кое-что неплохо, почти как я), но многое он так и не достал.

Потом сушили шмотки и вещи у костра и смотрели, как испаряется влага. На это ухлопали весь день. Когда вечернее солнце нырнуло в тучи, кое-как поужинали и стали разбивать палатку, и тут Котёл опять загундосил:

– Э-хе-хе, наши палатки назвать палатками можно только с натяжкой, скорее, это чехлы для бочек. Вот я видел у одних туристов итальянскую палатку – совсем другое дело: целый сборный дом из ярких тканей, на окнах – накомарники, на стенах – карманы для мелких вещей, всё на застёжках-молниях, совсем другой дизайн.

Я не стал возражать Котлу. Действительно, наши палатки комфортом не отличаются. К примеру, в солнечный день в них как в душегубке. Для чего их выпускают, непонятно. Наверно, это может понять человек с более философским складом ума, чем я, – хотя, по правде говоря, такого трудно себе представить.

Но Кука не оставил слова Котла без внимания:

– Зато наши палатки прочные, с прорезиненным дном и совершенно не текут. И вообще, скромность в быту – признак культуры человека, а всякие роскошества – от слабого ума, от пижонства.

Когда мы легли спать, крупногабаритному Куке не хватило места и он спал наполовину наружу. Укладываясь, он ворчал, что мы его прищемляем.

– Тебе, мордастому, надо похудеть, растряссти жир, тогда тебе никто не будет мешать, – сказал я.

– Согласен, я слегка полноват, но мой жир – моё богатство, – отозвался Кука. – Он мне пригодится, когда начнём голодать.

– Кстати, всё наше население полнее, чем надо, – продолжал я. – Раньше хоть соблюдали посты, а сейчас все прут полные сумки.

– Стяжатели будут всегда, – возвестил Котёл. – И зависть, и распри будут, потому что один рождается красивым, другой уродом, один умный, другой дурак...

– Это и называется равновесием в мире, – выпалил Кука. – И зло уравнивается добром, и между ними идёт постоянное противоборство. Неслабое. Ведь как у зверей? Только появляется хищник, его жертвы начинают больше плодиться. Предстоит суровая зима – делают большие запасы. Возникла болезнь, тут же появляется противоядие, природа всё регулирует сама, в ней всё сбалансировано, и не зря присутствует чувство страха, опасности. Мне, например, жалко волка, который не догнал зайца.

Ночью в палатке было душновато, но всё же мы выспались неплохо. Ну а как мы проснулись, я уже сказал – от муравьёв.

После лёгкого завтрака Котёл развалился на траве и включил приёмник. Он всегда после еды отдыхал, а перед сном дышал как йоги. Он жил по определённой системе. Главным в этой системе было «избегать стрессов, беречь нервы, экономить энергию». Это ему плохо удавалось – он заводился с пол-оборота. К слову сказать, впоследствии часть системы Котла я взял на вооружение, конечно, с поправкой на свою конституцию.

Кука – полная противоположность Котлу. Он примитивно считал, что лучшая система – это отсутствие всякой системы. Кука жил на износ, в его глазах постоянно сверкала ненасытная жажда жизни, готовность на любое дело, при этом он ничего не принимал на веру, всё ставил под сомнение, всё оспаривал, всё хотел изменить, сделать по-своему. Он из тех суетников, которые вечно куда-то спешат и поэтому ничего толком не делают. В нашей поездке это особенно проявилось, ведь в путешествиях умный становится умнее, а дурак глупее. Вы же видели, я постоянно сдерживал Куку от безрассудных поступков и, с присущей мне тонкостью, направлял его необузданную энергию в нужное рус-

ло. А это не пустяк, если вдуматься. Неугомонный Кука даже не умел отдыхать, отключаться от дел. Хотя нет, умел. И даже слишком. Он и в этом силён.

В то утро, после завтрака, Кука прилёг рядом с Котлом и попросил сыграть «что-нибудь душевное».

– Я сыграю тебе возвышенную вещь, которую сочинил недавно, – Котёл выключил приёмник и взял гитару. – Она называется «Американские прерии, которые я когда-нибудь увижу». Как ты понимаешь, я мечтаю покататься по другим странам, а не по таким речкам Синичкам.

– Брось фонтанировать, болтать ерунду! – грубо оборвал Кука. – Когда ты увидишь жизнь на Западе, ясное дело, многое будет не в нашу пользу, но ты заметишь и то, что, скажем, в Италии огромные земли и целые пляжи принадлежат миллионерам; и великие произведения искусства в домах толстосумов, а у нас – в музеях, для всех, пожалуйста, смотри, любуйся! Ладно! – Кука рванул Котла за плечо и сказал примирительным тоном: – Сыграй свои «Прерии».

Котёл начал играть мелодию, в середине вещи перешёл на импровизацию. Всё это я прекрасно уловил, но Кука, начисто лишённый слуха, вдруг промычал:

– Неслабо! Гениально! В середине немного сбился на дрянь, но потом, молодец, всё же нашёл мелодию.

У Куки не было средних суждений – или гениально, или дрянь! Похвалив Котла, он тут же начал громить рок, «ногодрыганье и рукомашество», потом заявил:

– Я люблю марши и наши старые песни, в них вся русская душа. Но хватит бездельничать! Пошли-ка чинить наш плот-развалюху!

Мы начали ремонтировать плот: я сбивал брёвна скобами, Котёл с Кукой связывали. В сравнении с моей работой их потуги выглядели детскими забавами и выдавали полнейшую неопытность «мастеров». Ко всему Котёл, обрезая концы верёвок, кидал их за спину в воду и прислушивался – долетят или нет. Разумеется, вскоре моё терпение лопнуло:

– Это халтура, а не работа. Что вы там наворотили?! Верёвки моментально перетрутятся, и тогда пиши пропало.

– Сколько взглядов, столько и мнений. Время покажет, кто прав, – уныло протянул Котёл. – И не преувеличивай страхи.

– Да-да, – заглядывая Котлу в рот, закивал Кука (в вопросах быта он полностью доверял практичному Котлу и был податливым материалом в его руках; не личностью, а куском пластилина. Обратите внимание – они вели только идеологические споры).

– Кстати, я изучил карту и поведу плот с закрытыми глазами, – добавил Кука. – Заколотите меня в бочку, если не поведу! Сейчас только присобачу мачту и повешу одеяло как парус.

– Верное решение! В этом есть глубокий смысл. Сумеешь, без дураков? – подстрекательски проговорил Котёл.

– Что за вопрос? – хмыкнул Кука.

– И где ты, Кука, был раньше? – Котёл обнял меня по-свойски. – А мы пока позагораем, правда, Чайник? Погодка-то – блеск! – мы расстелили на плоту палатку, перетащили вещи и прилегли.

Кука расхлябанной походкой проковылял на корму и залихватски оттолкнулся от берега.

– До следующей деревни три трубки табака! (Кука мерил расстояние количеством выкуренных трубок).

Как и многие начинающие рулевые, Кука сразу потерял осторожность, раскопегарился и чуть не придавил каких-то байдарочников; плот сильно закачался, и мы с Котлом чуть не свалились в воду.

– Кука, ты, наверное, думаешь, что везёшь дрова? – задрезжал Котёл. – Тебе управлять не плотом, а телегой. И потом за нами наблюдают с берега. Рули так, чтобы мы выглядели мастерами своего дела. Никто не должен видеть наши слабые места.

Чего и следовало ожидать, Кука не подкачал, не ударил в грязь лицом. Думаете, он совершил подвиг? Ошибаетесь! Всему есть предел, кроме его сумасбродства; похоже, всё-таки у него опилки в голове. Представляете, каким нужно быть талантливым, чтобы врезаться в единственный пень на всём протяжении реки?! Он вёл плот с помощью всевозможных приборов, но всё равно врезался в этот злополучный пень, торчащий из воды, а после столкновения долго оборачивался и таранился на него, вместо того чтобы не спускать глаз с лежащей впереди отмели.

В заключение, когда мы с Котлом чуточку вздремнули (убаюкало лёгкое течение), Кука, как и обещал, повёл плот с закрытыми глазами, то есть уснул, хотя сам же написал на руле: «Не спи за рулём – про-

снёшься на том свете». В итоге мы действительно проснулись в какой-то мешанине, в болоте среди тины и зловонного ила, где кишмя кишели лягушки. Вокруг был какой-то тёмно-зелёный ад.

– Приготовь концы! – бросил я Котлу, но тот, оказалось, предвидел мою команду и в поте лица подгрёбал к берегу.

Выбравшись из тины, мы привязали плот к иве и стали взбираться на берег да бухнулись в крапиву, у которой были не шипы, а гвозди; руки и ноги сразу покрылись волдырями.

– Ничего! – зафасонил Котёл трескучим голосом. – Зато придавили сотню комаров.

– Да это остров! – бодро крикнул откуда-то сверху Кука (он уже носился по суше, как лось). – Простор не тот, не развернёшься, но неслабое местечко, и дровишек полно. Пошевеливайтесь там!

Пока перетаскивали вещи, разводили костёр и варили суп, наша поляна превратилась в духовку. В тех местах солнце быстро поднималось, и застревало в зените на весь день, и жгло кипятком, а часов в девять вечера сразу сваливалось за горизонт.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. НЕИНТЕРЕСНАЯ. ЕЁ МОЖНО ПРОПУСТИТЬ

Чтобы вас, ребята, посмешить, отвлекусь от нашей походной жизни и расскажу, как мы проводили свободное время.

На острове после обеда я решил устроить отдохновение для души: взял альбом и, устроившись в тени, начал делать набросок нашего лагеря. Только сделал несколько штрихов, ко мне, пританцовывая, с шахматной доской подлетел Кука:

– Сразимся? На какой клетке тебе поставить мат?

Я не хотел играть, но, чтобы сбить Кукину спесь, расставил фигуры. Здесь надо сказать: Кука, как многие профессиональные игроки, во время игры прибегал к разного рода ухищрениям. Одно из них заключалось в том, что, делая ходы, он изо всей мочи стучал фигурами по доске, не понимал, олух, что от этого ход не становится сильнее. Другое состояло вот в чём: Кука поддавал фигуру и делал вид, что ошибся, но, когда доверчивый противник её брал, наносил смертельный удар.

В первой партии и я попался на эту удочку. Получив неплохое развитие в дебюте, Кука вдруг подставил под удар фигуру, схватился за голову и застонал:

– Ой-ёй-ёй! Что я наделал!

– Ну переходи, нет проблемы! – шепнул Котёл, который подсел рядом и сразу взял на себя роль арбитра. – Возьми обратно ход.

– Нет уж! – оборвал я Котла. – Обратно ходы не даю.

С этими словами я схватил фигуру, а следующим ходом Кука поставил мне мат. И отвалился от доски, захлёбываясь оглушительным смехом. Он долго тряся, хлопал себя по коленям, икал, пускал пузыри. Котёл тоже посмеивался:

– Удачный трюк. Очень удачный! Возвышенный!

– Хорошо! – сказал я, не обращая внимания на колкости. – Давай ещё одну. Больше у тебя этот номер не пройдёт.

– Давай... ещё одну, – вытирая слезы, пробормотал Кука.

Начали мы вторую партию. Я был очень агрессивен настроен и уже через десяток ходов начал гонять Кукиного короля по всей доске. Несколько раз Кука предлагал мне ничью, но я и слушать об этом не хотел. Я догадывался: если Кука предлагает ничью, значит, его позиция проигрышная. Тут в переговоры о ничьей как арбитр вступил Котёл, но я сразу отрезал:

– Даже не заикайся об этом!

К концу партии, когда укрепления Куки уже трещали по швам, он вдруг подставил ферзя под удар и снова схватился за голову и застонал:

– Ой-ёй-ёй! Что я наделал?!

– Знаю я эти дешёвые штучки! – не раздумывая, я отверг жертву и сделал нейтральный ход.

Кука хлопнул меня по плечу:

– Спасибо, Чайник! Чистого ферзя не взял! Не просёк ситуацию, – и второй раз поставил мне мат; и опять чуть не подавился смехом. От полноты чувств даже чмокнул меня в лоб.

– Чрезмерная доверчивость так же плоха, как и чрезмерная недоверчивость, – усмехнулся Котёл, пересаживаясь на моё место. – Эту партию я посвящаю тебе, Чайник.

После шести-семи ходов стало ясно, что Котёл выбрал защитный вариант и ему без моей помощи долго не продержаться. Я начал ему под-

сказывать: вначале в форме лёгких советов, а потом, когда Кука полез на рожон, и двигать фигуры Котла. Котёл останавливал меня и упорно продолжал возводить дурацкие укрепления вокруг королевской четы, а Кука, судорожно прикидывая в уме комбинации, возмущался:

– Играйте вдвоём, поганцы, я не против, но не делайте по пять ходов сразу.

В конце концов Котёл оценил мои ходы, и мы вдвоём повели партию к выгодному для нас окончанию. Кука уже ругался и отталкивал меня, но я продолжал наступать. Поняв, что со мной шутки плохи, Кука сказал, что его как шахматиста знает вся Москва, а обо мне никто и не слышал.

– Ну, популярность ещё ни о чём не говорит, – вяло заметил Котёл. – У нас полно всяких дутых знаменитостей.

Я только ухмылялся и продолжал заграбастывать Кукины фигуры, а под конец провёл пешку в ферзи. Сразу же после слов «ладно, твоя взяла!» Кука швырнул фигуры и, потрясая кулаками, на которых, как трубы, синели жилы, обрушил на меня водопад оскорблений.

– Испортил весь кайф! – ревел он. – Покрыться мне бородавками, испортил! Учти! – и он пригрозил мне расправой.

Всё складывалось неплохо, но, «всё-таки остров – опасное пристанище», подумал я, зная, что сельские жители недолюбливают горожан. По моим настойчивым просьбам Кука на всякий случай на ночь сделал заграждения вокруг палатки. Мой замысел был великолепен, но осуществить его недотёпа Кука не смог. Удивительно, как сложно он умудрялся решать простые вещи. Впрочем, глупость предугадать трудно. Представьте себе: дикари в джунглях наткнулись на ящик с болтами и гайками; у них сотня вариантов использовать крепёжные принадлежности, но они выбирают самый дурацкий – вешают их на шею как украшение. Так и Кука. Нет чтобы взять и наткнуть на поляне палок (вокруг их было навалом), Кука переусердствовал – нагромоздил вокруг палатки баррикады, и, только мы легли, его сооружение рухнуло. Особенно придавило Котла, его пришлось вытаскивать за ноги.

– Кука! Ты что, боишься, на голову луна свалится? – разразился Котёл. – Посмотри, что ты натворил! – он показал на два фонаря на лбу – они были огромные, как рога.

Между Котлом и Кукой началась словесная битва (Котёл даже заявил, что при рождении Куки Бог что-то перепутал с хромосомным набором, то есть, возможно, Кука и не человек вовсе), а я в душе радовался, что Котлу досталось, – он прекратил свои злопыхательства. Восстанавливая палатку, я даже попытался подпрыгнуть, чтобы подчеркнуть свою радость, но у меня, к сожалению, не получилось.

Залезая под одеяло, Котёл с Кукой продолжали выяснять, где самые чувствительные места у человека, болтали о коленных чашечках, селезёнке, сухожилиях. Каждый из них доказывал правоту своей точки зрения: Котёл ссылался на зарубежные трактаты, Кука подкреплял примерами из практики. Из всей этой ахинеи я понял одно – у них разные взгляды на медицину. И главное, они слишком много трепались о ней, хотя перед отъездом клялись не говорить о специальностях ни слова. Короче, моё раздражение нарастало. Я заключил: у моих никчёмных приятелей не только руки не работают, но и головы плохо варят, с ними покоя и радости не будет.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ. МОЙ ФАНТАСТИЧЕСКИЙ УЛОВ

Река в том месте, где мы плыли, представляла собой множество водоёмов, которые соединялись протоками, затянутыми ряской. Если бы мы могли надуть огромный шар и взлететь в небо, наверняка увидели бы вместо реки змею, проглотившую кучу арбузов. Вдоль проток толпились ивы, их ветки были сплошь перевиты игольчатыми вьюнами – они, как колючая проволока, цеплялись мёртвой хваткой. Вплывёшь в такой зелёный тоннель и выплывёшь весь ободранный. Попасть-то в протоку легко, но потом попробуй выберись! Вдобавок за ней увидишь столько водоворотов и свальных течений, что мурашки побегут по спине. «Ну ничего, – подумаешь, – когда препятствия множатся, значит, победа близка». Дудки! Дальше будет понатыкано столько островов с кустами, что проехать, не сломав себе шею, просто невозможно. Это была не река, а поток без русла.

А острова! Видели бы вы их! Повсюду валяются коряги и, как змеи, ползут корни; меж деревьев торчат разные клубки, сетки и дудки – цепкие капканы растений. В одном из таких диких царств и находилось

наше пристанище. Это был не остров, а какая-то плавающая корзина с деревьями и кустами. Видимо, его подмывало, и он крутился. Во всяком случае, когда мы проснулись, солнце всходило там же, где и зашло.

Нас с Котлом разбудил необузданный Кука. Я уже говорил, что он храпел так, словно заводили трактор, время от времени во сне орал: «Ой-ёй-ёй!». А просыпался, сразу вскакивал, как полоумный. И немудрено – после разговоров с Котлом можно не только увидеть жуткий сон, но и вообще спать.

Кука разбудил нас в шесть утра, на него напала деловитость: яростно громыхая, он налаживал снасть для ужения рыбы; усердствовал отчаянно, не обращая внимания на наши протесты (он всех людей делил на жаворонков и сов; первых считал создателями, вторых разрушителями). Ну а когда мы с Котлом вылезли из палатки, на дереве висел плакат: «Прошу извинения за то, что, начиная работать вовремя, ставлю вас в неловкое положение». «Всё-таки Кука безнадёжно ограничен, – подумал я, – у него взгляд на три сантиметра, не больше» (я имел в виду не остроту зрения, а широту интересов и интеллигентность, что кроме всего – умение не создавать неудобства другим). Попутно замечу – дерево, на котором висел плакат Куки, почему-то торчало перед палаткой, хотя, я точно помнил, вечером оно находилось далеко в стороне. Похоже, на острове деревья по ночам перемещались.

Кука стоял у воды с удочкой, стоял неподвижно, отключив известную часть тела (со спины он был похож на глиняного идола); заметив нас, приложил палец к губам и процедил: «Тц-ц-ц!». Я проследил за его взглядом и увидел – в воде под корягой мелькнула тень.

– Обними меня медведь, если её не поймаю! – шепнул Кука.

Кука знал всё: как построить верёвочный мост через пропасть, найти воду в пустыне, откачать утопленника – и, конечно, знал, как хватать рыбин голыми руками. Бросив удочку, прямо в одежде он прыгнул в воду и стал шарить вокруг коряги. Потом скрылся за кустами, долго нырял и фыркал, потом вдруг как завопит:

– Помогите, тону!

– Ишь актёр! – безучастно хмыкнул Котёл. – Не мог найти другого места топиться, все лилии загубил. Совершенно не думает о сохранении природы. Лилии, кстати, в Красной книге. Кука экологически абсо-

лютно безграмотен. После набегов таких туристов-варваров природа долго не может залечить раны. Подобные туристы, как золотая орда, всё сметают, и после них на земле свалка: бутылки, консервные банки. В жаркий день, кстати, бутылки, как линзы, зажигают сухие травы, начинаются пожары. И туристы всё берут «на память», рвут самые крупные цветы. Во времена моего детства ромашки были с блюдце, колокольчики со стакан, а сейчас!..

– Да, массовый туризм наносит ущерб природе, – согласился я.

– Это для природы жуткие мини-катастрофы, – вздохнул Котёл. – В некотором смысле.

– Тону! – слышалось снова.

– Может, и правда тонет? – встревоженно бормотался я.

– Ничего, вода прозрачная, найдём, – протянул Котёл.

– Заковыристый случай! – отряхиваясь, Кука вылез из воды со скорбным выражением лица, выругался и плюнул.

Ясное дело, он упустил рыбу, но его купальный этюд навёл меня на мысль: здесь стоит порыбачить. Вы знаете, есть люди совершенно нетерпеливые, которые, если не клюёт, не просидят с удочкой и минуты, но там рыба бросалась прямо на берег. Я даже банку с червями спрятал за дерево. За полчаса сноровисто я поймал четырёх голавлей. «Четыре – чётное число, – подумал. – Нехорошо, надо поймать пятого». Поймал пятого, подумал: «Ну уж где пять, там и шесть...» Так и ловил, пока руки не устали. К слову, я рыболов высокого класса; можно сказать, мастер рыбалки.

– Отличные рыбы, – щёлкнул языком Котёл, когда я подошёл. – Устроим праздничный обед. Давно свежей рыбки не пробовал. Сколько всего хвостов ты поймал, Чайник?

– Зубы у себя во рту считай, – остановил я Котла и протянул улов Куке (он уже разжёл костёр и закурил трубку).

Боюсь, вы не знаете, что приятели бывают духовные и удобные. Объясняю. Духовным приятелем Кука никак быть не мог, и потому что его черепок плохо варит, и, естественно, из-за своего бескультурья, а удобным более-менее мог.

Кука достал свой нож с узким, источенным до нитки лезвием (он постоянно держал оружие в боевой готовности) и бойко принялся потрошить рыбу – от него в разные стороны полетели чешуя, плавники,

пузыри. Котёл начал чистить песком сковородку. Потом они жарили рыбу, и, пока колготились, я подробно объяснил, как нужно ловить голлавлей. Под конец я хотел закрепить свой успех рассказом о рыбалках на Волге, но не успел...

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ. ОЧЕРЕДНАЯ ПЕРЕПАЛКА КОТЛА И КУКИ

Да, ребята, я не успел закончить рассказ – туполом Кука грубо перебил меня:

– Хватит балаболить! Дело не в пойманной рыбе, а в кайфе, в ожидании клёва. Рыбалка это целая наука, особая философия, тебе не понять. Так что хватит нести похвальбу. Садись лучше шамать да оцени мою жарёху, – он выбрал самый увесистый кусок и начал уплетать за обе щеки.

Не сомневаюсь, вы заметили Кукину невоспитанность и то, что у него все чувства изрядно притуплены, а высокие вообще отсутствуют. И это ещё мягко сказано. Скажу больше – он настоящий болотный житель. Его, придурковатого, видимо, придавило ещё в детстве, и он таким и остался. Грубость Куки заметил и Котёл:

– Да, с вежливостью у нас плоховато. А на улицах Парижа и Нью-Йорка незнакомые люди улыбаются друг другу. И какое чувство собственного достоинства! В Америке даже не принято уступать пожилым людям место. У них есть поговорка: «Все должны долго жить, но никто не должен быть старым». Там, если ты уступил место пожилой женщине, значит, в глаза назвал её старухой. А у нас в транспорте не уступишь старухе – стыдит на весь вагон. Наша беда в том, что мало интеллигентов, на улицах почти нет одухотворённых лиц.

– Спокойно! Что мелешь? – Кука чуть не запустил в Котла ложкой. – Полно у нас прекрасных лиц, хороших, умных людей. В метро все читают, мы самая читающая нация. В театрах и на выставках толпы людей... Вот ты неслабо знаешь о Париже и Америке, а они о нас не знают ничего. Из наших писателей называют только Толстого. Их ничего не интересует, кроме своих дел. Накопительство и развлечения – главные цели. У них даже ко всему есть присказка: «Ты получаешь от этого удовольствие?». Твоя Америка! Стандартная одежда, стандартные улыбки, все

разговоры: есть ли кондиционер в доме, какая марка машины – и всюду деньги, деньги. Шаблонная американская мечта о богатстве. Лично мне начхать на их пластмассовые коттеджи и подстриженные газоны, я люблю всё естественное: густые травы, полевые цветы и наши избы – дерево самый чистый и здоровый материал... И вообще, американцы туповатые! Ты знаешь, что, по их опросу, большинство американцев считает, что они воевали с немцами и нами, что мы были с Гитлером заодно?

– Да, это отчасти так, – нервно хохотнул Котёл. – Я убедился, что они и своё искусство плохо знают. Как-то приехали к нам студенты американцы, я их спросил, слышали ли они таких-то джазовых музыкантов, а они и не знают, кто это такие. Я изучал импровизации этих музыкантов, а они не удосужились перейти улицу послушать их. Такая печальная вещь. Но у них, понимаешь ли, во всём узкая специализация. Свой-то предмет они знают как надо, будь уверен. В условиях конкуренции иначе нельзя. Надо всё делать лучше других. Поэтому у них много личностей и колоссальные достижения.

– Ещё бы не иметь достижения! Грабят бедные страны, скупают по всему свету лучшие умы, мировые войны их обошли стороной, разрушений-то не было, – Куку прямо трясло от возмущения, он даже забыл про еду. – Нет лиц! Это надо же, до чего договорился! А наши девушки?! Наше главное богатство?! Каждая третья красавица. И личностей у нас полно. Мой сосед, рабочий парень, сам собрал легковушку неслабую. Толковый парень, начитанный, пишет стихи. Да он сто очков даст любому сверстнику американцу. Не случайно на всех школьных олимпиадах наши ребята побеждают!

Трапезу заканчивали молча. Наевшись и отвалив от костра (не благодарив меня, рыбу всё же я поймал. Кто же ещё? Ну конечно, я. Опять я!), Котёл схватил фотоаппарат и попросил меня запечатлеть его с удилищем.

На минуту перенесём действие в другое место. По случайному стечению обстоятельств до этой поездки вы могли быть знакомы с Котлом. И тогда, конечно, первым делом он пригласил вас к себе домой «слушать джаз» и вы заметили, что стены его комнаты облеплены фотографиями. Там есть снимки, где Котёл стреляет из ружья, сидит на лошади, плывёт брассом. На всех фотографиях Котёл ангел: чистый

взгляд, открытая душа. Но не верьте этим фотографиям, все они – липа, обманчивое представление о супермене. У меня-то есть фотография, где его истинное лицо: нахальный взгляд сразу выдаёт двуличную натуру. Этот снимок сделал я (скрытой камерой).

Меня с Кукой Котёл снял раз пять; причём на карточках, которые он делал в начале путешествия, ничего не видно; где-то в середине нашего плавания он более-менее освоил ремесло – на тех неважнецких снимках кое-что можно разобрать; только перед возвращением в Москву он наконец начал делать снимки, на которые можно смотреть. Правда, и на них мы с Кукой себя не узнавали.

После того как я «щёлкнул» Котла, он взял гитару и начал трезвонить на всю реку. Кука засмолил трубку – огромную, с половник, и проверил на кофте пуговицы (он частенько наедался так, что они отрывались), потом достал блокнот и произнёс:

– Начну вести дневник. «Наблюдения простака». Как бы. Опишу для начала нашу неслабую стоянку. Трудно поверить, что на земле ещё остались такие классные места.

Я усмехнулся – Кука может любоваться рекой, деревней, костром, а через полчаса полезет с кулаками на приятеля. Сентиментальность часто граничит с жестокостью.

– А путешествие, сами понимаете, доступное для всех счастье, – продолжал Кука. – И главное, у нас – гуляй по лугам, плавай по речкам, а на Западе всюду таблицы: «Частное владение. Вход воспрещён!» – Кука выдал несколько крепких словечек из своего обширного арсенала ругани (их не привожу – язык не поворачивается). – Земля, леса, озёра, природные богатства должны принадлежать государству, а не группе денежных мешков. В частные руки можно отдать небольшие магазинчики, мастерские, ну мелкие заводики... – Кука грозно кашлянул и уткнулся в блокнот.

Краем глаза я зорко следил за его каракулями и ответственно заявляю: всё, что он написал, следовало перевернуть наоборот, тогда получалось как раз то, что было на самом деле. Впрочем, что вы хотели от Куки? Ведь он даже писал с ошибками, да таким размашистым почерком, что казалось, на бумаге лежат вытянутые пружины.

Под конец своей писанины Кука начеркал: «Поездку омрачают мои приятели: Котёл брюзжит, что всё вокруг плохо, а Чайник замкнулся

в своём мирке, ему всё до лампочки, в разговоре из него много не вытнешь». Как вам это нравится?

Кстати, когда я описал нашу поездку и понёс рукопись в редакцию, скептик Котёл заявил, что я напрасно рассчитываю напечататься, так как писательское ремесло у меня хромает.

– Здесь ты не вышел способностями, – бубнил он. – В этом смысле гораздо больше шансов у Куки. Его дневник написан возвышенной и глубже, в его слова вложена душа, поэтому они живые, зажигательные. И вообще у него достаточно зрелое, масштабное произведение, а ты скользил по поверхности.

Ну о каком сравнении может идти речь? Скажу без ложной скромности, я с исчерпывающей полнотой дал исключительно правдивое описание реки и деревень, заодно предельно ясно решил проблему свободного времени, досуга, увлечений, в то время как Кука накатал что-то вроде автобиографии, да ещё напищал свой слабый текст разными литературными выкрутасами. Уж я не говорю о жалком количестве страниц в его блокноте – в моём очерке раз в десять больше, и, если говорить начистоту, я писал его без всякой претензии на стиль. Разжигайте им печь, если вру!

Кстати, прошу этот очерк рассматривать и как научный труд, достоверный документ нашей эпохи. В самом деле, обратите внимание, с начала поездки я исследую совместимость людей в замкнутом проживании, и моё исследование движется на фоне меняющихся ландшафтов. Согласитесь, красоте такого изложения могли бы позавидовать многие учёные.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ. Я СОВЕРШАЮ ГЕРОИЧЕСКИЙ ПОСТУПОК

Несмотря на ранний час, солнце жарило, точно сковородка. Мы решили устроить банный день и, намылившись, стегали друг друга берёзовыми вениками, причём Кука стегал меня с таким остервенением, что, не будь он моим приятелем, я подумал бы, что нахожусь в камере пыток. Потом купались. Массивный Кука догадался прыгнуть с плота, и, когда плюхнулся, река вышла из берегов и волны с шипением обру-

шились на наши пожитки. Дряблый Котёл, побрякивая и поскуливая, приседал на мелководе и трещал:

– Песок очень жёлтый и мелкий, а мне нравится крупный и белый. Вода, наверное, плюс двадцать градусов, а я привык к двадцати одному с четвертью. Облака кучевые, а я люблю перистые с розовым отливом...

Я тоже разок нырнул, оставив за собой цепочку серебристых пузырьков. После купания легли на песок позагорать, и в Котле внезапно проснулось запоздалое раскаяние:

– А в некотором смысле я напрасно ругал тех сельчан. Люди не виноваты, что так живут.

– Виноваты! – безжалостно отрезал Кука. – И лихо, по делу ты пропесочил их. Кто им мешает починить технику? Или поправить дома, сделать их приглядней? Разгильдяйство!

Через минуту они затеяли очередной спор, и, кажется, вновь победил Кука. Я не вслушивался – на солнцепёке меня разморило, я залез в палатку и лёг в высокую, похожую на лапшу траву и попытался вздремнуть – ведь из-за Куки не выспался, но уснуть не удалось. Вначале, сокрушая всё на своём пути, как бульдозер, в палатку забрался Кука. Потом, когда я почти уснул, меня растолкал Котёл и с глупой потугой на юмор пожелал «приятных сновидений».

Дальше я просто лежал с закрытыми глазами; болело сожжённое солнцем тело (кожа сходила, как шелуха с молодой картошки) и ныли ссадины на руках и ногах; во сне Кука, как всегда, усиленно гримасничал, дул и вздыхал, и скрипел зубами (а они у него, как гвозди), а в его животе стоял гул, точно колокольный набат. Я пытался перевернуть истукана, но разве такую тушу сдвинешь? Тут нужен домкрат.

Во второй половине дня мы вылезли из палатки и с изумлением заметили, что плот исчез.

– Проворонили! Стащили! – нахохлился Котёл.

– Спёрли! – внёс существенную поправку Кука. – Тому, кто это сделал, я намылю шею! – он принялся оскорблять Котла за то, что тот отнёсся к швартовке наплевательски, и теперь мы расхлёбываем последствия. (И откуда он взял, что плот привязывал Котёл? Я чётко помню, что его как раз привязывал сам Кука, да ещё морскими узлами. Похоже, это снилось Куке, в тот момент он ещё не проснулся).

Разумеется, Котёл огрызнулся. Представляете, как на фоне их паники выглядело моё спокойствие? На самом-то деле у меня внутри всё заледенело, но я не показывал вида, я умею держать себя в руках. Сдержанность – одно из основных моих достоинств.

– Вон он! – внезапно вскрикнул Кука, хлопнул себя по колену и показал на соседний остров.

Там действительно маячил наш плот, маячил в какой-то печальной дымке; только, пока мы обсуждали, что делать, течением его развернуло и понесло. Кука с Котлом сразу бросились в воду, но лучше бы не рыпались, потому что в обход по мелководью я догнал его быстрее. Через протоку выбежал на высокий, коренной берег и, поравнявшись с плотом, бросился в воду. Но деревянный беглец подпустил меня поближе, вильнул рулём и, прибавляя скорость, заскользил вниз по течению. Тогда я снова выскочил на берег, забежал немного вперёд, соизмерил силу течения реки и свои возможности и, уверившись в победе, бросился плоту наперерез.

Вы сомневаетесь – получилось ли? Не сомневайтесь! В таких делах я никогда не терпел поражений, србатывает многолетний опыт. Ну то есть я хочу сказать, что профессионал и в сложный момент остаётся профессионалом. Как пловец я показал себя во всём блеске. И куда плот денется, если за дело взялся такой, как я?!

Но пойдём дальше. Дополню текущий момент – подплыли Котёл с Кукой. Они так наглотались воды, что я еле втащил их на плот. И началось – обнимают меня, поздравляют:

– Золотой ум! Заслужил орден! Теперь попадешь в рай!

Отвесили и другие комплименты, которые я принял с подобающей скромностью. И что они, в самом деле?! Ведь, в сущности, я такой же, как все, только умнее, талантливее. Ну короче, ребята, мои приятели ударились в другую крайность – похвалили больше, чем надо, а я знаю: если они меня хвалят, значит, скоро будут ругать. Я уже привык обороняться; впрочем, может, это был этакий хитрый ход – выдать аванс похвалы в счёт ожидаемых подвигов?

– А это что такое! – Кука вдруг показал на берег, забитый спиленными деревьями, меж которых возвышался трактор.

– Леспромхоз старался, – ответил я с горьким спокойствием. – И, видимо, давно, трактор уже зарос цветами.

– Что за бесхозяйственность! Прямо зло берёт! – обуреваемый яростью, вздрюченный Кука учинил разнос лесному хозяйству. – Это великопение оставит глубокий след в моей душе! Японцы щепки покупают, а здесь столько древесины гниёт. И вся неслабая.

– Удивляемся, что Америка богатая, – пробубнил Котёл. – Так американцы всё до доллара считают, у них во всём экономия. Бумагу делают из макулатуры, а наши деятели леса губят.

– В день с лица земли исчезают гектары леса и вместе с ними животный мир, – помолчав, продолжил Котёл. – А ведь мир создан не только для человека, но и для животных, и человек не имеет права что-то покорять, изменять. Вон в Америке – национальные парки, свободно разгуливают животные. Пожалуйста, глазей на них из автомашины. А наши зоопарки – тюрьмы для животных. Тяжело смотреть на волка, бегающего из угла в угол в тесной клетке.

Здесь впервые Кука не стал спорить с Котлом, и тот разошёлся ещё больше:

– А вы знаете, что наши чиновники продают лицензии на отстрел медведей на Камчатке? И сами стреляют. Причём с вертолёта, когда у зверя нет шансов на спасение.

– Негодяи! – не выдержал Кука. – Но почитай Моуэта. Он пишет, как канадцы стреляли в кита, севшего на мель в бухте. Ради забавы палили из ружей всем посёлком. А как они забивают детёнышей тюленей! Так что негодяев везде хватает.

Подогнав плот к острову, мы перетащили вещи, оттолкнулись, и нас понесло затажное течение.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ. ГИГАНТСКАЯ ЩУКА И МОИ СОВЕТЫ

По-прежнему в воздухе господствовал зной. Котёл некоторое время пребывал в угрюмом раздумье, расхаживал по брёвнам (конечно, в спасательном жилете) и пересчитывал сучки, потом включил приёмник и прилип к нему.

Кука сделал три удочки и только хотел одну закинуть, как зацепил себя за штаны, да так крепко, что вокруг крючка пришлось вырезать материал. Кука всегда ловил на несколько удочек, старался разбросать

наживку по всей акватории реки. Он мерил класс рыбака метражом занятого пространства, а не умением использовать малейший поклёв. Раскидав наживку, Кука уселся на рюкзак и стал клевать носом; вскоре послышался храп. Только когда одно из удилищ плюхнулось в воду, Кука вздрогнул, заморгал, как филин, и потянулся к удилищу, но рюкзак опрокинулся, и неуклюжий Кука, задрвав ноги, свалился в воду. Хорошо, успели схватить. Рюкзак, конечно, не Кука.

Общий вид того отрезка реки таков: по водной глади скользит плот; на нём я – искушённый мореход – и двое начинающих плотогонов, таких великовозрастных неумех. Просто так, от нечего делать, чтобы скоротать время, я решил покидать спиннинг. Только забросил снасть, как мою железку схватила щука таких размеров, что я раскрыл рот. Это было какое-то библейское чудище. Котёл и Кука застыли, как громом поражённые.

– Щука! – крикнул я и метнулся к мачте.

Рыбина выпрыгнула из воды, сделала сальто и понесла плот по извилинам. Спиннинг превратился в спираль. Я еле переводил дух. У меня затекли руки и ноги, но я мужественно держался.

– Что же она так гонит, проклятая? – задыхаясь, проблеял Котёл. – Всё мелькает перед глазами.

– А ты их закрой, – пренебрежительно хмыкнул Кука.

Оба палец о палец не ударили, чтобы мне помочь. А щука меж тем совсем озверела: металась из стороны в сторону, как крокодил. Даже я, выдавший виды, был потрясён, а об этих и говорить нечего. Да, ребята, я выделял акробатические трюки, но рыбина всё равно тащила меня в воду. Внезапно леска оборвалась, и хищница бросилась в заросли. Я прыгнул за ней и заработал кролем; и если бы захотел, то, конечно, её догнал бы, потому что я блестящий пловец. «Только куда нам девать такую махину?» – подумал и вернулся. Вы мне не верите? Напрасно. Так всегда: врешь людям – верят, говоришь правду – не верят. Ну скажите, зачем мне погибать? Я и так повидал предостаточно.

– Ты поступил по-американски, – усмехнулся Котёл, когда я забрался на плот. – Те тоже рыбачат ради спортивного интереса. Поймают рыбу, сфотографируются с ней и выпускают. Это гуманно в некотором смысле. А нам такая рыбка не помешала бы.

Вернусь к исходному пункту эпизода. Чтобы вы не оказались в положении моих растерявшихся приятелей, могу научить вас ловить гигантских щук. Вот как это делается. Прежде всего ни в коем случае не спешите. Как только рыбина схватит блесну, возьмите в руки что-нибудь тяжёлое. Всё равно что. Что будет под рукой, то и берите. Разумеется, ненужную вещь. Но если схватите и нужную, ничего страшного – ваши устремления окупятся сторицей, ведь гигантские рыбины попадаются не каждый день. После этого ждите. Стойте и ждите момента, когда щука выпрыгнет из воды и сделает в воздухе сальто. Вот тогда не зевайте. Сразу кидайте тяжёлый предмет щуке в голову. После этого она поймёт, с кем имеет дело, и сдастся без борьбы. Наверное, существуют и другие способы ловли, но этот самый верный.

Вот такие у нас были будничные дела. Конечно, я маялся со своими приятелями, но всё ещё на что-то надеялся, думал: «Может, всё образуется, может, через пару-тройку дней они наберутся опыта, поумнеют, станут лучше». Короче, я многое прощал им, но условно, как бы с испытательным сроком.

Раз уж заговорил о буднях, два слова о кострах. Они заслуживают упоминания. От маленького «туземного» костра толку мало, тепла он не даёт, а большой, «пионерский», – ненасытное чудовище: сколько топлива ни заготовите – всё сожрёт. Мой вам совет: плюньте на это занятие, есть масса других способов обогрева. Возьмите, к примеру, в поход штук пять примусов и канистру бензина. Очень удобно: зажжёте их и расставите вокруг себя. И тепло, и жужжат как-то уютно, и побочные эффекты, в смысле игры светотеней. Если начнёте коченеть, пододвиньте поближе, а запахнет палёным – подальше. Очень просто. А что такое костёр? Он или шипит и стреляет вам в лицо, или отапливает небо – бушует так, что, чуть зазевался, – испечёшься! А уснёте у костра, надо, чтобы вас поворачивали. Иначе одна часть замораживается, а другая обгорает.

Скажу ещё об одежде. О ней – как нельзя кстати. К сожалению, в наших магазинах мало специальной одежды для путешественников; разные ветровки, которые продают, – не годятся; похоже, они сделаны из жести и удобны только пожарным. А крайне важно, какую одежду вы наденете в путешествие. Сейчас объясню почему. Слишком узкая лопнет в ответственный момент, слишком широкая соберёт все колючки, слишком яркая привлечёт пчёл, они примут её за клумбу и будут вить-

ся тучами, а потом, разочарованные, ни одного живого места на вас не оставят. Блестящий пример – кофты Куки. Они были всяких расцветок – от цвета мокрой глины до цвета ржавых гвоздей. На него постоянно садились разные твари (попутно замечу: Кука и в городе одевается чрезмерно ярко – наверное, боится, что его не заметят, я так думаю).

И наконец, маленькая подробность: на реке бушевали тучи комаров, они охотились на нас круглосуточно. Выходишь из палатки – они уже поджидают и ноют. Вдохнёшь – полный рот набьётся. И кусали эти комары даже через перчатки. Все средства от этих кровопийц – ерунда: мазь они просто лопают, а откроешь флакон – слетаются, дерутся из-за жидкости и лезут в пузырьёк.

Особенно комары докучали Котлу – у него были настоящие волдыри от укусов (как-то он насчитал их триста двадцать семь штук), а у Куки – почти ничего, его кожа-то дублёная. Комары собирались только в том месте палатки, где лежал Котёл. Стоило ему перелечь, как они сразу к нему слетались. Провоював с насекомыми часа два, Котёл забивался в угол палатки, но тут же за ним устремлялась вся писклявая комариная колония. Каждое утро мы выметали из палатки несколько сотен убитых комаров – из-за одного этого к реке больше не поеду, они отравят весь отдых.

Кстати, по возвращении домой я заметил на своей руке комара. Он пытался прокусить мою загорелую огрубевшую кожу. Этому хилому горожанину было невдомёк, что я уже закалён деревенскими комарищами, что моя кожа уже давно потеряла всякую чувствительность. Я смотрел, как гнётся хоботок комара, и на секунду мне стало жалко беднягу, но я вовремя вспомнил про своих бледнолицых собратьев, шастающих по улицам, и прихлопнул вампира.

Когда солнце заблестело, как слюда, мы проплыли пару километров по какой-то стремнине, где ток воды нёсся, будто по жёлобу, где развевалось множество подводных трав, и как мы не запутались, не понимаю! Наш плот, словно ледокол, продирался сквозь заросли. По берегам всё это время тянулись маленькие ёлки, точно забор из кольев. Холодный воздух из ельника то и дело смешивался с горячим над рекой, и от такого коктейля голова просто разламывалась. Эти наблюдения, ребята, совершенно точны; может быть, я записал их не совсем удачно, второпях, зато здесь много чувства.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ. В ТУМАНЕ

Ночью было жарко, и мы спали, накрывшись одной простынёй. Котёл, как обычно, занимал лучшее место в центре палатки. Кука, как всегда, храпел и брыкался. Слышали бы вы его «хррр-пффф». Да и эта теснота! Укладывались, точно кильки в банке – полностью повторяли позы друг друга; стоило одному перевернуться, как и другим приходилось менять положение. Под утро я просыпался или от удущья, или от того, что с шумом вскакивал полоумный Кука. Он, «человек действия», не залёживался. И что характерно, он не мог вылезти из палатки тихо. Ему обязательно надо было опереться своей лапищей на ваше лицо, лягнуть ногой в живот, наступить на руку, при этом он зевал с рычанием. Раза два тяжеловес Кука пытался встать осторожнее, но придавил нас ещё больше... Иногда этот мучной мешок начинал вслух выяснять, чья очередь готовить завтрак, кто должен разводить костёр...

То утро было пасмурным. Над водой туман стоял плотным слоем, как вата, и высоко, на уровне наших плеч. Представляете зрелище – прикрытая туманом река, и над пеленой плывут обросшие головы?!

В жутком настроении мы плыли вслепую часа три. Мимо тянулись еле различимые песчаные валы и кусты, на которых, точно бахрома, висела тина. Потом перед нашим носом выросла масса мутного песка, усыпанного галькой, огромной, как страусиные яйца.

– Загрызи меня волк, уютная бухта, – загоготал Кука и шмякнулся на берег.

– Многообещающие слова. Целесообразно передохнуть и заправиться, – вздохнул Котёл со страдальческим выражением на лице и, подзадоривая Куку, крикнул: – Узнай, как там насчёт удобств, хочется пожить на широкую ногу, возвышенно!

Надо сказать, в солнечные дни Котёл с утра прыгал, как козёл и всем заговаривал зубы, а пасмурные дни наводили на него тоску, он подолгу не вылезал из-под одеяла, а когда вылезал, ходил туча-тучей и ныл, всячески показывая, что весь мир создан только для того, чтобы он страдал.

Тот день был понедельник – самый тяжёлый день для Котла. Впрочем, ещё в городе он говорил, что и вторник невыносимо тяжёлый – надо втягиваться в учёбу. Затем я заметил, что и среда, и четверг ему

тоже не нравятся – середина недели и, следовательно, нужен отдых. Короче, из всей недели Котёл любил только пятницу, как преддверие свободных дней и джазовых компаний. Зато в субботу и воскресенье он преображался: ходил расфранчённый, как жених, не умолкая болтал и гундосил джаз. Правда, иногда в воскресенье его приподнятое настроение держалось только первую половину дня, во второй он уже мрачнел, и, чем меньше времени оставалось до понедельника, тем больше его физиономия вытягивалась.

В то утро он распластался на плоту и наяривал на гитаре, а мы с Кукой усердно гребли. Повторяю, Котёл – отпетый лентяй. В оправданье своей лени он говорит, что грести, колоть, копать – не на пользу физического развития. Не те эмоции. На пользу только то, что в удовольствие. Например, бег трусцой. Потому и плот для него был неким плавающим диваном. Короче, своим бездельем Котёл довёл меня до белого каления, но я не вышел из себя – только выдвинул мягкое, почти ласковое предложение:

– Котёл! Ты не хочешь немного погрести?

– Чайник, ведь видишь – я сочиняю музыку. Я только хочу взлететь, как ты привязываешь мне гири. Да и куда спешить? Можно подумать, нас ждут изнывающие от тоски невесты. Медленнее едешь – больше замечаешь, – Котёл придал голосу интонацию обиды.

Это его излюбленный приём, это он ловко насобачился изображать! Если б ещё и верил в то, что говорил! В общем, выкручивался как мог. Добавлю – у него на все случаи имелись чётко отрепетированные мизансцены. Даже споры и те разыгрывал: частенько, чтобы подчеркнуть свой якобы благородный гнев, вытаскивал из кармана камень (заранее приготовленный) и швырял под ноги.

Теперь о сочинениях Котла. Не подумайте, что я хочу в бочку мёда добавить ложку дёгтя. Ни в коем случае! Для меня объективность превыше всего, я в высшей степени объективный, справедливый человек. И уважаю любую профессию, если человек в ней мастер, но Котёл-то как музыкант – так себе. Прежде замечу: с детства у Котла находили признаки гениальности: рассеянность, плохой почерк, несносный характер, но ничего не только гениального, но и сколько-нибудь значительного Котёл так и не создал. Его сочинения можно разделить на «прилипчивые», то есть услышал такую мелодию, и несколько дней

она, как заноза, сидит внутри тебя; и на заушную чертовню, набор чумовых звуков (разумеется, эту чушь собачью Котёл особенно любит и слышит в ней «что-то потустороннее»).

В общем, в то утро мы с Кукой гребли, не жалея сил, а Котёл беззаботно наяривал на гитаре, он давно потерял совесть – так и хотелось треснуть его по башке.

Как только Кука нашёл стоянку, Котёл забросил музыкальные упражнения и предложил распорядок дня: завтрак, разбивка лагеря, подготовка к обеду, послеобеденный отдых, легкий полдник, вечернее чаепитие – иными словами, предлагал завтрак плавно перевести в ужин. Кука отчеканил:

– Вполне сносный распорядок!

Я был против привала, но под их давлением пришлось согласиться.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ. УРАГАН И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

Мы запалили костёр из сухих веток, но поесть не успели – внезапно туман сполз и над нами появился страшный наворот лохматых туч; застыла листва, попрятались и смолкли птицы, в воздухе повисла тишина – вначале какая-то ватная, потом напряжённая, до звона в ушах, и наконец над рекой воцарилась взрывоопасная жуть невероятно плотной концентрации – почувствовалось зловещее приближение урагана. Летом такие фокусы природы не редкость, поверьте мне, я знаю, о чём говорю. И, понятно, я насторожился, но не испугался. В такие моменты главное – подавить волнение.

Конечно, сейчас, по прошествии нескольких лет, будет нелегко описать тот ураган, то светопреставление, хотя я уверен, справлюсь с этой задачей – как, собственно, и с любой другой. Но прежде чем рассказывать об урагане, ответственно заявляю, и возьмите это на заметку: на водных маршрутах нашей средней полосы нет укрытий от ненастий; не ищите дом рыбака или турбазу для диких неорганизованных путешественников – их не существует. Надейтесь только на свои палатки.

– И когда на наших речках будут оборудованные стоянки для туристов? – сказал я без всяких задних мыслей, но Котёл тут же ожил и разнужданно взялся за своё:

– Кто у нас думает о туристах? Вот в Америке в любом захолустье на дороге гостиница с горячим душем.

– Но здесь не дорога, – спокойно, стараясь не огрублять слова, заметил я, – и гостиницы здесь не нужны. Мы специально уехали от цивилизации. Другое дело – изба для путников. Но хватит болтать, смотри, какое грозное небо! Назревает серьёзное ненастье, надо принять разумные меры предосторожности, подстраховаться.

Котёл с Кукой легкомысленно отнеслись к моим словам и беспечно развалились у костра. Я посмотрел на них со значением и стал в одиночку подтягивать растяжки палатки, втыкать дополнительные колья...

А буря уже была на носу: гудели деревья, и облака, подчиняясь какой-то небесной механике, носились над нами, как ошалелые, и волны на реке вздымались, точно водяные холмы, и с угрожающей скоростью обваливался берег, будто срезанный гигантским ножом, – отваливались куски огромные, с автобус. Потом сразу стемнело, и сверху рухнула стена воды; тугие струи дубасили по головам, прямо вбивали в землю. Совсем рядом полоснуло, шарахнуло и огромный клён у палатки запылял, точно факел. Я бросился сбивать пламя, а Котёл вдруг вскочил и нервно засмеялся:

– А всё же есть колдовство в воде и огне! Некий священный ужас!

Он был запуган вконец и дёргался, будто его кололи иголками.

– Оглуши меня шаровая молния, есть! Мне по душе такой гнев природы! Её дикие пляски! Ураганы меня возбуждают, но я полностью владею ситуацией, – растопырив ручищи, Кука побежал укреплять швартовые плота.

Спустя несколько минут, потушив огонь, я решил накинуть плащ, полез в палатку, а там... Котёл. Я не поверил своим глазам, даже протёр их. Пока мы сражались со стихией, этот жалкий трус отсиживался в палатке, да ещё для отвода глаз открыл книгу. Я высказал Котлу всё, что о нём думал.

– Не ругайся, как бандит, – дрожащим голосом выдавил он. – Слабое подобие грозы. Можно сказать, грибной барабанный дождик, и... – он не договорил – молния сверкнула так, что мы ослепли.

И тут же долбанул гром, и сверху полетели градины величиной с кулак. В палатке зазияли дыры, точно пробоины от снарядов; через ми-

нугу она треснула на две части, а на наших лицах один за другим появлялись синяки – казалось, в нас палили картошкой. Я хотел прикрыться остатками палатки, но огромный вал воды, высотой с железнодорожный вагон, подхватил нас вместе с вещами и потащил в реку. Рюкзаки затонули сразу, за ними на дно отправилась порванная палатка; одеяло и гитара ещё плавали, но уже крутились в водовороте, готовые вот-вот исчезнуть в ненасытной пучине.

– Помогите укротить плот! Где вы околачиваетесь?! – со стороны берега истошно кричал Кука.

Котёл потянулся к гитаре, я подплыл к плоту, ухватился за брёвна, но они встали на попа и накрыли нас с Кукой, словно крышка от гроба. Мы еле выбрались на поверхность, но плот сохранили.

Всё это я рассказал не для того, чтобы у вас, ребята, заledenели внутренности, а для того, чтобы вы не считали нашу поездку лёгкой прогулкой.

Когда ураган пронёсся, всё вокруг было усыпано градинами (самые маленькие – с шарик для пинг-понга, но большинство, как я уже сказал, – с кулак), по взбухшей реке плыли смытые заборы и целые острова с кустами и стогами сена – после града кусты облысели, стога примялись к земле. На месте лагеря остались только ружьё и топор. К счастью, рюкзаки прибило к деревьям на противоположном берегу и они застряли меж подмытых корней.

Второй раз у нас всё намокло, и снова мы недосчитались многих вещей, в том числе основных – палатки, одеяла, посуды и продуктов. Такая неприятная арифметика. Прикиньте, каково без этого?!

– Наше положение осложнилось, – уныло проговорил Котёл. – Можно сказать: свадебный марш Мендельсона перешёл в траурный марш Вагнера. Правда, мы полюбовались грозой, и вон появилась радуга, загадывайте желания!

– Не говори красиво! И без паники! Ты не проникся важностью момента! – осадил его Кука. – Будем шевелить мозгами, что-то делать или заниматься слабым пустозвонством? Случилось не самое худшее. Да и человек совершенствуется в опасностях, и негативный опыт ценнее положительного. Наступил ключевой момент поездки, выжмем максимум из трудного положения. Вокруг полно съедобных трав, займёмся вегетарианским обжорством.

– Как это мудро! Один ты можешь спасти нас от голодной смерти, – нахально ответил Котёл, недвусмысленно призывая Куку к действию.

И Кука совсем ошалел от слепого доверия: вскочил, поиграл мышцами, давая понять, что они у него твёрдые, как поленья, издал медной глоткой пробное «ры-ы!» и, убедившись, что его голос в порядке, схватил топор и понёлся к кустам. С преувеличенной старательностью он начал строить что-то вроде шалаша. Смастрячил вигвам, отошёл, посмотрел со стороны, подбежал, начал сооружать юрту, потом чум. Всё же одному варианту навеса повезло – снова хлынул дождь, и мы залезли в укрытие.

– Ты, Кука, как наши строители, – Котёл подавил смешок. – Квартиры сдают без кранов, обои – хуже не придумать, полы заляпаны. И людям приходится всё переделывать, доставать материалы, искать паркетчиков, маляров. Инженер, учёный бегают по магазинам, конторам, а сколько за это время могли бы изобрести, создать!

Даже в минуты нашего бедственного положения Котёл долдонил своё, затягивал нас в свои чёрные сети.

– Отделывать жильё – приятные заботы, – щёлкнул пальцами Кука.

– Да дело не только в квартирах! – продолжал Котёл. – Доходит до смешного: финны покупают у нас древесину-кругляк, делают из неё бумагу и продают нам. Почему наши сами не могут делать бумагу!

Развязным языком Котёл муссировал какие-то обрывочные сведения. Меня уже не на шутку раздражала его трескучая говорильня.

– Всё, что ты знаешь, мы тоже знаем, но мы знаем и другое, – сухо сказал я. – При желании всегда можно увидеть плохое.

– Я тебя, Чайник, понимаю, продолжай! Я весь внимание, – Кука резко повернулся, невзначай задел какую-то ветку, и сразу сверху закапало; потом потекли струи, и по моей спине побежал ручей, как бы перепиливая меня пополам; вскоре я уже сидел в луже – знаете, как это бывает.

Через час дождь кончился, и лужи исчезли с невероятной быстротой, высохли прямо на глазах. Впрочем, попробуй напои всю эту уйму зелени. Тут нужны тропические ливни, а не короткая гроза.

Поскольку спички намокли, Кука додумался развести костёр следующим образом: высыпал на землю порох из патрона и обложил его сухими ветками; потом взял ружьё, прицелился и выстрелил. Раздался

оглушительный грохот. Сам Кука кувыркнулся, задрал ноги, одна из веток звезданула Котла по голове – теряя сознание, он вцепился в меня, и мы оба свалились на шалаш, который тут же рухнул, но... костёр запылал.

Открылённый удачей, счастливый Кука решил совершить ещё что-нибудь героическое и вскоре в осоке подстрелил чирка; правда, поджарив тушку, неожиданно фыркнул:

– Зря укокошил.

Не подумайте, что его мучили угрызения совести. Просто чирок оказался жёстким – наверное, он спрятался в осоке, чтобы спокойно умереть от старости.

– Конечно, зря, – откликнулся Котёл, доедая ножку чирка. – И учти, в другой жизни будешь тем, кого убивал, обижал.

– Срубил дуб – станешь дубом, – усмехнулся я, давая понять, откуда произрастает Кукина тупость.

Возможно, здесь вы, ребята, ждёте от ситуации чуда. Конечно, по законам повествования здесь я должен придумать что-то захватывающее, но я предупреждал вас: в этих очерках только реальные факты, поэтому обойдёмся без захватывающих выдумок.

Итак, просушив одежду, мы погрузились на плот и отчалили, поднимая разноцветные брызги.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ. ПОЕЗДКА В РАЙОННЫЙ ЦЕНТР

Река стала шире, и временами шест уже не доставал дна. Стали попадаться мотолодки и катера, появилась судоходная обстановка: вехи, бакены, буи. Я-то блестяще знал лоцию и свободно разбирался во всей этой кухне, а для моих приятелей плавучие знаки, видимо, были ёлочными игрушками, иначе трудно объяснить поведение Куки – знай себе прёт по фарватеру как заблагорассудится, хотя я не раз объяснял: маломерный флот не должен болтаться на судоходном пути. Кука правил совершенно безответственно, словно на случай столкновения нас ждали спасатели.

В одном месте мы довольно долго торчали около понтонного моста, ждали, пока его разведут, а развели его, только когда с низовьев

реки послышался сигнал буксира. Мы и ещё какие-то лодочники – весь «москитный флот» проскочил быстро, а вот буксир пыхтел, топтался на одном месте с полчаса, и всё это время у переправы стояли телеги и грузовики.

– Вот раздолбаи! Неужели здесь нельзя поставить мост на сваях?! – рявкнул Кука.

– Всё можно, Кука, если есть хозяин, – причмокнул Котёл. – У нас никто ни за что не отвечает.

«Какая в нём нескрываемая радость по поводу всяких нелепостей, недостатков, – подумал я. – По сути, он не уверен в себе, ведь сильный человек всегда видит и положительное».

Здесь уместна вставка. Я вот думаю: вокруг каждого человека есть облако – теплоты, обаяния, ума. Вокруг Котла было облако нигилизма и скуки. Опасное заражённое облако, ведь известно: даже плохое настроение – штука заразная. А тут такой разрушительный настрой! От Котла даже на расстоянии вытянутой руки веяло холодом. Своим брюзжанием он уже выводил меня из себя. Он трепался с утра до вечера и абсолютно ничего не делал. У Котла нет ни воли, ни энергии – одним словом, никчёмный, колючий субъект, правильно я говорю?

Недалеко от понтона (ниже по течению) показались дома, одинаковые, будто кто-то делал куличи; над трубами курчавился дым. Мы на такой скорости подлетели к деревне, что проскочили её и причалили около мостков, на которых старушка развешивала женское бельё, огромное, как парашюты. У старушки были выцветшие глаза, а лицо в сетке морщин. Она первая поздоровалась с нами, посоветовала привязать плот с другой стороны мостков, куда не заносило пену, а после нашего манёвра попросила поднести таз с бельём.

Вот что мне нравится в деревенских жителях – так это приветливость и то, что они сразу приезжего ни о чём не спрашивают, дают отдохнуть, освоиться, говорят о том о сём, а уже потом как бы между делом заводят разговор о цели приезда.

Мы двинули вверх к домам по настилам, утопающим в лопухах. По дороге Кука спросил у старушки, далеко ли райцентр (мы решили приобрести новую палатку и всё, что утонуло). Старушка сообщила, что по тропе через лес всего восемь километров, и предложила туда сгонять на велосипеде внука.

– Садись, Котёл, на раму, прокачу с ветерком, – захохотился Кука, когда мы вошли во двор старушки и она кивнула на велосипед.

Котёл замотал головой и попятился. Кука повернулся ко мне:

– Ну ты, Чайник, садись. Я в отличной форме, не бойся!

Я сел на раму.

– Главное на велосипеде – звонок, – Кука потренировал, оттолкнулся, тяжело влез на сиденье, и мы покатали по деревне.

Вообще-то можно сказать, что Кука неплохой велосипедист, если бы ещё умел поворачивать. Разогнавшись, он прохрипел:

– Облысеть мне совсем, но эти пешеходы лезут под колёса!

Я посмотрел вперёд, а он, недоумок, едет по настилу вдоль палисадников, и все шарахаются в сторону и кричат:

– Осторожно! Неуправляемый!

Я потянул руль на себя, чтобы направить машину на середину улицы, но болван Кука рванул руль в другую сторону, и мы врезались в забор. Велосипед застрял меж реек, Кука оказался по одну сторону забора, я по другую. К несчастью, я упал не на солому, а на доски, но, к счастью, в них не было гвоздей. Велосипед не пострадал совершенно. (Как вы догадываетесь, Кука не признал, что дал маху; он вообще никогда не говорил: «Я не прав, я ошибся», никогда ни за что не извинялся).

– Теперь смотри, как едут профессионалы, – бросил я Куке. – Пристраивайся сзади.

Кука уселся на багажник, и я закрутил педалями. Я вёл машину красиво, элегантно. Мы уже выехали из деревни, как вдруг я заметил, что велосипед покатил легче. Обернулся – Кука отряхивается невдалеке и грозит мне кулаком. По закону падающего бутерброда он грохнулся лицом и ободрал нос.

Всё-таки мы добрались до райцентра и в магазине купили одеяло, кастрюли, продукты и палатку, лучшую из тех, что были, но всё равно узкую и без дна – попросту говоря, это была конура. Судите сами: в первую же ночёвку еле втиснулись в неё, а вскоре я проснулся от шороха. Кругом кромешная тьма. Чиркнул спичкой – рядом... крот! Еле выгнал его. Только уснул – разбудило кваканье. Открыл глаза – перед лицом сидят лягушки, подмигивают мне.

Вернувшись в деревню, мы поблагодарили старушку за велосипед и направились к реке.

Котёл лежал на песке и беззаботно брэнчал на гитаре.

– Всё отдыхаешь? – с негодованием проговорил я.

– Почему не посетился насчёт костра? – поддержал меня Кука и стиснул зубы до хруста. – Слишком много сандалишь на гитаре, смотри не надорвись, а то ещё дашь дуба.

– Творческий человек умирает не от работы, а оттого что ему не дают работать такие, как вы, – шмыгнул носом Котёл, но всё же принялся готовить обед.

После обеда мы разлеглись на траве и Кука, естественно, закурил. Он заядлый, яростный курильщик – у него все пальцы жёлтые от табака. Куревом он «успокаивал» нервы, но они у него, как у всех профессиональных спорщиков, из проволоки, а вот мои он явно расшатывал, ведь он и засыпал с трубкой во рту, и каждую ночь я боялся, что он спалит палатку.

Но это второстепенно, главное – вы заметили, моё терпение достигло предела? Меня уже раздражало всё, даже игра на гитаре Котла и курение Куки, об их спорах и не говорю. Согласитесь, можно вести спор, но корректно, выслушивая чужое мнение, а эти обливали грязью друг друга. «Ещё день-другой потерплю и уезжаю отсюда, очень надо тратить отпуск на дуралеев, хватит, хлебнул романтики с ними!» – решил я про себя. Надо сказать, ребята, я не бросаю слов на ветер и не принадлежу к числу людей, которые только грозятся, но не претворяют угрозы в жизнь. Вскоре вы это поймёте.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ. ПОЗОРНЫЙ ЗАПЛЫВ КУКИ

Мы уже собрались плыть дальше, как вдруг к нам подбежали босоногие мальчишки и, разинув рты, стали рассматривать наш плот.

– Дяди, вы туристы, да? – спросил один мальчуган.

– Мы путешественники, искатели приключений, – важно пояснил Кука и начал рассказывать о том, как в грозу он спасал плот, ну и конечно, в его рассказе мы с Котлом фигурировали в качестве наблюдателей.

– А давайте соревноваться в плавании? – предложил мальчуган.

У Котла сразу стал блуждающий взгляд, и он трусливо увильнул от ответа (как вы поняли, Котёл не умел толком ни бегать, ни прыгать, ни плавать, ни ездить на велосипеде – он умел болтать). Но неутомимый Кука загорелся:

– Идёт! Научу вас плавать как следует. Неслабо. Пусть приснится мне кошмар, научу! (он везде корчит из себя десятиборца, но вы уже видели, какой он велосипедист, сейчас узнаете, какой он пловец).

Кука разделся, испустил боевой клич и, поигрывая мускулатурой, вроде разминаясь, встал рядом с соперниками. Я подумал, как ему не стыдно – такому детине тягаться с малолетками, но это были ошибочные мысли. Со старта мальчишки так заработали сажёнками, что я понял – дела Куки плохи. Он плыл, как бревно, еле загребая жирными ручищами; казалось, его за ноги держит водяной. А тут ещё, как назло, на его пути непредвиденно появился сухогруз «Рыбаха». Нет, чтобы пропустить судно – где там! Кука пренебрёг важнейшим правилом – не приближаться к судам; он взобрался на сухогруз по кранцам, пробежал по палубе к другому борту и снова нырнул; только, пока взбирался и бежал, сухогруз тоже не стоял на месте, и, естественно, Кука поплыл не туда. Но это ещё полбеды; пробегая по палубе, нескладёха Кука зацепился за огнетушитель, и дальше сухогруз поплыл весь в пене.

Обратно Кука и ребята плыли рядом, медленно перебирали руками, смеялись. Теперь, когда не надо, остолоп Кука показывал класс: переворачивался на спину, плыл дельфином...

– Конечно, ты, Кука, проиграл, но зато не утонул, – сказал я, когда они вышли на берег.

– Нет, победил товарищ Кука, – разноголосо заговорили мальчишки. – Ему сухогруз помешал...

– Если бы ему дали деньги, он знает, как плыл бы! – гнусно захихикал Котёл.

– Это твои американцы помешались на деньгах, а я занимаюсь спортом для здоровья, – напыжился Кука. – Американские спортсмены и на соревнованиях выступают ради денег, а наши – чтобы прославить свою страну. На Западе куда не повернись нужны деньги. Вызвал скорую помощь – плати. И неслабо! Кстати, запломбировать зуб стоит сотню долларов, а у нас бесплатно.

– Брось! – сморщился Котёл. – Ты не хуже меня знаешь нашу медицину. Лекарств не хватает, у врачей нет хорошего оборудования.

– С новейшим оборудованием сделать операцию несложно, – поспешно заметил Кука, – а вот наши талантливые хирурги исхитряются с примитивной техникой делать чудеса.

Ребята стояли рядом и поворачивали головы то в сторону Куки, то в сторону Котла.

– Перестаньте мутить светлые головы! – приказал я.

– Пусть знают голую правду, – цинично заявил Котёл.

Мальчишки засмеялись и с гиканьем побежали в деревню.

– Неслабые, хорошие ребята, – сказал Кука.

– Обыкновенные, – хмыкнул Котёл. – Знай себе болтаются без дела, а их сверстники в Америке разносят газеты, моют машины. Даже обеспеченные родители приучают детей зарабатывать на карманные расходы, и это не считается зазорным.

Котёл опять разговорился, заблистал ядовитым умом. Я хотел его урезонить, но потом решил – лучше порисовать, тем более что вокруг был огромный выбор пейзажей.

– Наступить мне на ежа, неслабые ребята, – повторил Кука, не слушая Котла. – Жаль, здесь нет лагеря. Наши детские лагеря отличная штука. Это вам не какое-то там общество маленьких делег, которые из всего выколачивают деньги. В лагерях коллективизм, авиамодельные кружки, походы, соревнования и полно неслабых воспитателей...

Кука привёл убедительные доказательства и всё это сказал в форме беседы с самим собой – видимо, уже устал от споров с Котлом. В какой-то момент я даже подумал, что Кука мог бы быть моим союзником, между нами могло бы возникнуть частичное единение, не будь он таким грубым дровосеком. У него даже иногда вспыхивают проблески ума, но они тут же гаснут; он как тундра, которая весной оттаивает и зеленеет, но под зеленью всё же остаётся мерзлота.

Ладно, всё это несущественно, пойдём дальше. О чём я говорил? Да, так вот, неожиданно потемнело, по лопухам забарабанили капли дождя. Разбивать палатку было поздно, мы схватили рюкзаки и помчались к крайнему дому.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ. НОЧЁВКА В САРАЕ

Нам открыла полная женщина с узкими глазами. Я наблюдательный человек, от меня трудно что-либо утаить, то есть я умею разбираться в людях. Она мне не понравилась сразу.

– Здравствуйте, здрасте! – затараторила она и вся закачалась, как желе. – Хорошо выглядите, такие загорелые. Я каждое лето сдаю комнаты дачникам. И сейчас одни живут. И туристы останавливаются. Только всё какие-то нерадивые. Поживут с недельку, а картошки слопают три ведра, да ещё траву перед домом примнут. Вон там, – женщина показала на палисадник, – была такая травка! Услада для глаз. А сейчас не поймёшь что! Но вы, я вижу, люди приличные.

– Нам бы сеновал, – вставил Кука.

– Сеновал забит яблоками, а вон сарайчик... Я соломки постелю, хорошо отдохнёте. Отдых десять рублей стоит.

Хозяйка направилась в сарай, а Котёл прощбетал:

– Что она нам подсовывает? Да ещё за деньги!

– Противное явление, – Кука ударил кулаком в ладонь. – Наверняка у неё денег чёрт на печку не втащит. Но меня не волнуют ничьи накопления. От богатства лучше операцию не сделаешь, лучше картину не напишешь.

Сарай хозяйки стоял в низине и крутился в луже, как наш плот. Развернув его дверью к настилу, мы впрыгнули вовнутрь. И очутились в царстве сырости: стены сарая покрывала плесень, а на полу росли грибы – Кука сразу же начал их давить, но через два часа грибы выросли снова. Забегая вперёд, скажу, что эти грибы мы срезали, затапывали – не помогало. Через каждые два часа они вырастали снова. До сих пор не знаю, что это за вид. И, кстати, перед сараем за ночь их повыврасталo полчище, еле открыли дверь.

Пока мы воевали с грибами, наступил вечер. Дождь продолжал моросить, и у нас не было выбора – пришлось заночевать на соломе. Я долго не мог уснуть. Вначале кто-то кричал кому-то из одного конца деревни в другой, потом на реке долго гудело какое-то судно. Заснул я только перед рассветом.

Вы, ребята, наверное, опять думаете: вот сейчас произойдёт такое! Напрасно. Не ждите. Если уж на то пошло, я мог бы подкинуть вам ост-

рых ощущений – загнать что-нибудь этакое: как мы увидели шевелящуюся гору из шерсти и опознали в ней живого мамонта. Или (чтоб вы задрожали от ужаса) – как обнаружили остров с людоедами, или как увидели огромные, с бочку, следы снежного человека, или (чтоб у вас ёкнуло сердце) – как наткнулись на груду драгоценных камней и золотишко. Всё это я мог бы напридумывать и мог бы загнать похлеще – о какой-нибудь летающей тарелке, сейчас это модно, – но повторяю: моё повествование преследует чёткую цель – дать обстоятельные и достоверные сведения, которые можно использовать как надёжное руководство, и, я уже говорил, – исследовать совместимость людей в замкнутом проживании.

Обратите внимание: ещё при сборах у нас то и дело возникали перепалки. В начале путешествия появилась раздражительность. Теперь атмосфера накалилась до предела, события шли к горестной развязке – вот так всё обернулось. Оказывается, можно долго встречаться с людьми и не знать их совсем. И вот только в путешествии они раскрылись, в них проявилась вся суть. Подобное я называю «эффектом груши». Бывает, посадишь благородный сорт, а неожиданно вырастут дички.

И вот ещё что. Пожалуйста, не думайте, что я рассказываю о нашей поездке каждому встречному. Как бы не так! Я чувствую: вы неглупые ребята, в какой-то мере мои единомышленники. Конечно, вам не хватает моего кругозора, моих знаний, таланта, опыта, но не огорчайтесь! Знания и опыт – дело наживное, а вы ещё так молоды. Ну а насчёт кругозора и прочего – заходите почаще; общение со мной вам много даст, ведь такие, как я, встречаются нечасто.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ. ССОРА

Утром, не выспавшись, Котёл нёс что-то бессвязное о том, что во всех злоключениях виноват я, что надо было разбить палатку, а не лезть в затопленный сарай. Вначале Кука был не согласен с ним, потом его сопротивление ослабло и он начал поддакивать, а под конец насел на меня сильнее Котла, да ещё на жутком жаргоне. В общем, обрушились на меня с нападками. В целях самозащиты я послал обоих к чёрту.

В молчаливом озлоблении мы погрузились на плот. Нас провожал пьяный козёл, который объелся перебродившей вишни; он раскачивался на ногах и тупо пялился на плот, но всё же, прощаясь с нами, кивал бородой.

Мы поплыли навстречу восходящему солнцу; миновали два пёстрых бакена, ограждающих какую-то подводную штуковину, водолазный бот, стоящий на якоре (река показывала все свои богатства), и легли в дрейф.

Нелишне пояснить: мы уже вступили в полосу среднего течения реки с приличной ветровой тягой. Здесь река петляла так, что кружилась голова, а на крутых коленах приготовила отмели, чуть зазевался – плот с хрустом врезался в гальку. Но это не всё. Желая поглумиться над путешественниками, река стала выкидывать разные оптические обманы: то облака отразит, чтобы их принимали за острова и причаливали, то покажет бакен, покажет и тут же скроет, оставив его отражение. Немудрено, что мы уставали, высматривая подвохи и ловушки, обходя разные одинцы, ухвостья, заманихи. Ко всему нас сопровождало странное эхо: утром что-то крикнешь в лесистый берег, а вечером – в другом месте! – крик возвращается. И почему-то на воде за нами тянулся след; казалось, кто-то фиксирует путь плота, чтобы по нему отыскать наше пристанище. Понятно, след на реке довольно странное явление.

Ну и последнее – чуть не упустил самое интересное – наша тень. Пока мы безостановочно плыли, она держалась рядом, но, стоило чуть притормозить – её проносило течением вперёд. Вот такие были загадочные явления, малоисследованные механизмы природы!

В то утро Котёл лежал на плоту и с мрачным видом щипал гитару. Кука в непробиваемом отупении держал румпель руля. Я знал: если Кука стоит у руля, неприятности не заставят себя ждать. С ним живёшь в постоянном страхе, он что хочешь может выкинуть. Поэтому я всё держал под контролем, сидел рядом с Кукой и подсказывал, как маневрировать, чтобы не врезаться в топляк или лодку с уснувшим рыбаком (у меня отличный глазомер и очень развито чувство пространства). Можно сказать, Кука неплохо выполнял мои указания, правда, с некоторым опозданием, то есть с непростительным промахом.

Солнце ещё еле оторвалось от горизонта, но уже наступила жарища. На открытых участках реки ещё туда-сюда – всё же продувало, но,

только плот вплывал в полосу леса, мы задыхались от горячего воздуха. В одном месте, заметив покинутую стоянку, Кука предложил причалить и позавтракать. Я согласился и стал руководить швартовкой:

– Котёл, кидай концы! А ты, Кука, прыгай на берег и лови!

Догадливому не надо долго объяснять: только раскроешь рот, ему уже всё ясно, но что могут сделать эти нерасторопные неучи? На пустяковое дело они ухайдокали полчаса и, конечно, всё перепутали: Котёл начал бестолково причаливать по дуге, показывая некое фигурное катание на воде. Кука замешкался и швырнул верёвку в дерево, да так сильно, что сам полетел за ней и бултыхнулся в воду. Плот закрутился и застрял в осоке толщиной с лыжную палку. Дальше – больше. Кука хотел привязать верёвку за сигнальную мачту, но я напомнил безмозглому «матросу», что швартоваться за знак береговой обстановки запрещено.

– Знаешь что! – огрызнулся Кука и дальше, как всегда, в наступательной манере, нахраписто понёс: – Надоели твои диктаторские замашки, слез бы с плота да присобачил, а то всё сидишь, отдыхаешь. Отдохнёшь на том свете. Неслабо!

– Там не отдохнёшь, там призовут к ответу за всё, – хмыкнул Котёл. – Особенно Чайника, ведь он только и умеет командовать.

Не скрою, я взвинтился и, разгружая плот, резко бросил:

– Оба вы пустоплёты! Не хочу разговаривать с вами.

– Значит, дальше поплывём молча, как в немом кино, – пробубнил Кука. – Эх, надо было взять кинокамеру, я снял бы отличный фильм о нашей поездке.

– Не снял бы, – причмокнул Котёл. – У нас вообще нет хороших фильмов. Один примитив. То ли дело американские...

– Ерунду мелешь! – нахмурился Кука. – Наши фильмы человеческие, в них сложные проблемы, а на Западе что ни фильм – насилие.

– У нас всё никуда не годится, – поморщился Котёл. – Ни дома, ни машины, ни одежда. Если что и красивое, то заграничное. А об искусстве и не говорю – скукота.

– Окошмариваешь действительность, – вскипел Кука. – Искусство у нас высокое. Россию надо любить за одно искусство. Возьми народные промыслы: хохлома, гжель, вологодские кружева! А детский оперный театр, лучший кукольный! А танцевальные ансамбли! Лопни мой

живот, неслабые! У твоих американцев главное – карьера и деньги, а у нас – сделать что-то полезное для общества.

– Ты, Котёл, не умеешь видеть хорошее, – я усмехнулся, давая понять, что расправляюсь с подобными злопыхателями, как крупная рыба с мальками.

Спокойным тоном я погасил задиристость моих приятелей. Кстати, вы заметили: чем критичней ситуация, тем большую выдержку я демонстрирую? Но во мне уже гнездились решение: как только доплывём до железнодорожной станции, распрощаться с этими истуканами. Надеюсь, вы полностью на моей стороне и давно относитесь к моим друзьям с величайшим презрением.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЁРТАЯ. ДЕРЕВНЯ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ

После завтрака мы разбили палатку и легли переждать зной, а поскольку в сарае не выпались, тут же уснули. Нас разбудили голоса:

– Браконьеры! Двое мужчин и одна женщина! (на палатке лежали наши с Котлом рубашки и Кукина кофта).

Перед палаткой стояли двое в кителях и брюках, широченных, как пароходные трубы; один – парень с острым лицом, второй – пожилой мужчина с огромными руками – казалось, на них смотришь через увеличительное стекло; взгляд у мужчины был колючий, как два гвоздя.

– Мы рыбнадзор. Пройдёмте! – строго сказал мужчина.

Я принял это за шутку. Котёл, когда нужно всё объяснить, вдруг прикусил язык, у него от страха затряслись колени. Кука попытался заикнуться:

– Не понял?

Но парень безжалостно отчеканил:

– Следуйте за нами!

За поворотом дороги открылся посёлок: дома прочные, как крепости, заборы высоченные, на воротах надписи: «Осторожно, злая собака!», «Не подходите, опасно! Собака!».

– От кого такая охрана? – плаксиво зашептал Котёл.

– Не жужжи! – процедил Кука; он уже резко осаждал Котла. – Не нагоняй тучи на безоблачное небо!

Первыми нас заметили гуляющие на окраине посёлка и тут же рванули к сидящим у домов. Услышав новость, те начали передавать её друг другу на ухо – казалось, они играют в «испорченный телефон». Когда известие дошло до последнего, какого-то рыжего сорванца, он понёсся во весь дух к работающим в огородах и там поднял переполох.

Слухи о нас разрастались: вначале говорили «браконьеры», потом – «шпионы», будто нас забросили спалить все деревни в радиусе ста километров. У поссовета, куда нас привели, уже утверждали, что мы опасные преступники и за нами давно охотится всесоюзный розыск!

Председателю поссовета, полному и лысому, с мутными глазами, парень доложил:

– Вот, с плота. Вокруг плавала глушённая рыба.

– Глушили, точно, – добавил мужик, пробуравив нас взглядом.

Председатель устало взглянул на нас и кивнул рыбнадзору, как бы отпуская бдительную стражу, потом расспросил нас, откуда мы и кто, какова цель нашего путешествия, и сказал:

– Вы знаете, что здесь заповедная зона? Где ваше разрешение находится в зоне?! Давайте убирайтесь подобру-поздорову, а то наложим штраф, – он схватил лежащее на столе яблоко и вроде хотел запустить в нас.

Эта фруктовая угроза заставила нас встряхнуться; мы начали рьяно оправдываться, но председатель холодно произнёс:

– Я знаю вашего брата, горожанина. Так чтоб вашего духу в заповеднике не было.

– Дерьмовая ситуация! – сплюнул Кука, когда мы очутились на улице.

– В этом посёлке все с прибабасами, – пробормотал Котёл. – Даже не извинился, что портит людям отдых.

Около крайнего дома из калитки вышел бородатый дед. Кука стал было хлётко ругать тех, кто таскал нас в поссовет, раза два крепко выругался. Дед зашикал на него:

– Зачем сквернословить возле сада! Дерево ж ласку любит. На доброту и отвечает добротой. К примеру, болит голова, поброжу по саду, сразу пройдёт. Некоторые как? Яблоня закапризничает, не плодоносит, сразу показывают ей топор. А я укутаю деревце потеплее, разрыхлю

землю – она и пристыдится. Дерево ведь душу имеет: дуб стонет, когда его рубят, берёза плачет... А вас что, рыбнадзор прихватил?

Я объяснил суть дела.

– Какая там рыба! – усмехнулся дед. – Щас её нет. Раньше много было! Коровы в воду зайдут, так льин сразу к соскам, молоко сосёт. А щас нет. Заводы потравили. Ниже по реке химзавод, так от него жёлтый рукав на километр тянется. Лодки разъедает, не то что рыбу. А берег там засыпан шлаком, ничего не растёт.

Выдержав паузу, дед засмеялся:

– Я теперь тушёнку и сгущёнку ловлю. Намедни здесь одни байдарочники опрокинулись. Вот и кидаю блесну; то банку тушёнки зацепит, то сгущёнку. Вы ничего не утопили? Может, какие драгоценности?

– В вашем посёлке мы утопили самое драгоценное – своё достоинство, – важно произнёс Котёл.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ, РОМАНТИЧЕСКАЯ

Подходя к реке, ещё издали около плота мы заметили три женские фигуры; они копошились в прибрежных травах, что-то рвали и складывали в корзины; оттуда сразу подул ветерок – некое романтическое дуновение. Кука нахмурился.

– Ущипни меня леший, там что-то не то! (Кука становился всё более подозрительным).

Подойдя ближе, мы рассмотрели бродивших вокруг плота: полная женщина средних лет и молодые девицы средней красоты – с узкими плечами и грузными бёдрами, как кенгуру.

– Пожалуйста, не обрывайте всю растительность вокруг нашего деревянного друга, – проворковал Котёл, когда мы подошли (он старался выглядеть как можно приветливей).

– Рвём, чтоб вас же лечить, – ответила женщина.

– Неслабо! – голос Куки потеплел. – Вы гомеопаты?

– Я – зельник... Называйте, как вам угодно.

– Ты знаешь, – обратился Кука к Котлу, – я вообще-то верю в дедовские средства. Вот крапива – лучшая ванна от ревматизма. А муравьиная кислота ещё целебней. При простуде полезно сунуть ноги в мура-

вейник. А ещё лучше раздеться и голым лечь. Придави меня деревом, лучше всего!

Девицы захихикали, а травознайка покосилась на Куку.

– Проще проглотить пару таблеток и дело с концом, – проговорил Котёл, принимая благородную позу.

– Каждому своё, – хмыкнула травознайка. – Бог даже деревья сделал разными, а то – людей... Врачей много развелось, все с дипломами, а народ всё равно идёт к нам.

Травознайка начала рассказывать про всякие травы, причём одни называла «травушки-муравушки», другие «лихие травы», «вредни»; говорила про «жабник», «чёрное зелье» и про какого-то царя во всех травах. Ясное дело, рассказывая, она не до конца открывала завесу таинственности, не сообщала основное, чтобы без неё ничего не получилось. Накаркав целую цепь загадок, она посмотрела в сторону леса.

– Надобно идти, шумит дубравушка к непогодушке.

– Может, чуток порвём, – пропела одна девица с ярко-синими глазами. – Вот нашла русалочный цвет, – она протянула цветок Куке и расплылась. – Это вам на дорогу. Русалочный цвет охраняет путников. А его стебель дайте тому, кого хотите полюбить. Враз приворожите.

Её старания даром не пропали. Кука закашлял, покраснел, стал ходить взад-вперёд, покачиваясь, точно на перебитых ногах. Он ведь только с нами герой, а на людях овечка, и вообще мужчиной выглядит только внешне, а внутри – беспомощный мальчишка.

– Пошли, – бросила травознайка девицам. – Ель не сосна, шумит неспроста.

Девицы взяли корзины и заковыляли утиными походками к домам, но вдруг яркосинеглазая поставила корзину на дорогу, подбежала и сбивчиво затараторила:

– А вы плывёте по реке, да?.. У нас сегодня в клубе спектакль драмкружка... Понимаете, у нас совсем мало парней...

– Я вас прекрасно понимаю, продолжайте! – Кука приосанился, встал в балетную позу, пятки вместе, носки врозь.

– Вы, может, не откажетесь... сыграть в спектакле? У вас прям актёрские внешности... Наша деревня Малино рядом, рукой подать. Пять километров! (У деревенских всё рядом).

– Не вопрос! Придём! Мой девиз: «Ни дня без доброго дела», – выпалил Кука то ли всерьёз, то ли чтобы подурить девицу.

– Ой, вот девчата обрадуются! Может, вас встретить?

– Нет никакого смысла, – Кука торопливо вскинул руку. – Во сколько надо прибыть?

– К вечеру, – девица расплылась, спрятала лицо в ладони и убежала, а Котёл спросил Куку:

– Ты что, и правда намылился в клуб?

– А ты нет? Прочувствуй ситуацию! Поможем людям. Неслабо. И вообще, когда я вижу девушек, моё сердце бьётся сильнее.

– Ну что ж, мы с Чайником тоже пойдём, – заворковал Котёл. – Я, как духовное прикрытие, Чайник – как группа скандирования. Возьму гитару, дам небольшой концерт. За плату, разумеется.

– В клуб можно заглянуть. Но никаких концертов. И никаких спектаклей, – круто сказал я, чтобы просто поддержать разговор.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ. ДЕРЕВНЯ ТАЛАНТОВ

Через полчаса плавания на берегу показалась деревня. Мы причалили около низины, где под деревьями росли какие-то бледные цветы, прилипающие к ногам, словно присоски. Пока мы с Котлом перетаскивали вещи, Кука разжёл костёр.

Вы, наверное, заметили, что костры чаще всего разжигал Кука – у него огнестойкая, как асбест, кожа. Костёр-то он развёл, но при этом допустил оплошность. Как я уже говорил, он ужасный нескладёха: идёт к реке, так каждый куст заденет, а перед плотом ещё и грохнется; несёт что-нибудь, так обязательно уронит. Последние дни перед палаткой я ставил графин с водой (его купил в райцентре). За день набегаешься, жарко станет, подойдёшь, попьёшь! Так вот, в тот день графина не стало. Его косолапый Кука разбил. Наполнил его водой и небрежно потащил к костру. Я замер: «Вот сейчас, – думаю, – кокнет». Так и есть! Задел графином за дерево, и тот разлетелся вдребезги. Кука вообще небрежно относится к вещам, а ясно – такой человек зачастую небрежно относится и к работе, и к людям.

Предстоящий поход в клуб вселил в нас приподнятость, и обед, впервые за все дни, прошёл без споров. Когда берег покрыли вечерние тени, мы направились в деревню.

Дома в деревне были добротные, с резными наличниками и расписными ставнями. Но особенно впечатляли террасы и ворота – на них красовались целые картины: гуси, разгуливающие среди живописной зелени, рыбаки с удочками на берегу реки и другие сюжеты из сельской жизни.

– Талантливый народ живёт в этой деревне, – обернувшись, объявил нам Кука (он, как всегда, шёл впереди).

По-моему, я уже упоминал – на разведку как главную ударную силу мы с Котлом посылали Куку: у него вид представительный, и он проходит куда угодно. Здоровается и проходит. Безо всяких билетов и приглашений. И его никогда не останавливают. Непонятно, почему, – дар гипноза, что ли? Взять хотя бы такое: в троллейбусах и трамваях пассажиры показывают ему проездные, в магазинах продавщицы косятся, как на ревизора. У Котла всё наоборот: если он идёт на концерт, контролёры рассматривают его с ног до головы и подолгу вертят билет из стороны в сторону, смотрят на просвет – никак не верят подлинности. Я думаю, это происходит от того, что на лице Котла написаны неискренность и хитрость.

Теперь о приятном. На пороге клуба нас радостно встретила местная учительница. У неё была гладкая причёска с «конским хвостом» на затылке и тонкий, как у пичуги, голос.

– Спасибо, что пришли, – пропела она. – Все уже в сборе, ждём только вас. Роли у вас маленькие, но важные. Нужно изобразить разбойников. Грим вам не нужен, вы и так вылитые разбойники. По моему сигналу выбегайте на сцену, размахивая палками. Потом хватайте героиню и тащите за кулисы. Играйте легко, с юмором.

– О чём речь! – выпятил губы Кука. – Неужели мы, трое умных людей, не придумаем одну глупость?!

Я невольно усмехнулся – терпеть не могу бахвальства. Тоже мне удалец! Таких я повидал немало.

Котла внезапно охватил мандраж (вы заметили – так случалось всегда, когда предстояло дело?). Пощипывая нос, он пробормотал:

– Это сразу трудно решить, надо всё взвесить.

А я подумал: «А почему бы и не сыграть? Когда ещё представится такой случай?».

Перед открытием занавеса я прошёлся по сцене и заметил, что она смехотворно мала, а пол неровный, в сучках.

– На такой сцене не очень-то развернёшься. Будем играть в полсилы, – сказал я Котлу с Кукой.

– Не владеешь ситуацией! Настоящий актёр работает на любой площадке и для любого зрителя играет в полную силу, – заявил Кука и сделал несколько пробных прыжков. Он уже всю прогонял сцену похищения: – Давайте-ка подвигайтесь, разогрейтесь! Прочувствуйте ситуацию!

Только мы с Котлом забегали, как стали открывать занавес. И вовремя, потому что Кука слишком «разогрелся»:

– И-го-го! – ржал, как психопат, оскалившись, размахивая палкой. – Устроим озорство!

Я уж подумал, он свихнулся и отошёл на всякий случай в сторону, но Кука засмеялся:

– Раз Чайник сдрейфил, значит, я классно вошёл в роль.

Наше выступление получилось неудачным. Прежде всего, Кука в яростном вдохновении выскочил на сцену раньше времени. Ну выскочил, ладно, – обыграл бы как-то этот момент, а он встал, запрокинул голову и разинул рот. Весь зал так и грохнул от хохота. Хорошо, мы с Котлом исправили положение – выбежали на сцену, запрыгали вокруг героини, очень полной молодой женщины с волосами, похожими на стеклянную вату.

Надо отдать должное Котлу: он играл более-менее точно. Конечно, он актёр не такого калибра, как я, но всё же. Тут бы Куке схватить героиню и унести за кулисы, но его ничем нельзя было расшевелить – он стоял, растопырив ноги, как идол. Тряпичная кукла и та умнее. Только когда я незаметно врезал ему в бок, он вышел из шока, оттолкнул героя и, обхватив какую-то служанку, поволок её за сцену. Ошарашенный Котёл застыл на месте, он совершенно не понял манёвра Куки, но до меня-то дошло, что Кука по ошибке схватил не ту женщину. Я подскочил к нему и процедил:

– Не ту схватил, болван! Хватай толстуху!

Кука подбежал к героине и попытался её поднять, но у него ничего не получилось. Он пыжился изо всех сил; сообразительная героиня, помогая ему, обхватила его шею и подпрыгивала, но Кукины руки, как верёвки, бессильно падали вниз. Вспомните, сколько до этого он бахвалился своей силой, и вот, пожалуйста, когда нужно, оказался слаб в коленках. Позорище!

Ну понятно, зрители оглушительно визжали; под их крики и топот мы с Котлом провели операцию отчаяния – подбежали к героине и, изловчившись, приподняли её. Так, всем скопом, и унесли её за кулисы. Но что бы вы думали? После спектакля нам устроили овацию и сцену закидали полевыми цветами.

По дороге к реке я отчитывал Куку за нерасторопность, за то, что мне приходится отдуваться за его дурость.

– Вся беда в том, – вмешался Котёл, – что ты, Кука, думал, как бы сделать необычное. С великими чувствами, в некотором смысле. А Чайник думал, как бы чего не сделать.

– Это точно. И у Чайника, и у тебя дела мелковатые, а у меня масштабные, – Кука хмыкнул и задрал голову в небо: – А вообще, театр – это неслабо! Если я женюсь, то только на актрисе.

– А я равнодушен к театру, – сказал я. – В жизни как? Однажды надул – всё! Тебе ставят клеймо – обманщик. А в театре что? Сегодня врун, завтра приклеил усы – уже сама честность. Как-то я был в театре, смотрел трагедию, и вдруг в момент смерти героя зал как захохочет. Оказалось, отпевать умершего вышел поп, а в нём все узнали известного комика... Вот так!.. Вообще, спектакли я проверяю задом: устал сидеть – значит, муть.

– Деликатно сказано! Возвышенно! – откликнулся Котёл.

– И актёров не люблю, – продолжал я. – Актрисы ещё ничего. Они симпатичные бывают. А вот мужчин актёров не люблю. За одно их чисто женское желание – нравиться.

В полной темноте в довольно праздничном настроении мы подошли к нашему бивуаку.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ. ХОРОВОЕ ПЕНИЕ

Искать новое место было поздно, и мы решили заночевать в низине, которая теперь в темноте напоминала земляной мешок, над ней взад-вперёд мелькали то ли маленькие птицы, то ли большие бабочки.

– Да, Кука, сегодня ты увековечил себя на сцене, – пропел Котёл за ужином. – В некотором смысле. Теперь можешь спокойно умирать, и я не тянул бы на твоём месте, хе-хе!

Довольный Кука только хмыкнул, собрал в кучу догорающие головешки, и мы залезли в палатку. Котёл врубил приёмник, Кука закурил трубку и выпустил изо рта, как из кратера, такую сильную струю дыма, что палатка затрещала по швам. Он хотел выжить комаров, но надымил столько, что пришлось вылезать нам.

– Что делает музыка! – пролепетал Котёл, когда мы проветрили жилище и улеглись снова. – Слушаешь вот так и, если перед тобой появится русалка, – не удивишься... Музыка это, как говорил Толстой, самое сильное из искусств... Давайте-ка споем (Котёл выключил приёмник). Что-нибудь, хотя бы «Степь». Ты, Чайник, постарайся возвышенно петь мелодию. Я буду вести второй голос, а ты, Кука, повторяй: «Пум-ба-ба, пум-ба-ба». (Понятно, Куке, начисто лишённому слуха, Котёл отвёл роль ударного инструмента).

Мы начали петь, но уже через две фразы Котёл остановился и начал распекать Куку за то, что тот три раза повторил «ба». За такую ничтожную ошибку он ругал Куку на чём свет стоит. Похоже, он был уверен, что каждый может спеть правильно, просто не хочет. Никак не мог понять, дурень, что здесь одного желания мало.

Мы начали мелодию снова, пропели чуть больше, Котёл опять заорал:

– Ну кто так поёт?! Ты, Чайник, фальшивишь. Ведь здесь совсем просто, – и пропел первую часть песни один.

– Да-да, именно так, Котёл, – сказал Кука. – Распили меня смычком, так. Только нужно громче. Неслабо.

Мы снова затянули «Степь». Когда перешли ко второй части, я взял немного выше возможностей голоса, и у меня не хватило дыхания

на высоком месте. Котёл всё понял и промолчал, но вдруг на меня набросился... Кука! Эта безголосая труба, этот глухой бегемот!

– Пой громче! Ничего не слышно. Ты что, воды в рот набрал? – нахально заявил он.

От неожиданности я растерялся, даже приподнялся на локтях, чтобы убедиться, действительно ли у Куки хватило наглости делать мне замечание. Убедившись, что это так, я начал его колотить.

– Кука, – вмешался Котёл, разнимая нас, – ты лучше б сам не так громко орал, и его будет слышно. Ты не поёшь, а кричишь. Ведь здесь надо нежно, вот так, – и Котёл снова пропел: «Пум-ба-ба».

– Да-да, именно так, – забормотал Кука. – Лопни струна, так.

Мы снова затянули. Всё шло неплохо, но вдруг я подумал: «Какого чёрта они делают мне замечания, а я молчу?».

– Не спеши, – сказал я Котлу. – Куда тебя несёт? Попробуй снова!

– Да, Чайник, – вздохнул Котёл. – Видимо, мы не допоем песню.

Всё это он сказал, глядя куда-то в сторону, давая понять, что ему говорить со мной – сплошная мука.

– Ну ладно, спокойной ночи, – заключил он, повернулся на бок и нарочито громко захрапел.

Как видите, вечер закончился более-менее пристойно, без серьёзных разногласий. Похоже, нас примирило искусство; известное дело, оно делает людей добрее, терпимее друг к другу. До этого, вы же помните, мы посетили деревню бездельников, после которой Котёл вообще перестал что-либо делать, а после деревни подозрительных Кука стал подозрительным – дальше некуда. А вот после деревни талантов – вы заметили? – в них проявились кое-какие положительные качества. К сожалению, тот вечер был затишьем перед бурей.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ. СКВЕРНОЕ НАЧАЛО ДНЯ

Мы вылезли из палатки в девять часов, хотя договорились встать пораньше. Котёл с Кукой вообще не умеют держать слово, а я считаю, грош цена мужчине, если он не верен своим обещаниям. Мне ведь тоже хотелось спать, но, обладая исключительной способностью держать себя в руках, я поборол сонливость, встал и размял затёкшее

тело. Через пять минут я был в форме. Я человек долга. Моё слово как печать.

В общих чертах опишу то утро. Кука приподнялся с лицом цвета незрелой тыквы, рассеянным блуждающим взглядом осмотрел нашу обитель и тут же сидя уснул снова. Котёл что-то проблеял из-под одеяла, что-то едкое в мой адрес. Только в десять часов мы вылезли из палатки, разожгли костёр и приготовили завтрак. Перекусив, мы дунули вниз по течению, а оно в том месте было прижимное – этакая чёртова мельница, крутящаяся от выпуклого берега к вогнутому. Мы носились по излучинам, меж плавающих листьев, огромных, с тарелку.

Через пару километров миновали дом бакенщика, где, точно осьминоги, извивались водоросли, и очутились в плёсовой лощине с пятнами мазута – там на берегу дымил химический завод. Сам по себе он был не больше речного буксира, но вокруг насколько хватало глаз все берега были засыпаны ядовито-жёлтыми отходами.

Как и говорил дед, после завода река превратилась в жёлтое месиво, с уродливыми, скрюченными растениями и кустами в наростах и бородавках. Ошеломлённые, подавленные, мы ещё долго не могли прийти в себя. Даже неисправимый оптимист Кука сидел насупившись и бормотал:

– Какое варварство! Вот негодяи!

А я вспомнил скорбный снимок в одной газете – стоя мёртвых лебедей на поле, обработанном химикатами, и высказался в том смысле, что деятельность человека рано или поздно уничтожит всё живое на земле.

Кука взглянул на меня исподлобья.

– Твой прогноз не оправдается. Когда цивилизация неслабо загубит природу, люди придут к ограничениям, начнут пользоваться минимумом удобств, оставят только необходимое, откажутся от излишеств и роскоши.

– Волшебные сказки, – зевнул Котёл.

– Ну а если не откажутся, для землян наступит конец, – повысил голос Кука. – Уже из-за парникового эффекта тают льды Антарктиды, и учёные предсказывают всемирный потоп. Под воду уйдёт и Европа, и Америка. Все будут спасаться у нас, в России.

– Эх! – вздохнул я. – Если бы природа вернулась к первозданному виду! И вообще, какой была бы прекрасной планета без людей! Зелёные леса, голубые реки и озёра...

– Иногда у тебя, Чайник, роятся свежие мысли, но кто тогда оценил бы красоту земли? – растянуто проговорил Котёл.

– Будь я главой государства, я навёл бы порядок, – сквозь зубы произнёс Кука.

– Каким образом? Это требует уточнений, поделись своими мечтами, – Котёл прилёг на брёвна и закрыл глаза.

– Слушайте! – крикнул Кука. – Во-первых, отменил бы все привилегии чиновникам; наоборот – оклад мизерный, а ответственность десятикратная в сравнении с простым смертным. Как в Древнем Риме. К примеру, изуродовал природу – не штраф, а тюрьма. Во-вторых, чиновники у меня будут проходить экзамен: на ум, талант, порядочность (Кука уже видел себя на троне). А остальным ужесточу наказание за преступления: залез в чужой дом, пусть даже ничего не взял – десять лет; сел в чужую машину, даже ничего не отвинтил – десятка. А сейчас что? Угнал машину, сказал, «покататься», – отпускают.

Котёл открыл глаза и криво усмехнулся.

– При таком раскладе ты вернёшься в средневековье.

– Надо оградить порядочных граждан от негодяев. Кстати, именно потому, что в твоей Америке у каждого оружие, она и бьёт все рекорды по преступности.

– Не мешало бы ещё запретить все виды охоты, – сказал я, имея в виду Кукино пристрастие.

– И запрещу! – ударил себя в грудь Кука. – С завтрашнего дня ружьё не беру в руки. И становлюсь вегетарианцем.

– Похвально! Наконец ты поднялся до гуманизма, – Котёл взял гитару и выдал хвастливый аккорд. – Меняешься к лучшему, Кука. Даже внешне: сбросил жирок, загорел...

– Не загорел, а почернел от общения с вами, – буркнул Кука и гоготнул, довольный своим юмором.

К полудню река более-менее приняла прежний облик, но всё уже было не то. Если в верховьях она (хотя бы местами) была прозрачной и постоянно, утомлённая жарой, мелела и текла таким задыхающимся ручьём, то теперь, в густонаселённых районах, уже представляла со-

бой разрушительный поток, который то и дело раздирался на рукава – поди узнай, какому доверить судьбу! Поплывёшь в один – упрёшься в старицу, в другом поток такой ослабевший, что без мотора пробарахтаешься весь день, в третьем – бешеное течение, того гляди вынесет на баржу. Всё чаще мимо проносились водомётные «Зари». Увидишь вдалеке точку и не успеешь чихнуть – на тебя прёт этакая громадина. А ведь они не сворачивают. И плот для неё – бумажный кораблик, скорлупа от ореха. Ко всему над плотом появились огромные, с металлическим блеском слепни – они стали донимать больше, чем комары. В общем, ребята, низовья реки – неважное место. Попытаться там отдохнуть – всё равно что искать блеск на ржавой трубе. Извините за ненаучное сравнение.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ. Я ПОРЫВАЮ С КОТЛОМ И КУКОЙ

В полдень мы пристали на днёвку среди кустов, напоминающих перевёрнутые щётки. Жара всё наступала: на берегу песок раскалился докрасна – по нему без обуви мог ходить только Кука.

После обеда каждый взялся за своё: Котёл за гитару, Кука за дневник, я за рисование – сделал набросок стоянки. Фантазия увела меня далеко – я нарисовал красивый лагерь: сборный домик, яхту у причала и трёх молодых людей с дружелюбными улыбками – ну, проще говоря, блистательно изобразил мечту. Как только я закончил рисунок, Котёл взглянул на него и протянул:

– Оригинально! Столько начеркал, прямо в глазах рябит, а что изобразил – непонятно. (Вы заметили, стоянки для него были полигонами для умничаний, издёвок, а гадости он всегда говорил азартно, вдохновенно).

Естественно, меня покоробили слова Котла, я почувствовал, как по лицу прошли горячие волны, а тут ещё встрепенулся Кука:

– Неслабо, но нет реальности в твоей работе, – категорично, тяжело отчудил он, тупо глаза на рисунок. – Обожги меня крапива, но странная работа.

– Странная-то не беда, – опять с вызывающим видом высунулся Котёл. – Во всём талантливом есть доля странности. В некотором смысле. Здесь же желание пооригинальничать.

Вам, ребята, наверняка бросилось в глаза, с какой радостью они накинулись на меня. Неприятно вспоминать всё это, но, что поделаешь, это правда без всяких прикрас и лакировок. Короче, после слов Котла меня просто бросило в жар, но я не стал ничего объяснять ни ему, ни Кукле – просто отмахнулся от них:

– Ерунду городите! Уж лучше б вы помалкивали!

– Убедительное объяснение, – хмыкнул Котёл. – Так изъясняются несостоявшиеся таланты, они болезненно переживают критику, – из его рта так и вылетали жалящие стрелы, при этом он, точно неисправный насос, брызгал слюной.

– Это ты бездарь! – я ткнул в Котла пальцем, жалея, что в руках не было шпаги.

Мои нервы натянулись, как тетива лука, меня уже всего трясло, а этот клеветник хоть бы что. Скандалы совершенно не выводили его из себя, здесь он был закалён.

– Что за уровень спора?! – с едким смешком выдавил Котёл. – Ты хотя бы отличай сносные слова от непристойных. За твоими оскорблениями видна шаткость позиции. Хотя у тебя её вообще нет. Мне давно стало понятно, почему ты всегда стоишь в стороне, – тебе нечего сказать. В прямом смысле!

– А тебе везде плохо и скучно, потому что скука внутри тебя самого. Страдаешь от недовольства собой, потому что бездарен. Знаю я твою ложную значительность, фальшивое величие! Проклинаю день и час, когда с тобой познакомился!

– А ты ни на что не способен! – взбеленился Котёл. – Плот и тот не мог сделать как следует! Надоели твои указы, я устал от твоего прессинга. Только командовать и умеешь, как большинство ни на что не способных.

Вот негодяй! Это я-то ни на что не способный, который умел всё! К чему бы я ни прикасался, всё превращалось в ценность. И всегда добросовестно выполнял работу, а если что и делал не очень хорошо, так оттого что сталкивался с этим впервые. Но таких вещей почти не было. Да не почти, а точно! И этот ханыга злонамеренно нёс очевидную ложь! Понятно, нахрапистость Котла на секунду оглушила меня, а он всё продолжал наседать:

– И друзей у тебя нет, потому что ты не можешь быть другом, – по лицу Котла прошла нервная рябь, он сделал какие-то агрессивные телодвижения, помахивая кулаками.

Меня словно ошпарили пятым – я вцепился в Котла, повалил его на землю. Кука отложил дневник, встал и закачался, как бы развивая брюшной пресс, потом бросился к нам и зычно рывкнул:

– Брейк! Вы дерётесь чересчур эмоционально! Что же это творится?! Это не дружеская компания, а серпентарий! Обсыпьте меня солью, но пора это кончать!

– Заткнись! Не лезь под горячую руку! – я перешёл на крик.

Разняв нас, Кука стал ходить взад-вперёд. У Котла под глазом темнел синяк, из моей ободранной руки, как из водопроводного крана, хлестала кровь.

– Ты слышал, что он сказал?! – обратился я к Куке. – Что я только командую и ничего не делаю?!

– Ну и что? – Кука посмотрел на меня отсутствующим взглядом, равнодушно-наплевательски, как будто он здесь вообще по ошибке.

Вначале я подумал, что он просто дурачится, но потом понял – тлетворное влияние Котла давало о себе знать, тот обработал его как надо.

– Вижу, ты с ним заодно, – прохрипел я. – Как «ну и что»?

– А так. Холостой выстрел. Пусть говорит. И ты говори. По-моему, вы оба мало работаете. Вы и в городе идёте на учёбу, будто на пляж, а здесь и вовсе сачкуете. Мне надоело выполнять роль тягловой лошади... Вы оба не владеете ситуацией, осложняете нашу жизнь. Окати меня водой, но ты заводишься по пустякам.

Это была всего лишь артподготовка Куки; закончив её, он расширил площадь обстрела:

– Вы оба нетерпимы к чужим взглядам. И этот фарс с дракой! Со всем очумели! Мы для чего поехали? Узнать свои возможности. Неслабые. В такой поездке главное – закрывать глаза на недостатки других. И на пустозвонные заявления. Можно спорить, но вы-то оскорбляете друг друга. Недостойно ведёте себя, слабо!

Как бы в противовес нам, в доказательство собственной мощи, Кука замахал кулаками; он вёл лобовую атаку, а я чувствовал себя пленником, словно на меня надели кандалы.

– Он весь изошёл злобой, – я кивнул на Котла, который с безумным лицом отряхивал одежду. – Насквозь пропитан злостью! С утра до вечера только и слышу его злопыхательство. А ты только и орёшь: «Безобразия, разгильдяйство!». А что ты сделал, чтобы пресечь это безобразие?! Вы оба постыдные трепачи. Для меня это давно очевидно. Вы отравили весь отдых, воспользовались моим терпением. Больше ни дня не останусь на плоту. Сыт по горло! Я долго молчал, думал, образумитесь. Куда там!.. Доконали меня!.. Есть люди вампиры, есть доноры. Вы – вампиры, высосали всю мою кровь! До последней капли. С меня хватит! Я-то не пропаду! И на душе у меня будет спокойно. А вот вы без меня загноётесь!

Это была моя завершающая прощальная вспышка. С этими словами я схватил рюкзак и направился к просёлочной дороге. Котёл с Кукой что-то кричали мне вслед. Я не разобрал, что именно. Наверно, умоляли вернуться, но я был непреклонен. Я всегда долго терплю, но уж, если порву, – всё! Поступаю бесповоротно! Думаю, ребята, вы полностью на моей стороне.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ. Я СМОТРУ НА СВОИХ ДРУЗЕЙ СО СТОРОНЫ

Вышагивая по тропе, я сознавал, что одному добираться до железнодорожной станции будет нелегко, но зато мои кандалы сразу стали бумажными. «На худой конец заночую где-нибудь в деревне», – решил я, прибавляя шаг.

Впереди маячил овраг и редкие деревья. «Ничего себе приятели-кровососы! – рассуждал я. – Теперь Котёл мой враг номер один, а Кука номер два. И всё так получилось, потому что я сразу, ещё в начале путешествия, не поставил их на место». Сделайте вывод, ребята: проблеме надо решать сразу же, как только она возникла. Не решите – рано или поздно эта проблема возникнет снова.

Немного остыв, я подумал: «А ведь, если рассуждать здраво, всё началось с искусства. Надо же, как оно действует на людей. Накануне примирило нас, а сегодня разругало в пух и прах...» И всё же моя обида была намного сильнее, чем это минутное протрезвление. Намного.

Я прошёл деревянный настил через овраг, молодой березняк, пересёк ручей и очутился на опушке леса. Под деревьями росла высокая трава и пахло грибами. От постоянных недосыпаний и нервоутомленности я чувствовал головокружение; сбросив рюкзак, растянулся на траве; «Ничего, пройдёт, одолела усталость, вот и всё», – подумалось.

Я проснулся от оглушительных выхлопов. Ко мне подкатил мотоцикл; с грохочущей машины подросток крикнул:

– Девчонки здесь не видали?! Пяти лет, в синем платье?

– Нет, никого не видел, – крикнул я. – А что случилось?

– Вчера собирала ягоды у деревни с той стороны леса и пропала. Всей деревней ищем. Если повстречаете, приведите в деревню. Её Аней зовут! А я сгоняю к реке!..

«Ничего себе, пропал ребёнок! – подстёгнутый тревогой, я вскочил на ноги. – Если она заблудилась, то за два дня в лесу с ней могло случиться что угодно». Я решил выйти к деревне через лес, вдруг найду девочку, – подумал и заспешил в зелёную тьму.

Пройдя десяток метров, я уткнулся в заросли; продрался сквозь них и попал в болото; под ногами зачавкала хлябь, острая гниль защеколала ноздри. Пересекая топкую местность, раза два по пояс ушёл в коричневый ил. Дальше стало посуше, но на пути стоял плотный кустарник; мокрые ботинки отяжелели, одежда прилипла к телу. Часа через два я вышел на заброшенную вырубку, залитую солнцем; разделся, разложил просушить одежду, устало присел на пенёк.

Меня окружало благолепие: в глазах рябило от цветов, буйных трав и земляники (огромной, с напёрсток). Вокруг была такая плодородная земля, что казалось, воткни палку – и она зацветёт. Я зажмурился и отключился от всего окружающего и ни с того ни с сего начал вспоминать предшествующую цепочку событий. Пересматривая звенья этой цепи в обратном порядке, я от опушки мысленно пересёк ручей, проскочил березняк, настил через овраг и по тропе вернулся на плот. И увидел Куку и Котла...

Поразительно, но у Куки был отличный загар, рыжие волосы золотистого оттенка, приветливый взгляд, располагающая улыбка! Всего два часа назад он выглядел настоящим монстром, и вдруг такая перемена! Я вспомнил, как при встрече Кука кричал «Здорово, старина!» и крепко

жал руку. Причём пожмёт так пожмёт, не то что некоторые – протянут пять холодных сосисок.

Кука спортивный, атлетический, мужественный; правда, жаль, что для потехи он любит похвастать своим телосложением, могучим организмом и при каждом удобном случае (чтобы произвести впечатление на зрителей) раздевается, показывая мощную мускулатуру. В этом он напоминает тех красавиц, которые сделали культ из своей внешности, а ведь они были бы ещё красивее, если б вели себя так, будто не знают о своей красоте.

Я вспомнил Кукину смешную всеядность («В жизни полно интересных занятий, хочется попробовать всё» – говорил он), его решительные действия, работоспособность (он активный трудяга), его умение понять других и умение всему удивляться. Однажды Кука сказал:

– Я заземлённый человек, и люблю реальный мир, и отворачиваюсь от всего абстрактного. Всё настоящее – моё; всё, что оторвано от жизни, для меня не имеет смысла.

Кука совершенно естественный, он обладает редкостной свободой от предрассудков, условностей; ему присущи честность и верность, с ним легко, он умеет не портить жизнь другим, и ясно – к нему тянутся все: от стариков до детей. Смело могу утверждать: в Куке есть хорошая непоседливость, страсть к переменам, он создаёт вокруг себя бодрящую атмосферу, рядом с ним испытываешь чувство надёжности. Ну а чудачества... Как же без них в путешествии?! Ведь известно, хорошо отдыхает тот, кто много работал.

Я напряг память и вспомнил, что Кука, не поморщившись, брался за любое дело, и в самых безрадостных буднях находил счастливые моменты, и ни разу меня не подвёл.

«Конечно, он взбалмошный, неловкий, поддаётся дурному влиянию, – рассуждал я, – у него, конечно, есть недостатки, но у кого их нет?». Кстати, я ведь и сам не святой. Я, например... Вот, когда нужно, сразу и не вспомнишь. В общем, есть у меня недостатки, поверьте, ребята; правда, в нужной пропорции к достоинствам.

С Куки мой взгляд скользнул на Котла – и надо же! – передо мной возникла не перекошенная от злости физиономия, а располагающее лицо с иронической улыбкой. Котёл, как всегда, выглядел словно огурчик: гладко причёсанный, благоухающий одеколоном. Он писал ноты,

сосредоточенный, весь в себе; время от времени брал гитару, проигрывал записанные куски.

Я подумал, что, в отличие от многих музыкантов, Котёл играет всё, что ни попросишь, не то что некоторые – навязывают тебе свои любимые мотивчики, а ведь у вас могут быть разные вкусы. Я вспомнил, как Котёл защищал свою музыку от моих нападков: он хвалил собственные произведения, как мать, которая не нарядует на своего ребёнка.

Неожиданно я вспомнил, что Котёл при любых неприятностях сохраняет хорошее настроение и даже в самых сложных ситуациях не теряет чувство юмора. Кстати, вы, конечно, знаете: именно в экстремальных ситуациях и проверяется человек.

Показательно: если Котёл и ругает окружающее, то с болью и всегда говорит, как можно всё изменить. Я подумал – тот, кто любит свою родину, всегда будет говорить о её недостатках, о том, что мешает сделать её лучше. В этом смысле Котёл опять-таки напоминает мать, которая шлёпает своего ребёнка за проступки, но и не представляет свою жизнь без него.

– Я сам постоянно меняюсь, хочу в себе что-то улучшить и приветствую всё новое, – говорил Котёл. – Всё новое, возвышенное встречаю с интересом, будь то в искусстве или в повседневной жизни. Это только для вас я пессимист, а на самом деле я оптимист, ведь известно: пессимист – это хорошо осведомлённый оптимист.

Ну что ещё сказать? «Котёл вовсе не вероломный, не коварный», – подумал я, и в меня вселилось раскаяние, которое с каждой минутой приумножалось; я сильно пожалел о словах, которые наговорил Котлу.

И вот странная штука, но, взглянув на своих друзей издали, сразу простил их. Я вдруг почувствовал: мне сильно не хватает мелодий Котла и его болтовни, суеты и дурацких клятв Куки. Как ни крути, а хорошо, что все мы разные; замечательно, что есть люди, которые живут и мыслят не так, как мы, – иначе мир был бы однообразным и пресным. Крайне важно – на плоту с Котлом и Кукой я понял, что такое товарищество, подлинная мужская дружба...

Словом, без сомнения, мои друзья оказались неплохими путешественниками, но, конечно, не такими отменными, как я. И понятно: как требовательный капитан, я часто был недоволен командой, поскольку

знал – всё можно делать лучше; под этим соусом мне постоянно приходилось контролировать Котла с Кукой, делать им замечания, но это уже детали.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ. САМЫЙ ЯРКИЙ ДЕНЬ

Теперь, после моей исповеди, когда мы с вами как бы проплыли мимо островка воспоминаний и всё встало на свои места, вы, ребята, можете уйти, хлопнув дверью, но не спешите осуждать меня. Уж такой я человек, раньше кое в чём заблуждался, а теперь вот словно вышел из тёмного леса на солнечную поляну. И не ждите от меня ответа, как такое могло произойти. Некоторые вещи необъяснимы. Попробуйте объяснить, почему на картинах Шишкина чувствуется запах леса или как Чайковскому удалось написать великую музыку.

В моей голове был сумбур; внезапно я понял: нельзя убегать от сложных отношений – именно в борьбе разных взглядов закаляются характеры, складываются чёткие убеждения. И потом, в путешествии мы по-настоящему узнали друг друга, а ведь, только когда узнаешь все недостатки человека, можно сказать, что знаешь его.

Я вдруг почувствовал, что меня тянет на плот к Котлу и Куке; какой-то невидимый магнит со страшной силой тащил меня к ним. Боюсь, вы не поймёте, но тем не менее я даже не предполагал, что всего за несколько часов смогу по ним соскучиться. Если я не могу без них, значит, они мои друзья, а дружба – большой, ответственный груз, – к этой простой истине я пришёл, только увидев всё со стороны, и подумал: – Вот сейчас, в эти минуты теряю друзей навсегда. Вскочив, быстро оделся, схватил рюкзак и вдруг – вы, ребята, не поверите – чуть в стороне, под кустом боярышника, в просвете среди листвы увидел голубой комок. От волнения меня затрясло.

– Аня! – прокатилось по лесу эхо, хотя я только раскрыл рот, чтобы позвать девочку.

Я подбежал к боярышнику, и в тот же миг с другой стороны куста раздвинулись ветки, и я увидел... Котла и Куку! – а под кустом свернувшуюся калачиком, всю в комариных укусах, спящую девочку.

– Аня! – взволнованно позвал Котёл, взял ребенка на руки и понёс на поляну, куда бросился Кука, на ходу снимая кофту.

Котёл положил девочку на расстеленную Кукой кофту, стал прослушивать её дыхание, а прослушав, заключил:

– Дыхание хорошее. Ребёнок переутомился и, судя по всему, спит давно. Давай, Чайник, легонько помассируй её, а мы с Кукой приготовим спиртовой компресс.

Слаженно, с профессиональным спокойствием они открыли аптечку, измерили у девочки температуру, растёрли её ватой, смоченной спиртом, завернули в Кукину кофту. Через несколько минут девочка зашевелилась, зачихала, потом открыла глаза и, увидев трёх незнакомых людей, расплакалась.

– А мы всё знаем, всё знаем! – запел Котёл. – Тебя зовут девочка Аня, ты собирала ягоды. Сейчас мы тебя отведём к маме и папе.

– Налейте мне в глаза мыльной воды, отведём! – Кука соорудил смешную рожу, и девочка улыбнулась.

Мы несли её попеременно – каждый хотел чувствовать причастность к спасению ребёнка, при этом весело перекидывались словами, как будто и не было между нами никакого скандала. А девочка всхлипывала, и улыбалась, и рассказывала о своих приключениях:

– Я собирала ягоды... Водицу из лужицы пила... Видела лошадку с рогами...

Когда мы вышли из леса, навстречу нам выбежала вся деревня. Нас окружили, кто-то побежал за родителями девочки, посыпались вопросы:

– Где нашли Анечку? Кто сами будете?

Мы сбивчиво отвечали, представляли друг друга, похлопывая по плечам. Мы были в ссадинах, в лепёшках грязи, колючках, но счастливые.

Когда жители деревни узнали, кто мы такие, мне сразу заказали множество портретов, но я, разумеется, прежде всего начал рисовать героиню события. А к Котлу с Кукой выстроилась очередь желающих узнать о своём здоровье. Котёл всех прослушивал стетоскопом, измерял давление тонометром. Прошедших консультацию у Котла ещё раз ощупывал Кука, и, без всяких инструментов, подтверждал диагноз, и добавлял:

– Большинство болезней от мрачных мыслей. Жизнерадостные люди редко болеют. Почаще думайте о хорошем и делайте соседям добрые дела.

Потом прибежали родители девчухи, они расцеловали нас и, не зная, как лучше отблагодарить, предложили остановиться у них на несколько дней, а когда мы вежливо отказались, взяли с нас обещание приехать к ним на следующий год.

Мы вышли из деревни и, не сговариваясь, направились к реке. По пути Котёл с Кукой продолжали обсуждать своих пациентов.

– Я всем советовал беречь нервы, – похохотывал Котёл, – и семью. Счастье-то ведь прежде всего в семье. Что может быть прекрасней ощущения своей необходимости другим? В некотором смысле.

– Я советовал неслабо работать, – бормотал Кука. – Перед работающим человеком отступают все болезни, верно, Чайник? – Кука подмигивал мне, давая понять, что мы-то с ним единомышленники и что дружба, скреплённая испытаниями, особенно крепка, а с Котлом иногда можно и поспорить, и поссориться, ради вот таких прекрасных примирений.

Мы подошли к реке и я увидел наш ставший уже родным плот...

Вот так всё и вернулось к тому, с чего началось. Самое время сказать: за наше путешествие выпадали всякие дни, но этот был самый яркий, а если учесть и сверхактивное солнце, то и яркий во всех отношениях.

...Для ночёвки мы выбрали мелкий залив с оборкой прибоя и сразу после ужина забрались в палатку. Котёл взял гитару, и мы затанули песню о дружбе. Мы пели стройно и громко, и скоро песне стало тесно в нашей обители, она забилась о брезент, хотела вырваться на простор...

Потом мы уснули; во сне я ел оладьи с мёдом.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ, ПОСЛЕДНЯЯ

Утром, сразу после завтрака, мы отчалили.

Уже чувствовалась близость города: на берегах мелькали створные знаки, полосатые переезды и белые зубья шоссе. Мы прибрали

вещи на плоту, привели себя в порядок и плыли довольно красиво. От перегрева на нашей мачте потекла смола, и то ли на её запах, то ли на яркую кофту Куки к плоту слетелись бабочки; они, как летающие цветы, эскортировали наш плот, создавая дополнительный эффект. Так с бабочками мы и плыли до того момента, когда перед нами открылся белокаменный городок.

А теперь хорошенько подумайте, что ждало нас на берегу? Толпа встречающих – вот что! Как только мы причалили, к нам бросились сотни людей. Оказалось, слава о нас как о спасителях девчушки катилась впереди плота. Нас встречали с духовым оркестром. Любители автографов, пробиваясь к нам, отталкивали друг друга, а пробившись, обнимали нас, тискали, душили, целовали. Котёл раздавал направо и налево наши вещи, словно это не ценности, а всего лишь пирожки. Кука без устали пересказывал наши приключения, явно приукрашивая события. Кстати, и после поездки он частенько добавлял что-то своё. Так, наше кораблекрушение он сравнивал с гибелью «Титаника»: всё уже происходило не на реке, а на море, в невиданный шторм, в окружении акул, при этом Кука добавлял:

– Скромность снова стала модной, но, разорвите меня на части, я находился в самом пекле.

Я в этой суматохе по-деловому показывал свои зарисовки. Когда страсти немного утихли, нас пригласили в пароходство. У входа в учреждение нас приветствовал сам глава городка. Поблагодарив за спасение девчушки, он сказал:

– Памятник вам, конечно, не поставим, но обедом угостим.

Стол обставили талантливо: окрошка, самовар, баранки, но какая-то догадливая старушка принесла варёную картошку, огурцы и квас, и стол накрыли ещё талантливее.

От нас выступил Котёл. Щеголяя модными словечками, он заговорил о нашем плавании, сильно искажая истинное положение вещей, присваивая себе общие заслуги. В какой-то момент я вскочил и хотел призвать Котла к справедливости, но меня остановил Кука:

– Пусть ловит кайф. И раньше его шуточки были дурацкие, но они снимали напряжение, они – неслабая защита от унынья. Мы-то с тобой знаем, как всё обстояло, что я играл главную роль.

Я усмехнулся, но, когда Котёл закончил выступление, объявил:

– Вернусь домой – опишу всю поездку. Опишу всё как есть.

Кука сразу схватил меня за локоть:

– Не забудь написать про все мои достоинства. Особенно верность дружбе. Ты же знаешь, я за друзей стену сломаю.

Котёл толкнул меня в бок:

– Отметь, что я игрой на гитаре скрашивал путешествие.

В Москву решили лететь на самолёте местной авиации. Аэропорт представлял собой обычную избу с флюгером и радиоантенной, и в нём работал всего один человек – он был и начальник аэропорта, и диспетчер, и радист, и кассир. За избой виднелась взлётная полоса – травянистая поляна, на которой паслись козы и гуляли куры. Перед взлётом маленького самолёта кукурузника на поляну начальник пустил овчарку, и та разогнала живность.

...Кукурузник чихнул, затарахтел, его забила дрожь; рокот мотора перешёл в гул, дрожь превратилась в тряску; кукурузник понёсся, подпрыгивая на кочках, потом взлетел. Я посмотрел в иллюминатор. Внизу мелькнула изба-аэропорт, какие-то постройки, шоссе и светлая лента реки, на которой, точно чешуя, блестела солнечная рябь. Виднулись баржи, лодки рыбаков. Кукурузник забирался выше; баржи превращались в чёрточки, лодки – в точки, река сузилась до узкой змейки, потом исчезла совсем.

...В качестве приложения ко всему вышесказанному, добавлю: когда Кука узнал, что я пишу эти очерки, он предоставил мне свой дневник, с надеждой на соавторство. Вначале я хотел упомянуть его имя, чтобы в случае провала книги ответственность делить поровну, но потом подумал, что в случае успеха ведь и славу, и гонорар придётся делить на двоих, и отказался от его услуг. Я только бегло пробежал его каракули, а потом засунул под хромую ножку стола.

И всё же приношу благодарность Куке за готовность помочь, что равносильно помощи, а также Котлу, которому часть рукописи я читал по телефону и он вносил уточнения. Разумеется, благодарю их не слишком горячо, а то ещё задерут носы, а вот вам, ребята, – большая благодарность! За то, что дослушали меня до конца.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Ну а теперь, ребята, если вам интересно, расскажу, как сложились наши судьбы в дальнейшем.

Во время путешествия на плоту нам было всего-то по двадцать лет, а теперь – ого сколько! Как вы догадываетесь, мы обзавелись семьями, чего-то добились в работе, но, представляете, в нас всё то же мальчишество, те же привязанности – каждое лето мы по-прежнему отправляемся путешествовать (ведь молодость это не лицо без морщин, не джинсы и кроссовки – это состояние души). Мы стали закадычными друзьями, и никакие жизненные передраги не испортили наши отношения, даже жёны не смогли нас поссорить. Вы поняли мою глубокую мысль?

Обычно как? Перед женитьбой мужчина клянётся, что он с друзьями до гроба, а потом жена быстро разгоняет его дружков, а его самого прибирает к рукам, отучает от «вредных привычек» и, как бы это выразиться, ну старается подмять под каблучок, что ли. Женщины ведь быстро прощупывают слабые стороны мужчины и давят на них. Загляните в любую семью: кажется, вождь мужчина – он хорохорится, чего-то бурчит, а жена знай гнёт своё, вертит им как хочет.

У меня-то всё не так, смею вас уверить. Я-то из другого теста. Вы же помните мою исключительную осмотрительность. Остался холостяком, говорите? Нет, тут вы не угадали. Я женился, конечно, но сразу же поставил свою избранницу на место. Во мне, понимаете ли, нежность сочетается с твёрдостью. А вот мои друзья... Вы и вообразить не сможете, какое жалкое зрелище они представляют – этикие затюканные муженьки, осаждённые повседневными заботами и требованиями своих благоверных. Но надо отдать им должное – целый год они ходят замученные семейным счастьем, а с наступлением лета распрямляются, в их голосах появляются жёсткие нотки, они перебирают походное снаряжение, презваниваются.

Их жёны, разумеется, это предвидят и не сидят сложа руки: выдумывают им разные срочные дела, достают путёвки на юг, а то и имитируют болезни. Но в моих друзьях уже началось брожение, их всё сильнее охватывает страсть к странствиям.

Бывало, в их семьях дело доходило до... Нет, не до разводов, конечно. До угроз. Их супруги не совсем дурёхи, они прекрасно понимают, что такие, как их мужья, на дороге не валяются. Доходило только до угроз. Но мои друзья – молодчаги, в один прекрасный день забрасывают все дела, объявляют разгневанным супругам: «Ненавязчивость, частое отсутствие лишь усиливают любовь» – и вырываются на свободу – отправляются со мной в путешествие.

Сейчас стало модно проводить лето на реке. Все кому не лень плавают, дают выход накопившейся энергии. Но мы-то были зачинателями этого увлекательного дела, верно? За эти годы мы совершили немало прекрасных плаваний. На чём только не плавали! На байдарках и надувных лодках, на катамаране и мотоботе, а последние годы – на «Бармалее», катере, который я построил. Опять я. Ну а кто ж ещё? Катер – моё высшее достижение в области строительства плавсредств. Это отдельный разговор.

Кстати, меня часто спрашивают – что надо делать, чтобы стать таким же талантливым, умелым, как я? Отвечаю: ничего не надо делать. Таланты у вас или есть, или их нет. Они даются свыше.

Так вот, как вы догадались, мы стали опытными путешественниками, научились понимать друг друга с полуслова – бывало, разбивали лагерь за несколько минут. Случались, скажу вам, у нас и размолвки, не без этого. Особенно когда выбирали маршрут. Но в одном наши мнения сходились: не брать в путешествие женщин – ведь известно, с ними вечно одни неприятности. Но однажды мы дали маху, нам вздумалось прихватить с собой и наших супруг.

Перед той поездкой и жена Котла, и жена Куки стали неожиданно послушными и ласковыми – прямо-таки выливали на моих друзей ведра любви – то ли сговорились, то ли ещё что (моя-то всегда была тихоня).

Особенно старалась жена Куки: ей просто не терпелось спровадить супруга, и ревнивый Кука подумал, что это неспроста. Ему первому и взбрела в голову эта дурацкая идея. И Котёл его поддержал. Словом, они насели на меня: не помешают, мол, готовить будут и прочее. Навивный расчёт! Но я – вот доверчивый чудака! – проявил слабость и уступил им.

Вначале всё шло неплохо, а потом... Смех берёт, как вспомню, чем закончилась наша поездка. Вот вы улыбаетесь, похоже, догадываетесь. Но наберитесь терпения, не торопите меня, не прерывайте. Дайте вначале описать наших спутниц, поведать о душераздирающих романах моих друзей.

Котлу всегда нравились модные мотивчики и весёлые женщины, причём о музыке он думал намного больше, чем о женщинах, и вообще относился к ним иронически и времени на ухаживания не тратил. Но странное дело, именно это и притягивало женщин – их заедала его небрежность, весёлое нахальство, шутовская учтивость (его ядовитые нежности выглядели так же нелепо, как клумба перед тюрьмой). Доходило до того, что Котёл просто в глаза женщинам говорил о своих «пяти способах обольщения», но и это их не отпугивало. Даже наоборот – они проявляли жуткую заинтересованность.

Кстати, один из его способов – общие фразы, как у цыганки: «В вас заложено намного больше, чем видят многие». «Вы добры к людям, но некоторые этим пользуются». Вот так примитивно этот утончённый садист и влюблял женщин в себя, но никогда не назначал свиданий. А однажды неудачно пошутил: пригласил на свой день рождения всех знакомых подружек. Каждая, естественно, считала себя его единственной, но вскоре одна за другой почувствовали, что в компании что-то не то. Я оказался в деликатной ситуации – за столом меж двух женщин: обе сидели, насупившись, кидая на Котла убийственные взгляды. Потом одна сказала мне:

– Пойдём танцевать! – и во время танца спрашивает: – Эта слева от тебя, такая накрашенная, твоя?

Я думаю, сказать «моя» – вроде много взять на себя, сказать «Котла» – его подвести.

– Как тебе сказать, – говорю. – Возможно.

Потом другая пригласила меня танцевать и тоже спрашивает:

– Эта справа от тебя, с иксообразными ногами и причёской «я у мамы дурочка», твоя?

– Как тебе сказать, – говорю. – Может быть.

Короче, всё кончилось плачевно. Для Котла, конечно. Разузнав, что к чему, женщины отлупили его. Тот случай кое-чему научил Котла. Он решил жениться, но всё боялся промахнуться и подолгу проверял сво-

их возлюбленных: придет в гости и нарочно опрокинет пепельницу или ещё что-нибудь. Случалось, женщина вспыхивала:

– Ах, что вы наделали! Не можете сидеть спокойно! Ну, вон ещё покачайте торшер или сдвиньте накидку!

«Всё! – думал Котёл. – У неё скверный характер». Но бывало, женщина промолчит, тогда Котёл устраивал ей ещё какой-нибудь экзамен.

Если кто подзабыл, напомню, что Котёл всегда славился ленью, и, понятно, ему всегда было лень провожать своих поклонниц – поэтому первый раз он женился на девице-хохотушке, которая жила в соседнем доме. Он знал её давно, когда она была ещё ребенком: встречая во дворе, нажимал ей на нос и гудел, как автомобиль, а раза два и отшлёпал по попе. Подростком она, шутки ради, обливала его водой с балкона и хохотала. А став девушкой, влюбилась в «дядю Валеру». «Он такой забавный!» – сказала со смешком.

– Каждый идёт своим путём к счастью, – заявил Котёл. – Мы шли через игру. Играли в мужа и жену и доигрались – поженились. Я всему её научу, она прилежная ученица.

У неё было смазливое лицо, крашенные кудряшки, фигура – так себе, а голос – громче не бывает. Она и разговаривала, и смеялась на весь дом. Если на улице шум, все знали – это она появилась.

После замужества в ней пробудилась невероятная страсть, бешеная любовь, вырвалось наружу то, что накапливалось годами, – казалось, прорвало плотину и на равнину вылился неуправляемый поток. Она ревновала Котла круглосуточно, следила за каждым его шагом и постоянно допрашивала – где он находился в ту или иную минуту. Ревновала к друзьям, к родственникам, даже к детям и животным, когда он с ними общался.

А о женщинах и говорить нечего. Правда, иногда попадала впросак. Как-то говорит Котлу:

– От тебя пахнет дешёвыми духами. Скажи своим женщинам, что у них плохой вкус.

А Котёл перед этим заходил в парикмахерскую.

Не буду перечислять все её недостатки, назову лишь парочку: она была чересчур активной, любила компании и разбойничьи анек-

доты, но ничего не умела делать, даже бельё на стирку относила матери.

– Совсем нет времени, – объясняла нам. – Много читаю, занимаюсь фигурным катанием и вообще работаю над собой.

Кормила она своего супруга одними пирожными: два покупала на завтрак, три на ужин – теперь у Котла аллергия на сладкое.

Так ничему и не научив жену, Котёл однажды объявил ей, что она извела его ревностью, что у них разные «динамические силы» и взгляды на супружескую жизнь и что вообще они слишком давно знакомы, чтобы любить друг друга, а их бурный роман – страшное истязание. Надеюсь, вы помните, что Котёл всегда избегал излишних волнений и главным в жизни считал душевный покой, а здесь такие страсти! Короче, Котёл подал на развод и подарил жене дублёнку. Из эгоизма, как память о себе. Ведь он и ценил-то не чувства женщин к нему, а свои к ним...

Не подумайте, что я ворчу. Моё единственное намерение – установить истинное положение вещей. И обратите внимание, я делаю это осторожно, деликатно, так как уважаю тайны в сердечных делах.

Со второй женой Котёл познакомился по телефону. Кому-то звонил, попал не туда, услышал, как потом объяснял нам, «необыкновенный голос» и разговорился. Потом назначил незнакомке свидание и спросил:

– Как мы узнаем друг друга?

И «необыкновенный голос» вдруг заявил:

– Я очень красивая. Вы сразу узнаете.

Она была точно пластмассовая: блестящие волосы, огромные глазички и сверкающая улыбка – прямо кукольная стандартность. Она модно одевалась и с детства мечтала стать артисткой, но в театральное училище экзамены провалила. Устроившись статисткой на Мосфильме, она продолжала бредить театром и ежедневно ходила на спектакли. Голос у неё действительно был необыкновенный – какой-то расщепленный, казалось, гремит консервная банка. Меня всегда корбило от этой трескотни. К счастью, она, в отличие от первой супруги Котла, мало говорила.

– Она несёт в себе тайну, – говорил Котёл.

В нашей компании она обычно сидела, хлопала глазами и улыбалась; что ни спросишь, пожимает плечами:

– Ты ставишь меня в трудное положение.

Я-то видел – до неё ничего не доходит, а Котёл мне шепчет:

– Какой надо быть умницей, чтобы молчать. Все женщины болтают, спешат себя утвердить, а эта так умно молчит, что вся светится. (Ну не осёл?)

В общем, Котёл попал под её влияние: зачастил в театры, а уж следить за модой стал больше прежнего. Он и раньше придавал одежде немалое значение, а после женитьбы совсем спятил – случалось, напяливал на себя что-то вычурное, крикливое. Яснее ясного, Котёл занялся делом, недостойным настоящего мужчины. К счастью, вскоре ему надоело «красиво проводить свободное время», и он разошёлся со своей «театралкой». Перед этим у них с полгода шла война – кто победит, навяжет своё; затем они несколько месяцев не разговаривали – писали друг другу записки, вяло отбивались друг от друга, ну и наконец приняли «историческое» решение. Понятно, у них была не любовь, а некое любопытство, дурацкий интерес друг к другу.

Котёл всегда уходил красиво, даже из компаний. Расскажет какую-нибудь заранее заготовленную эффектную историю – и уходит. На этот раз он ушёл чересчур красиво: оставил жене квартиру, а сам стал скитаться по приятелям.

– Самое смешное, – говорил он в то время, – все мои вещи умещаются в портфеле, и хлопот с переездами нет. Я считаю так: если жалеешь о том, что потерял, делай всё, чтобы это вернуть, а если не жалеешь, значит, потерял то, что должен был потерять. Я ни о чём не жалею.

В третий раз Котёл женился на особе, которая, как он уверяет, совмещает в себе непосредственность его первой жены и красоту второй и ещё имеет массу других достоинств. Да-да, не удивляйтесь! Сейчас он женат третий раз, и я думаю не последний. У него ведь неуживчивый характер, а с возрастом всё плохое в человеке становится ещё хуже.

Впрочем, иногда я думаю, что Котёл так часто женится просто для того, чтобы устроить застолье приятелям.

В последней жене Котёл нашёл свой тип: она такая же, как и он, цепкая в жизни, с таким же, как у него, занозистым характером. Как

и Котёл, она помешана на джазе и постоянно напевает какие-то композиции, при этом поигрывает плечами и отщёлкивает пальцами ритмы. Как и Котёл, она говорливая и злоязычная, временами просто не закрывает рта – считает, что если не поддерживаешь разговор с собеседником, то не уважаешь его.

Свое «уважение» она проявляет резкими и грубыми словечками, а потом притворно удивляется – почему на неё обижаются, строит из себя простодушную святошу. Как-то я сказал ей:

– Хитрая ты, Галька. (Имя у неё противное – Галина, как у моей ненормальной тётки).

– Не хитрая, а умная, – заявила она. (Вот так!)

После свадьбы Галина сняла квартиру и составила Котлу план поведения: чтобы он написал диссертацию, виделся со мной и Кукой не чаще, чем раз в месяц, чтобы уделял как можно больше внимания жене...

– Галя – личность, – говорит Котёл. – Считается, что женщины-личности – те же амазонки, которыми восхищались, но их не любили. Чепуха! Женщина должна быть личностью. У талантливого мужчины и жена должна быть талантливой. Раньше я думал, что все очень красивые женщины пустоваты. В некотором смысле. И, только познакомившись с Галей, понял, что можно быть и красивой, и талантливой (он говорил о своей благоверной, как о драгоценной вазе).

Внешне она действительно ничего, но, конечно, не до такой степени, как кажется Котлу. У меня были знакомые, до которых ей далеко. А талант?! Ну закончила она институт, ну знает пару языков, ну поёт джаз. Разве ж в этом талант женщины?! Талант женщины в умении любить, внести в жизнь мужчины спокойствие и уют, помочь ему добиться чего-то. Короче, быть приложением к мужчине. А эта только и трезвонит о себе:

– Я перевела, я разучила, Валерчик мне аккомпанировал...

Балаболка, одним словом! Самовлюблённая балаболка, не умеющая держать язык под контролем.

Ещё до того как Котёл подал заявление в загс, я высказал ему своё мнение о Гальке. Он выслушал и изрёк:

– Ты меня смертельно обидел.

Но тут же рассмеялся:

– Ты чего-то не понял. Присмотрись к ней повнимательней, вы должны подружиться. Она, конечно, фантазёрка, но это придаёт ей дополнительную привлекательность. Вообще надо радоваться хорошему в человеке, а не огорчаться тому, чего в нём нет. Потом ведь муж делает жену, а она податливая и станет послушной женой.

«Никто никого не переделает, – подумал я тогда. – Надо или принимать людей такими, какие они есть, или не принимать». И ошибся. Только не он её переделал, а она его. Теперь Галька вертит Котлом как куклой; даже подсовывает книги про природу и пытается внушить, что можно путешествовать и не выходя из дома.

Они живут как студенты. В их квартире, которую они до сих пор снимают, богемная обстановка: пианино, проигрыватель, магнитофон, книги, пластинки, кассеты; всегда есть клюква, настоящая на спирту, кофе и сигареты. А мебель – так себе, и никакой посуды. Бывает, соберёмся у них, так они клянчат у соседей тарелки и вилки.

– Мы живём по-американски, – говорит Котёл. – Сегодня здесь, завтра там. Перемены, неожиданности способствуют творчеству.

Котёл защитил кандидатскую диссертацию, уже не полахает по поводу недостатков в нашем обществе и, как многие, довольные жизнью, считает, что в жизни всё правильно и справедливо. Задача у него прежняя – веселиться и веселить, он так и не вышел из своего образа.

Ансамбль Котла распался; если Котёл теперь и играет, то со случайными музыкантами на свадьбах и похоронах, зарабатывает на кооперативную квартиру (играет на флейте, свою знаменитую гитару повесил на стену).

Сейчас доберусь до Куки. Считаю своим долгом отметить: Кука всегда делил женщин на накрашенных и не накрашенных. Он нашёл себе не накрашенную – полную женщину с водянистыми глазами и рыбьими губами; у неё печальный голос, слабая улыбка, вялый смех, а глаза вечно моргают, и кажется, она или только что плакала, или вот-вот заплачет. Ну что вы хотите – больше всего на свете она любит спать.

Кука познакомился с ней на отдыхе, в море, у буйка. Как он говорил, «вошёл в воду холостым, а вышел женатым».

Думаю, основную роль здесь сыграли пышные формы Натальи (так зовут его жену), но Кука уверяет, что в ней прекрасно всё.

– Она великая женщина, – вещает он, одурев от любви. – Отличный биолог, скоро получит старшего научного. И такая скромница. И готовит неслабо. Моя мать говорила, что нужно жениться на женщине, которая умеет стряпать, что женщине можно простить любые недостатки, даже внешность, только не неумение готовить (замечу в скобках – как раз наоборот: жена-стряпуха – могила для мужчины). Кстати, там, у буйка, выяснилось, что мы оба собачники, и представляете! Её кобеля боксёра зовут Атос, а моего дога Порто! Это уже судьба!

Теперь они ещё завели кота Арамиса – на потеху соседям.

На их свадьбе я обронил Куке:

– Всё, Кука, конец твоей свободе!

– А я люблю Наташу, и мне приятно потерять свободу, – пробурчал он. – У Наташи редкое, неслабое качество – она ценит повседневные мелочи. Некоторые ведь считают, что в сравнении с космическим наша жизнь – чепуха. Им что-то высокое подавай.

Тогда же на свадьбе Наталья сказала нам с Котлом:

– Когда знакомишься с женщиной, надо смотреть на его руки. Я как увидела Сашины руки, сразу в него влюбилась.

В этот момент она действительно любила Куку, но это не мешало ей строить нам глазки, и говорить с зазывающими придыханиями, и справа и слева показывать свой бюст.

– Она потенциальная блудница, – поделился я с Котлом. – Неразорвавшаяся секс-бомба! Разорвётся – у Куки всё рухнет.

– А я люблю заумных блудниц, – расплылся Котёл.

– Да какой там ум! Она дурёха набитая.

– А я люблю симпатичных дурочек, – всё улыбается Котёл.

– Но она же не симпатичная, просто толстуха!

– А я люблю толстух с покладистым характером.

– Зачем тогда женился на худой?

– А я и худых люблю. Но вообще, скажу тебе, с возрастом женятся не по любви, а по интересам.

Вот вам портрет Котла в то время. Он и сейчас так рассуждает.

Наталья отчаянно борется с полнотой и почти ничего не ест.

– Я только посмотрю на еду и сразу чувствую, что прибавляю в весе, – говорит.

Она ест одуванчики с майонезом, пьёт сироп из фиалок, но никак не может похудеть. А Кука любит её формами и посмеивается:

– Дохлый номер. Против природы не попрёшь, – и подходит, обнимает жену, и они цепенеют в безнадежной любовной муке – совсем ошалели.

Роман Куки с Натальей – нескончаемая мыльная опера; они сильно боятся потерять друг друга, и без конца то он встречается и провожает её, то она его.

– Кука! Сделай чучело своей красавицы и таскай с собой на работу, – как-то довольно удачно пошутил Котёл.

Надо сказать, что до Натальи у Куки не было увлечений. Он только однажды, ещё в мединституте, написал письмо какой-то сокурснице, где признавался в чувствах, но получил своё послание назад с исправленными ошибками.

Наталья решила и меня поженить. Как-то сказала:

– Тебе надо завести семью, иначе начнутся болезни. Женатый мужчина добивается в жизни большего, чем холостой. У меня есть знакомая, с которой, думаю, вы подойдёте друг другу, – и привела подружку, свою копию, тоже полную, да ещё с жёлтыми, как у львицы, глазами.

Я посидел полчаса для приличия, поговорил с ними о том о сём и распрощался. Наталья догнала меня и набросилась с оскорблениями:

– Ты дурак! С такой женщиной тебя познакомила, а ты... Ну и оставайся один, чёрт с тобой!

Вот какая она тихоня и скромница, сами видите.

Кука с Натальей начали совместную жизнь в подвальной конуре, через которую проходила труба диаметром с хобот слона, где под полом возились мыши, а стены покрывал мох и какие-то бледные цветы.

– Наши цветущие стены – гобелены, – хвастался Кука.

Но довольно быстро Наталья доказала своему неразборчивому супругу, что двухкомнатная квартира на третьем этаже гораздо лучше подвала «с гобеленами». Кука начал по вечерам подрабатывать, и через год они перебрались в кооперативное жильё.

Наталья не успокоилась и безжалостно обрабатывала Куку дальше – заставила написать диссертацию, защититься, выбить на работе дачный участок... Вот вам и тихоня с погасшим взглядом!

Теперь у них новая страсть – они всё лето вкалывают на даче, запасая на зиму варенья, соленья, моченья. Они и квартиру превратили в оранжерею: в комнатах выращивают помидоры и лимоны, на балконе лук и морковь.

В их квартире всюду кадки с кустами и деревьями – прямо трудно продраться сквозь вьющиеся и стелющиеся растения, использован каждый метр жилплощади, выжато из жилья всё, что можно. А на окнах и дверях замки, задвижки, крючки. И это, сами понимаете, неспроста. Думается, они поднакопили и кое-какие ценности. Наталья ещё больше усиливает это предположение, когда на наши сборища появляется в драгоценностях.

– Это у тебя бриллианты? – как-то поинтересовался я.

– Ага! – ответил за неё Кука. – У моей жены по «запорожцу» в ушах, и я не вижу в этом ничего позорного.

Не подумайте, он шутил, они ведь о многом умалчивают. Вот так изменился Кука, такой совершил зигзаг – стал практичный, расчётливый, всё прикидывает, подытоживает, в кармане носит калькулятор. Возьму на себя смелость выдвинуть такую версию: сидеть на сундуке с деньгами стало его конечной целью – как ни противно, об этом не могу не сказать.

Я считаю, что после тридцати лет люди делятся на две категории: тех, кто развивается, и тех, кто остановился. Так вот, Котёл, на мой взгляд, остановился, а Кука развивается в худшую сторону; во всяком случае, он уже не суетится, как раньше, не пытается переделать весь мир – теперь его энтузиазм проявляется в накопительстве, и если раньше он собирался делать машину своими руками, то теперь просто копит на неё. Теперь он рассуждает так:

– Не терплю суетников: вечно спешат, хватаются и за то, и за это и ничего толком не делают. И ещё без умолку трещат, как они завалены делами и работой. Те, кто много болтают о работе, как правило, мало работают. Проверено. И вообще, суета и трёп говорят о несерьёзных делах и поверхностных суждениях. Всё успеется, всему своё время. Всё надо делать с толком, без суеты, неслабо. Куда торопиться? Хорошие дела быстро не делаются.

Вот такие у него умонастроения. Недавно, чудик, заявил:

– Планирую открыть кооператив «цветов и птиц». Всегда ведь люди уезжают в отпуск, в командировку, кто-то должен поливать цветы в горшках, присматривать за попугаями. Полагаю, доходное дело.

Кстати, Котёл тоже не прочь заняться бизнесом: хочет открыть бюро путешествий для иностранцев, для тех из них, кто хочет увидеть настоящую Россию, её глубинку, а не виды из автобуса Интуриста. Котёл строит обширные проекты:

– Я организую им походы по речкам. Пусть прокатятся на попутных грузовиках по нашим разбитым дорогам, построят плоты, поночуют в палатках, побывают в деревнях, пошлёпают по грязи, потолкаются в очередях в сельмагах, послушают крепкие словечки. Настоящая жизнь страны в глубинке, где нет туристических маршрутов.

Могу себе представить, как Котёл прогорит!

Я женился последним, в тридцать лет, без всякой любви, хотя моя жена бесспорно лучше Галины и Натальи вместе взятых. Я женился просто в знак солидарности с друзьями. «На год меня хватит, – подумал, – а там видно будет». И вот надо же! – уже пошло на второе десятилетие, как живу со своей красавицей. Привык, что ли, сам не знаю. Конечно, я человек твёрдый, и, если моя половина начнёт что-нибудь вытворять, хлопну дверь, и только меня и видели. Жена это прекрасно знает, ведёт себя тише воды и держится за меня обеими руками. И ещё бы не держаться! Ведь я умный и талантливый, и руки у меня золотые, и характер покладистый, и круг интересов широкий, и осведомлённость безграничная. Конечно, трудновато совмещать столько достоинств, но всё же мне это удаётся. Я думаю, вы это давно заметили.

Так вот. У меня всегда были определённые требования к женщинам. В двадцать пять лет я хотел встретить женщину красивую, изящную, умную, талантливую, преданную; чтобы она умела делать абсолютно всё; чтобы любила мою работу и никогда не спрашивала, почему я поздно вернулся и где был. Чтобы любила животных, имела лёгкий характер, побольше молчала, и всегда просыпалась с улыбкой, и часто пела; одним словом – совершенную женщину.

Чуть позднее я пришёл к выводу, что хочу совместить несовместимое, и стал подыскивать женщину не очень красивую, но и не уродину, не очень умную, но и не совсем дуру и так далее. Но и это оказалось

не просто. Тогда я отказался от всех требований, оставил только три: чтобы побольше молчала, любила животных и часто пела. Но что бы вы думали? И это оказалось сложно. Большинство женщин слишком много болтали, и к животным относились так себе, и крайне редко пели.

В общем, я жил в гордом одиночестве. Ясное дело, встречался с женщинами, но стоило какой-нибудь из них принести в мой дом халат или тапочки – всё! Тут же с ней порывал.

Ну а история моей женитьбы проста. Мы познакомились на улице, шли в одном направлении, и красотка улыбалась мне неопределённо-радостно. Вернее, вполне определённо. Когда я заговорил с ней, она просто сказала:

– Я ждала вас всю жизнь.

Ну и, ясное дело, обезоружила меня этими словами. Она сразу всё рассказала о себе и околдовала меня искренностью.

У Валентины (так зовут жену) отличная внешность: тёмные глаза, прямые волосы, взгляд спокойный и умный, фигура стройная, очень стройная – она работает манекенщицей, что вы хотите! И, естественно, походка у неё отличная, а по тому, как женщина идёт, уже можно судить о ней. Валентина ходит с победоносным видом и умеет постоять за себя, поставить на место разных прилипал. Но главное, в ней все те достоинства, о которых я говорил, – не к чему придраться, хотя вначале кое-что мне пришлось пошлифовать.

Прежде всего мне не понравилось, что она часами крутилась перед зеркалом и в день по пять раз меняла наряды, один смелее другого. Бывало, оголялась почти вся. Она была готова ходить по улицам голой и жить в стеклянном доме. И все разговоры у неё велись вокруг шмоток:

– Когда у меня плохое настроение, я надеваю яркое платье. У меня есть деловое платье и есть увлекающее...

По утрам меня раздражала её беготня от окна к шкафу и восклицания:

– Что надеть? Что надеть, прямо ума не приложу?!

– Надень ведро на голову! – однажды вырвалось у меня, но жена не оценила моей изящной шутки.

А по пути на работу, если к ней никто не подходил, она, по её словам, «весь день пребывала в угнетенном состоянии», хотя никакие знакомства ей и не нужны...

Спала она только на спине, чтобы не было морщин, по утрам, лёжа в постели, делала дыхательные упражнения, потом принималась за гимнастику и носила книги на голове «для хорошей осанки»; днём занималась закаливанием – принимала солнечные ванны; на ночь пила «витаминные» чаи «для изящества». Этот культ внешности я пресёк сразу.

Потом она взялась за мою квартиру: заменила простую мебель на финскую, накупила дорогой посуды – из-за этих покупок влезли в долги. Потом мои вещи каким-то образом перекочевали на балкон и Валентина натаскала множество своих штучек-дрючек. Пришлось тоже вмешаться, правда, позднее жена всё же убедила меня, что её вещи необходимы «для процветания», как она выразилась.

Ванную она забила шампунями, разными флаконами и пузырьками. Эти пахучие штуковины оказались довольно приятными; единственно, чего я не понимал, – зачем их такое множество: видимо, для ещё большего «процветания» нашей процветающей квартиры. В общем, моё жильё приобрело прекрасный вид.

Кука говорит, что мы сделали из квартиры музей, навели показуху, Котёл считает, что я вообще живу «среди бесполезной красоты», но, по-моему, они просто мне завидуют.

Покончив с квартирой, Валентина стала приставать ко мне – вначале с восхищённым уважением:

– Как хорошо ты рисуешь... Какой неуёмный цвет! А мой портрет ты можешь написать?

И я рисовал её; сделал сотню портретов.

Потом Валентина стала говорить уклончиво:

– Ты мог бы более разумно применять свои способности. Вот уже два дня ничего не делаешь. За это время мог бы картину нарисовать.

Мне приходилось объяснять, что я обдумываю материал, что, как раз когда, по её понятиям, я ничего не делаю, во мне идёт напряжённая работа. Валентина вздыхала и отходила – смутные мысли роились в её голове.

Со временем в её вздохах появились какие-то угрожающие нотки, и, случалось, она отчитывала меня за безделье и выпивки с друзьями. Однажды разошлась вовсю и опрометчиво лягнула:

– Похоже, женщина влюбляется в образ, а не в мужчину; наделяет его тем, чего в нём и нет.

Это уже было слишком. Я взбунтовался и ушёл из дома, а когда вернулся, увидел на моём столе букет полевых васильков. Это была наша единственная ссора за всё время совместной жизни, и Валентина, молодчина, сразу поняла, что не права. Со всем смирившись, она стала примерной, домашней женой. Теперь она как мышка, её не видно и не слышно. Как я уже сказал, мы прожили больше десяти лет, и никакой усталости чувств у нас не видно.

Кстати, в отношении семьи могу дать ценные советы. (Я вообще собираюсь открыть бюро советов на все случаи жизни). Так вот, во-первых, как только жена попросит что-то сделать по дому, под разными предложениями не спешите. Затем, словно опомнившись, изобразите деловой порыв и принимайтесь за работу, но делайте её крайне плохо, чтобы в следующий раз жена всё делала сама.

Во-вторых, запомните: все жёны страшно любят сплетничать о сослуживцах на работе, соседках и подругах. Никогда не отмахивайтесь от этой болтовни. Заткните уши ватой и делайте вид, что вам невероятно интересно, что вы только этим и живёте. Помните – в чём в чём, а в выборе друзей и врагов с женой должно быть полное единодушие.

В-третьих, у всех жён страсть к нарядам и покупкам, но учтите – после покупок у них некий комплекс вины! Изобразите праведный гнев и спокойно отправляйтесь с приятелем в пивной бар «Вдали от жён». Короче, я за сильную мужскую власть в семье с небольшими отступлениями для жены.

Ладно, пойдём дальше! За эти годы я довольно-таки преуспел: теперь заведу декоративным цехом. Раньше, как вы помните, у меня было двенадцать положительных качеств, теперь стало в два раза больше. Ну а внешне! Внешне, как видите, я отлично сохранился для своего возраста; так что берите пример с меня, в смысле образа жизни, да и всего остального.

Как-то так получилось, что, пережившись, Котёл, Кука и я немного отошли друг от друга и стали видаться только по праздникам, – наши жёны почему-то не очень сдружились. Когда мы собирались у Котла, его Галина без умолку болтала о фильмах, хвасталась новыми пластинками, а в середине застолья усаживала мужа за пианино и начинала петь джазовые вещи. Мы с Кукой это приветствовали со всей сердечностью, а Наталья с Валентиной дулись.

Когда собирались у Куки, Наталья заваливала стол яствами и подробно рассказывала о количестве заготовленных даров природы. Мы с Котлом не успевали себя набивать, а наши супруги морщились и отворачивались.

Слушая Наталью, Валентина толкала меня коленом под столом, а Галина косила глаза в сторону и нашёптывала мужу:

– Какая ограниченность! Чем они живут!

Когда собирались у нас, Валентина то и дело переодевалась и за вечер успевала продемонстрировать все свои наряды. Кука с Котлом восхищённо щёлкали языками, а их жёны покусывали губы от злости.

Вот так и проводили времечко. Никак наши жёны не могли найти общий язык, правда, постоянно выпрашивали друг о друге – женщины ведь всегда испытывают любопытство к соперницам...

Как-то по простоте душевной я начал расхваливать жён своих друзей, какой там голос у Галины и как здорово готовит Наталья. Валентина хмуро меня выслушала, а потом кокнула тарелку об пол и три дня со мной не разговаривала. Так что теперь, рассказывая жене о других женщинах, я предельно осторожен. Ради мира в семье.

Ну ладно, ближе к делу, восстановлю исторический момент. Так вот, однажды мы отправились в путешествие с нашими жёнами. Решили поплавать на моём катере «Бармалее». Чтобы вам обстоятельней представить нашу поездку, не мешает описать сам катер.

Во-первых, вновь упомяну, «Бармалей» я построил. И ещё раз повторяю, это отдельная захватывающая история. Кому интересны подробности строительства, заходите в следующий раз, расскажу. Во-вторых, я строил катер, когда ещё не был женат, и, наверно, именно поэтому мне пришла в голову эта прекрасная идея. Согласитесь, женатым мужчинам подобные мысли редко приходят в голову, а если и приходят, жёны рубят их на корню.

Мой «Бармалей» – элегантный катер с каютой и кокпитом. В каюте лежаки, откидной столик, в кокпите управление, сиденья – в общем, это удобная вместительная посудина. На «Бармалее» мы плавали два раза. Котёл, Кука и я. Ну а на третье лето сдуру вздумали взять жён. Ясное дело, ни один уважающий себя моряк не возьмёт на корабль женщину, а мы, идиоты, взяли сразу трёх. А теперь слушайте, что получилось из этого предприятия.

Всё началось ещё во время сборов, когда Котёл представил мне на утверждение список дополнительного снаряжения. Чего там только не было! Складной стол и стулья, раскладушки и тёплые спальные принадлежности, спасательные жилеты, гамаки, портативный душ, газовая плита, магнитофон, дождевые и солнечные зонты и тьма абсолютно ненужного барахла. Пробежав список, я чуть не подскочил от негодования:

– Просто смешно, Котёл, что ты понаписал! Просто смешно! Хочешь устроить из путешествия пикник. Не выйдет! Я не намерен ради женщин лишать себя приключений. Изволь половину вычеркнуть.

Потом наши жёны стали лихорадочно перезваниваться и задавать друг другу нелепые вопросы:

– Что наденешь? Что возьмёшь? Сколько?

Прислушиваясь к этой дурацкой болтовне, я догадывался, что нас ожидает, понимал, что мы делаем невероятную глупость, но отступить уже было поздно.

В первый же день наших отпусков мы с Кукой на трейлере привезли «Бармалей» в Южный порт. В порту нашли свободный песчаный пятак, на катках спустили катер к воде, зачали около пожарного дебаркадера и стали подготавливать посудину к плаванию. День был жаркий. Над песчаной косой стояло горячее море, только у самой воды тянуло прохладой – чувствовался ток воздуха. В полдень на рафике в порт прикатил Котёл с нашими драгоценными жёнушками; весь салон микроавтобуса был забит шмотками.

Галина выпрыгнула из машины и, пританцовывая, с включённым магнитофоном направилась к нам. Она была в шортах, спортивной майке, кедах и в кепке с козырьком. Наталья вылезла в пляжном халате и панаме, в руках она тащила сумку с пустыми стеклянными банками и полиэтиленовыми пакетами. На Валентине была широкополая шля-

па и белое платье, на ногах – «римлянки», а на кончике носа – большие тёмные очки. Она направилась к нам виляющей походкой; от неё сильно пахло духами.

– Неслабо выглядите, – сказал Кука. – Даже шикарно. Как огурчики в рассоле (это у него высшая похвала).

– Как добрались, благополучно? – спросил я.

– Ага! – праздничным голосом ответила Галина (она вся сияла). – Только Наташка хотела взять ещё собак, но мы воспротивились. А я взяла водные лыжи, хочу научиться выделывать пируэты на воде.

– Эта меломанка Гальяк всю дорогу пела на весь автобус, – шепнула мне Валентина с некоторым раздражением. – Воображает из себя много. И так безвкусно одета!

– Собак нужно было взять, – перебил я её и подумал, что всё же Наталья любит животных больше, чем моя жена.

Мы с Кукой подошли к рафику, чтобы выгрузить вещи. Целый час вытаскивали саквояжи, сумки, тюки. Я успел заметить складной велосипед, бадминтон, несколько шляп, модные сапоги, шитьё, вязанье и целый чемодан лосьонов и кремов! Вот к чему привели моя мягкотелость и попустительство Котла.

Когда машина уехала, песчаная коса превратилась в цыганский табор: Котёл с Кукой перетаскивали вещи в катер, женская половина нашей команды прямо на песке накрывала стол, чтобы отметить отплытие. Я осуществлял общее руководство.

День, повторяю, был жаркий, очень жаркий, и скоро мы все взмокли. Особенно Кука. Шляпа на нём почти расплавилась, из его ушей валил не пар, а дым...

Уложив вещи, мы решили искупаться. С нами, мужчинами, окунулась одна Галина. Наталья только ополоснула лицо и смочила плечи. Валентина заявила, что в воде пиявки и плавать не будет, но в купальник переделалась и некоторое время любовалась на своё отражение в воде, потом застыла в картинной позе, как бы принимая солнечную ванну. Матросы с дебаркадера, до этого дремавшие на палубе, разморённые полуденным зноем, повскакали и стали плясать на красавицу. Не стесняясь меня, Наталья встревоженно сказала вылезшему из воды Куке:

– И куда Валька набрала столько шмоток?! Одних купальников взяла пять штук. Она, наверно, собралась на Багамские острова!

Сколько раз я замечал: скажешь о человеке хорошее, это могут и не передать, а плохое – передают сразу. Я промолчал, а Кука тут же окликнул мою жену:

– Валь, ты что, взяла пять купальников? Неслабо! Весомый подход. Но кончай соблазнять матросов, лучше помоги готовить жратву.

Валентина поджала губы, но подошла.

Котёл с Галиной выбежали, отряхиваясь, из воды, запустили на полную громкость магнитофон и стали расставлять на столе еду.

Предвкушая дармовое угощение, матросы спустились с дебаркадера, из-за штабелей брёвен вышли портовые рабочие, испачканные извёсткой. К счастью, пошёл дождь, и неожиданные гости, выпив залпом по бутылке пива и пожелав нам счастливого плавания, заспешили в укрытия.

Мы тоже спрятались в сарае. Крыша сарая протекала, и нам приходилось всё время менять местоположение. Неожиданно дождю обрадовалась Валентина – она не упустила случая продемонстрировать свой японский зонт и тем самым вызвала переполох среди жён моих друзей. Оказалось, они забыли зонты, и Галина бросилась ловить такси, но Котёл опередил её, заявив, что у Валентины наверняка их несколько штук. Валентина метнула на Котла хмурый взгляд, но кивнула. Желая переменить тему, я сказал:

– Ничего, считайте, что путешествие уже началось. Дождь – наше первое приключение.

После дождя мы с Кукой взяли канистру и, выйдя на шоссе, стрельнули бензин у водителя самосвала. Потом вся наша команда забралась в «Бармалей», я запустил двигатель, и мы двинули вниз по Москва-реке.

Общий вид катера выглядел так: Котёл с Кукой стояли за штурвалом, я сидел у мотора, женщины лежали в каюте: Галина читала, Наталья разгадывала кроссворд, Валентина вязала... По берегам тянулись деревни, перелески, стада коров. К вечеру прошли шлюз и остановились у берега, где за деревьями виднелась поляна. Среди деревьев мелькали шумные стайки птиц, а на поляне росло множество цветов – оттуда веял пахучий ветерок.

– Какая чудесность! – проговорила Наталья. – Лучшего места нельзя и желать.

– Неслабая стоянка! – Кука восхищённо присвистнул.

– Лес страшный – похоже, в нём бродят привидения, – скривила рот Галина. – И пляж не вызывает положительных эмоций.

– Вон плавают тина, – поддержала её Валентина. – И там комары вьются. Целая туча. Здесь от сырости ноги опухнут.

– Нечистая вода полезна – активизируются защитные силы организма, – бросил Кука.

– Ну что вы, девушки, взгрустнули? – Котёл обнял жену и Валентину. – Сейчас приготовим вкуснейший ужин, врубим классную музыку и устроим танцы у костра.

– Мы здесь только переночуем, а завтра нас ждут прекрасные пляжи на Оке, – заключил я и приказал выгружаться.

Пока мы с Котлом ставили палатки, Кука развёл костёр и сделал лавки-наседы. Наши жёны переоделись в вечерние одежды, причём моя вышла из палатки в каком-то ворохе тряпья, из которого торчал один нос, «кукуталась от комаров», объяснила. Галина надела спортивный костюм, сделала пробежку вокруг костра и громко спросила:

– Кто будет готовить? Валь, ты? Ведь ты на пляже ничего не делала.

– Я плохо себя чувствую, – поёжилась моя благоверная.

– Здесь полно грибов! – крикнула из-под крайней ёлки Наталья.

Подбежав к костру, она положила на траву несколько лисичек и снова ринулась в ельник. Кука схватил корзину и тоже исчез за деревьями.

Галина хмыкнула и обратилась к Котлу:

– Валерчик! Бери ракетки, покидаем волан.

– Сейчас, – произнёс Котёл, спустился к реке, набрал в котелок воды и повесил над костром. – Чайник, приготовь что-нибудь, а мы пока разомнёмся.

Чтобы не накалять атмосферу, я промолчал.

– Насыпь в воду марганец, – посоветовала Валентина. – А то ещё отравимся.

Взглянув на жену, на её шляпу, с которой она не расставалась и в которой, похоже, собиралась спать, я вздохнул:

– Да, весело начинается путешествие.

Когда вода закипела, вернулись Наталья с Кукой. Наталья принялась за ужин, а Кука стал нанизывать грибы на нитки и развешивать у огня.

Наигравшись в бадминтон, Котёл с Галиной, весело перекликаясь, совершили небольшой заплыв, потом долго обтирались, одевались и наконец, включив магнитофон, подошли к костру.

Уплетая ужин, Котёл то и дело подмигивал мне и всю расхваливал сытную еду Натальи:

– Очень умело ты, Натали, готовишь на костре! В тебе сноровка путешественницы. И бусы у тебя красивые. В некотором смысле.

Он всегда хвалил женские украшения, и женщины сияли от удовольствия, не понимали, дурёхи, что подобные комплименты – фальшивая штука. И Наталья, ясное дело, не исключение. Она вся зарделась. Предложила женщинам готовить поочерёдно, ввести овощные дни и разгрузочные, то есть пить один чай.

– Противно слушать, – подтолкнула меня Валентина. – Только и говорит о еде.

Котёл уловил реплику моей жены и прозрачно намекнул Валентине, что и она могла бы выступить в роли поварихи, и тут же, хитрый лис, стал выпрашивать о её шмотках. Валентина оживилась, подседа к нему, начала что-то объяснять – от её озноба не осталось и следа. Они беседовали прямо как две подружки, честное слово. Не подумайте, что я ревновал, ни в коем случае. Я был, как всегда, спокоен, а вот Галина вышла из себя:

– Если бы ты был так внимателен к собственной жене! – зло проговорила она и ушла в свою палатку.

Котёл стусевался и заспешил за ней.

Когда костёр стал затухать, мы тоже разбрелись по палаткам. Укладываясь, Валентина что-то бормотала про жён моих друзей, одну называла «кухаркой», другую – «истеричкой», ворчала, что спать на жёстком – только уродовать фигуру; просила меня встать пораньше, вскипятить ей воду, потому что умываться в реке она не собиралась; потом ей захотелось «стаканчик прохладного шипящего лимонада»...

Когда мы с Валентиной проснулись, Наталья уже готовила завтрак, а Кука собирал в пакеты высохшие у костра грибы. Пока мы одевались, Галина в своей палатке затянула песню и Котёл стал ей подпевать. А я подумал: «Наверно, Галина поёт чаще, чем моя жена».

После завтрака то к Куке, то к Котлу стали подходить наши жёны и нашёптывать, как вы догадываетесь, свои обиды. Кука отмахнулся от женщин, взял удочку и спустился к реке. Котёл сделал вид, что слушает, с серьёзным видом кивал и хмурился, но украдкой включил магнитофон и сосредоточился на музыке. Потом сослался на колики в животе, взял надувной матрац и заспешил к Куке.

Тогда женщины кинулись ко мне. Первой подскочила Наталья и, чуть не плача, заявила:

– Мне надоело всё делать за них. Скажи им, чтобы они тоже готовили. Я вся прокоптела у костра, а они... Одна только ракеткой машет да книжки почитывает, да ещё Саше глазки строит. А твоя Валька только загорает, красится да купальниками выпендривается.

– Она ещё не сориентировалась, – пытался я оправдать жену.

Потом меня подловила Галина и с некоторым вызовом сказала:

– Не думала, что твоя Валька такая нахалка. Только задницей вертит и пристаёт к чужим мужчинам. Тоже мне стройняшка! И Наташка хороша гусыня! Одна жратва на уме. Посудомойка несчастная! Никаких интеллектуальных бесед! С ними отупить можно.

– Всё будет, всё будет, – в замешательстве успокоил я разгорячённую супругу Котла.

Последней подошла Валентина.

– Ты не знаешь, почему Галька на меня косится? И Наташка что-то дуетя... Какие-то противные обе. И чего я с вами поехала?!

Я поморщился, меня уже стали раздражать наши туристочки, их бабские сплетни. Посмотрев вниз на берег, я увидел, что мои друзья преспокойно покуривают на матраце. Я спустился к ним и вздохнул:

– Говорил вам, не стоит их брать.

– А ты не лезь в их дела. Сами разберутся, – посоветовал Кука. – Посмотри лучше, какая вокруг красотища.

– Давайте собираться, да поплыли дальше, – сказал я.

– Успеем, – протянул Котёл. – Куда торопиться? Давай ложись, послушаем музыку, поговорим о возвышенном.

Я прилёг, стал смотреть на травы, в которых по своим делам спешили жуки и ящерики; у самой воды пробежала трясогозка с пучком травы в клюве – всюду шла своя жизнь. Шурша крыльями, размашисто

пересёк берег ворон – по травам пробежала тень, и сразу копошение в травах затихло.

«Все постоянно начеку, – подумал я. – Кругом: на земле, в воздухе, в воде – идёт ежеминутная борьба за жизнь, за жизненное пространство. И надо же, у людей тоже. И что не могут поделить?» Вы, ребята, когда-нибудь задумывались над этим?

Как бы подтверждая мои мысли, на поляне раздался визг и крики. Мы повскакали с мест, подумали, что медведь напал на наших красавиц, но, поднявшись, увидели заключительную стадию распада женского коллектива: между нашими жёнами происходила настоящая потасовка: Галина топтала шляпу моей жены, а Валентина вцепилась в кофту жены Котла, и на обеих половником замахивалась Наталья. Все три оскорбляли друг друга и напоминали сумасшедших, которых раньше времени выписали из больницы.

– Послушайте, что говорит эта дрянь! – срывающимся голосом обратилась к нам Валентина, когда мы их разняли. – Что я иду за Валерием, когда он идёт за водой! Какая наглость! За кого она меня принимает?! Видеть её не могу! Сейчас же уеду! – с глазами полными слёз Валентина бросилась в палатку и судорожно начала собирать вещи.

– Сделай одолжение, гадючка! – вскрикнула Галина и, недовольно сопя, добавила: – Вертихвостка с тонким силуэтом! Мизинца моего не стоит, а ещё что-то корчит из себя.

– Проводи меня на электричку! – резким тоном сказала мне жена, когда я влез под наше брезентовое укрытие.

Моё сердце заколотилось чуть сильнее, чем обычно, но я не стал отговаривать жену, втайне даже обрадовался, что больше не буду выслушивать её причитания.

– Чёрт меня дёрнул поехать с вами, – слишком воодушевлённо сказала Валентина по пути к станции. – Эта идиотка! Хамка! И как Валерий с ней живёт?! Распустил её не знаю до чего... А Наташка халда... И эти палатки, и кастрюли грязные, и комары. Только придурки тратят отпуск на реке. Очень надо нюхать бензин! Поеду лучше в Прибалтику, к морю.

Когда я возвращался со станции, яркий день был в самом разгаре, и настроение у меня стало как нельзя лучше.

Котёл с Кукой уже демонтировали лагерь и погрузили вещи в катер. Недолго думая мы отчалили.

Поредевшая часть нашей женской команды снова устроилась в каюте, но пребывала в тягостном молчании. Галина уже ничего не читала, на её лице играла едкая усмешка. Наталья забросила кроссворды и туповато смотрела в пустоту. Прошло всего полчаса, как из каюты донеслось:

– Ты ничего не понимаешь! Несёшь дребедень!

– Нет, это ты ничего не понимаешь!

Наконец в кокпит выскочила красная от возбуждения Галина и, указывая на появившуюся впереди пристань, заявила:

– Высадите меня там. Я вспомнила, в Тарусе отдыхают мои знакомые. Поеду к ним. Там интеллигентное общество, музыканты, писатели. А здесь я зачахну.

Котёл попытался свести к шутке разрушительный настрой жены, но она его грубо оборвала:

– Не могу общаться с этой тупицей!

Кука обиделся за жену, засопел и перешёл на нос катера.

– Неотёсанный губошлёп! – бросила ему вслед Галина, и я замер, дожидаясь своей очереди, но Котёл опередил события:

– Правильно, дорогая. В Тарусе гораздо интереснее. В смысле общества, – и, усиливая свою позицию, добавил: – Там духовной пищи в изобилии. Чайник, рули к причалу!

Речной трамвай «Заря» шёл в сторону Оки только через час, и всё это время Котёл с Галиной покуривали на пристани и как ни в чём не бывало слушали магнитофон. А когда «Заря» подошла, Котёл невероятно тепло, даже сердечно попрощался с женой и развесёлый вернулся к нам.

– Ну вот, ещё одну красавицу пристроили, – облегчённо вздохнул он и выразительно посмотрел на Наталью, давая понять, что теперь дело за ней.

Мы поплыли дальше. Теперь ругаться было не с кем и сидеть одной в каюте Наталье стало невыносимо скучно; она вышла к нам в кокпит, присела на борт и тоскливо осмотрела берега. А там в этот момент тянулись ряды картошки, посадки капусты и свёклы.

– А на даче уже помидоры спели, – обращаясь к мужу, произнесла Наталья, но Кука промолчал.

– И яблоки вот-вот начнут осыпаться, – заладила Наталья. – Из них хорошее варенье получается... А цветов сейчас в палисаднике – прямо с ума можно сойти...

Она вспотела от волнения и хотела ещё что-то сказать, но не могла придумать, что именно. Ей на помощь заспешил Котёл:

– И собаки по тебе скучают. В смысле – просто изнывают.

– Ну я не знаю, милая, – наконец проговорил Кука. – Если хочешь... Вон шоссе, можно поймать машину до города.

– Ага, – вздохнула Наталья и полезла собирать вещи.

Вот так в первый же день всё и произошло. Смешно, верно?

Потом мы пристали к берегу, Кука с Натальей пошли в сторону шоссе, а мы с Котлом легли в тени под деревьями... Около берега проплыли на байдарке туристы: мужчина с женщиной и собачонка. Увидев нас, байдарочники помахали руками...

По фарватеру на моторных лодках пронеслась шумная компания; молодые люди пялили глаза на наш «Бармалей» и смеялись.

Потом из-за поворота показался плот (дощатый настил на баллонах от грузовика). На плоту стояла полиэтиленовая палатка, внутри неё на раскладушке читал газету старичок, а на корме в плетёном кресле восседала старушка – правила веслом. Проплывая мимо нас, старушка улыбнулась и кивнула, как единомышленникам.

– Вот я думаю, общение с людьми – самая большая ценность в жизни, – прочувствованно сказал Котёл. – Но что важнее: любовь или дружба, как ты считаешь?

– Дружба. В дружбе больше искренности и сердечности.

– Точно. Любовь ведь бывает и без взаимности, а дружбы без взаимности не бывает. К тому же любовь кончается. В смысле – проходит. А настоящая дружба – это до конца.

Кука вернулся в приподнятом настроении:

– Ну вот, теперь неслабо поплаваем, – потирая руки, он растянул рот до ушей. – Поймаем настоящий кайф.

– Да-а, – протянул Котёл, – я всегда считал: чтобы от души повеселиться, вначале надо погрузить, ну то есть, пока не помучаешься, на душе не посветлеет.

А я вдруг вспомнил – что бы вы думали? Ну, напрягитесь, ребята!.. Именно! Наше первое путешествие, и ту злополучную ссору, и после-

дующее примирение, и подумал, что наши жёны могут одуматься, захотят помириться и ещё, чего доброго, вернуться на «Бармалей». Поэтому я отдал команду плыть без остановки до Волги.

Кука предложил гнать ещё дальше – до Чёрного моря, а Котёл заявил, что мы вообще могли бы отправиться в кругосветное плавание и вернуться в семьи через год.

Здесь остановлюсь. Надо было это раньше сделать – после нашего первого путешествия, ведь то плавание на плоту не идёт ни в какое сравнение с этим на катере. Так что всего вам хорошего!

1973 г.

БЕЛЫЙ ЛИСТ БУМАГИ

повесть для подростков и взрослых,
которые занимаются живописью,
или интересуются ею,
или просто любят художников



ОГРОМНЫЙ, МНОГОЛИКИЙ МИР

Замечательный материал – белый лист бумаги! Я имею в виду не какой-то клочок, из которого делают голубей или на котором пишут всякие записки, большей частью дурацкие и только изредка прекрасные – о сильном загадочном чувстве – такие послания запоминаются на всю жизнь; я имею в виду – большой лист. Такой лист открывает перед нами неограниченные возможности. Из него можно сделать белоснежный пароход и, если помечтать, уплыть в далёкие страны – такие далёкие, недосыгаемые, что, кажется, находятся не просто за морями и океанами, а где-то в поднебесье.

Можно сделать воздушного змея, запустить его навстречу ветру и, когда он зависнет в восходящем потоке, как бы и самому парить над землёй, то есть взглянуть на свою жизнь со стороны, и тогда многие житейские неурядицы покажутся мелкими, не стоящими того, чтобы из-за них сильно переживать.

Можно склеить отличное прикрытие от солнца – широкополую шляпу или зонт. Или целый костюм. А почему и нет? Каждый должен смело выражать свой вкус, индивидуальность начинается с одежды. Я знал такого чудака, философа и поэта, который героически разгуливал по улицам в бумажном костюме и чувствовал себя в нём вполне удобно. И, что немаловажно, независимо. В самом деле – ведь он не зависел от денег на настоящие костюмы и не был скован разными общепринятыми понятиями. Этот фантастический человек был внутренне свободен. А такая свобода – неременное условие для творчества. Именно такие чудаки, философы и поэты (хотя бы в душе) и создают всё самое ценное, ведь создавать необыкновенное может только необыкновенный человек.

Как было бы замечательно, если бы нас окружали сплошные индивидуальности и каждый человек отличался от другого и внешне, и мыслями, и поступками. К сожалению, ещё немало трафаретных, деревянных людей с мелкими недостойными целями. Главное для них – не выделяться, быть как все. И мысли у них деревянные – как бы побольше всего закупить. Они уверены: изобилие вещей – основа жизни. У этих ограниченных людей многие чувства недоразвиты, они живут пресно. Их раздражает всё, что выходит за «деревянные» рамки. Они ворчат

на ребят, которые, по их понятиям, устраивают слишком шумные игры; швыряют камни в бездомных животных, уверены – те только разносят заразу, и, конечно, бешено ненавидят чудаков, потому что сами никогда не смогут быть такими. То есть никогда не создадут ничего необыкновенного.

Зато какая радость общаться с яркой личностью, с человеком, в котором есть дух красоты! Ты смотришь на мир одними глазами, а этот человек моментально перестроит твой взгляд, посмотрит на привычное под другим углом и всё расцветит новыми красками, откроет то, чего ты не видел до сих пор. Это как прорыв в новую среду. Разумеется, и большой белый лист бумаги для людей без воображения, «деревянного» склада – всего лишь упаковка для увесистого товара, а для личности – водный транспорт, или летательный аппарат, или модель одежды...

Много, очень много возможностей открывает перед нами большой лист бумаги, но, главное, он открывает неограниченное пространство. Глядя на него, так и хочется что-нибудь изобразить.

Вот волшебство – несколько штрихов карандаша, прикосновений кисти – и внезапно, прямо на глазах, белый квадрат расширился, наполнился воздухом, на плоской поверхности появились объёмные предметы, художник словно распахнул окно в огромный, многоликий, жестокий и благодущный, отвратительный и прекрасный мир!

Ещё большее волшебство – картины заражают своим состоянием! Бывает, нахлынет беспричинная радость, развеселишься без всякой меры, и кажется, что сейчас всем весело и вообще жизнь – весёлая штука, но вдруг увидишь какую-нибудь печальную картину, и сразу становится грустновато и стыдно за свою беспечную весёлость.

А бывает, от вполне конкретных причин найдёт такая тоска, что вроде и жить невмоготу, но увидишь радостную картину и подумаешь – «всё не так уж и плохо». Картины великих мастеров заставляют смеяться и плакать. Глядя на них, хочется сделать мир лучше, чем он есть, и, главное, стать самим лучше. Благодаря искусству мы делаем в своей душе открытия, в нас зреет дух красоты.

КАРАНДАШ С ТРЁХЦВЕТНЫМ ГРИФЕЛЕМ

Я всегда испытываю сильнейшее волнение при виде рисовального ватмана: подолгу трогаю лист, поглаживаю шероховатую крупнозернистую поверхность и нюхаю – пытаюсь уловить запах. Всё оттого, что в детстве, во время войны, мы рисовали на обёрточной бумаге, да и её доставали с трудом. Рядом с общежитием, где мы, эвакуированные, жили, находился госпиталь. Время от времени на чёрный ход госпиталя среди всякой всячины выбрасывали обёрточную бумагу. Бумага была жухлой, с выступающей древесной трухой и сильно измятой. Тем не менее мы находили ровные клочки. Сложнее было подобраться к драгоценной бумажной куче – чёрный ход охранял сторож; неподвижный, непроницаемый, с тяжёлыми кулаками, он в каждом мальчишке видел «шалопая с чёрными намерениями». К счастью, сторож иногда «впадал в дрёму», как он выражался. В момент «дрёмы» мы таскали бумагу у него из-под носа.

На обёрточной бумаге рисовали всем, что оставляло след: обугленными лучинами, красным кирпичом, штукатуркой. Кое-кто имел кисти – клеевые, конторские. Иногда делали кисти из собственных волос, которые собирали после стрижки. Красками служили чернила из синильного порошка и бузины, разведённые водой побелка и глина. Редко у кого появлялись цветные карандаши, ещё реже – акварельные краски – разноцветные лепёшки, приклеенные к картонке-палитре. Таких счастливчиков считали «миллионерами».

Был среди нас и «миллиардер» – мальчишка, обладатель толстого карандаша с трёхцветным грифелем. Этот необычный карандаш давал потрясающие линии – на них один цвет плавно переходил в другой. Если цвета наслаивались, возникали неожиданные сочетания тёплых и холодных тонов. Это было сильным зрительным впечатлением – оно приводило нас в восторг, мы вырывали карандаш друг у друга. Но однажды «миллиардер» установил определённую плату за пользование чудо-карандашом: кусок жмыха или сала. После этого мало кто из нас держал в руках чудо-карандаш – в то голодное время жмых и сало были для нас таким же лакомством, как мороженое для теперешних детей.

Конечно, те, кто живут в далёких таёжных посёлках, более бережно относятся к рисовальным принадлежностям – хорошие краски и кисти туда не так уж и часто завозят. Наверное, есть места, куда их не привозят совсем и начинающие художники только мечтают иметь «все цвета радуги», как и мы мечтали когда-то. Таких художников хочу приободрить: принадлежности для рисования играют важную роль, но не основную. Всё-таки художник рисует не только красками и кистью, и не только руками, но и сердцем.

ЗЕРКАЛЬНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ

Человек, умеющий удивляться, уже способен к искусству; если он ещё и выражает своё удивление – талантливый. В детстве мы все способные: каждый день открываем окружающий нас мир, не перестаём ему удивляться и всё хотим узнать, как же он устроен? В юности пытаемся найти своё место в этом мире. В зрелости, познав радости и боли, задумываемся – каким же он должен быть, этот мир?

Мои первые открытия – зеркальные отражения. Помню, года в три-четыре меня поразил отражённый в озере ельник. Вода была спокойной и прозрачной; я различал каждый ствол, каждую ветку; на них, словно ёлочные игрушки, висели кувшинки. Некоторые ёлки верхушками касались дна озера, и между ними проплывали облака, мелькали ласточки и стайки мальков. Невозможно было понять, где кончается вода и начинается небо. День был солнечный, и на поверхность воды от ельника падала густая тень. Этот третий, лежащий на боку лес окончательно сбил меня с толку. Дома я нарисовал все три леса: настоящий, утонувший и лежащий на боку. Нарисовал неумело, и приятели, взглянув на рисунок, приняли его за жестокий обман.

– Так не бывает! – заявили.

– Бывает! – сказала мать. – В жизни и не то бывает. И потом художник имеет право на воображение.

Отец поддержал её:

– В этом буйстве линий и красок есть тайна. Озеро до краёв наполнено тайнами. Нешуточными тайнами, поверьте мне. В этом озере

надо купаться с величайшей осторожностью. Может за ногу схватить водяной.

Отец увидел в моей картине больше, чем я изобразил. Его слова повергли меня в смятение; я и не подозревал, что картина может вызвать такие странные ощущения. Слова отца придали мне новые мощные силы.

На следующий день я решил нарисовать наш дом – каким хотел бы его видеть: некий замок на берегу беспокойного, ещё более таинственного озера. Замысел был отличным, но воплотил я его не совсем удачно. Лучшее всего получился дым, валивший из трубы, пышным облаком он застилал полнеба. Дым по достоинству оценили все, в том числе и мои приятели.

Возгордившись, я целую неделю рисовал «дымные» картины. Из одних домовых труб текли густые тёмные реки, из других тянулись лёгкие струйки, словно растянутые пружины. Дома получались – так себе, но от дыма все приходили в восторг. Особенно отец. Он протирали глаза, чихал – всем своим видом показывал, как едко чадят мои трубы, и приговаривал:

– Нет сомнения, здесь без трубочиста не обойтись!

После войны мы переехали в посёлок на разъезде Аметьево. Самым примечательным в посёлке был воздух. Не дома, не сараи, не дуплистые тополя, не сочные травы и яркие цветы, а воздух. В жаркие дни он колебался, от земли струились вполне различные потоки, и все постройки и деревья как бы раскачивались, а железнодорожное полотно, будка стрелочника и телеграфные столбы таяли в зыбком бело-розовом мареве.

Много раз я пытался нарисовать тот воздух, вернее, пространство между нашими домами и разъездом, но у меня ничего не получалось. Каждый раз я терпел сокрушительное поражение. Получались бестолковые строения и между ними грохочущие безумные паровозы. Именно поэтому меня восхищали репродукции с картин мастеров – в них чувствовался воздух. Воздух на картине – моё второе значительное открытие.

Позднее я научился пространственному рисованию и попытался отобразить воздух вокруг нашего посёлка; вроде он получился, но я не смог передать его аромат. А в том воздухе были запахи смолистой

древесины, и высоких спутанных трав, и луговой клубники. Да что там! Он неповторим, воздух моего детства! Я и теперь говорю друзьям:

– От болезней меня спасает бутылка с воздухом из детства; она у меня всегда под рукой – только вдохну, сразу выздоравливаю!

ГЛОТОК СВЕЖЕГО ВОЗДУХА НАМ НЕ ПОВРЕДИТ

Всякие бывают лица: красивые и некрасивые, тупые и одухотворённые. Бывают безликие – никакие; людей с такими лицами называют посредственностями, серыми личностями. Человек с красивым лицом может иметь чёрствую душу, и тогда, если внимательно всмотреться в его красивое лицо, оно станет не таким уж красивым. И наоборот: если человек с некрасивым лицом добросердечен и душевно одарён, то есть имеет дух красоты, его лицо светится и кажется красивым.

Люди с тупыми лицами, как правило, дураки. Причём дураки делятся на несколько категорий (исключая умников, которые строят из себя дураков; таких хитрецов распознать несложно). Есть простодушные, безвредные дурачки, на которых и обижаться нельзя. Такой простодушный дурачок, заметив, что вы рисуете, случайно, если не сказать нарочно, беззлобно бросит:

– Художник от слова худо, – и расплывётся в блаженной улыбке.

Есть круглые дураки, которые лишены возвышенных чувств, но постоянно всех поучают. Круглый дурак непременно вам скажет:

– Не картина, а ерунда. Я лучше нарисую. Художник должен рисовать так, чтоб всё было понятно.

Круглый дурак упрям и не пытается ничего понять. Ему не нравится – и всё!

Но самые опасные – дураки с претензией. Это очень агрессивные люди. Они постоянно рвутся к власти над родными и знакомыми, над соседями и сослуживцами, над городами и странами. Дурак с претензией говорит:

– Все художники – бездельники и деньги гребут лопатой. И кто только платит за такую мазню?! Будь моя воля, я бы всех этих малевальщиков отправил на лесоповал!

Понятно, интеллигентный человек никогда такое не скажет. Интеллигентность – это врождённая культура, в основе которой лежат духовные интересы, стремление к возвышенному, в том числе к искусству и благородным поступкам. Многому можно научиться, но нельзя научиться быть интеллигентным. Как ни пыжься, манеры будут неестественными, поступки нарочитыми, слова корявыми. Интеллигентность нельзя привить, она передаётся по наследству. И вытравить нельзя. Можно человека заставить делать что угодно, но мыслить он всё равно будет по-своему.

В общежитии жил эвакуированный из Ленинграда инженер Евграф Кузьмич, «представитель старой интеллигенции», как его называли умные люди, а дураки и завистники – «гнилым интеллигентом». По вечерам Евграф Кузьмич у коптилки читал книги. Из его приоткрытой двери в коридор падала полоса света. Я заглядывал внутрь комнаты – Евграф Кузьмич сидел на фанерном ящике, попыхивал самокруткой и, то и дело поправляя пенсне, бормотал:

– Ну и ну, любезные мои! Ну и ну!

Драное пальто, потёртый костюм и две связки книг – «остатки прежней роскоши» – вот и всё, что захватил из Ленинграда пожилой инженер, но, когда я попадал в его прокопчённую, прокуренную комнату, мне казалось, я попадаю в большую, светлую галерею. Евграф Кузьмич угощал меня чаем – заваренной горелой коркой хлеба, показывал репродукции с картин великих мастеров и мягко, ненавязчиво учил «смотреть живопись».

– ...Это Шишкин, великий пейзажист. Вот «Корабельная роща». Смотри, какие роскошные сосны, как золотятся на солнце. И прямо пышут жаром, верно? А как выписаны ветви и хвоя! Какая любовь к нашей прекрасной природе!.. Да-а, любезный, такую картину увидишь один раз и запоминаешь на всю жизнь... А это «Дорога во ржи». Какой простор, а? Какая ширь! Слышишь шелест колосьев, пение жаворонка?! А могучие дубы-исполины как бы подчёркивают пространство. Что и говорить, мы, любезный, привыкли к пространствам нашей средней полосы. Нам было б тесно, например, в тайге или в горах... Да-а, Шишкин великий художник, да что там – гениальный!

Евграф Кузьмич доставал новую папку.

– ...А это Левитан. Вот «Омут». Какая строгость и величие в картине! И как она наводит на размышления! А это «Золотая осень». Обрати внимание, любезный, на сочные краски. Воздух прозрачный, всё дышит покоем. Чувствуешь, прямо повеяло сладким запахом осенней листвы?! А это «Март». Здесь всё звенит. Картина создаёт приподнятое настроение, уверенность, что впереди много хорошего. Ты чувствуешь?! Чувствуешь, что всё пройдёт, изменится к лучшему и впереди нас ждёт много хорошего?! Искусство и должно давать надежду на лучшую жизнь...

Евграф Кузьмич брал очередную папку и продолжал в приподнятом настроении:

– А это волшебник Куинджи. «Ночь на Днепре». Какое высочайшее мастерство! Такие холодные тени, и река серебрится под луной. Тебя потрясает? Мурашки бегут по спине? То-то! И обрати внимание, любезный, как светится луна. Когда Куинджи выставил эту картину, многие подумали – за луной спрятана лампочка. Подходили, заглядывали за картину, обвиняли художника в шарлатанстве. Эх! Всё необычное в искусстве невежественные люди встречают в штыки. И не только в искусстве. Человека, который придумал зонт и отважился выйти с ним на улицу, закидали камнями...

Евграф Кузьмич называл себя «собирателем редких книг», и, как все коллекционеры, он был счастливым человеком. В те тяжёлые годы многие за бесценок отдавали дорогие вещи. Я видел, как на барахолке за буханку хлеба музыкант отдал скрипку; поцеловал инструмент и, чуть не плача, отдал какому-то барыге. Кто знает, может, музыканта дома ждали голодные дети! Евграф Кузьмич не продал ни одной из своих книг, правда, у него и детей не было.

В те мрачные годы комната Евграфа Кузьмича мне казалась настоящим музеем, хранилищем бесценных вещей; в ней я ежедневно открывал неведомые пласты в искусстве, и что особенно важно, – старый инженер вселял в меня свою влюблённость в живопись, я выходил из его комнаты насквозь пропитанным этой влюблённостью. Под руководством Евграфа Кузьмича я сделал головокружительный скачок (в смысле восприятия живописи). Это восприятие, словно пожар, охватывало меня со всё нарастающей силой. В конце концов я почувствовал внутри такое адское пламя, что заболел – наполовину сошёл с ума.

В те дни во сне я писал картины не хуже Шишкина, Левитана и Куинджи, а иногда даже лучше. Я поправился только когда мне родители с превеликим трудом достали цветные карандаши.

Я начал делать копии с картин великих мастеров, но удивительная вещь – как ни старался, всё получалось блекло и невыразительно – какой-то компот, жалкое подобие оригинала. И здесь во мне забушевал пожар другого рода – пожар сомнения: получится ли из меня художник вообще?

– Получится, я не сомневаюсь, – сказала мать. – Самое горькое разочарование – разочарование в себе, когда душа в смятении и думаешь: «Смогу ли что-то сделать?». Нельзя сомневаться в себе.

– Не художник, так инженер из тебя получится, – заявил отец. – Инженер должен уметь рисовать, уметь объёмно представлять детали, в разных проекциях...

– Как это не получится? – удивился Евграф Кузьмич. – Не сгущай краски. Художник это состояние души. В этом плане ты уже зашёл далеко. И если взялся за кисть или за перо, должен верить, что сделаешь что-то значительное. Конечно, не сразу. Надо учиться, изучать великих мастеров, их умение выражать главное и внимательно относиться к мелочам. Помни, картина останавливает время, на ней навсегда остаётся прекрасным лицо или пейзаж.

Я снова засел за копии. Всё основное из работ великих мастеров перенёс на бумагу один к одному, а в мелочах кое-что изменил, вернее, добавил кое-какие мелочи, которые, на мой взгляд, художники упустили из виду. Так, над «Дорогой во ржи» я нарисовал самолёт, чтобы дополнить и усилить «пространство» Шишкина. В «Золотой осени», по моему мнению, Левитан забыл изобразить лодку с рыбаком, и я исправил его оплошность. «Берёзовую рощу» Куинджи я заселил зверями – они явно просились на полотно.

– Неплохо, неплохо, любезный, – сказал Евграф Кузьмич, разглядывая мои работы. – Не перевелись ещё таланты на нашей земле. Это как глоток свежего воздуха – он нам не повредит... У тебя богатейшая фантазия и всё прочее, но, как бы это помягче сказать... Понимаешь, любезный, твой летательный аппарат прекрасен, спору нет, но здесь он ни к селу ни к городу. Грохот его мотора заглушает шелест колосьев, трель жаворонка. Уже нет спокойствия, умиротворения в картине.

Не дай бог он ещё грохнется и всё поле сгорит дотла... И твой рыбак хорош, ничего не скажешь. Сразу видно, по экипировке, оснастке, он мастер своего дела. Гений рыбалки! И смотришь только на него, он главное пятно на картине. А осень отошла на второй план и уже не будоражит наши чувства. Ты понимаешь, о чём я говорю? Твоего бы рыбачка на отдельную картину, это совершенно самостоятельный сюжет. Нарисуй его отдельно и покрупнее. Попробуй, у тебя получится. И это будет замечательная работа. А Левитана оставь в покое. Пожалей его... То же самое и с Куинджи. У тебя получился, как бы это поточнее сказать, заповедник, что ли. Увидел бы Куинджи – зарыдал. В эту рощу без страха уже не войдёшь, звери растерзают. Пожалуйста, загони их всех в зоопарк, у тебя это прекрасно получится, вот увидишь. А «Рощу» оставь как есть, так приятно погулять среди прохладных берёз.

Евграф Кузьмич положил мне руку на плечо.

– Для чего нужно изучать великих мастеров? Чтобы отталкиваться от них, а дальше идти своей дорогой. Своей дорогой, – повторил Евграф Кузьмич и показал за окно, где начинался мой путь.

БЕЛЫЕ СЛОНЫ

Моим друзьям-художникам исключительно повезло. Один уверяет, что видел летающие тарелки и настоящую принцессу, правда, издали. Другой говорит, что видел не только принцессу, но и саму королеву Англии, и довольно близко, а уж разных русалок лицезрел видимо-невидимо и однажды недолго поплавал с ними. У третьего, по его словам, на даче проказничает домовая и бродят привидения – он гоняет их метлой. Четвёртый даёт слово, что не раз наблюдал за водяными и лешими, колдунами и ведьмами, а пятый клянётся, что не только видел чертей, но и разговаривал с ними.

Многие им не верят, говорят:

– Мелкая хвастливая ложь.

А я верю, потому что сам кое-что видел.

Некоторые из моих друзей-художников имеют необыкновенные квартиры. Так, у Валентина Коновалова обитает сверчок и даже зимой

по комнатам летают бабочки – возможно, их привлекают красочные пейзажи мастера.

Борис Сафронов живёт за городом в стеклянном доме, собранном из оконных рам; этот «аквариум» он прозвал «зелёным болотным королевством».

Некоторые из моих закадычных друзей-художников обладают сказочными богатствами, вроде Сергея Денисова и Леонида Андреева. У первого дома потрясающий сад из комнатных растений – в нём можно заблудиться, и все растения редкостные, страшно дорогие; у второго есть попугай, который знает сотню слов, и сундук, доверху набитый фотографиями редких животных.

Особенно богат Виктор Алёшин. Он богат до неприличия. У него нет своего жилья, он скитается по знакомым, зато, на зависть приятелям, его всегда окружает стайка восторженных поклонниц, одна красивей другой – целая оранжерея красавиц.

Я не видел летающих тарелок, и никогда не встречался с представителями нечистой силы, и живу в обыкновенной квартире с двумя обыкновенными дворняжками – Челкашом и Дымом, но я был свидетелем редких явлений природы. Например, видел невероятный звёздопад, когда звёзды падали одна за другой, словно кто-то устроил фейерверк. Видел шаровую молнию – на болоте светящийся шар медленно проплыл над травами. Однажды в раскалённый полдень видел мираж – на облаке, точно на гигантском экране, отчётливо, полновесно отразились деревья, церковь и озеро. Видел зимнюю грозу, с молнией, громом и белой радугой, и летнюю – когда летели градины с большую пуговицу. Не каждый видел такие явления, а я видел – клянусь своими собаками, не вру!

Много раз я попадал под оглушительные ливни. Особенно запомнился один из далёкого детства.

В тот день я нарисовал мелом на дощатом заборе белого слона, а рядом – слонёнка. Надо сказать, в то время я просто бредил слонами; любил всех животных, но слонов особенно – мне казалось, они самые мудрые и добрые, как большинство великанов. Я рисовал слонов на каждом клочке бумаги, в книгах и на стенах. В нашей комнате обитало целое слоновье стадо. Мать не успевала стирать животных со стен, а отец говорил, что слоны приносят счастье.

И вот однажды я нарисовал слонов во дворе на заборе. Это был мой лучший рисунок (и белый – «идеального» цвета). Кажется, я даже его посчитал значительным достижением в изобразительном искусстве. Да, собственно, не кажется, а наверняка. Сюжет был предельно простым, без чрезмерности деталей, излишних подробностей: огромная слониха важно вышагивала в сторону зарослей акаций, за ней семенил слонёнок и, как это бывает в жизни, судя по книгам, хоботом держался за хвост матери. Белые слоны гуляли на летних знойных просторах...

Когда я закончил рисование, во двор вбежали ребята и бессовестно предложили стрелять в слонов из лука. Я запротестовал и даже хотел стереть слонов, но они были как живые, и мне стало жалко своё «значительное произведение». Я ушёл со двора поздно вечером, последним, да и то потому что начался ливень.

Затяжной ливень грохотал всю ночь (казалось, прохутились все небесные трубы) и как-то незаметно вошёл в мой сон: я увидел белых слонов под хлещущими водяными струями. Заросли акаций были рядом, но они почему-то никак не могли туда добраться. Топтались на месте и мокли. Внезапно во двор вбежали ребята с луком и... воздух потряс мой предупредительный клич. Страшный вопль поднял на ноги всё общежитие, но, главное... его услышали слоны; они подняли хоботы, протрубили мне прощальное приветствие и скрылись под зелёным куполом леса.

Утром на мокром заборе ничего не было!

– Смыло твоих слонов, – сказал мне дворник дядя Коля. – Ничего, новых нарисуешь. И вот что!.. Нарисуй ещё какую-нибудь уборочную машину. Надоело махать метлой...

Когда забор подсох, я попытался нарисовать новых слонов, но, как ни усердствовал, у меня ничего не получилось. Выходили какие-то схемы, а не живые существа.

В тот день я сделал важное открытие: всё ценное создаётся только в минуты высокого настроения, когда чего-то сильно хочешь, о чём-то сильно мечтаешь, что-то сильно любишь или так же сильно ненавидишь. Тогда я ещё не знал, что этот настрой называется вдохновением.

ДАЛЁКИЕ И БЛИЗКИЕ МЕЧТЫ

Лет в десять, сразу после войны, у меня к неопишуемой радости, наконец появилась акварель «Чёрная речка», и я с утра до вечера рисовал как одержимый, рисовал без всякой системы, всё подряд – и что поражало в окружающем мире, и что представлял в голове – всякие далёкие и близкие мечты.

Самой далёкой, почти несбыточной мечтой было – попробовать фрукты, которые я видел только на картинах: виноград, гранаты, инжир. С этой целью я рисовал такие натюрморты, от которых бежали слюни.

Самой близкой мечтой было – стать пиратом. Начитавшись книг про морских разбойников, я рисовал парусники, бородатых уголовников, острова в океане, сундуки с награбленными сокровищами и, конечно, морские сражения, где я, знаменитый пират, находился в самом пекле. После каждого сражения, руководствуясь гуманными соображениями, я рисовал тех, кого мы, пираты, ограбили и сбросили в море – разных купцов, богатых пассажиров – они благополучно добрались до берега и жгли костры в ожидании помощи. Я даже писал записки от имени этих бедолаг, с указанием их местонахождения; записки закупоривал в бутылки и бросал в речку Казанку. Думаю, моя почта вызывала немалый переполох у речной милиции во всём Волжском бассейне.

– Если ты станешь пиратом, это будет позором для семьи, – выговаривала мне мать. – Несмываемым пятном на нашей чести.

– А по-моему, «пират-художник» это неплохо, – рассуждал отец.

Я только ухмылялся их наивным представлениям моего будущего, поскольку втайне ещё планировал стать и слесарем-водопроводчиком и собирался чинить сантехнику до тех пор, пока не умру от усталости.

Представляя себя знаменитым пиратом, я всё время хотел столкнуться с опасностью, тренировал металл в голосе и жгучий пронзительный взгляд и жалел, что имею мало шрамов (ведь известно, шрамы украшают мужчин, а пират без шрамов – вообще не пират).

Как каждый пират, тем более знаменитый, я, разумеется, был весь разрисован татуировками, с головы до ног (к счастью, синими чернилами). На моём теле красовались якоря, осьминоги, акулы, парусники с пушками и целые сцены, где пираты брали на abordаж купеческие

суда. Были и другие сюжеты: пираты на берегу в баре, на ипподроме. Не было только романтических сцен. Всё, связанное со словом «любовь», по моему глубокому убеждению, не стоило и сантиметра моей пиратской кожи.

Ребята во дворе (мы ещё некоторое время жили в общежитии) с величайшим интересом рассматривали мои татуировки, а дома я ходил и спал в наглухо застёгнутой рубашке и подолгу не мылся, пока однажды мать насильно не сняла с меня рубашку и... чуть не хлопнулась в обморок.

Мать отмыла мои татуировки, но не смогла вытравить из моей души пиратский дух. Я по-прежнему ходил вразвалку, с нагловатым видом, с оттопыренными карманами, в которых лежали перочинный нож, пробочный пугач, отполированное тёмно-зелёное бутылочное стекло, напоминавшее море, и настоящие пули – они попадались на свалке.

С ребятами во дворе я разговаривал заносчиво и едко. Случалось, ребята просили меня что-нибудь нарисовать, но я говорил, что подумаю или что «нет настроения», или врал, что нет карандашей. Если кто-то и приносил карандаши, я говорил, что это никудышные карандаши, неважнецкий материал и им рисовать не могу.

– Это не так легко, как кажется, что-нибудь нарисовать, – объявлял я ребятам и удалялся, насвистывая разухабистую пиратскую песню.

Такой был балбес, к стыду родителей.

Но в один прекрасный день на асфальтированном пятаке двора кто-то нарисовал зверей: волков, тигров и слонов. Моих слонов! Животных, по которым я считался крупнейшим специалистом! Зверей нарисовали цветными мелками, и они казались прямо-таки настоящими. Я был потрясён, меня охватило страшное смятение. Вечером близкий друг Вовка, который научил меня покуривать, а я его ругаться, сообщил, что в одну из квартир приехали новые жильцы и что в той семье девочка Машка – художница.

С того дня ребята напрочь забыли обо мне, им рисовала Машка; рисовала всё, что ни просили. Девчонка, но хорошо рисовала и самолёты, и корабли, в том числе пиратские; рисовала в основном фиолетовыми мелками, а этот цвет свидетельствует о высокой эмоциональности, высокой чувствительности и прочих высотах.

Однажды на пятаке мелками Машка нарисовала огромный парусник, да такой, каких я никогда не рисовал. Это был прямой вызов. Меня заело не на шутку, и, когда ребята разошлись, я углём подрисовал на корабле взрыв, как будто в него попала торпеда, а вокруг ещё изобразил тонущих матросов.

В ту ночь мне снился сладостно-злорадный сон. Но наутро, выйдя во двор, я увидел: матросы не утонули, а в лодках преспокойно плывут к берегу. Ребята наперебой рассказали, как Машка спасла матросов. История принимала скандальный оборот. Я чуть не взбесился, но меня спасла очередная выдумка. Достав уголь, я нарисовал огромного – с кровать – кита, чудище подплывало к лодкам и уже разинуло пасть.

– Пусть она теперь что-нибудь нарисует, – стиснув зубы, заявил я ребятам и победоносно ушёл со двора.

В разгар моего торжества прибежал Вовка и, запыхавшись, проговорил:

– Выходи скорей! Машка такое нарисовала!

Мы выбежали во двор. Около рисунков толпились ребята и смеялись, гоготали, всхлипывали. Я протиснулся в середину – матросы уже восседали на спине кита, исполин широко улыбался и тащил на буксире пустые лодки. На середине кита стояла Машка, маленькая остроносая девчонка; она была вся в фиолетовом мелу.

Я вернулся домой подавленный, униженный. Взял бумагу, сел перед окном, и – надо же! – впервые почему-то не захотелось рисовать пиратов. Я догадывался: теперь, чтобы вернуть уважение ребят, свой престиж, должен был отличиться как никогда – нарисовать что-то фантастическое. Долго я сидел за чистым листом, но ничего фантастического придумать не мог; сидел, смотрел во двор, где Машка всё что-то рисовала... Постепенно мой разрушительный настрой угас, и вдруг в голове мелькнуло: нарисовать Машку! Достав акварель, я стал набрасывать Машкин портрет; старался изрядно, и, кажется, у меня получилось то, что надо; во всяком случае, в те минуты я взвинулся и был уверен – это моя лучшая работа (о слонах, парусниках и пиратах я забыл начисто). Краски ещё не просохли, а я уже вынес портрет во двор.

– Замечательный портрет! – выдохнула Машка.

– Вылитая Машка! – закричали ребята.

Понадобилось немало лет, чтобы я сделал вывод из тех рисунков на асфальте: творческая злость – хороший двигатель в работе, но всё-таки злость не должна затмевать разум художника.

После портрета Машки (ошарашенный восторгом ребят) я неистово бросился рисовать и другие портреты. Бывало, в школе на уроке все решают задачи, а я делаю наброски соседей, за что не раз выводился из класса и объяснялся с директором.

Дома я просто-напросто терроризировал родных: ежедневно заставлял меня позировать. Обычно мать с отцом под разными благовидными предложениями увиливали от моих назойливых приставаний, но младшие сестра и брат позировали охотно – подолгу неподвижно сидели в священном молчании. Но особенно от меня доставалось гостям. Как только к нам кто-нибудь заходил, я сразу усаживал гостя на стул и начинал его рисовать, причём рисовал не меньше получаса – не умея выявить главное, характерное в лице, всё делал по наитию, на авось, при этом бубнил:

– Портрет – дело нешуточное. Требует массу времени...

Многим не хватало терпения, они вставали, говорили, что спешат.

– Искусство требует жертв, – безжалостно произносил я фразу, которую где-то услышал и сразу взял на вооружение. – Этот портрет, может, возмут на выставку. Вы ещё будете гордиться, что я вас рисовал.

Гость вздыхал и садился на стул снова. Я заканчивал портрет, подписывал и дарил на память. Но никто себя не узнавал. Мне приходилось объяснять, что сходство – чепуха, важно – каким художник представляет человека. После этого гость вздыхал ещё глубже:

– А-а! Вот оно что! А я-то думал – сходство важнее, – и благодарил меня, и жал руку, и долго к нам не заходил.

А когда приходил, я снова усаживал его позировать, и, получив второй портрет, гость благодарил меня ещё горячее, но больше не появлялся совсем.

Постепенно все знакомые перестали к нам ходить, и сестре с братом надоело позировать. И тогда я начал рисовать себя: садился перед зеркалом и делал автопортреты. Законченные работы вставлял в рамы, которые снимал с репродукций, фотографий, вышивок, и вешал на стены, прямо на рисунки слонов. Я перестарался – вскоре всю нашу комнату заполонили мои автопортреты. На одних картинах я сто-

ял в железных доспехах, словно «рыцарь без страха и упрека», на других – распластался у моря, и было ясно – перед зрителями пират с затонувшего корабля... На всех портретах, как мне казалось, я выглядел предельно скромным: не смеялся, не размахивал руками, не задирал нос и смотрел на зрителей просто и серьёзно.

Родителям не нравилось моё новое увлечение.

– Что за пристрастие! Испортил все стены! – возмущалась мать.

– Портрет не твой конёк, – хмурился отец, – не твоё коронное блюдо. Лучше рисуй пейзажи – озёра, отражения, дым...

Но я-то считал пейзажи пройденным этапом и продолжал печь как блины автопортреты. Со временем я так наловчился их рисовать, что мог себя изобразить с закрытыми глазами. На чём было замешено такое внимание к собственной персоне – не знаю. Кажется, в тот подростковый период мне не очень нравился мой нос «валенком» и оттопыренные уши, и на рисунках я несколько сглаживал эти «дары природы».

Моё героическое сподвижничество в области автопортрета закончилось собственной скульптурой. Наклепав такое количество своих изображений, что их уже некуда было вешать, я начал делать слепки из глины. Позировать мне по-прежнему никто не хотел, и я лепил себя. Вначале ваял маленькие скульптуры, потом и большие. А однажды в сарае смастрячил себя во весь рост. Чтобы эта гигантская скульптура не развалилась, прежде пришлось скелетировать каркас из реек и обмотать его проволокой – и только после этого класть глину. Я извёл целую бочку глины (корячился два дня). Скульптура мне понравилась. Я изобразил себя очень скромным: стоял, опустив голову и сморщив лоб, как будто думал о чём-то вселенском, словно «Мыслитель» Родена.

Эту скульптуру я решил установить перед общежитием как памятник самому себе. Рано утром, когда все спали, приволок глиняного колосса на видное место двора и сел невдалеке на скамью, в ожидании реакции на своё творение. Через некоторое время вышли ребята и рязинули рты в замешательстве.

– Кто это? Что-то не пойму! Может, Баба-яга?! – слышалось.

Мимо прошёл Евграф Кузьмич, взглянул на скульптуру, покачал головой. Расстроенный, я направился к дому, но меня догнала Машка.

– А я сразу узнала, кто это! – сбивчиво шепнула мне.

– Кто?

– Знаменитый пират!

Слова Машки окрылили меня – я моментально почувствовал прилив жизненных сил.

Это была моя первая персональная выставка – она представляла всего одну работу, но зато какую! И какой ошеломляющий успех! Правда, всего у одного зрителя, но у профессионала! То, что Машка училась в художественной школе, являлось непреложным фактом.

НАТЮРМОРТ С ОВОЩАМИ И ПРОЧЕЕ

Мне посчастливилось – в художественном училище, куда я поступил после седьмого класса, преподавал Пётр Максимилианович Дульский, автор монографии о Шишкине, мэтр с бантом, в жилетке жёлтого цвета, который, как известно, выражает спокойствие, интеллигентность.

Петр Максимилианович не только объяснял нам основы живописи, но и давал нравственные уроки.

– Скромность в жизни и скромность в творчестве – разные вещи, – говорил он. – Нельзя быть скромным за мольбертом. Если хотите сделать что-то значительное, смелее самоутверждайтесь, отстаивайте своё видение, своё «я».

Эти слова я воспринимал буквально. Отбросив всякую скромность, устраивал на полотнах такое бурное пиршество красок, что у самого захватывало дух. Но странное дело: моя «богатая палитра» – широкие мазки и прямо-таки кричащие свирепые цвета повергали однокурсников в уныние.

– Всё разваливается и пестрит, – поджимали губы одни.

– Нет гармонии, – разводили руками другие.

– Я так вижу! – многозначительно изрекал я.

А Петр Максимилианович посмеивался:

– Ничего, ничего, это самоутверждение лучше боязни цвета и всякой зализанной, замученной живописи. Главное – неустанно обогащать своё творческое пространство. Насыщать его впечатлениями. Впечатления – самое ценное в жизни. Наше богатство. Позднее отберёте всё существенное из этих впечатлений. Чувство меры придёт, когда всем

переболеете, – он похлопывал меня по плечу, как бы благословляя на новые искания.

Однажды я написал «огненный натюрморт», вернее, впечатление от натюрморта с горшком и овощами. Для большей выразительности и самоутверждения использовал цвета страстей: яркие красные и оранжевые краски, «сверхбогатую активную палитру».

– Нагловатые цвета, – морщились одни.

– Ерундистика, оголтелый оптимизм, – с насмешливым презрением отмахивались другие.

А Пётр Максимилианович пощадил меня и дипломатично сказал с лёгкой улыбкой:

– Выразительный рисунок и грамотная живопись – дело техники. То есть наживное дело. Этому можно научиться. Но вот своя интонация, своя атмосфера, своё пространство – это, как говорится, от Бога... Я совсем не против этого дикого натюрморта, но вот... этот огурец... э-э, не мешало б... чуть-чуть передвинуть сюда. Так композиция будет более уравновешенной.

В другой раз на свалке я нашёл банку серебристой краски и с дурацким восторгом так самоутвердился, что некоторые перестали со мной здороваться. Я написал автопортрет, где серебристая краска выполняла роль лунного света; автопортрет в образе матроса (естественно, в подростковом возрасте пират уступил место матросу, и, кажется, я уже подумывал о морской царевне).

– Умора! – хмыкали одни. – Возвёл себя в святые, сделал нимб над башкой!

– Совсем чокнулся, – безнадёжно вздыхали другие.

– Эта самолётная краска не очень портит общее впечатление, – невозмутимо заметил Петр Максимилианович. – Как говорится, максимум выразительности и минимум средств для выражения. Но в композиции не хватает э-э... изюминки. Быть может, вот здесь... подрисовать чайку или дельфина?!

Вскоре я «переболел» и перестал самоутверждаться за счёт эффектных красок. До меня дошло, что хороший вкус – это не только чувство меры, но и благородные цветовые сочетания. «Богатая палитра» уступила место «палитре сдержанной». Рассматривая мои новые холсты, Пётр Максимилианович одобрительно кивал:

– Это обнадёживает. В этом уже есть что-то. Заявка на серьёзность, – и с неизменной улыбкой добавлял: – Как говорил Андрей Рублёв, «красота не в пестроте, а в простоте»... Настоящее искусство всегда искреннее. Нарочитость, желание пооригинальничать – это видно невооружённым глазом. Там всё поддельное, фальшивое. За такими декорациями не видно сердца. Это холодное, бездушное искусство. А искреннему художнику не до трюков. Это очевидно. Ещё очевидней – тот, кто занимается искусством, то есть причастен к возвышенному, не встанет на путь жестокости. В этом смысле вы – моя последняя надежда в наше жестокое время.

Кажется, мы не очень оправдывали эти надежды. Я, например, безжалостно ловил рыбу; а Кукушкин (первый умник в группе, который вроде меня планировал в будущем походить под парусами, и это нас сразу сблизило) – певчих птиц. Узнав про наши злодеяния, Пётр Максимилианович нахмурился и прочитал нам строгую проповедь с предостерегающей концовкой:

– Вы – моя головная боль. Учтите, над вами сгущаются тучи. Скоро грянет гром.

Тучи над нами сомкнулись, и гром действительно грянул: однажды, после очередной вылазки на природу, нас с Кукушкиным встретило мрачное демонстративное молчание сокурсников. А позднее в стенгазете нас изобразили как живодёров... Чтобы вернуть расположение сокурсников, Кукушкин притащил в училище свои клетки и при свидетелях выпустил птиц на волю. А я, тоже публично, смастерил аквариум и начал разводить рыбок. Эти значительные операции почему-то никто не воспринял всерьёз; наверное, были уверены, что мы просто устроили передышку и втайне вынашиваем особо зловещие планы.

УВЯДШИЕ ЦВЕТЫ

Рисунок вела Ксения Борисовна Пирогова, женщина матрёшечного типа, вся увешанная побрякушками, с шальями на плечах и румянами на лице. Несмотря на эту яркость, в искусстве Ксения Борисовна предпочитала серый цвет и его многочисленные оттенки – то, что обычно

любят строгие, рассудительные люди. У Ксении Борисовны были маленькие руки и прозрачные глаза, а голос далёкий, как в тумане.

– Это неизящно, – говорила она про рыхлый рисунок.

– Это топорно, даже вульгарно, – про энергичный штрих, и мы недоуменно молчали.

Матрёшка (так мы звали Ксению Борисовну) ставила нам «чистые натюрморты»: старинные вещи с отражением на стекле.

– Отражённость, зеркальность создают эстетичность, изыск, – говорила рисовальщица, и мы с пониманием кивали (особенно я, поскольку считал себя специалистом по отражениям).

Матрёшка лазила с нами по городским свалкам и заставляла разыскивать поломанную антикварную мебель, дырявые абажуры, побитые витиеватые рамы, дверные ручки, чугунные утюги. Потом в училище всё это расставляла на стекле, занавешивала окна, зажигала свечи, и мы рисовали «искрящиеся натюрморты», иногда «отмывкой» – прозрачно-чёрной краской.

Особую страсть Ксения Борисовна питала к натюрмортам из увядших цветов.

– Живой, яркий цветок, бесспорно, красив; в нём, бесспорно, есть эстетический момент, – говорила она. – Но всё же он легковесен, он слишком заявляет о себе. А увядший цветок более скромнен и потому более выразителен... Он более культурен, благороден, если хотите («...хотите, хотите» – прокатывалось эхо).

Ксения Борисовна подвешивала у окон живые цветы на нитках, головками вниз и, когда лепестки скрючивались, восклицала:

– Когда цветок увядает, появляется другая красота, другой дух! Посмотрите, как выявляются прожилки, какие пластические линии, сколько эстетики! Красота со временем не исчезает, а переходит в новую форму. Это касается не только цветов, но и людей.

Ксения Борисовна подходила к зеркалу и рассматривала своё отражение, видимо, чтобы убедиться в правоте своих слов, убедиться, что уцелевшие остатки её красоты ещё сияют достаточно ярко.

Слушая Ксению Борисовну я мотал головой – всё живое мне было гораздо ближе мёртвого, отжившего, поломанного.

С Ксенией Борисовной ходили на «мелкую пластику», двухчасовые наброски в сквер. Это было самым интересным из её занятий, когда

мы, раскрепощённые, «набивали руку» – рисовали в блокнотах всё, что попадалось на глаза: корявые деревья, урны, газетный киоск, старух с детскими колясками и «деликатные ситуации»: влюблённых и разных подвыпивших, отсыпавшихся на клумбах.

«ОБНАЖЁНКА» АЛКА-СЫРОЕЖКА

«Обнажённой» называли обнажённую натуру. Одним из натурщиков был старик с величественной массивной головой. Он работал сторожем в трамвайном депо, а в училище подрабатывал. Искусство ему было безразлично; обычно на стуле он засыпал и переливчато храпел. Матрёшку Ксению Борисовну это не смущало.

– Обратите внимание на складки на лице, – говорила она. – В складках и оборках есть эстетичность.

Ещё нам позировала Лиа, толстуха с богатыми формами, модель – мечта для скульпторов. Ни один художник, и не только художник, не мог пройти мимо Лиа чтобы не обернуться. Лиа по много часов неподвижно стояла под софитами, но никогда не жаловалась на усталость. Она содержала большую семью и говорила, что «раньше была как тростинка, а в войну от разных похлёбок распухла».

– Обратите внимание на пластические ходы, – Ксения Борисовна поводила рукой в сторону Лиа. – Смотрите, как один блок мышц плавно переходит в другой.

Одно время нам позировала бывшая балерина, сухопарая царственная старуха с грациозной осанкой и тонкими косичками. Словно фея, она всегда торжественно молчала, устремив взгляд за окно. В её царственном величии угадывался богатый и таинственный внутренний мир, который никак не переключался с реальным миром. На «балерину» Ксения Борисовна только почтительно взирала и ничего не говорила.

Натурщица Алка-сыроежка постоянно грызла морковь и другие сырые овощи. Сидит среди драпировок, грызёт овощи и без умолку болтает о подругах, о брате-первокласснике.

– Я не против, рассказывай, милая, – говорила Ксения Борисовна, – но, пожалуйста, не вертись. Сиди неподвижно, эстетично.

Многие люди, не связанные дружбой, подходя друг к другу, задаются вопросом: «Для чего мне с ним общаться? Какой интерес?». Или уж совсем практично, с пошлым расчётом: «Что от него можно получить?». Алка же всегда спрашивала себя: «Что я могу сделать для этого человека, чем могу помочь?». Жертвенность была её отличительной чертой. Она помогала нам натягивать холсты, приносила из дома драпировки, чтобы ставить «мешанину с вазоном», как мы называли натюрморты. Время от времени Алка дарила нам какие-нибудь безделушки. Просто так, без всякого повода, от душевной щедрости. Эти подарки были чисто символическими, но, как известно, главное не подарок, а внимание.

На праздники Алка приносила конфеты дворничихе, бутерброды слесарю. Она могла отдать последние деньги какому-нибудь пьянице-попрошайке, подарить единственный шарф одинокой старухе. Она всё отдавала другим, даже всю себя как модель.

Здесь необходимо пояснение. Наши первые занятия с обнажённой натурой связаны с немалым стеснением, неловкостью. Особенно когда позировала Алка. Она была нашей ровесницей, и мы с Кукушкиным испытывали сильнейшее волнение; то боялись смотреть в её сторону, то, наоборот, прямо пожирали её глазами. Алка в свою очередь абсолютно не испытывала никакого волнения – как ни в чём не бывало грызла овощи, а случалось, и подмигивала нам. Казалось, она запросто могла обойтись вообще без всяких одежд и разгуливать по городу обнажённой, как дикарка. Понадобилось немало занятий, чтобы мы с Кукушкиным успокоились и научились смотреть на обнажённую Алку только как на модель.

Ещё больше занятий понадобилось, чтобы мы привыкли к Алкиным превращениям: несколько часов перед нами сидела неподвижная натурщица, и вдруг из-за ширмы выходит одетая, живая Алка; рассматривает саму себя на мольбертах, нахваливает нас... Случалось, кто-то из учащих начинал сомневаться в своих способностях. Таких Алка подбадривала:

– У тебя есть искра божья. У тебя всё пойдёт, вот увидишь. Хочешь, я попозирую тебе после занятий?

Разным самоутверждавшимся вроде меня, чрезмерно уверенным в себе Алка, чтобы сбить спесь, могла заявить:

– Красиво, но всё сикось-накось и как-то пресно.

Иногда Алка-сыроежка выезжала с нами на этюды. Прежде чем писать натуру, чтобы увидеть местность более обобщённо и выделить в ней главное, мы подолгу прищуривались, наклоняли голову в разные стороны, делали из ладоней «подзорные трубы». Алка придумала совершенно гениальную вещь, и, как всё гениальное, то, что она придумала, было удивительно просто. Однажды, встав спиной к деревне, которую мы собрались писать, Алка наклонилась и посмотрела на дома между ног. Потом спокойно сказала:

– А так всё выглядит красивей. Просто чудо, как выглядит.

Повторив Алкину позу, мы действительно обнаружили чудо: перевернутая деревня смотрелась гораздо объёмней, в ней моментально выделились все основные цветочные пятна. С того дня мы взяли Алкино открытие на вооружение и, случалось, где-нибудь на бугре застывали в нелепых позах, к большому ликованию детворы.

Алкину позу я использую на этюдах до сих пор, если, конечно, никого нет поблизости. Хотя недавно проштрафился – не заметил, как меня окружили зрители.

– Дядь, что вы высматриваете? – спросила одна девчушка.

– Да вот, потерял кисточку, – сконфузился я.

– Художники все со странностями, – объяснил девчушке кто-то из зрителей, а один мужчина вздохнул и покрутил согнутым пальцем у виска.

ВЫСОКОЕ, ЗЕЛЁНОЕ, ЧИСТОЕ!..

В нашей группе было немало интересных ребят, самобытных личностей. Один Кукушкин чего стоит! Колоритный здоровяк, который, сидя за мольбертом, принимал устрашающие позы, играл мускулатурой и бормотал:

– Этот проклятый вазон никак не принимает форму... Но ничего, мы преодолеем сопротивление материала.

Рисовал Кукушкин тяжеломерно, основательно – его живопись сразу узнавалась по мощной кладке мазков. По училищу Кукушкин ходил,

насвистывая, руки держал в карманах брюк, то и дело боксировал с собственной тенью, «так безопаснее» – подмигивал мне.

После занятий Кукушкин всегда провожал девчонок, таскал их папки, сумки; а весенними вечерами приглашал девчонок за город «слушать соловьёв и шелест леса», но каждый раз, когда они приезжали, соловьи почему-то спали, а лес не шелестел.

– Так и прокуковали с Кукушкой, – смеялись девчонки. – Да ещё заблудились. У Кукушки болезнь – пространственный кретинизм. Он и в городе-то плохо ориентируется, а то в лесу!

Тина была круглая и неповоротливая, как афишная тумба. Имя ей подходило как нельзя лучше – поверхность болота точно соответствовала её лени. Она «обожала салатный цвет» (как многие неискренние, хитрые люди) и рисовала вяло, с кислой миной, будто выполняла нудную работу. Её родители – какие-то деятели в нашем городе – имели немалые связи, и будущее Тины выглядело накатанным – уже на третьем курсе отец устроил её оформлять витрину ателье.

Тина была слишком высокого мнения о себе и, рассматривая работы сокурсников, презрительно фыркала:

– Грязный цвет, какая-то слякоть. Цвет блохи, упавшей в обморок.

Или:

– Грубая цветовая растяжка, гадкость... Открытый цвет – это пошлость! У меня цвет сложный, но чистый. А это не поймешь что. Это просто убивает...

Особенно доставалось мне и Кукушкину. Тина разносила нас в клочья и называла не иначе как «грубыми мазилами». У самой Тины цвет, в самом деле, был сложный. Такой сложный, что я, несмотря на титанические усилия, ничего не мог разобрать.

– Мы ещё не поднялись до понимания такого, – подмигивал мне Кукушкин и шёпотом добавлял: – Не живопись, а кисель.

И была у нас лучезарная девчонка, самая способная в группе – Катя Сланцева. Вот уж кто радовался жизни по-настоящему, так это она. Идёт в училище, напевает весёлые мотивы. За мольбертом сидела легко, поминутно вскакивала, отбегала, строила смешные гримасы и вся светилась. Рисование доставляло ей радость, и это чувствовалось в её радужных прозрачных акварелях. На них всегда струился мягкий свет. Если заходило солнце, тут же непременно восходила луна. Вся жизнь

Кати Сланцевой представлялась мне оазисом красоты и веселья. Она мне очень нравилась, если не сказать больше. Непонятные чувства к ней одолевали меня с первого курса; эти чувства призывали к действиям, но Сланцева была слишком хороша для меня. Всегда – аккуратная, приветливая, уверенная в себе, а я постоянно «самоутверждался», метался и страдал, оттого что не могу найти «свою исходную точку».

Однажды на этюдах мы писали деревню и заливные луга. Стояли на берегу реки у мольбертов, среди высокого разнотравья и фейерверка кузнечиков. Катя Сланцева была в розовом платье (цвет жизни!), и на фоне зелени смотрелась особенно впечатляюще. В сущности, я и не рисовал, а смотрел на неё. С балетной легкостью рассекая воздух, она кружила перед этюдником, всматривалась в даль, пропевала:

– Какое всё высокое, зелёное, чистое! – с улыбкой делала мазки и мыла кисть прямо в реке.

И вдруг заметила мой взгляд. На секунду замерла и тут же подлетела, играючи мазнула краской на моей бумаге и шепнула с придыханием:

– Ты смешной чудак! – и чмокнула меня в щёку чисто дружески.

Эти слова были самыми лучшими из всех, которые я слышал, а поцелуй с неделю жёг мне щёку.

В те дни Катя Сланцева не выходила у меня из головы, уж не говоря о сердце. Моём несчастном сердце! Что с ним происходило, когда я встречался со Сланцевой?! Оно сжималось от страданий! В тайне я планировал похитить Сланцеву, увезти на один из волжских островов и с размаху предложить пожениться.

Сланцева всегда была со мной, и, когда у меня случались трудности, я обращался к ней за поддержкой. Мысленно. Но однажды и не мысленно. Набрался храбрости и сказал ей, что мне плоховато без неё.

– Как чудесно, что ты думаешь обо мне, но я люблю Кукушку, – Катя Сланцева лучезарно улыбнулась и разбила моё сердце вдребезги.

С того дня мир потерял краски, я стал замкнутым и мрачным и уже не надеялся когда-нибудь повеселеть. Оказалось, можно планировать всё что угодно, только не любовь. И ещё – каким же надо быть болваном, чтобы влюбиться в сокурсницу и изо дня в день наблюдать, как она посылает невероятные взгляды в сторону Кукушки, как они выходят вместе из училища и явно собираются обниматься и целоваться.

ПРОГУЛКА В КОМПАНИИ С ВЕРЗИЛОЙ

Старшекурсники делили нас, младшекурсников, на «личинки» и «шпроты». К «личинкам» относились те, кто делал робкие акварели, «плаксивые, слюнявые и наивные, как песенки в детском саду» – по выражению старшекурсника Верзилы – бегемотообразного крутого парня, любителя участвовать в драках, пугавшего нас рассказами про шайки головорезов. К «шпротам» относились те, кто более-менее владел кистью, в ком угадывался кое-какой потенциал. Верзила говорил нам с Кукушкой (прежде чем открыть рот, он надевал фетровую шляпу – ему казалось, так слова звучат весомей):

– «Личинки» – бараны, лишённые всего. Просты, как соха. А вы шустрые малые, у вас есть кое-какой потенциал.

Мы с Кукушкой страшно гордились своим потенциалом, причём я считал, что у меня далеко не «кое-какой», а несметный потенциал. Так же о себе думал и Кукушка.

Верзила нёс знамя предводителя «новой волны»; его отличали свобода поведения, высказываний. Горячий человек, воитель, могучий талант, склонный к гигантомании, он писал полотна с размахом – в несколько метров, где отображал целые эпохи: развитие транспорта от допотопных колываг до обтекаемых гоночных аппаратов (он питал нежные чувства к машинам и собирал автомобильный юмор: рисунки, анекдоты); или писал развитие человека от дикаря до современного супермена, со всей сопутствующей атрибутикой. Кстати, метраж полотен Верзила мерил своим котом, который был ровно полметра.

Часто кое-кто из преподавателей в своё отсутствие просил Верзилу побыть в нашей аудитории, и тогда свирепый «знаменосец» надевал шляпу и учинял нам разгром, вдалбливал что к чему. Особенно доставалось «личинкам»:

– Я с вами миндальничать не буду. Чего вы здесь просиживаете штаны?! Живопись не ваше дело! Занимаете чужое место! При царе запрещалось бесталанным заниматься искусством! Для вас есть один воспитательный приём – подзатыльник.

Разгром был с налётом ненависти – бросая убийственные слова, Верзила рычал от злости. Ярость и гнев заполняли всю его беге-

мотообразную голову и вместительное туловище – аудитория гудела от его ругательств; ошеломлённые, перепуганные «личинки» ёрзали на стульях, сжимались и горбились за мольбертами. Мы с Кукушкой радовались приходу Верзилы, но ещё больше радовались его уходу, ведь нам тоже перепадало:

– И у вас, шустряков, вещички ни чёрту не годятся! Что за дурацкие напластования?! Не знаете законов ракурса! Фигуры раздутые, дома заваливаются! А руки?! Кто так рисует руки?! Это сардельки какие-то! Художник должен знать анатомию, как врач. Все четырнадцать сочленений кисти! По тому, как художник рисует руки, можно судить о его знаниях! Запомните, профессионализм построен на классических принципах, и профессионализм – это прежде всего жёсткая требовательность к себе.

Его всё приводило в бешенство: и мольберт не так стоит, и краска плохо разведена, и освещение не с той стороны...

Как-то случилось, что однажды Кукушка и я вышли из училища одновременно с Верзилой. Он был в благодушном настроении: вышагивал, выставив перед собой кулак, – воображал в руке знамя «новой волны». В другой руке Верзила нёс шляпу. Мы семенили за ним, создавая некий унылый фон. Изредка через плечо Верзила кидал нам многозначительные фразы:

– Что главное в человеке?! Присутствие духа, вот что! А для художника сбор информации! И всего необычного. Я, например, собираю автомашины и водопады. В смысле зарисовываю...

Мы прошествовали до набережной Булака, и тут нам с Кукушкой втемяшилось в голову сделать наброски рыбаков; достали альбомы и стали черкать фигуры удильщиков. Верзила ходил вокруг, искоса поглядывая, что мы изображаем. Нас обступили зеваки, уставились на альбомы, и вдруг один зевака спросил:

– И за сколько загоните эти каракули?!

Раздался взрыв смеха. Мы с Кукушкой немного стушевались, но Верзила на всё имел полный комплект ответов.

– Для дурака это каракули, а для умного – произведение искусства, – отреагировал он, надев шляпу и нахмурившись, и тут же его глаза налились кровью:

– Как смеешь такое говорить художникам! Художник видит мир, а ты свое корыто! – он взмахнул кулаком над головой, готовый разметать зевак знаменем «новой волны».

Кстати, Верзила носил шляпу густо-коричневого цвета – цвета тех, кто имеет холодную голову и крепко стоит на ногах.

ЧАЕПИТИЕ С ЯБЛОКАМИ У СТРАШИЛЫ

Младшекурсники делили всех старшекурсников на «валуны» и «мхи». «Валуны» – маститые, исповедующие традиционную манеру, «мхи» – пишущие расплывчато и объясняющие свою живопись в форме назидательного брюзжания. На третьем курсе нас с Кукушкой, «перебесившихся», причислили к «валунам».

На третьем курсе мы стали писать масляными красками. Мудрую живопись – «масло» – вёл горбоносый, хромоногий старикан с затуманенным взглядом и распухшими пальцами; он носил свисавший набок, изрядно поношенный пиджак, и курил одну за другой папиросы, и, если при этом ковылял между мольбертов, непременно носил с собой пепельницу. Мы звали старикана Страшилой.

На первом занятии Страшила объявил:

– Акварель – высочайшая техника, пластическая, нежная культура. Мазки прозрачные, не мазки – дуновение. Похоже, вам не освоить акварель – она для избранных. Для тех, кто чувствует воздушность неба, шелест трав, звон ручья. А масло вам вполне по плечу.

– В масле одна большая проблема, – добавлял он с усмешкой. – Чистая тряпка под рукой, чтоб вытирать кисть. Такой прелюбопытнейший момент!

Для натюрмортов Страшила приносил из дома самовар, старые книги, персидский коврик и прочие «украшательства».

– У меня этого добра полно, – усмехался Страшила. – Я счастливец: у меня отличная жена, дети, внуки и всё такое...

У него был потрясающий вкус: каким-то непонятным образом он так расставлял предметы, что они «играли друг с другом». И в скучных буднях он постоянно искал прекрасное, отбирал, казалось бы, незна-

чительные моменты и так их словесно обыгрывал, заводил нас, что руки сами тянулись к палитре.

– Источник творчества – радость, – внушал нам Страшила. – Как говорил Поленов, «искусство должно давать людям радость и счастье». В самом деле, человек рождён для радости, а не для страданий. Человек хочет веселиться, петь, рисовать... Его душа должна быть свободна, а ваши души стеснены, закованы в панцири. Вся беда в этом. Скиньте панцири, освободите души! У вас обычный набор привязанностей: Пушкин, Толстой, Чайковский, Крамской... Расширьте рамки! Найдите закономерности в природе, а дальше трансформируйте форму как хотите. Если душа свободна, она сама найдёт и темы, и выражение. Это же так понятно!

Во время занятий Страшила подкрадывался сзади и дул в ухо:

– Это всё безрадостно, не драгоценно. Замажь! Пусть всё это таинственно исчезнет. И начинай заново. Радостно!

Как и Верзила, Страшила иногда учинял нам разгром, но делал это спокойным тоном, и его разгромы были с определённой заострённостью на радость. Собственно, это было желание вселить в нас светлый взгляд на жизнь, тягу к прекрасному.

– Как вы пишете?! – отдуваясь, возмущался он. – Ну кто так пишет?! Точно выполняете тупую работу. Не кистью описываете форму, а машете кувалдой! И сидите унылые. Где радость письма?! Когда чрезмерно стараешься, от напряжения и волнения скован, и получается плохо... Мы в своё время писали как? Выпьешь чая с ликёром и бросаешься на палитру. А там! Все краски играют. И давайте договоримся – без обид на мои слова. Талантливому можно сказать о его работе плохое, неталантливому нельзя – слабо верится, что он сделает лучше.

Страшила дружил с Кондратом Евдокимовичем Максимовым, замечательным пейзажистом (вторым Шишкиным), – называл его «просветлённым человеком», «радостным мастером» и часто приводил друга в училище.

– Сколько прекрасных талантливых лиц! – восклицал «радостный мастер», переступая порог класса и разглядывая наши физиономии. – Лицо создателя всегда прекрасно, а разрушителя, соответственно, отвратительно. И заметьте: красивых людей крайне редко посещают

чёрные мысли. Если и посещают, они их тут же гонят прочь и потому не делают зла... Зло делают ущербные люди.

Рассматривая наши работы, мастер то и дело сыпал безмерную похвалу, а касательно нашего будущего говорил:

– Перед вами два пути: один уже проложенный, другой – неизвестный, свой собственный. Пойдёте по первому – станете хорошими мастерами, но, как говорят на Востоке, – «на проторённой тропе не остаётся следов». Изберёте свой путь – набьёте на лбу шишек, ведь придётся продирааться сквозь дебри, зато оставите свой след. Выбирайте! – Кондрат Евдокимович смеялся, довольный предельно ясным объяснением.

Покидая нас, он обрушивал на Страшилу негодование за «нескладные поступки», за то, что «пилит молодые таланты», при этом подмигивал нам:

– Ругаться с другом необходимо – в накале страстей, бывает, приходят ценные мысли. Считанные разы, но приходят. Только надо первому замолчать, чтобы другу было стыдно, что он наговорил больше. Ведь известно: выходя из себя, ты уже проигрываешь.

Однажды Страшила заболел, и мы с Кукушкой навестили его. Оказалось, он жил одиноко; в холостяцкой комнате витали запахи вина и табака, и в этой тяжёлой атмосфере в горшках произрастали гигантские растения до потолка, повсюду валялись старинные книги, но не было ни картин, ни художественных принадлежностей.

– Такой ляпсус! Всё осталось у жены, когда мы развелись, – как бы извиняясь, пояснил Страшила. – А у меня остался один художественный беспорядок, да где-то затерялось несколько моих детских рисунков... Почему человек вспоминает детство? Понятно, это связь времён, чтобы мы не забывали – нам на земле отпущен короткий отрезок. Детская память святая... Кстати, насчёт детей и внуков я придумал... Для всех я один, на самом деле другой, а хотел быть третьим – певцом. Да, не удивляйтесь. В молодости серьёзно занимался вокалом. А теперь мужественно встречаю старость, – Страшила усмехнулся и пропел что-то из классики.

Вот таким он оказался, этот романтик и скептик, дьявол и ангел одновременно.

Страшила угостил нас чаем с яблоками: тщательно нарезал яблоки в стаканы, подкрасил их заваркой и залил крутым кипятком. Прихлёбывая чай, покуривая папиросу и шмыгая длинным носом, он прочитал нам отличную лекцию.

– Кроме свободной души, о которой я постоянно вам твержу, важно сохранить индивидуальность, – тихо бурчал он. – Не смешиваться с толпой, оставаться личностью. И верить только в себя, а не в каких-то там идолов. Пусть хоть это и Бог. Религиозный человек несвободен: штудирует догмы, Библию, всё думает, как бы не согрешить, думает о смерти, на него давит будущее наказание в аду. Религиозный человек ничтожен перед Богом, его раб. А раб может свободно творить?.. Бог внутри нас. Это же понятней всего...

У мэтра Дульского на чердаке училища была мастерская, куда мы время от времени заглядывали и разинув рот «впитывали высокое искусство, хрестоматийные творения». Матрёшка Ксения Борисовна частенько приносила свои акварели в училище как «наглядное пособие». От её акварели мы испытывали легкую грусть. Работ Страшилы никто никогда не видел, но мы считали его лучшим преподавателем. Он, несомненно, много знал, был сильнее и терпеливее всех учителей и, главное, дал нам больше всех. Одно радостное отношение к творчеству чего стоит! Оказалось, можно не быть художником, но так сильно чувствовать искусство и так его знать, что делать художниками других. И наоборот. Тому свидетельство – Верзила. «Знаменосец», предводитель «новой волны» только вредил нам своими горячими «наездами». И не случайно любимым цветом Страшилы был зелёный и его производные, что символизирует природу, жизнелюбие, естество, уверенность.

ТРУБНЫЕ ВОЙСКА

Моя служба в армии – сплошные юмористические этюды. Начать хотя бы с того, что все фамилии моих начальников происходили из флоры и фауны: майор Тыква, сержант Подцветов, лейтенанты Зверев и Огурцов, ефрейтор Белкин, командир части Мышкин...

Меня призвали в армию с последнего курса училища и, несмотря на мою просьбу направить в Морфлот, направили в трубные войска.

Мы прокладывали трубопроводы, по которым подавалось дизельное топливо. Эти войска были созданы во время войны приказом Генералиссимуса, после того как в блокадный Ленинград провели трубопровод по дну Ладожского озера.

По прибытии в часть – военный городок под Наро-Фоминском – нас, новобранцев, выстроили на плацу, и замполит Тыква, плотный, широколицый, пучеглазый, словно жаба, железной поступью, демонстрируя страшную силу воли, прошёлся вдоль шеренги, пронзительно осмотрел нас и гаркнул зычным басом:

– Шофёры! Шаг вперёд! Слесаря! Шаг вперёд!

Отобрав наиболее ценных для армии специалистов, майор Тыква отвёл их в сторону, передал лейтенантам и махнул рукой, как бы приказывая заняться делом. Затем снова обратился к нам:

– Спортсмены есть? Шаг вперёд!

Спортсменов тут же увёл с собой Подцветов, лысый, с рыжим пухом за ушами сержант-атлет, гимнастёрку которого раздирали не мышцы, а железная арматура. Я с завистью проводил глазами спортсменов, предугадывая их безоблачную жизнь. И вдруг замполит Тыква, понизив голос, произнес:

– Музыканты, художники есть?

Я вышел из строя.

– Хорошо! – кивнул Тыква. – Иди туда, – он показал на клуб в конце плаца, – и жди меня.

В клубе поражало обилие стендов с достижениями части, они наглядно показывали неисчерпаемые возможности трубных войск. Были даже фотографии, где солдаты в соседнем колхозе утапывали отруби в силосной яме; стояли, обнявшись, среди трухи и пыли и улыбались до ушей, всем своим видом показывая, что безмерно довольны службой. Над каждым стендом красовалось изображение трубы, видимо, как символ наполненной событиями жизни. Но во мне почему-то эти трубы вызвали мысли обратного рода – я подумал, что именно в них и вылетят мои лучшие годы.

Кроме стендов в клубе пестрело огромное количество лозунгов. Кстати, позднее я заметил всякие призывы и на домах, где жили офицерские семьи, и даже на газике ефрейтора Белкина по кличке Горизонт, шофёра командира части, – на его заднем бампере зияла надпись:

«Чайник! Не мешай работать!». А работа Белкина в основном заключалась в том, что он целыми днями сидел на крыльце штаба и наводил бинокль на соседнюю деревню, высматривая парочки влюблённых.

– Как там, на горизонте? – весело спрашивали солдаты.

– На горизонте, это самое, в кустах есть одни, – отвечал ефрейтор. – Вижу чётко. Но, это самое, ещё не целуются.

Белкин-Горизонт был первый, с кем я завёл разговор. Он подошёл ко мне, когда я ждал замполита.

– Вижу, это самое, студенты к нам прибыли, – сказал он, протягивая мне руку. – Белкин. Откуда прибыл, докладывай?! Случаем, не земляк?

– А я из Калуги, – вытянул шею Белкин, когда я выложил свои данные. – Вот скажи, студент, это самое, почему Гитлер в войну бомбил Москву, а мои места нет?! Думаешь, у нас бомбить нечего? Ошибаешься! Просто, когда ему, Гитлеру, было десять лет, у него нашли адскую болезнь. Никто в Европе, это самое, вылечить его не смог. А привезли в нашу область, наш местный дед вылечил. Травами и заговором... Вот он, Гитлер-то, и сказал, это самое: «Всё бомбить, а Оку не трогать», – Белкин затоптался в раздумье. – Ты, это самое, на часах мне можешь намалевать море, корабль там, чайку?

В клуб, точно бронетранспортёр, ворвался замполит и басом, напоминая грохот камней в водосточной трубе, дал мне задание:

– Освежить лозунги, срок два дня, а то будет цейкнот (его любимое слово, которое он произносил на свой манер).

Вскоре я понял – замполит невероятный суетник; дотошно лез во всё: как на кухне, где сушат портянки, с аптекарской точностью контролировал банки с красками, которые я использовал. Самонадеянный, недалёкий, он изображал из себя Наполеона – как известно, тому до всего было дело. Самое неприятное – его сокрушительный пыл, назидания и окрики только нервировали солдат. Задавая трёпку по каждому ничтожному поводу, он одним своим появлением всюду вызывал переполох. Замполита боялись все: от рядовых до командира части. А между тем его деятельность, излишняя деловитость напоминали бег на месте и ничего, кроме вреда, не приносили. Даже те из новобранцев, кто вначале смотрели ему в рот и только и ждали обличительных

взбучек и приказаний, в конце концов перестали воспринимать его всерьёз; приказы выполняли, но про себя посмеивались.

Вот так и началась моя служба. Я «освежал» всякие надписи, подкрашивал стенды, «малевал» море на циферблатах, при этом солдаты испытывали ко мне пламенное почтение, а когда я сделал портрет одного из них, ко мне потянулось и начальство.

Первым наведалься сержант Подцветов – атлет, словно высеченный из камня, сверхсрочник, который обитал в каптёрке и заведовал постельным бельем; вдобавок он имел хобби – занимался точильным ремеслом: точил не только ножи и пилы, но и садовый инструмент для офицеров. Каждый вечер сержант выходил за ворота части, где его поджидали две легкомысленные женщины: одна непричёсанная толстуха, которая ходила по улице в комбинации, другая – с лиловым носом, при случае пулявшая крепкими словечками. Из-за сержанта женщины постоянно ссорились, тащили его в разные стороны, обещали «выпивон и закусон», но Подцветов объявлял им, что занят тренировками, а часовым подмигивал:

– Разве им понять мою душу?!

Заглянув ко мне, сержант вкрадчивым голосом попросил написать его портрет акварелью.

За сержантом явились благоухающие одеколоном лейтенанты Зверев и Огурцов и тоже попросили сделать их портреты, но уже маслом.

– Подобная механика требует холст и благородных красок в тюбиках, а у меня только баночные, заборные.

– Нет вопросов, – заявил лейтенант Зверев. – Бытовой момент. Выписываем тебе увольнительную, даём деньги на краски.

– На строевую подготовку можешь не ходить, – добавил лейтенант Огурцов. – Неделю тебе хватит?

Позируя мне, лейтенант Зверев сидел с каменным лицом, а лейтенант Огурцов, позируя, то и дело отпускал реплики вроде:

– Что может быть лучше широких плеч мужчины? Разве только гибкая женская талия!

Получив портреты, лейтенанты заказали портреты своих жён, а когда я выполнил и этот заказ, попросили портреты размножить для родственников.

В клубе у меня была мастерская, в которой я иногда оставался ночевать. Утром вставал, когда хотел, на кухню являлся отдельно от взвода, вполне мог бы не ходить не только на строевую, но и не участвовать в огневой подготовке, но ходил и участвовал для собственного развития и для отдыха от красок.

Портретная галерея офицеров и их жён закрепила за мной прочную репутацию «мастера». Слух обо мне прокатился по всей части и достиг командира Мышкина, инфантильного, всегда немного выпившего, но приветливого, улыбчивого полковника.

Наш командир больше всего любил парады. Они устраивались с размахом, под духовой оркестр. Кстати, по стрельбе и общей подготовке наша часть была середнячком в округе, но по выправке неизменно опережала всех. На парадах наш командир оживал: офицеров похлопывал по погонам, солдат называл ласково: «сын мой». Многим тут же, на плацу, давал отпуска. Парады заканчивались в клубе приёмом для офицеров и их жён. По слухам, там крепко выпивали и частенько случались стычки на почве ревности, поскольку одичавшие в городке жёны офицеров кокетничали со всеми подряд. А вернувшись домой, невинно объясняли мужьям, что строили глазки нарочно, чтобы проверить их чувства. После чего мужья, конечно, успокаивались, но всё же не очень.

Однажды полковник Мышкин вызвал меня и сказал:

– Сын мой, мне доложили, что ты мастер по портретам. Написал бы ты портретик моей жены, а?! У неё голубая мечта – иметь свой портрет в красном платье.

Я заикнулся про краски.

– Сын мой, какой разговор?! – командир обнял меня по-отечески. – Мы ж не бедные. Покупай, сколько надо. Сейчас ефрейтор Белкин тебя отвезёт в город, потом ко мне. Жена тебе будет позировать... Ты уж постарайся, сын мой. Сам понимаешь – моя жена...

ВЕСЕННИЙ ТУМАННЫЙ ДОЖДЛИВЫЙ ДЕНЬ

И наконец в мастерскую нагрязнул замполит Тыква.

– Есть задание, – рыкнул он. – Написать портрет моей жены. И надо сделать быстро, до её дня рождения, а то я буду в цейкноте.

– Есть! – я вытянулся: служба есть служба.

– Но вот в чём дело, – замполит схватил мой любимый фломастер и с ожесточением провёл линию на бумаге. – Жену надо написать голый.

– Обнажённой?

– Вот, вот, – замполит с ещё большим ожесточением черкнул фломастером какую-то загогулину, и мой бедный фломастер, который проводил тонкие, драгоценные линии, превратился чуть ли не в клеевую кисть.

– Разрешите обратиться, товарищ майор? – сказал я, не отрывая взгляда от бедного фломастера, который уже выписывал многочисленные каракули и пришёл в полнейшую негодность.

– Оборачивайся! – вздохнул замполит (он так и говорил).

– В какой манере надо написать портрет? В пастозной, чтобы виднелись мазки, или гладкой, как у старых мастеров?

– Вот, вот. Как у старых мастеров.

– Тогда нужны тонкие кисти, лаки...

– Увольнение дам, всё будет по уставу. Накладные расходы оплатим, щас дам команду, – он вышел и через пятнадцать минут вернулся, всучил мне увольнительную, деньги и вдруг заговорил неторопливо, растягивая слова:

– Но моя жена это... не хочет раздеваться. Ты её мысленно разде-нешь, ясно?

– Так точно, – отчеканил я, испытывая жгучий интерес к предстоящей работе, давно хотел поработать в манере старых мастеров.

– Как всё закупишь, поедем ко мне, – продолжал замполит, любуясь своими гортанными перекатами (по слухам, жёны офицеров в клубе балдели от его голоса, а некоторые падали в обморок). – Поедем ко мне, чтоб ты, как художник, помог расставить мебель. А ты приглядывайся к жене, ясно? И всё будет в норме, без цейкнота.

Жена замполита оказалась исполинской (двухметровой) блондинкой с необъятными формами, её звали Багира. Она выглядела лет на тридцать и имела четырёх детей. Пока мы с замполитом «расставляли» мебель, громадина Багира вздымалась за нашими спинами и боковым зрением я видел её большие колышущиеся груди (почему-то сразу вспомнился Дюма – «бойтесь блондинок!»).

Замполит относился к жене подобострастно, называл «Бабочка» (что слышалось «Бабочкой» и воспринималось как насмешка), а она на мужа даже не смотрела и отвечала ему односложно, безразлично – с её лица не сходила печаль, длинною во все тридцать лет. По слухам, в клубе жена замполита расточала многообещающие улыбки, но офицеры не отваживались за ней ухаживать, побаивались Тыкву – он был ревнив до чёртиков.

Я сразу усёк конструкцию Багиры и сказал замполиту:

– Нужно ещё увольнение. Надо посмотреть мастеров в городском музее, прочувствовать их стиль, складки одежды, локоны, тени. Творчество – это учеба, которая длится всю жизнь.

Замполит не понял моих слов, но согласно кивнул.

– Будет! Но учти, я в цейкноте.

Когда я изучил на картинах мастеров складки одежды, локоны, тени, замполит принёс фото жены в купальнике и лет на десять моложе.

– Вот, – сказал. – Напиши это... райские кущи, ручей, а она чтоб была русалкой... Хвост по бёдра в воде. И груди сделай побольше.

– Куда уж больше? – опрометчиво бросил я.

– Сделай, сделай! – нахмурился замполит. – Так надо.

Над портретом я работал долго; изобразил Багиру томной русалкой, которая лениво, и потому особенно зажигательно, потягивалась в воде. Она нежилась в прозрачном ручье, среди изысканных трав вперемешку с цветами. Это была филигранная работа, и, по отзывам лейтенантов, которые заходили в мастерскую ежедневно и ахали, причмокивали, перемигивались, в ней я достиг божественной высоты и глубины одновременно.

Сам замполит не приходил, но при встрече возбуждённо спрашивал:

– Как, скоро сделаешь?

Закончив портрет, я почувствовал себя вдрызг измочаленным; принёс ключи от мастерской замполиту и сказал:

– Идите забирайте. А я спешу в казарму, ждать звонка командира. День рождения жены его брата. Надо писать её портрет.

Какой-то сигнал вроде нового заказа был, но очень туманный сигнал, как, собственно, и тот день – весенний, дождливый, туманный. И туман почему-то был плотный, ядовито-жёлтый. Впрочем, может,

мне это казалось – я слишком устал и хотел отбрыкаться от лишних вопросов замполита.

По пути в казарму я встретил сержанта Подцвотова. Он обнял меня ручищами-рычагами.

– Пойдём ко мне в каптёрку. Я твой должник за портрет акварелью. Ты неплохо меня изобразил, но надо было с гирей, чтоб чувствовалась моя душа. Ты как относишься к гиревому спорту?

С Подцвотовым мы раздавили бутылку самогона, и легли спать, и мгновенно отключились – известное дело, под монотонный шум дождя особенно крепко спится. Нас разбудил дикий грохот в дверь.

– Тыква! – вскочил Подцветов. – Сейчас, ненормальный, устроит погром!

Я тоже вскочил, предчувствуя неладное.

– Что ты наделал?! – взревел замполит, распахнув дверь и уставившись на меня. – Что ты наделал?!

– Что? – еле выдохнул я.

– Что ты сделал со мной?! Цейкнот! – он уронил голову. – Я второй раз в жену... влюбился! – он круто развернулся и, хлопнув дверью, убежал из каптёрки.

– Бредятина! – закатил глаза Подцветов, а я почему-то подумал: «Сегодня замполит устроит варфоломеевскую ночь всей части». Потом представил, как он, пока его жена спит, оборудует угол в комнате: поставит вокруг портрета какие-нибудь кудлатые цветы в горшках и, затаившись, будет ждать пробуждения своей гигантской благоверной; как она с первыми лучами солнца (дождь уже стих, и туман рассеялся) лениво взглянет на портрет... – что будет дальше, представить не успел, так как снова отключился.

Достоин внимания дальнейшее. Через несколько дней замполит пришёл в мастерскую и сказал:

– Портрет обмоем, когда демобилизуешься, а пока ответственное задание. Скоро юбилей Вооружённый сил. Надо отделать комнату исторической славы и потолок расписать. Нарисовать всё: от тачанок до ракет. Полагаю, тебе пять дней хватит, а дальше – цейкнот.

– Что-о?! – я содрогнулся точно от удара. – Да ведь надо строить леса, смывать побелку, грунтовать! Вы это берёте в расчёт?! Вы ничего в этом не понимаете! Надо делать эскизы на картоне, которые

должны утверждать командир и... вы, – я польстил ему, увидев, что его глаза вылезли наружу от ярости; он явно растерялся от моего натиска, но быстро пришёл в себя:

– Как разговариваешь?! Смирно! Я отправлю тебя в стройбат! И отправлю письмо директору твоего училища, чему они там учат?! Если за пять дней не может... Тебе не ответить, так и знай!

– Письмо перешлют в Министерство обороны, – стараясь быть спокойным, заявил я. – И вам не поздоровится...

Несколько секунд замполит осмысливал мои слова, потом кинул примирительным тоном:

– Ладно! Две недели срока на историческую комнату! – и вышел с проклятиями.

Разумеется, я корячился под потолком целый месяц. Заходили солдаты, офицеры; последние приводили жён, детей; посетители подбадривали меня, крашивали моё одиночество.

Когда я наконец разделался с потолком, замполиту втемяшилась в голову новая идея: сделать некий витраж – установить посреди комнаты звезду из плексигласа с подсветкой, а на оконечностях звезды приклеить фотографии всех командиров части. «Начинается новая полоса идиотизма, – заключил я про себя. – Впрочем, меня это уже не касается, это будут делать электрики».

– Представляешь?! – делился со мной замполит. – В темноте звезда светится, а я читаю приказ главнокомандующего о создании наших трубных войск! Цейкнот, да и только!

Юбилей Вооружённых сил отмечали пышно, как никогда. Парад закатили часа на полтора, палили холостыми снарядами из орудий, потом начальство осматривало плац. На окраине плаца протекала не ахти какая речка, и там, в камышах, притаились два солдата в лодке – как бы рыболовы с богатым уловом (рыбу заранее купили на рынке). По замыслу Тыквы в нужный момент солдатам давали отмашку, они подплывали к берегу и, как бы невзначай, шли навстречу начальству и преподносили дар высоким гостям.

После обильного застолья начальство осматривало комнату исторической славы.

– Хорошие у вас художники, – поразился представитель штаба округа, рассматривая потолок.

– Есть один мастер своего дела, – гордо заявил полковник Мышкин, имея в виду меня. – Он и портреты хорошо выполняет. Портреты жён офицеров.

– Надо бы его в штаб забрать, – произнёс представитель. – У нас тоже работы полно, и мы тоже женатые... У меня лично к художникам любовь без границ.

На следующий день Мышкин издал приказ о моём переводе в штаб округа. Таким образом, до конца службы работой я был обеспечен, и, понятно, рассказывать об армии больше нечего.

ЧЕРДАКИ И ПОДВАЛЫ

В Москве я выглядел неприкаянным дремучим провинциалом; ходил по улицам и смотрел на всё разинув рот. Поражало шумное многолюдье, просторные станции метро, фонтаны в скверах, музеи, мосты, но больше всего – художественные выставки, где можно было совершить настоящее эстетическое путешествие. Я догадывался, что в столице полно художников, но не думал, что их – пруд пруди; были даже целые дома, где жили одни художники. Вообразить многоэтажный дом, полный художников, я никак не мог!

Естественно, конкурс в Институте кинематографии, куда я поступал, демобилизовавшись из армии, был пятнадцать человек на место. Экзамены на режиссёрский факультет я сдал вполне прилично (в моей громоздкой композиции угадывалось величие замысла, богатство идей), набрал проходные баллы, но этого оказалось недостаточно. Зачислили имеющих направления от республик и «позвоночников» – сыновей известных деятелей кино, которые шли «по звонку». «Диких» вроде меня не приняли ни одного. Понятно, у многих это вызвало бурное возмущение – в вестибюле, где оглашались списки, поднялся огненный шторм.

Курс набирал Михаил Ромм. Когда я смотрел на хищный крючковатый нос знаменитого режиссёра, мне почему-то вспоминался Гоголевский Вий. От него исходила не просто неприкрытая злость, но и какая-то нечисть. Позднее я понял, в чём дело, – этот приспособленец жил двойной жизнью: ненавидел Советскую власть и прославлял её, ради благополучия и наград.

Потерпев чувствительное поражение в институте, я некоторое время ощущал себя пассажиром корабля, который на огромной скорости нёсся на скалы, но вскоре взял себя в руки и с провинциальным упрямством подумал: «Ничего, не тупиковая ситуация, просто неудачно стартовал, не пропаду, как-нибудь пробьюсь».

Сняв комнату за городом (пристройку к дому), я несколько месяцев мыкался в поисках оформительской работы, но все места были заняты; пришлось устроиться грузчиком на железнодорожный склад: таскал ящики с подшипниками, сухую штукатурку, сетку-рабицу. Вскоре я освоил профессию почтового агента, затем – фотографа, а через полгода, закончив курсы шофёров, стал водить пикап. Живописью почти не занимался, зато за два-три года сполна обогатил своё «творческое пространство» сильнейшими впечатлениями, особенно когда «шоферил»: у меня появилось безграничное зрение – жизнь всего города как на ладони. Но главное, у меня появилось немало знакомых, в том числе и среди художников.

Надо сказать, в то время в Москве процветало оптимистичное искусство, отражающее трудовой энтузиазм. Музыка бодрила, звала и уводила, в стихах всё ширилось, росло и цвело, картины выставлялись помпезные, лакировочные, где все были счастливыми и жили в городах и поселках, где никогда не заходило солнце. Но, как известно, в жизни идёт вечное противоборство добра и зла. Можно избегать негативных эмоций, делать вид, что зла нет, но от этого оно не исчезнет. Оно есть, и немалое (оно нагло заявляет о себе, в отличие от добра, которое обычно не приметно). И настоящий художник не может его не видеть. А поскольку искусство (по моему убеждению) – это стремление к идеалам, настоящий художник делает всё, чтобы в жизни было как можно меньше зла. Показывая мрачные стороны жизни, он как бы выражает свой протест и тем самым несёт очистительную миссию.

Среди моих новых знакомых были такие художники. Целое созвездие талантов. Они обитали на чердаках и в подвалах, одевались во что придётся, не вылезали их долгов, но, несмотря ни на что, упорно отстаивали свой путь в творчестве. Познакомившись с ними, я почувствовал – моя морская душа попала на остров сокровищ. Теперь многие из этих художников известные, осыпанные похвалой мастера, и я горжусь

давнишней дружбой с ними. В их чердаках и подвалах я закончил целую Академию художеств.

На чердаке Игоря Снегура кипели нешуточные страсти.

– Художник, поэт живёт в вертикальном срезе жизни: в прошлом, настоящем и будущем! – вещал азартный хозяин мастерской. – Для художника время спрессовано в коротком отрезке.

– Нет! – возражал «подвальщик» Валентин Коновалов. долговязый, внешне похожий на Дон Кихота (и с его же благородными мыслями в голове). – Художник, поэт живёт в пространстве между небом и землей, между реальностью и воображением, интуицией и фактом. А ты пленник своего ограниченного метода.

– Не знаю, где вы живёте, а я живу в обычной коммуналке, – встречал в спор толстяк с острым прищуром Николай Воробьёв и смеялся так, что тряслись щёки.

Живописец, прекрасно владеющий цветом, знаток Пушкина, собиратель икон, Воробьёв крепко врос в землю, глубоко пустил корни.

– Они, мои дружки, только хотят взлететь, а я раз! – и привяжу к их ногам гири, чтобы не отрывались от земли, – объяснил мне Воробьёв наедине. – Для меня искусство – та же реальность, но немного смещённая для большей выразительности.

Этих художников связывала вьедливая симпатия, сердечное несогласие, и в некотором роде они были чудаками. Снегур писал всё не красивое: подрезанные деревья, поломанную технику.

Коновалов писал абстрактные картины с щадящей деформацией предметов и сюрреалистические картины, где реальные вещи находились в нереальной обстановке.

На картинах Воробьёва была полная гармония окружающего мира: рыбаки, отдыхающие на берегу, мать над колыбелью ребёнка, деревни в снегу. Воробьёв имел свою цветовую гамму: лимонно-белую, малиново-синюю, сине-фиолетовую; во время работы он разговаривал с картиной, посмеивался.

– Сейчас в работах модна всякая истерия, – говорил он. – Но злая мысль несёт злую энергетику, которая ударяет по людям. А возьмите мастеров Возрождения! Их картины светятся, обладают чудодейственными свойствами – излучают добро. Люди смотрят на них и заража-

ются радостью. Ко всему, – смеясь, добавлял Воробьёв, – художники доброго настроения живут дольше, а те, кто полыхают, имеют разрушительный настрой, – быстро погибают.

Воробьёв выращивал на балконе маки; цветение было обильным – этакий благоухающий, пылающий разноцветьем балкон.

Они были счастливцами; жили в вертикальном срезе, между небом и землёй, в коммуналке; жили полнокровной жизнью и занимались любимым делом, а я работал только для того, чтобы платить за комнату и ходить в столовую. Моё золотое время бесцельно утекало, как песок в песочных часах. На живопись у меня не оставалось времени. Очень редко по воскресеньям я открывал этюдник.

– Что ж так мало машешь кистью? – спросил меня как-то Снегур, который в то время с невероятной экспрессией писал «бутылочную» серию натюрмортов, с каждой работой наращивая сюжетный накал, а за городом строил дачу из стеклотары (цементировал бутылки и банки), стены получались светлые и хорошо держали тепло.

– Что ж так мало работаешь? – повторил Снегур, который всегда придирчиво меня критиковал за любой промах, а мои наброски разбирал так, что от них летели пух и перья, правда, добавлял:

– Впрочем, как говорится, твоя селёдка, ты и крась.

– Вот займёшь свой угол, тогда и засяду, – отвечал я Снегuru.

– Ну ты даёшь! Вот тогда ничего и не сделаешь, если сейчас не делаешь. Кувыркайся как хочешь, но работай. У одних общество виновато, у других семья! Работать надо в любых условиях. Во время трудностей даже лучше работается. Обостряются чувства, появляется хорошая творческая злость. Неудачи закаляют. А в благополучии расслабляешься. Здесь уже нужна самодисциплина.

Снегур стал моим ключевым другом; он служил в Морфлоте, и я не только завидовал ему, но и верил каждому его слову (я всё ещё не видел моря, но уже носил тельняшку и знал дюжину морских песен). Он всех художников делил на четыре типа: изобразители, воплощатели, имитаторы и импровизаторы; себя причислял к редкому пятому типу – открывателей. «Открыватель» подхлестнул моё самолюбие, и, несмотря на усталость после работы, я стал яростно писать «башмачную» серию. В то время я был знатоком в этой области, поскольку постоянно подбивал свои худые ботинки и всё мечтал занять новень-

кие полуботинки. Известное дело – голодный лучше сытого опишет стол с яствами, потому и я, под напором невзгод, «Башмаки» написал довольно удачно. Начинаясь серия с мастерской сапожника, заканчивалась универмагом, где была обувь на любой вкус.

– Талантливый выдаёт сотни картин в год, – говорил один из немногих процветающих «чердачников» Борис Алимов. – И надо часто выставляться. Художнику нужен отклик на свою работу.

– Выставляться надо как можно позднее, уже став мастером, чтоб не было стыдно за свои первые упражнения, – вяло реагировал график Андрей Голицын.

Андрей Голицын и братья Алимовы (Борис и Сергей) работали в разных жанрах и в каждом добивались недюжинных успехов. Бесспорно, они были незаурядными людьми, вот только с годами забронзовели – чрезмерно гордились обширными знаниями и «голубой» кровью и тем самым частенько ставили друзей с «обычной» кровью в неловкое положение. Не в пример этим героям, брат Андрея Голицына – Илларион (блестящий акварелист, ценитель поэта Заболоцкого) – никогда даже не заикался о своём благородном происхождении и вообще слыл одним из самых компанейских художников. И одним из самых колоритных – высокий красавец с густой шевелюрой и густым баритоном, тяжеловес и мастер «легчайшей» живописи одновременно.

Бунтарь Анатолий Зверев был предельно раскован – рисовал с какой-то хулиганской лёгкостью; мне даже казалось – на его картинах какой-то разброд, неряшливый ребус из линий, кружков и точек.

– Не люблю безупречный порядок, стройность, – объяснял мне Зверев. – Не терплю всякую корректность – это сковывает. Естественность, наоборот, раскрепощает, даёт свободу, – Зверев хлопал меня по плечу. – Вообще задача художника – поддержать человека, а судить его будет Бог. Кстати, присядь-ка, напишу твой портрет. Ты похож на волка, знаешь?

Делая набросок мягким карандашом (в технике «черканий»), Зверев меня просвещал:

– Все люди похожи на зверей или растения. Снегур – на суслика, Коналов – на пантеру, Воробьёв – на корову, я – на кактус. Это перевоплощение душ. Мы когда-то были животными и растениями, их души переселились в нас. А после смерти мы превратимся в других живот-

ных или растений. У меня, кстати, нет страха перед смертью. Душа это сгусток энергии, она живет миллионы лет. Но иногда душа покидает человека, и тогда он становится неприкаянным... Как думаешь, кем будешь после смерти?

Мне было двадцать два года, я только начинал жить и об этом не задумывался, но всё же выдавил:

– Хотелось бы стать дубом, чтобы крепко стоять на земле.

– Станешь! – черкая, хмыкнул мой приятель. – В тебе есть дубоватость. Ты дубоватый волк, судя по твоим провинциальным замашкам. Кстати, на кого человек похож, такой цвет и любит. Я, например, люблю зелёный; ты – наверняка серый, кто похож на тигра – оранжевый.

Зверев делал наброски на всём, что было под рукой: на картонках, салфетках; и картины писал, особенно не заботясь о качестве материала, и все свои «бунтарские» произведения раздавал за бесценок (часто за стакан вина). Кто бы мог подумать, что после его смерти они будут стоить бешеных денег!

Зверев привёз меня в посёлок Долгопрудный – «отдельный замкнутый мир», где проживали его знакомые, «большие и малые чудачки»: поэты и художники; где читались «опасные» стихи и выставлялись «вредные» картины. Позднее я понял, что среди «опасного и вредного» было полно беспомощного и показушного, ведь настоящему искусству всегда сопутствует шарлатанство, но тогда возлагал немалые надежды на Долгопрудный, в смысле пополнения багажа своих скудных знаний. И не напрасно – общаясь с «чудаками», кое-чего набрался и несколько возместил потери в образовании, ну и, само собой, обзавёлся новыми знакомыми (они мне были нужны позарез – я плоховато переносил одиночество).

Величайший ум посёлка Владимир Пятницкий, сдержанный, даже суровый, в разговоре выдавал бессмертные изречения:

– Талант – не заслуга человека, талант – от Бога, и огромный грех не делать то, что обязан сделать, при этом следует отходить от штампов и экономно тратить отпущенное время...

Пятницкий отходил от штампов на огромное расстояние: делал на холстах фактуру из опилок и стружек, разбрызгивал краску из пульверизатора, при этом не скрывал наплевательского отношения к зрителям. Он работал по «ускоренной программе», спешил «выговорить»

ся», словно предчувствовал короткую жизнь (он употреблял наркотики, и в конце концов они погубили его).

Обитала в Долгопрудном и Наташа Доброхотова, маленькая художница, носившая дешёвые платья с элегантно небрежностью. При гостях она, несколько театрально, играла в игрушки своей дочери, но писала картины со зрелым мастерством и высказывала умные мысли:

– Каждый живёт на небольшом пространстве, и ничто не мешает сделать своё пространство гармоничным и светлым. И жить православно, помогать ближним.

В нашем Отечестве всегда было много художников, которые выжимали максимум из своего положения, правдиво показывали нелёгкую жизнь людей, и в этом смысле их картины несли нравственную идею. В то время как на Западе, в обеспеченной, благополучной жизни, живопись являлась всего лишь дополнением к комфорту. У нас покупают картины, которые нравятся, у них – то, что модно, престижно. В массе, конечно, не все.

ЛЁШКА? НУ, КОНЕЧНО, ЛЁШКА! КАК ЖЕ БЕЗ НЕГО!

На окраине Долгопрудного жил старик с впалой грудью и взъерошенной шевелюрой, но с царственной мудростью в глазах; все звали его не иначе как «акварельных дел мастер». Он не писал акварелью, он её изготовлял. Как он варил краски – секрет, который мастер унёс с собой в могилу.

Он приходил к художникам, раскрывал плоский чемоданчик и доставал картонки с лепёшками красок: картонку с зелёными красками (десяток оттенков), картонку с синими (два десятка оттенков)... Его краски ценились художниками на вес золота; они были прозрачные, сладко пахнущие, растворялись легко, на бумагу ложились мягко, невесомыми мазками. С такими красками можно было покорять заоблачные высоты. По слухам, мастер добавлял в краски мёд для вязкости и травы для запаха. Все восхищались красками, но никто не удосужился перенять опыт искусника, хотя он не скрывал секрет чудо-красок. Позднее, на похоронах мастера, об этом сильно пожалели.

И проживал в Долгопрудном Лёшка, пьяница и несговорчивый философ, человек неугасимого восторга. Лёшка обитал в фанерной лачуге с «буржуйкой», но для своей собаки, «вбухав немалые деньги», построил конуру-коттедж.

– Делать добро не обязательно через живопись или любовь к женщине, можно приютить бездомное животное, – говорил он. – У меня собака не для охраны, а для души, радости.

Лёшка работал сторожем, но в душе был художником и всех «мастеров кисти» призывал «штурмовать вершины».

– Гении – это вершины, – заявлял он, – но вершины в системе хребта, и рядом полно других вершин. К тому же можно идти в глубь вершин, познать их изгибы, трещины. Ну пусть пока не получилось ничего великого, но, если сделал то, что потрясёт хотя бы двоих, считай, создал произведение.

Лёшка будоражил весь посёлок. Без него не обходилось ни одно сборище. Бывало, художники только соберутся, а на улице уже слышится его бодрящий голос, и все сразу:

– Лёшка? Ну конечно, Лёшка! Как же без него!

Лёшка имел чёткую привязанность к работам в манере импрессионистов («Импрессионизм – моя церковь», – изрекал он), остальное рассматривал как «ручейки», но, поддерживая искания художников, надеялся, что «ручейки» превратятся в полноводные реки. Только при виде модернизма Лёшка скисал.

– До смерти муторно от абстрактных картин, неприятно глазу, я в лёгком нокдауне, – говорил с ослабленным духом. – Это себя изживёт. Модернизм – разрушительное, мёртвое искусство. Это яснее ясного. Модернисты уподобляются водителю, который несётся на предельной скорости, не соблюдая правил.

Многие художники воспринимали Лёшкины слова как заповеди; некоторые усмехались и отмалчивались, кое-кто видел в Лёшкиных выступлениях надругательство над живописью, но все знали – каждую картину он близко принимал к сердцу.

В Лёшке не затухала страсть – всех знакомить, причём случалось, знакомил по пять раз. Он познакомил меня с полуслепым художником Владимиром Яковлевым, который по жизни шёл робко, выжидатель-

но, как бы нащупывая точки опоры, и писал расплывчатые бледные цветы, осенние туманы, рассветы.

– Не надо громить и перестраивать мир, – миролюбиво говорил Яковлев. – Попытаемся в него максимально вжиться.

Вокруг Лёшки носились воздушные вихри, вокруг Яковлева воздух был спокойным, умиротворяющим.

У Савёловского вокзала Лёшка познакомил меня с Андреем Бабиченко и Александром Васильевым, которые на «Мультфильме» рисовали научные ленты и в соавторстве успешно сочиняли «разные литературные переживания», по выражению Лёшки. Бабиченко рано потерял родителей и «вёл нищенское существование» (по словам Лёшки) и имел одну-единственную голубую рубашку (цвет мечты!), а Васильев жил в обеспеченной семье, но, чтобы не ставить друга в неловкое положение, маскировался под бедняка: одевался в драное, в своей комнате разбрасывал бутылки, окурки – «устраивал неразбериху, декоративный хаос, мусорную эстетику».

– Живу исключительно среди мусора, – высокопарно произносил он, – но из мусора делаю драгоценности.

Эти художники называли друг друга не иначе как «родственная душа», «мой чувствительный брат», но исповедовали разное искусство. На картинах Бабиченко красовались части женского тела («объёмные фасады», как говорил Лёшка). Васильев рисовал кладбища, мертвецов (Лёшка называл эти работы «привет из колумбария»). Что было родственного у этих «родственных душ», я так и не понял.

Свёл меня Лёшка и с «тяжёлыми» людьми (в кирзовых сапогах и пиджаках словно из фанеры) – с железнодорожниками, рабочими яхт-клуба, при этом Лёшка назидательно повторял:

– Сигареты и хмельные напитки самые сближающие вещи.

Я легко поддавался чужому влиянию и быстро уяснил Лёшкину сомнительную заповедь – то есть научился запросто сходиться с людьми; позднее за выпивкой заводил разговор с попутчиками в поездах и на пароходах. Так, покуривая в тамбуре поезда «Москва – Львов» познакомился с рыжим скульптором Игорем Лурье, который неплохо зарабатывал на надгробьях. Лурье был приветливым, доброжелательным, но постоянно выставлял напоказ оранжевую шевелюру и приукрашивал свою жизнь. От него можно было услышать что-нибудь такое:

– В Швеции у меня наследство... Завтра еду с Париж, пригласили делать памятник в Булонском лесу... Приходите в ресторан «Арбат» на свадьбу – женюсь на испанской принцессе...

Но через три дня после «отъезда в Париж» я встретил его; на мой недоумённый вопрос он не задумываясь выпалил:

– Уже сделал.

А когда я пришёл в «Арбат» с цветами, швейцары заявили, что никакой свадьбы нет.

На палубе теплохода, шедшего в Батуми, судьба свела меня с ленинградцами – скульптором Владимиром Парапоновым и писателем Гелием Рябовым (я отправился на юг, чтобы наконец увидеть море). Двое суток мы (безбилетники) провели на корме теплохода; днём курили, пили дешёвое вино и вели разговоры обо всём на свете; на ночь забирались в спальники и засыпали среди канатов и спасательных плотов под холодным морским ветром. Там, на палубе, Парапонов просветил меня по части французских скульпторов, а Рябов сообщил, что разыскивает останки царской семьи и уже близок к цели. В свою очередь я объяснил новым друзьям устройство машины, что для них было немаловажно – оба планировали приобрести собственный транспорт для путешествий.

Необычная встреча произошла у меня в кузове грузовика, когда я добирался в Москву с предгорьев Кавказа на попутных машинах; в сумерках голосовал на шоссе; долго никто не останавливался, потом притормозил крытый грузовик, и шофёр крикнул:

– Лезь в кузов, да зарывайся в солому поглубже, а то просифонит! Там уже есть один ханурик!

Перемахнув через борт, я плюхнулся в вороха соломы, и пополз ближе к кабине, чтобы меньше трясло, и наткнулся на кого-то, лежащего в соломе. Поздоровавшись, я проговорил с невидимым попутчиком всю ночь, а с рассветом увидел перед собой небритое лицо. Это был художник Борис Сафронов.

– В наше время путешествовать рискованно, – со знанием дела говорил Сафронов. – Москвичей нигде не любят. Это существенно. Но ум человека в умении предвидеть ситуацию, ведь так?

После той ночи мы сдружились. В Сафронове было то, чего не хватало мне, – рассудительность, вдумчивость. Прежде чем на что-то решиться, он говорил:

– Надо всё взвесить.

А я решался не раздумывая. Куда ни позовут – ехал; и ночевал, где ночь застанет, и курил и пил всё подряд. И не о чём не жалел. В оправдание бездумных поступков даже придумал термин – очарование момента. После этих «моментов» часто чувствовал себя разбитым, но кое-какое очарование всё-таки было.

Сафронов тоже бывал в Долгопрудном и в то время писал реалистические натюрморты (с филигранной отделкой), но через несколько лет внезапно переродился – ударился в абстракцию. На мои недоуменные вопросы отмахивался:

– Те натюрморты – пройденный этап, да и слишком большие затраты. В абстракции добился зрительного эффекта – и всё! (Позднее я узнал, что Сафронов выступил в новом качестве на потребу покупателям от безденежья).

Поварившись в котле Долгопрудного, я докопался до истины, которая многим была давно известна: что делать сложно легче, чем делать просто. Другими словами, надо стремиться к простоте и ясности. Это, пожалуй, было самым важным моим открытием.

Всё это было давно и уже сократилось до игрушечных размеров, но «очарование момента» не покидает меня до сих пор. Почему-то прошлое всегда кажется лучше настоящего.

ЗАПУТАННОСТЬ СОБЫТИЙ

В той арбатской квартире по пятницам собирались молодые художники и поэты. Квартира называлась вычурно – «салон мадам Фриде» – и представляла собой две комнаты с протёртой мебелью, в которой проглядывала претензия на какой-то стиль. И в старомодной одежде хозяйки «салона», старушечки в пенсне, с крашеными кудряшками, тоже проглядывала некая претензия неизвестно на что (понятно, кроме замаскированной старости).

Всех посетителей мадам Фриде называла: «сударь», «любезнейший». Впечатлительная, уязвимая, она всё воспринимала слишком серьёзно и от любого неосторожного слова гостя кипела от негодования. Тем не менее каждую пятницу мадам Фриде зажигала свечу под

старинной лампой, и на свет слетались творческие юнцы; приходили с папками рисунков, с тетрадами стихотворений; в «салоне» велись откровенные разговоры с ответвлениями в политику, что было небезопасно. Я изредка появлялся в том обществе, правда, сидел насто-рожённо, словно стрелец, готовый в любую минуту выстрелить или уклониться от стрелы. Помню, мне сразу не понравилось фальшивое эстетство хозяйки, но среди гостей было несколько интересных художников и поэтов.

Маленький, взлохмаченный, безумный Михаил Гробман играл роль гения – ходил по комнате и с надрывом читал свои поэмы. Закончив поэму, Гробман азартно делал монотипии: размазывал пятернёй на стекле краски, прикладывал бумагу и оттиски раздаривал посетителям «салона».

– Это предел фантазии! Скоро эти работы будут украшать музеи мира! – изрекал он, размашисто подписывая «шедевры».

Это стремление к славе подогревала мадам Фриде:

– Дивно! Восхитительно! Божественно! – шептала она, зажмурившись и сложив ладони на груди.

Я ничего не понимал ни в поэмах, ни в монотипиях Гробмана, но был уверен, что настоящий профессионал в своём деле более спокоен, и догадывался, что тот, кто делает в искусстве действительно стоящие вещи, ведёт себя скромнее.

В «салоне» выступали длинноволосые поэты.

– Бесподобно! Обворожительно! Трепетно! Волнительно! – горячо вскрикивала мадам Фриде, когда очередной поэт, вспотевший, красный, словно ему надавали пощёчин, заканчивал чтение.

Завсегдатай «салона» художник Игорь Куклес (имевший в Москве первую «домашнюю» выставку), по его словам, брался за кисти только когда возникал «эффект шара», «когда перед глазами возникает вся картина объёмно и начальные мазки смыкаются с завершающими мазками». В подтверждение своих слов Куклес прямо в «салоне» продемонстрировал «шаровой эффект».

– Захватывающе! Умопомрачительно! – визжала мадам Фриде и обнимала и целовала художника.

Я в полном недоумении, обалдело глазел на абстрактные картины Куклеса, на его загогулины, лесенки, крючки, но помалкивал, чтобы

не прослыть невеждой. Моё недоумение как нельзя лучше выражал художник Станислав Шматович, который всегда был настроен весьма категорично:

– Я сильно ошарашен шаровым эффектом. Прошу прощения, но я, наоборот, начинаю работать, когда имею смутное представление о том, что получится; передо мной – так, общая задумка. А в процессе работы рождаются находки. И вообще весь замысел может измениться... Шаровой эффект для слишком опытных умов, а для нормального восприятия – шарашкина живопись, шарашкина!..

– Фи, помилуйте, сударь, это бестактно! – плаксиво морщилась мадам Фриде. – Умоляю, не говорите таким наступательным тоном. Помилуйте, сударь, это совсем другая эстетика.

А когда Куклес вскакивал и начинал доказывать преимущества «шара», мадам всплёскивала руками и примиряла художников:

– О, господи! Всё, всё, любезнейшие мои! Не будем делиться на враждующие группы. Для общего блага будем мягкими. Давайте наслаждаться нашим общением. Мы как одна семья, где уважение друг к другу, охранность отношений – превыше всего! Поговорим лучше о последней выставке официальных художников. По-моему, это такая шокирующая безвкусица...

– У Куклеса не все дома, он с приветом, а Гробман просто глупый, – заявил мне однажды Шматович по пути к метро. – А работы глупца в принципе глупы. И глупость с настырностью – опасная комбинация. Своей бездарностью Гробман губит светлые головы простаков. Я знаю точно – он не случайно просит у художников подарить то одну, то другую картину. И собрал уже несколько сотен. Знаю точно – он готовится умотать на Запад (так и случилось). И никакой охранности в «салоне» нет, но есть опасный дух. Хочешь моё мнение? Фриде сотрудничает с Большим домом, и всех нас берут на заметку. Больше у неё моей ноги не будет.

Благородный спаситель Шматович заронил в меня сомнение относительно «салона». Я стал рассматривать свечу под лампой некой идеологической западней, из которой можно и не выбраться. И странное дело – в дальнейшем в хитросплетении судеб я рано или поздно встречал всех приятелей юности, но многих посетителей «салона» не встречал никогда.

В то время было ещё одно место, где собиралась творческая молодежь, – квартира прозаика Александра Пудалова. Его родители постоянно жили на даче, и наш герой упивался свободой; и нам в той захлавленной квартире дышалось гораздо легче, чем в «салоне» мадам Фриде.

Входным билетом в «клуб» Пудалова значилась «Гамза» – огромная, с огнетушителем, бутылка дешёвого вина, похожего на краску для заборов. За вином велись исключительные словесные баталии, при этом хозяин комнаты неизменно держал стойкий нейтралитет. На фоне словесных сражений он смотрелся прекрасно.

Пудалов писал короткие рассказы, в которых бережно относился к словам – рассказы выглядели стихотворениями в прозе. Было ясно, подобная отжатая проза – кропотливый труд, не романы-кирпичи, где бывают целые страницы воды. Кто-то удачно сказал, что его плотные, насыщенные рассказы можно резать по кускам и разбавлять вином – всё равно их будет интересно читать. Повзрослев и набравшись опыта, я уже более взвешенно взглянул на опыты Пудалова и понял: его стихи – некие слепки с французских поэтов, но в то время был уверен, что он в смысле таланта держит пальму первенства среди посетителей «клуба». Всегда гладко выбритый, в отутюженном костюме, он вообще для меня, неприкаянного босяка, являл собой образец выдержки и достоинства.

Иногда я оставался ночевать у Пудалова. Мы спали на полу: кровати родители вывезли на дачу; спали на матрацах, среди тараканов и перед сном подолгу беседовали, планировали будущее, и «молчальник» Пудалов заговаривал меня начисто – планы у него были грандиозные (стать лауреатом Нобелевской премии), не чета моим – пиратским и прочим, совсем уже низменным: занять комнату, купить костюм, полуботинки.

Мы встретились спустя много лет: я ехал на «Запорожце» и вдруг увидел его среди грузчиков продовольственного магазина – они разгружали какие-то ящики. У Пудалова было зелёное небритое лицо, на костюме пестрели заплатки, он был похож на опустившегося клоуна. Мы обнялись, отошли в сторону, закурили.

– Какая литература! – с горестным вздохом прохрипел Пудалов на мой вопрос, пишет ли. – Кому нужны мои философские рассказы!

Ты же видишь, что издают. Что полный чемодан тяжелее пустого... Я изначально встал на гибельный путь и проиграл... А у тебя, вижу, ве-зуха, – он кивнул на мой старый драндулет.

– Да нет. Но книги иллюстрирую. Изредка кое-что выходит. А машину одолжил у соседа, – соврал я, чтобы несколько сгладить дистанцию между нами.

Позднее я встречал художников из Долгопрудного, которые тоже не пробились, забросили подпольное искусство, работали где придёт-ся и крепко выпивали. Они стали угрюмыми, с охрипшими голосами. «Сколько талантливых людей не состоялось, а то и опустилось от не-востребованности, – размышлял я. – Общество каждому должно да-вать возможность проявить свои способности, должно поддерживать таланты или хотя бы не ставить им преград: прописки, статьи о тунеяд-стве, запрет на работу по совместительству и прочее».

Всё же у некоторых художников картины покупали иностранцы и живший в Москве греческий миллионер Костаки. А кое-кому и офи-циально разрешали выставляться на Западе, чтобы показать нашу «свободу»; и кое-каким «левым» поэтам предоставляли концертные залы для выступлений – по слухам, и те и другие сотрудничали с КГБ.

Я вспомнил тех, кто пытался вырваться за «железный занавес», и в их числе приятеля-физика Феликса Файкина, который решил на бай-дарке переплыть с Камчатки на Аляску. (Позднее его жена объясни-ла – он хотел разбогатеть в Америке). Его обнаружили через сутки с вертолета – безжизненное тело качалось около перевернутой лодки. Между тем, чтобы перебраться «за бугор», некоторые практичные ху-дожники выбрали простой и надёжный способ – попросту женились на иностранках.

«И всё-таки, – думал я, – нельзя покидать Родину, как бы ни было тяжело, ведь уезжаешь не только от системы, но прежде всего – от среды, друзей, привязанностей. И что делать на чужбине, если худож-ник пишет о том, что хорошо знает, что впитал с детства?! Ударяться в воспоминания, писать то, чего не видишь, от чего оторван?! Съездить посмотреть, недолго пожить – это одно дело, но уехать навсегда! Уж если великие Бунин, Куприн, Рахманинов, Набоков в эмиграции тос-ковали по родине и до конца дней писали о ней, то что говорить об остальных?! Родина – это не просто определённая территория, знако-

мая улица, дом... Это язык, обычаи, песни, традиции – как без этого?! Даже животные, когда их переселяют в другую местность, не вживаются в новую среду, а то человек! И даже если там, на чужбине, художник добивается успеха, как он может жить припеваючи, если на родине остались близкие? Это всё равно что разорвать своё сердце на две половины!

Конечно, мы живём между прекрасным и отвратительным, между красотой и уродством – в такой атмосфере нет места спокойствию, но зато у нас множество серьёзных тем для творчества – бери любую судьбу. Ко всему, только в России духовность важнее материального, только у нас – тяга к общению, а у лучших русских – и совесть, ощущение вины за весь род людской (перед природой, животными, Богом, самим собой) за то, что происходит в мире. Общение с такими людьми ценнее всякого благополучия».

«РУСАЛКА» И МЕДУЗА

В Институт океанографии я устроился по объявлению: «Требуется чертёжник-художник». В мою задачу входило чертить графики о добыче китообразных и крабовидных, рисовать этикетки для консервных банок. Но вскоре я познакомился с художником-анималистом Николаем Кондаковым и его женой Ольгой Хлудовой, первой аквалангисткой в стране. Эта супружеская чета под водой специальными красками умудрялась зарисовывать морских обитателей. Кондаков и Хлудова сосватали меня в издательство «Энциклопедия», и параллельно с основной работой я стал рисовать всевозможных рыб: от озёрных карасей до речных осетровых, благородных представителей подводного мира. Это было несложно – я просто делал копии экспонатов, которые находились на этажах института. Когда я преуспел в изображении озёрных и речных обитателей, в «Энциклопедии» мне доверили морские пучины, а позднее и океанские. Моя пламенная мечта – стать матросом и бороздить океанские просторы – приблизилась до осязаемого расстояния (экипировку я уже пополнил бескозыркой и штормовкой); оставалось только взойти на «Витязь» – научное судно института, но для этого требовалось вначале поплавать два

года на внутренних морях (для проверки – а вдруг сбежишь в заграничном порту!).

Пиком моей деятельности в области «пучин» стало гигантское панно в вестибюле института, которое я по просьбе директора «освежал» – делал более яркими кашалотов, дельфинов, осьминогов.

В лаборатории «земноводных» работала девушка русалочьего типа: глаза зелёные, волосы распущенные, платье крупной вязки, словно чешуя, только вместо хвоста – отличные длинные ноги, на которых она не ходила по институту, а прямо-таки плавала, раскачиваясь и извиваясь, и при этом направо и налево расточала улыбки. Мы с ней сразу стали приятелями, для большего она мне казалась чрезмерно изнеженной, а я для неё был «неотёсанным дровосеком». Она так и говорила:

– Для меня ты только дровосек и больше ничего (в то время я пользовался успехом только у парикмахерш и продавщиц галантерейных магазинов).

Тем не менее у нас с «Русалкой» сразу сложились приятельские отношения, потому что мы оба были «загородниками», а, как известно, местность объединяет людей и даже делает их в чём-то похожими – не только в одежде, но и в образе мыслей.

Однажды в коридоре института, лавируя меж аквариумов, «Русалка» «подплыла» ко мне и, улыбаясь, пролепетала:

– А ты не мог бы подарить мне золотую рыбку?

– Пожалуйста! – говорю. – Через час будет тебе золотая рыбка.

В результате доблестных усилий я нарисовал золотую рыбку (для большего впечатления – с короной на голове).

– Ты не так меня понял, – улыбнулась «Русалка», принимая рисунок. – Я хотела, чтобы кто-нибудь подарил мне квартиру в Москве. Я ведь живу с родителями, и мы уже не выносим друг друга.

– Кто бы мне подарил, – обескураженно усмехнулся я. – Сам скитаюсь, снимаю комнату за городом.

Но на следующий день по пути на работу я увидел объявление: «Сдается квартира».

– Ты не так меня понял, – поджала губы «Русалка», когда я сообщил об объявлении. – Мне нужен подарок... В ваш отдел заходят зарубежные ихтиологи, а в нашу лабораторию никто не заходит. Познакомь

меня с кем-нибудь из «фирмачей». Мне ужасно нужна отдельная квартира и... желательно машина...

Моя рука оказалась лёгкой: через неделю, когда у нас появились канадцы, самого молодого из них я как бы случайно завёл в лабораторию «земноводных». Само собой, он сразу влюбился в «Русалку», а через неделю она с ликующим видом объявила мне:

– Поздравь меня! Выхожу замуж за канадца. Люблю его и буду любить даже под водой. Уезжаю в Торонто. О тебе не забуду. Теперь за мной золотая рыбка.

Из Канады она прислала письмо, где сообщала о своём невыносимом счастье. В письме была фотография: она выходит из «кадиллака» длиной с квартал на фоне особняка с бассейном – стало ясно, «Русалка» не зря переплыла океан. Обо мне она не забыла: конверт украшала марка – золотая рыбка с длиннющим хвостом.

По стечению обстоятельств вскоре в Канаде побывали Кондаков с Хлудовой. Они сообщили, что встретили «Русалку», – она работала в институте, аналогичном нашему, но... уборщицей. Правда, уныния на её лице супруги не заметили; больше того – она сказала, что «готова голодать, но жить в цивилизованной стране, а не среди помоек».

А в лаборатории «ластоногих» работала полная, не очень молодая, но, как девчонка, восторженная женщина. Сотрудники меж собой звали толстуху беззлобно Медузой, имея в виду её внешность, но никак не поведение и характер – именно поэтому многие, произнося «Медуза», добавляли: «с острова вулканического происхождения». Медуза жила с дочерью-инвалидом в коммунальной квартире, но никогда ни на что не жаловалась, и никто не видел её мрачной. Наоборот, все замечали её приветливость.

Ко всему, у Медузы был ещё один талант: она делала отличные шаржи на сотрудников института; они красовались в вестибюле под «моим» панно, и эта маленькая экспозиция притягивала к себе больше, чем гигантское панно, которое всё же подавляло зрителей многочисленными плавающими тушами. Кстати, когда я «освежал» панно, не кто иной, как Медуза, консультировала меня и даже взбиралась на стремянку, подавая мне краски.

Однажды институт посетила делегация японских учёных, и, пока шла беседа, Медуза сделала шаржи на представителей Страны восхо-

дящего солнца. Японцам так понравились рисунки, что позднее в дар институту она прислали капроновые сети, а лично Медузе – медаль и почётный диплом от своего общества шаржистов.

С КИСТЬЮ ХОЖУ ПО ОБЛАКАМ

Николай Эпов работал в подвале с парусными сводами и множеством крохотных окон-бойниц. Эпов был знаменит тем, что в его квартире (над подвалом) росло единственное в Москве персиковое дерево. В те далёкие дни Эпов только что оформил спектакль «Маленькие трагедии», и был для меня почти что мифическим героем. Я страшно гордился дружбой с ним и каждому встречному раздувал его славу. И мечтал стать таким, как он, очутиться в театральном мире, но этот мир был для меня недосыгаем. И вдруг после премьеры «Трагедий», когда мы отмечали у Эпова столь важное событие, виновник торжества погладил персиковое дерево и спокойно сказал мне:

– В театре Вахтангова есть место бутафора. Чтобы тебе жилось приятней, пойдёшь?

Моя мечта (работать в театре) сразу приобрела реальные очертания. Я ухватился за случай и круто изменил свою жизнь.

Я вошёл в театр как в храм, а когда очутился в бутафорском цехе, вообще потерял дар речи. Прямо надо мной, привязанные к потолку, висели пальмы, драконы, облака, луна и солнце. Пахло клеем и свежей стружкой, из-за стола, обитого оцинкованным железом, выглядывал маленький очкарик, с лицом в сетке морщин, красноносый, с огромными оттопыренными ушами.

Очкарика звали Иван Тимофеевич Белозёров. Он двигался медленно, как ленивец, говорил вяло, растянуто, но слыл бутафором высочайшего класса. Он не выпускал из рук инструмента; работал слесарем и столяром, электриком и художником – он мог сделать всё. Простую бумагу Тимофеич превращал в яркие, сочные фрукты и тончайший китайский фарфор; проволоку и фольгу – в золотые подсвечники и люстры, стекляшки – в драгоценные бриллианты. Зрители видели его творения: на сцене стреляли пушки, открывались ворота замков, у лоша-

ди-муляжа зажигались глаза, в лучах света проплывал парусник. Зрители видели всё это, но мастера не видели никогда, для них он оставался невидимкой в театре, а мне посчастливилось с ним работать целый год.

С великой простотой Тимофеич научил меня разводить клейстер, обмазывать мешковину, наклеивать её на «станки» (сосновые бруски и фанеру) – создавать «луга» и «деревья». Затем объяснил, как делать из картона чайные сервизы, а из бумаги деньги.

– Всё должно быть как настоящее, – тихо говорил мастер. – Иначе актёр не войдёт в роль. Да и надо держать марку фирмы. Не зря ж к нам за помощью обращаются из всех театров.

У Тимофеича было сильно развито чувство профессионального достоинства, но не настолько сильно, чтобы перейти в самодовольство; в общении с людьми он держался спокойно и просто. Наблюдая за ним, я размышлял: «Каким же надо быть уверенным в себе, чтобы так просто держаться! И значит, всякие полыхания, самоутверждения – от неуверенности в себе».

Поскольку в те годы я «находился в затруднительном материальном положении», как выражался Тимофеич, я особенно старательно расписывал деньги. А их требовалось много – в одном из спектаклей герой рвал их и швырял в лицо алчной героине со словами:

– Ты недостойна меня, потому что слишком любишь деньги! А деньги – это всего лишь бумажки!

Насчёт наших фальшивых купюр он был абсолютно прав, а настоящие, к сожалению, далеко не бумажки. Например, разными денежными премиями поощряют искусство, хотя каждому художнику ясно: его картины стоят больше всяких денег, ведь в них – частица его сердца. Так вот, этих проклятых денег я наделал целый миллион, не меньше. Как-то во сне даже пустил эти деньги в дело и мне грозила тюрьма; к счастью, я вовремя проснулся.

Через год главный художник театра Сергей Николаевич Ахвледиа-ни, заметив, что я знаю толк в краске, пригласил меня работать декоратором. В мои обязанности входило расписывать клеевыми красками бутафорские стены, колонны, балконы. Высыхая, клеевые краски светлеют, и составить колер для эскизного пробного мазка – довольно сложная штука; ко всему, не доложишь в краску клея – актёр может

испачкаться, а переложить – краска потрескается и осыплется. Здесь надо чутье. Я быстро усвоил всю эту премудрость и стал неплохим исполнителем.

Ещё мне вменялось освежать задники – занавесы из тюля, на фоне которых происходит сценическое действие. Декоративная мастерская была огромной – с теннисный корт, и на её полу помещался весь задник. С огромной кистью-дилижансом и ведром краски я ходил по лесам, морям и облакам, подмазывал деревья, волны, средневековые замки, закаты и рассветы и чувствовал себя властелином всей земли. Это была завораживающая ситуация.

– Как дела в театре? – спрашивала моя приятельница художник Лена Гордеева, которая делала камеи из раковин.

– С кистью хожу по облакам, – отвечал я с вызывающим оттенком в голосе. – Здесь чудеса на каждом шагу.

– Я сгораю от зависти, – вздыхала Гордеева с дурманящим взглядом. – Твоя работа как золотой дождь. В ней очарование простоты.

Гордеева отличалась недооценкой собственных изделий (даже небрежным отношением к ним) и благоговейным отношением к дождям (в дождь босиком выходила на прогулку и, как девчонка, не пропускала ни одной лужи).

– Лёгкий морозящий дождь лучше всего, – говорила Гордеева. – Под него хорошо работается... Сильный затяжной дождь наводит на раздумья. В нудный сонливый хорошо пить вино и предаваться любви, упасть в любовь. Но не в чересчур сильную – она опасна...

Насчёт вина и любви я был с ней полностью согласен, хотя никакой любви у меня не было, в этом вопросе я был полный профан. К сожалению. Но, к счастью, вскоре наверстал упущенное, и сполна.

Незнакомым людям Гордеева дарила визитку: «У меня нет квартиры, нет телефона, нет работы, нет любви, но я счастлива».

Однажды в дождь Гордеева вошла в мастерскую, мокрая, босая, распахнула окно, впуская в помещение плещущий шум и запах сырости; устало опустилась на стул, откинулась и, стряхивая с лица капли, жалобно заскулила:

– Ничего у меня, неумехи, не получается. Для художника у меня мелковатый, никчёмный дух. Я как треснутая чашка. Не знаю, что делать: или красиво уйти из искусства, или тихо остаться?

Я попытался её взбодрить и только разошёлся в красноречии, как она исчезла, точно её смыли дождевые потоки.

Что в театрах замечательно, так это приподнятая атмосфера перед премьерой. Ею заражаются все: от осветителей до ведущих артистов, и в этом всеобщем ожидании настоящая семейность.

Все работники в театрах – мастера-виртуозы. Столяры – бывшие краснодеревщики; работницы пошивочного цеха – рукодельницы с великолепным вкусом. Надо видеть с какой выдумкой столяры изготавливают мебель ампириного стиля, как добросовестно швеи конструируют костюмы, а осветители – мастера по свету – могут так осветить теннисный мяч, что его примешь за яблоко. И как придирчиво эти мастера осматривают свои произведения во время прогона «для пап и мам» – пробного спектакля для своих родственников, самых придирчивых зрителей. Но, главное, эти мастера работают за мизерные оклады. Вот у кого надо учиться любви к своему ремеслу!

После премьеры в фойе накрывали столы с бутербродами и пирожными. В сервировке столов самое жгучее участие принимали пожарные – главные люди театра. До этого вечно ходили насупившись и сурово ворчали:

– Тюль плохо промазан пропиткой, может вспыхнуть! В перьях танцевать нельзя! Белый софит убрать, слишком палит! Фурки не выдвигать: искры!

Но в день премьеры «огнеборцы» оживали, в предвкушении застолья становились улыбчивыми, ходили вокруг столов, переставляли стулья и всё потирали руки, подмигивали друг другу. Ну а за столы рассаживались кто где хотел, без всякой субординации. Рабочий сцены мог запросто, бок о бок, восседать с народным артистом. Я, например, не раз чуть ли не в обнимку сидел с Астанговым, Ульяновым, Яковлевым, так что вроде примкнул к их славе.

ЖИЗНЕЛЮБЫ

Театры между собой связаны и часто обмениваются спектаклями. Наш театр по средам давал представления в театре Моссовета, а тот в свою очередь у нас. Это называлось «дружить коллективами». Я дол-

жен был присутствовать на выездах – вдруг рабочие сцены нечаянно порвут какую-нибудь декорацию и потребуются срочный подмалёвок. Как правило, такое не случалось: я же говорю – в театрах работают знатоки своего дела. В театре Моссовета у меня появились новые знакомые, театральные художники, – жизнелюбывые, народ всезнающий, а уж спорщики – похлеще живописцев-станковистов и графиков.

– Театр – это потрясающе! – восклицал декоратор Александр Великанов. – Видят небеса, прямо на глазах рождается образ. Это не кино, где десяток дублей, всё подрезано, заретушировано. В театре всё необратимо: каждый жест, каждая реплика.

– В театре всё фальшиво, – возражала художник по костюмам Наташа Кудашова; взбалмошная, с резкими скачками настроения, она могла в одну минуту перестроить любую компанию. – Всё фальшиво! Я не верю, что раскрашенная фанера – дома, полосы картона – деревья, свисающая марля – листва. И актёры не говорят, а произносят. Мне интересно делать только костюмы. Костюм – это настоящее произведение.

– Особенно костюмы прошлого века, – поддерживала подругу Светлана Инокова. – Как говорила мадам Шанель – «Модно то, что не модно». В костюмах прошлого века столько выдумки! Все эти оборки, рюши, жабо, струящиеся юбки подчёркивают индивидуальность женщины, придают ей таинственность. Не то, что теперь, – всё на виду, никакой тайны.

– Как вы не понимаете, в театре всё условно! – кипятился постановщик Леонид Андреев. – В Древнем Риме на сцене вообще ставили доски с надписями: «дом», «лес»... Но, ясное дело, художник в театре не главная фигура.

– Ну ты и завернул! – вскрикивал Великанов, вскрикивал яростно, словно проглотил пламя. – Видят небеса, я придумываю не только обрамление спектакля, костюмы, я создаю всю атмосферу...

Великанов называл себя удачливым в работе и неудачником в житейском плане. Действительно, в его мастерской не раз случалось возгорание электропроводки (к счастью, ничего не сгорело), дважды на него нападали грабители, у машины, которую он купил позднее, однажды отказали тормоза... Но несмотря на эти грозные явления, я считал Великанова счастливецом во всём: мало того что он работал по при-

званию, он жил в большой ухоженной квартире с мебелью из старого тёмно-вишнёвого дерева, окантованного медью, имел красавицу жену и умницу дочь, которые его, главу семьи, обнимали и целовали по двадцать раз в день.

По словам Кудашовой, вокруг неё постоянно находились души умерших родственников и друзей, которые не давали ей покоя; этим она объясняла и свою взбалмошность, и костюмы-призраки. Мнительная Кудашова часто жаловалась на болезни, таскала в сумке кучу таблеток и пузырьков. В моей судьбе Кудашова принимала горячее участие. При встрече тихо ахала:

– Ты чем болен?

– Да вроде ничем, – пожимал я плечами.

– Нет, говори, чем ты болен? Я имею в виду не только адские болезни, но и мысли там всякие...

Я только вздыхал – мыслей было полно, но все, как правило, вполне здоровые, некоторые даже слишком.

– Вот возьми! – Кудашова протягивала пузырёк с розовым сиропом. – Настойка по индийскому рецепту. Тебе поможет. И учти, я это даю не кому попало, ты понял?

Чтобы не обижать «знахарку», я с благодарностью принимал пузырёк. Со временем у меня скопился целый ящик её пузырьков, порошков, таблеток. Я ни разу ими не пользовался, но на вопросы Кудашовой «Помогли ли?» непременно отвечал:

– Ещё как!

Инокова свою комнату превратила в зверинец, где обитало много всякой живности: от рептилий до роскошного павлина. Художники-анималисты часто заглядывали к Иноковой, делали наброски её подопечных. Инокова собирала ключи; у неё была потрясающая коллекция ключей: от примитивных для почтового ящика до ампирных, сложной, витиеватой конфигурации. Каждому новому гостю Инокова подносила связку ключей и просила показать, какой больше всего нравится; и по выбранному ключу безошибочно определяла характер и склонности человека. Другими словами, посредством такого теста гость сам подбирал ключ к своему сердцу.

– Вообще-то я и без ключей во всём разбираюсь, у меня чутьё на людей, – призналась мне однажды Инокова. – Тебя, например, я сразу

вычислила. Ты пропащий человек и, если не бросишь курить и выпивать, закончишь жизнь под забором.

Говоря о театральных художниках, нельзя не перечислить ещё нескольких из тех, кого я знал.

Художник-кукольник Олег Мосаинов работал в театре Образцова и собирал изделия из стекла, старинные часы и шкатулки; покупал их на барахолке и в комиссионках часто поломанными и оживлял, благодаря золотым рукам и технической смекалке.

Комнату Мосаинова украшал стеклянный зверинец: видоизменённый мир, отражённый в стекле, а также стеклянные часы-кукушка, часы-кошка, часы-сова и часы с садом: каждый час, когда начинался бой, в саду шевелились стеклянные листья, порхали птицы и даже лил водопад – иллюзию падающей воды создавал крутящийся плексиглас.

– Стекло – самый изящный материал, – говорил Мосаинов. – Ко всему, если прислушаться, эти игрушки издают звуки. Вообще все предметы вокруг нас издают звуки. Мы многое не слышим, но живём в мире музыки; она постоянно в воздухе.

С того дня по вечерам я стал прислушиваться к вещам в своей комнатухе, и действительно каким-то странным образом они звучали – все на морской лад: звуки напоминали плеск волн, свист ветра, скрип оснастки судна. Эти звуки теребили мою морскую душу, вселяли в меня жгучую страсть к странствиям.

Художник Александр Тарасов делал декорации к кукольным спектаклям, а для себя писал картины-фантазии: города, в которых не бывал, людей, с которыми не встречался. Он рисовал жизнь, какой она может быть, если убрать из неё зло. Но давно известно, такая жизнь – всего лишь прекрасная мечта, ведь зло и добро уравнивают друг друга.

– У нас замечательные люди, – заявлял Тарасов. – Мы живём среди пустой бравады и невежества, но сохранили чистые души. За это наш многострадальный народ достоин всех премий мира.

Временами, для приработка, Тарасов оформлял стенды выставок.

– Невероятно интересно окунуться в новую стихию, – говорил он. – Свежий взгляд на привычные вещи рождает новые идеи. Взять цирк. Десятилетиями арену использовали в одном качестве, но пришли новые художники и устроили водную феерию. А когда работаешь только

в одной области, начинаешь повторяться, используешь одни и те же приёмы – получается некая безразмерная одежда, которая подходит всем. Надо чаще менять работу и вообще образ жизни, тогда в каждом дне будет интерес.

Я перечислил целую галерею художников, сделал их словесные наброски. Под конец скажу – каждый из них носил высокое звание – Мастер, а чудачества и хобби только придавали им дополнительную притягательность.

ПОДВИГИ

В творческой среде большинство людей работают потому, что просто не могут не работать. Часто они платят дорогую цену за это: лишаются материальных благ, признания при жизни, а иногда и личного счастья. Но немало творческих людей, которые работают ради славы, денег, а то и ради восхищения женщин. По сути дела в этом нет большого порока, ведь масса примеров, когда великие произведения создавались благодаря любви к женщинам или благодаря их поддержке и преданности.

Мои друзья, художники и поэты, тоже посвящали слабому полу свои произведения и даже ради женщин совершали подвиги.

Художник Борис Чупрыгин женился на женщине, любившей поезда. Перед свадьбой он обещал невесте построить вокруг дачи узкоколейку и пустить электровагон. «Будем кататься с ветерком», – вдохновенно говорил художник, но после свадьбы вместо электровагона приобрёл велосипеды.

– Для меня и это подвиг, – объяснил мне Чупрыгин. – До свадьбы я тысячу часов простоял у её дома. Послал ей столько писем, что она могла бы оклеить ими всю квартиру. Встречал и провожал её, ухлопал массу времени. За это время мог бы написать сотню картин. Теперь надо всё навёрстывать. Задумок в голове – туча...

Детский писатель Валерий Шульжик несколько дней из-за непогоды не мог вылететь в Ленинград к любимой девушке. В аэропорту готовился к рейсу только почтовый самолет, но и тот никак не могли

укомплектовать посылками. И тогда Шульжик назанимал у друзей кучу денег, оплатил пустующие места и вылетел на «почтовике».

Художник-яхтсмен Рубен Варшамов накануне свадьбы пытался (с помощью экскаватора) прокопать канал от залива в Водниках, где стояла его яхта, к даче невесты (на берегу залива), чтобы свадебное путешествие началось прямо от дома невесты. К сожалению, ему не удалось осуществить свой план, но, как известно, готовность к подвигу равна подвигу.

В зрелом возрасте я тоже совершил почти подвиг. Я жил с двумя собаками-дворняжками, которых считал равноправными членами семьи. Собаки тоже так считали и потому спали со мной на одной тахте (кстати, запах шерсти мне всегда был приятней всяких духов). И вот однажды в нашей квартире появилась женщина. Она вошла, осмотрелась и сказала:

– Я догадывалась, что вы живёте плохо, но не думала, что так плохо. Мне вас жалко.

Так она сказала и заплакала. Не знаю, *что* она, в самом деле! По моим понятиям, я жил прекрасно. Но речь о другом – о том, что у этой женщины не сложились отношения с моими собаками. Нельзя сказать, что она не любила животных (с такой я не стал бы встречаться), она понимала, что собаки – прекрасный народ, и любила их, но не настолько, чтобы вчетвером спать на одной тахте.

– У тебя крайне узкая тахта, – проронила эта чувствительная сударыня. – Пусть наши лохматые друзья спят отдельно, тем более что есть ещё одна комната, и там тахта не хуже.

Я проявил слабость и уговорил собак укладываться на ночлег отдельно. Собаки обиделись, недовольно засопели и весь следующий день смотрели на меня как на предателя. На вторую ночь я, разумеется, пошёл спать к собакам, и тогда уже обиделась женщина. К счастью, она быстро поняла, что подвиги нельзя совершать ежедневно, и вообще, что это за подвиг, если одним от него радость, а другим страдание!

Короче, женщина смирилась с порядками в нашей семье, и мы стали спать вчетвером на одной тахте. Бесспорно, со стороны женщины это был настоящий подвиг, более весомый, чем мой.

НОВОДЕВИЧИЙ МОНАСТЫРЬ

Есть мужчины, которые чокнулись на своей гениальности; есть женщины, которые чокнулись на своей красоте. Тяжеловато общаться с такими людьми. И вот надо же! Меня угораздило жениться на женщине, чокнутой и на своей красоте, и на своей гениальности. И первое, и второе она каким-то непонятным образом внушила и мне, двадцатичетырёхлетнему простаку.

Жена была манекенщицей и причисляла себя к достоянию нации, к некой священной касте – считала себя одной из десяти самых красивых женщин в стране. Она умела шить и вязать и считала, что более талантливой рукодельницы, чем она, нет и быть не может. Кстати, я был её третьим мужем, и оба предыдущих тоже были художниками – жена считала, что только художник может оценить вкус женщины, её осанку, походку и прочее. Насчёт своей внешности жена говорила буквально следующее:

– У меня не просто хорошая фигура, у меня идеальная фигура, и вообще лучше меня женщин не бывает. Когда я иду по улице, останавливается движение, люди выходят из транспорта, чтобы получше меня рассмотреть.

Как я ни силился, ни транспортных пробок, ни ротозеев, выскакивающих из автобусов и троллейбусов, не замечал, но за ней действительно всегда вышагивало несколько прилипал.

Относительно своего рукоделия жена была права – на шитьё к ней выстраивалась очередь; в этой очереди стояли певицы, танцовщицы и экстрасенсы вроде Джуны. Все эти модницы на меня смотрели как на неандертальца, а о жене говорили как о святой, имеющей пропуск в рай, и никак не могли понять, чего она во мне нашла.

Работала жена быстро и, сидя за машинкой, то и дело поглядывала в зеркало и позванивала колокольчиком, который всегда у неё был под рукой, – так она подогревала творческий настрой и выражала восхищение собственным талантом.

Мою работу в театре жена считала пустой тратой времени.

– С какой стати ты работаешь в театре фактически маляром? – вопрошала она. – Там никогда не станешь известным. Тебе надо иллюстрировать книги. Это и престижно, и деньги приличные.

Жить в комнате, которую я снимал за городом, жена не захотела.

– Ещё чего! Там я испытываю неудобство души, – заявила, раздражённо брякнув колокольчиком.

Как всякая необыкновенная женщина, она могла жить только необыкновенно и потому сняла комнату в Новодевичьем монастыре.

На территории монастыря находилось несколько построек, в которых жили дворники и работники монастыря; одна из дворничих выделила нам крохотную, но светлую комнату. Понятно, монастырь – это место, где сердце наполняется возвышенными чувствами: верой в доброту, любовью к ближним, к природе. Обогащённый этими чувствами, я в свободное время рисовал нашу обитель, мост через Москву-реку, улицу Пирогова. Объясняя свои работы жене, я особенно напирал на её возвышенные чувства.

– Неплохо, но не знаю, станешь ли ты известным, – говорила жена, разглядывая мою живопись и нервно брэнча колокольчиком. – Вообще, ты удобно устроился. В театре веселишься, здесь рисуешь в своё удовольствие, а я работаю как пчёлка, стою в примерках, вся исколотая булавками, – и, смягчая силу удара, добавляла: – Сходи в издательство, попроси проиллюстрировать книгу.

– Бесплезно, – возражал я. – Там полно профессиональных полиграфистов, – я ссылался на мнение знакомых художников, но жена не принимала мои доводы.

После этих разговоров мне становилось грустновато, но не тоскливо: в такие минуты передо мной всегда открывались широкие морские просторы.

По вечерам после работы мы бродили вдоль монастырских стен, спускались к озеру, шли по тропе среди кустов сирени, и жена продолжала меня пилить:

– Ты бесчувственный. Я раскрылась перед тобой, рассказала всё сокровенное, открыла тебе тайны дружбы, любви, творчества, а ты ничего интересного не расскажешь и не стремишься стать известным.

Я защищался изо всех сил. Сирень как свидетель нашей размолвки покачивалась в такт слов жены, выражая ей полную поддержку, а мне – брезгливое презрение.

Что меня поражало во время этих прогулок – над женой всегда вились светляки, она шла в ореоле мерцающих огоньков. Светляки ви-

лись только над ней, ко мне они не подлетали даже на расстояние вытянутой руки, и это лишний раз подчёркивало нашу разность – необыкновенность жены и мою заурядность.

Жена в самом деле открыла мне кое-какие тайны, например, открыла дверь в красочный мир художников-модельеров. На показах в Доме моделей, пока манекенщицы ходили по «языку», я общался с художниками.

С Галиной Гагариной мы пили кофе. Гагарина была серебряной женщиной: носила серебристые платья, при ходьбе извивалась серебряной змейкой, и её голос журчал, как серебряный ручей.

– Мы, модельеры, делаем женщин красивыми, – говорила Гагарина с серебряными перекатами в голосе. – Я из любой уродины могу сделать женщину с притягательной силой. Могу скрыть изъяны фигуры и выявить достоинства... У нас полно красивых женщин, но нет шмоток, да и многие не умеют одеваться.

С Татьяной Осмёркиной мы покуривали. Медлительная, осторожная Осмёркина носила платья с хвостами и ходила по-кошачьи мягко, пружинисто. Разглядывая публику на показах, Осмёркина всем давала предельно меткие характеристики, а богатых «фирмачей», сидящих вокруг «языка» и часто закупающих ансамбли одежды, называла «парадом кошельков».

– Я всех людей делю на «трамваи», «автобусы» и «такси», – мурлыкала Осмёркина. – «Трамваи» идут по жизни прямолинейно, «автобусы» временами сворачивают в сторону, «такси» непредсказуемы. Я – «автобус», а ты, по-моему, «такси»... У «такси» есть чудовищный недостаток: они мечутся по жизни, хватаются то за одно, то за другое и часто так и не находят себя. Но я почему-то верю в тебя. Быть может, ты «маршрутное такси»?

– Не такси, а морской катер, – выпятив грудь, возражал я.

С Татьяной Большаковой и Людмилой Антоновой, которые конструировали сумки и обувь, мы вели торжественные разговоры – беседовали о живописи, «отделяли руду от золота», по выражению Большаковой. Обе художницы были незамужними, жили отшельницами, без надобности не выходили на улицу, не ездили в общественном транспорте; одна – потому что «кругом сплошное хамство», другая – потому что «кругом скудоумие, тупые рожи».

– А манекенки все глупые и барахольщицы, – нехотя объясняла мне Большакова. – Они просто вешалки. У них не разговор, а устный танец: «С кем живёшь? Что носишь? Где достала?». Помешаны на шмотках. Мы их всерьёз не принимаем.

– Манекенки без волшебства, они просто блестящие женщины, – воодушевлялась Антонова. – Блестящие в том смысле, что всё это внешняя мишура. А полно женщин с богатым внутренним миром. Таких женщин надо носить на руках, но мужчины почему-то клюют на внешний показной блеск.

Антонова носила платья благородных полутонов и считалась женщиной «неземной красоты» (длинноногая, длинноволосая, она сто очков наперёд давала любой манекенщице), но была на редкость «заземлённой»: прекрасно знала животных и растения, ходила в туристические походы и никогда не демонстрировала свою красоту. Что и говорить, художники в Доме моделей были несравнимо интересней манекенщиц.

Через два года, во время очередной вечерней прогулки вдоль монастырских стен, жена произнесла ледяные слова:

– Мне всё смертельно надоело. Ты никогда не станешь известным. В тебе нет пробивной жилки. И эти твои дурацкие планы о морских скитаниях. Прости, что осложняла твою жизнь, – она резко повернулась и направилась к нашей обители, вся в светляках.

Сирень прямо на моих глазах моментально опала, и наступила какая-то ватная тишина.

Жена ушла от меня к известному дипломату, с надеждой уехать с ним в известную страну (по слухам, очутившись на Западе, чуть не сошла с ума от обилия шмоток, а теперь живёт в замке и от скуки делает панно из ракушек). Мы разошлись цивилизованным образом, без скандала; правда, покидая монастырскую обитель, жена всё-таки демонстративно швырнула в меня колокольчик, то ли на память о себе, то ли для настроя «на пробивную жилку», чтобы я хотя бы попытался стать известным художником.

Я безмерно расстроился и думал, что теперь мир рухнет, но ничего не изменилось, никто и не заметил, что я стал одиноким и вновь бездомным.

Надо сказать, горевал я недолго, поскольку уже научился при поражениях смотреть на мир шире, как бы вырываться за рамки своей

судьбы, ну и за два года поумнел и понял разницу между внешней и внутренней красотой, между «блестящей женщиной» и «богатым внутренним миром».

«Неудачи такого рода закаляют характер», – утешил я сам себя и, снова сняв за городом комнату, с двойным усердием «замахал» кистью. Именно в те дни я понял, что можно быть счастливым, имея всего-навсего крышу над головой, печурку-буржуйку, кастрюлю перловой каши и... интересную работу.

С художниками-модельерами я продолжал общаться; чаще других с Вячеславом Зайцевым, лучшим художником Дома моделей, на которого прямо-таки молились модельерши и рассматривали его как связующее звено между Богом и остальными грешными. Работы Зайцева поражали неожиданными решениями, они, как грозовые разряды, имели акустический эффект – подпитывали творчество других модельеров. Что особенно прекрасно – с годами, став знаменитым и богатым, Зайцев совершенно не изменился, остался таким же приветливым и доброжелательным, каким был всегда.

Позднее, когда я развёлся с женой, Зайцев сказал мне:

– Ты похож на пирата. Живёшь без квартиры, без жены, и одет пиратски. Завтра сделаю тебе эскиз элегантного спортивного костюма, кто-нибудь из наших сошьёт.

До костюма дело не дошло, мне показалось: элегантный наряд – вещь серьёзная, ко многому обязывает и прежде всего – к определённому положению, а я жил в искривлённом пространстве, которое только изредка выпрямлялось, но и тогда я словно стоял перед потоком воды – то и дело встречал передраги. Я носил упрощённый вариант «элегантного костюма» – чёрные потёртые брюки и чёрный свитер, который на шее закалывал булавкой. Конечно, чёрный цвет навеивает мрачные мысли, но и настраивает на борьбу.

ДО СВИДАНИЯ! НЕ ПЕЧАЛЬСЯ!

К массовым сценам в театре привлекались студенты театрального училища, а иногда и работники театра. В одном детском спектакле по сцене пробежал актёр в шкуре тигра, в него стрелял охотник, и «тигр»

падал в оркестровую яму, куда рабочие предварительно стелили маты. Тигра изображал кто-нибудь из студентов.

Однажды по какой-то причине студенты не явились, и помощник режиссёра, строгая женщина с холодным взглядом, вызвала меня.

– Надевай шкуру, пробежишь по сцене, когда я дам отмашку! И разозлись – тогда получится!

– Проще простого, – хмыкнул я, давая понять, что мне по плечу и более сложная роль, ведь уже сто раз «освежал» декорации на сцене и никогда не испытывал страха перед огромным залом, правда, пустым.

В нужный момент костюмерши помогли мне влезть в шкуру, я встал в кулисах, дьявольски «разозлился» и, отогнув занавес, заглянул в зал. И вдруг увидел, что привычный зал расширился – стал каким-то необозримым пространством, и весь забит мальчишками, девчонками и взрослыми – я прямо-таки кожей почувствовал дыхание сотен зрителей. Меня охватила нешуточная дрожь, которую я никак не мог унять, хотя и бил себя кулаком по всем местам.

Как только помреж дала отмашку, я вышел на сцену, но от слабости в ногах тут же шлёпнулся, а поднявшись, ослеп от прожекторов, потерял ориентацию и побежал не к оркестровой яме, а к помрежу в противоположную кулису. Опытный работник, она сразу смекнула, в чём дело, развернула меня и показала, куда надо бежать. Я ринулся по тому направлению, но, очутившись у ямы, не увидел никаких матов (рабочие решили: раз студентов нет, то и сцена с тигром отменяется).

Несколько секунд я стоял перед ямой и не знал, что делать; слышал, как безостановочно палит охотник, но стоял точно приклеенный и глазел на злополучную яму, чувствуя себя на грани между жизнью и смертью. Наконец всё-таки решился, прыгнул и... вывихнул ногу.

После спектакля ко мне подошёл один из пожарных театра.

– Чего-то у тебя какой-то трусливый тигр получился, всё время поджимал хвост.

Кстати, ещё раньше, на съёмках фильма «Человек идёт за солнцем», где у жены была небольшая роль, режиссёр спросил меня:

– Мотоцикл водить умеешь? – и, когда я утвердительно кивнул, объяснил, что надо делать.

А надо было всего-навсего подъехать к героине, подождать, пока она усядется на заднее сиденье, и отъехать.

– К сожалению, твоего лица зритель не увидит, съёмка со спины, – сказал режиссёр, но меня вполне устраивало войти в кинематограф и в таком виде, тем более что жена снималась, а я торчал на съёмочной площадке и изнывал от безделья.

Чтобы произвести впечатление на режиссёра, я уселся на мотоцикл, распрямил спину и рукой описал в воздухе дугу, показывая, какой исполню вираж. И надо же! Перед самой съёмкой появляется мотоциклист на иномарке в шлеме и кожаной куртке, с осанкой голливудского ковбоя (и откуда он взялся?!). Понятно, режиссёр сразу ухватился за более выигрышный вариант, мне же сказал:

– До свидания! Не печалься!

А я и не печалился. Чего мне было печалиться, ведь я не смотрел на актёрство как на смысл жизни. Просто было немного обидно, что у меня так бесцеремонно отняли роль. К тому же я уже настроился утереть нос жене, доказать, что не она одна может сниматься, что моя морская душа гораздо шире, чем она думает.

Что и говорить, как актёру мне крупно не повезло, зато невероятно повезло как музыканту – можно сказать, на музыкальном поприще я хлебнул славы. Как-то наш театр давал спектакль во Дворце съездов. За час до спектакля артистам и работникам театра приказали не выходить из артистических уборных, пока солдаты с миноискателями не «прощупают» здание. После этой процедуры я прошёлся по сцене, осмотрел декорации – всё было в порядке – и вдруг увидел за кулисами зачехлённый рояль. Подойдя к инструменту, я откинул чехол – передо мной красовался «Стенвей». Только я начал что-то поигрывать, как из-за кулис выглянул пожарный:

– Молодой человек! Вы того, осторожней на инструменте!

– Почему?

– Да ведь его только недавно привезли из Америки. На нём всего один человек играл-то.

– Кто же?

– Этот, как его? Ван Клиберн!

Вот так. Я был вторым, значит.

В то время одно за другим открывались кафе, в которых играли джаз. Мой друг пианист Валерий Котельников по вечерам играл в «Синей птице»; я был его постоянным слушателем. Однажды только захожу в кафе, как мой дружище подлетает:

– Тебя послал бог! Пощипи бас! Наш басист не пришёл, а в зале комиссия из Москонцерта!

– Но я никогда не держал его в руках!

– Да кого это волнует! Главное, чтобы единица была на месте.

Пришлось лезть на сцену. Хотя какую сцену? Возвышение три на три метра. Это после вахтанговских-то просторов! И всё кафе – лишь большая комната с десятком посетителей, включая «прослушивающих». Мой друг начал играть, ударник зашуршал щётками, я старался в такт перебирать струны. Ничего, отыграл; даже сорвал аплодисменты – какой-то подвыпивший слушатель похлопал и показал мне большой палец.

Что и говорить, в те годы у меня была насыщенная жизнь и я не очень переживал, что мало занимаюсь живописью. «Ещё успеется», – успокаивал себя. Яснее ясного – я поступал не просто легкомысленно, а глупее не придумаешь, и если многие признания облегчают душу, то признание такого рода только утяжеляет её.

РАБОТА «ДЛЯ ДУШИ»

Работая в театре Вахтангова, я «освежал» задники и в других театрах, причём выполнял работу на любых условиях. Другие исполнители заламывали огромные суммы, а я брался за «сколько дадут». Слух обо мне, непривередливом, прокатился по всем театрам и докатился до театра имени Маяковского. Там мне предложили заведовать декоративной мастерской. Я чуть не задохнулся от свалившейся удачи и бросился осваивать новую высоту.

Два сезона я заведовал мастерской и страшно гордился своей должностью. По сути это был самый высокий пост, который я когда-либо занимал. За это время в моей личной жизни произошли немалые перемены – я заимел собственную комнату на окраине, приоделся и, конечно, купил полуботинки, о которых мечтал. Эпов всё чаще «выво-

дил меня в свет» (Дом актёра), где знакомил с актёрами (с актрисами не знакомил).

А в театре я работал с художниками Кулешовым, Васильевым, Сумбаташвили; в застолье после премьер сидел (опять-таки чуть ли не в обнимку) с Охлопковым, Свердлиным, Хановым, так что моя слава (как примкнувшего) удвоилась, если не утроилась, – правда, об этой славе знали только соседи по квартире (я доставал им пропуска на спектакли), но мне и этого было достаточно.

Наконец-то я утвердился как работник театра и, главное, стал владельцем собственной комнаты. Моя жизнь стала похожа на мечту. Теперь можно было делать работы «для себя».

Каждый знает, в мире есть добро и зло; я решил хотя бы немного добавить добра и начал старательно упражняться в иллюстрациях, в надежде когда-нибудь оформить детскую книгу, – что, как не она, несёт осязаемое добро? Меня давно тянуло в книжную графику для детей, в многоцветный мир, где реальность переплетается с фантазией, а конкретность с условностью (герои сказок жили в цветах, плавали на бумажных кораблях, летали среди облаков; герои рассказов попадали в невероятные переделки). «Вот где неограниченные возможности для выдумки, – рассуждал я. – И нет работы интереснее».

Ко всему в то время только в детской книге допускались условность, стилизация, определённый подтекст (именно поэтому в детскую литературу ринулись десятки людей, которых не интересовали ни дети, ни природа, ни животные – для них главным было обозначить своё «я». Позднее некоторые из этих лицедеев даже стали известными и получали на Западе премии – не столько за талант, сколько в пику реалистической школе рисования и письма, давали с пояснением: «Это не традиционно, ни на что не похоже»). В богемной среде часто доходило до идиотизма – всякий негатив приобретал известность; всё, что не признавалось официально, считалось талантливым, а что признавалось – естественно, чепухой. Не случайно академик живописи Корин говорил:

– Пикассо – шарлатан, а всё современное искусство – сплошное надувательство.

Кстати, Пикассо и сам признавал, что занимался шарлатанством, «поскольку это приносило славу и деньги», а себя считал «развлекате-

лем публики». И Сальвадор Дали говорил: «Я знаменит и богат, потому что слишком много дураков».

В общем, я начал работать «для себя». Ясно, «для себя» – это работа, которую художник делает не по «заказу», а «для души». Эта работа может нравиться другим или нет, за неё могут платить деньги или не платить, но такая работа приносит художнику удовлетворение. И только такая. Если же художник выполняет работу «против себя», то, даже получив за эту работу огромные деньги, он не испытывает удовлетворения. Конечно, настоящий художник.

Я от своей домашней работы испытывал небольшое удовлетворение. Таким оно было потому, что у меня мало что получалось – я только начинал серьёзно заниматься графикой. Но из театра я прямо-таки летел в свою комнату. Случалось, уставал на работе; случалось, друзья забывали обо мне и подолгу не заходили в театр; случалось, девушки не обращали на меня внимания – но я сильно не переживал, ведь дома, на рабочем столе меня ждали такие друзья, такие девушки, такая жизнь!

Я любил свой рабочий стол – покорябанный, в шрамах и ожогах от сигарет – небольшой деревянный квадрат, но стоило за него сесть, как он безгранично расширялся и перед глазами плескались волны, шумели леса, шуршали пески. Я превращался в животных и растения и проживал несколько жизней одновременно: был счастливым и несчастным, бедняком и богачом, совершал увлекательные путешествия, побывал во многих странах.

В выходные дни вставал на рассвете, когда еле обозначался оконный переплёт, и сразу спешил к столу. К тому времени, когда всходило солнце – всегда в окне огромное, с автомобильное колесо, – я уже успевал сделать десяток рисунков.

В какой-то момент я увлёкся «белыми натюрмортами»: писал предметы почти в одном цвете, где всё строил на тонких отношениях между полутонами; в белую краску добавлял чуть-чуть голубой, зеленоватой, розовой. Чтобы уловить оттенки, вначале делал на картоне подмалёвок и подносил его к зеркалу. Обратное отражение сразу выявляло существенные погрешности. В то время я был уверен, что этот метод придумал первым в мире, но позднее узнал, что изобрёл велосипед, – им давно пользовались многие художники.

В выходные дни работал довольно долго и уставал, но это была приятная усталость – ведь работа шла в радость.

Кстати, я никогда не понимал творческих людей, которые жаловались на «изнурительную работу» над красками, рукописями; не понимал актёров, которые вздыхали: «Работа измучила, наш каторжный труд, тяжёлый хлеб». Мне кажется, любимая работа не может быть тяжёлой. Тяжёлая работа та, которую выполняешь против желания. Скажем, ради денег. Например, тяжело работать сторожем: сидеть, ничего не делать, смотреть на часы. И вообще, по-моему, не совсем правильно творчество называть работой. Всё-таки творчество – это созидание, которое невозможно без вдохновения, а работа – это дело, для которого достаточно одного мастерства.

Став заведующим, я писал только задники к новым спектаклям; обновляли старые декорации и попеременно дежурили на спектаклях мои помощники: Володя и Зарик. Им было по двадцать лет, мне на шесть больше. У нас сразу сложились дружеские отношения.

Володя к живописи относился с прохладцей – не то что не любил «махать кистью», как он выражался, но и особенно к ней не рвался, и всё делал недоброкачественно. Он состоял в обществе «любителей икон». Я видел это общество: важные молодые люди, с печатью загадочности на лицах. Они всё время торжественно молчали, только рассматривая иконы, изрекали что-то о «тактических ходах и строях». Я думал – пытаются раскрутить, раскодировать мысли иконописцев, но на поверку выяснилось: иконы для них всего лишь источник дохода; они шастали по деревням, за бесценок скупали «доски» и перепродавали их иностранцам.

Я не раз предупреждал Володю, что эта деятельность до добра не доведёт, но он, глухая душа, только отмахивался.

Зарик готовился поступать в художественное училище и самозабвенно «изучал костяк»: рисовал скелеты и «натюрморты с черепами». (У него была уникальная коллекция черепов: от мышиных и кошачьих до лосиного). Как ни странно, его работы никаких мрачных мыслей не вызывали. Но однажды Зарик выкинул дурацкий номер: с кистью скелета пошёл в магазин и, когда кассирша выдала ему сдачу, сгрёб деньги костяшками. Кассирша заорала диким голосом, а Зарика отвели в милицию и крупно оштрафовали «за мелкое хулиганство».

Когда не было работы, Зарик говорил мне:

– Я, пожалуй, поеду на этюды. Не возражаешь?

А Володя заявлял:

– А у меня свидание. Я пошёл. Не волнуйся, на спектакле отдежурю как штык (у него каждый день были свидания).

Они уходили, а я, чтобы не терять время попусту, пытался заниматься графикой. Но только присядешь, кто-нибудь заглянет, попросит краски, или что-нибудь нарисовать, или просто начнёт трепаться. Несколько раз, когда не было работы, я тоже уходил из мастерской. Перед премьерой мы работали без передышки, даже ночами и декорации сдавали раньше срока. Володя говорил:

– Наша тяжёлая команда вкалывает как папа Карло.

«Но когда нет работы, зачем зря высиживать?» – рассуждал я. Директор театра, «вождь труппы», не разделял мою точку зрения.

– Я всё понимаю, голубчик, – предельно ласково сказал он мне. – Я доволен вашей работой, но, понимаете, чтобы не было лишних разговоров, надо присутствовать. Как говорится, «для мебели». Такая особенность. Надо, голубчик, создавать видимость работы, видимость созидательной активности (он давал мне возможность для почётного отступления, но я, дуралей, этого не усёк).

Из-за этой «видимости» я в конце концов и ушёл из театра, как бы прыгнул с чужого корабля – именно с корабля, ведь перед этим ещё кое-что произошло.

СМЕШНЫЕ И ГЛУПЫЕ ФАНТАЗИИ

Известность художника Леонида Андреева шумно носилась по Москве, а в прикладном училище, где он преподавал и где готовили гримёров, бутафоров и костюмеров, – попросту сотрясала воздух. Естественность, романтическая приподнятость и насмешливая доброта – все эти живописные достоинства притягивали к нему людей; студенты и вовсе в нём души не чаяли. Он был знаменитым, а я всего-навсего считался надёжным исполнителем, но это не мешало нам дружить.

Однажды он прибежал ко мне в театр.

– Давай выручай! Мне надо срочно ехать в Воронеж – там делаю спектакль. Пойдём в училище, прочитаешь за меня лекцию.

– Какую лекцию? – забеспокоился я. – О чём? Я никогда не читал никаких лекций.

– Выручай, говорю. Два часа поболтаешь со студентами о театре, и всё. Лепи что хочешь.

Короче, он уговорил меня, и я поплёлся с ним на это мероприятие.

Надо сказать, некоторых студентов того училища в наш театр уже присылали на практику, то есть кое-какой навык общения с ними я имел и шёл на лекцию без особого волнения, но допустил промах – забыл, кто учился в том заведении. А студентами там были в основном сыновья и дочери актёров, не прошедшие по конкурсу в театральные институты и рассматривающие училище как временную вспомогательную труппу, из которой прыгнут на сцену.

Андреев представил меня и удалился. Студенты немного поулюлюкали, затем небрежно развалились на стульях, всем своим видом давая понять, что театр знают не хуже «лектора» и готовы, ради осмеяния, задать ему забористые вопросы. Одни из них взирали на меня с едкими улыбочками, другие тускло, с унылым безразличием, третьи притворно позёвывали, изображая уставших от всякой учёбы.

«Им объяснять, что такое театр, бесполезно, лучше поговорить о том, что обычно волнует в их возрасте», – подумал я, усаживаясь за стол и чувствуя прилив уверенности, словно меня назначили капитаном корабля, отправляющегося в плавание по жизни, а в команду набрали избалованных юнцов.

– Я никогда не читал лекций, поэтому давайте просто побеседуем. Спрашивайте, что вас интересует, – начал я очень воодушевлённо, прямо-таки ощущая в руках штурвал корабля, и, выдержав паузу, уже совсем зримо выводя корабль из бухты, шутиливо добавил:

– Я как раз в том возрасте, когда знают ответы на все вопросы.

– Так вы из театра Маяковского? Актёр, да? – дурачась, в качестве разогрева спросил один парень. – Я вас видел в одном фильме.

Корабль явно подстерегали подводные рифы, но я не потерял самообладания и начал умело лавировать:

– Где и кем я работаю, вам сказал ваш преподаватель и мой друг. И в кино я никогда не снимался. Актёр из меня не вышел бы. Для это-

го нужно иметь призвание, а не только наследственность (я намекал вполне определенно).

Мои галсы выглядели неплохо; дальше я привёл в пример великих актёров (Щепкина, Сандунову), выходцев из простой среды, и несколько сбил спесь с именитых отпрысков.

– А каким должен быть актёр? – уже серьёзно спросил вихрастый парень.

Похоже, мне удалось вывести судно из опасной зоны, и я взял курс в открытое море.

– Думаю, главное в искусстве – это искренность, – в форме рассуждения проговорил я и дальше повторил рецепты своих наставников по художественному училищу.

Студенты притихли – я понял, что поймал попутный ветер, и подумал: «Как здорово у меня всё получается, и почему раньше Андреев не приглашал меня?»

Довольный своим настроем, я стал рассказывать о мастерах сцены, с которыми работал, но вскоре по усмешкам слушателей понял, что взял не совсем верное направление; пришлось чуть повернуть штурвал.

– Вообще, актёр – самая зависимая профессия, у него вечный экзамен. Нам, художникам, легче. Никто не мешает делать работу для себя. А, как известно, быть независимым – огромное счастье.

Корабль на всех парусах благополучно пересекал водное пространство. Небо было синее, погода тёплая.

Кто-то с последнего ряда спросил, каких художников я люблю. Я ответил с бесшабашной смелостью и добавил, что привязанности и убеждения человека меняются.

– Вспомните себя подростками. Наверняка теперь у вас другие кумиры, а над прежними теперь просто смеётесь, – мой голос звучал спокойно и ровно. – И теперешние ваши взгляды изменятся.

– Поспорю! – выкрикнул парень в очках. – Как раз первые увлечения самые ценные и стойкие. И первые впечатления самые верные.

Я тяжело вздохнул. Беззаботное плавание, каким представлялась беседа, превращалось в мучительную болтанку среди волн, но я всё-таки выбрался на спокойную воду.

– Так-то оно так, но всё же только с годами складываются чёткие взгляды, убеждения...

– Талант надо поддерживать или нет? – спросил кто-то.

– Да редко у каких талантов тепличные условия. Многие с трудом пробиваются, – изрёк я банальность и добавил: – Куинджи два раза не принимали в Академию, Ван Гог за всю жизнь продал одну картину.

Потом, вспомнив, как Снегур натаскивал меня, слово в слово скопировал его изречения:

– Где, когда таланту сразу везло? Но в борьбе за своё «я» закаляется дух. Талантливый и в неудачах черпает материал для работы. Было бы что-нибудь в голове, а работать в любых условиях можно. Главное – не унывать, – с улыбкой, как и подобает всезнающему морскому волку, заявил я и, выпятив грудь, пропел: «Жил отважный капитан...».

Но аудитория не оценила моей морской души и протестующе завизжала, послышались реплики:

– Забавный пират! Хохмач! Пудрит нам мозги!..

Несмотря ни на что, я достаточно уверенно вёл корабль к цели, и погода была как по заказу. Лицо обдувал лёгкий бриз. Я улыбался, изображая многоопытного скитальца морей, отмеченного блеском былых побед. Но внезапно на горизонте сгустились тучи.

– А что такое счастье? – неожиданно спросила рыжая девица.

Студенты зашумели, вокруг потемнело, налетел шквальный ветер.

– Счастье в том, чтобы иметь любимое дело. Ну и, как говорили древние, посадить дерево, построить дом, воспитать ребёнка...

– И это называется счастьем?

– Пожалуй. Ведь если знаешь, чего хочешь, и идёшь к цели... Это тоже счастье. Сам путь... – я бестолково выдавливал слова, чувствуя, что обшивка корабля трещит по всем швам.

– Ну и счастье встретить своего человека, единомышленника, друга, – я бормотал бессвязно – корабль дал течь и, получив крен, беспомощно рыскал среди пенистой, вздымающейся массы.

Парень в очках махнул рукой.

– Вот я не совсем ясно представляю свои желания и планы, но точно знаю, чего не хочу.

– Хочется побывать за границей, – пропела соседка парня.

– Ещё побываете, – я вновь попытался изобразить широкую капитанскую улыбку. – Но все мы и без путешествий причастны ко всему, что происходит в мире. Как сказал философ, «Трещина, которая раздирает весь мир, проходит через твоё сердце».

Я почти выровнял корабль, как вдруг рядом пронёсся смерч, обрушив на палубу лавину воды; судно губительно завалилось набок.

– У меня вопрос, – руку подняла сидящая в царственной позе блондинка, холодная красавица. – А как вы относитесь к любви? Она есть, или есть только секс и привязанность?

– Какая любовь?! Сказанула тоже! – поднялся шум – моя команда взбунтовалась, я завёл корабль чёрт-те куда.

– Любовь есть бесспорно! – стараясь перекричать гвалт, бросил я, но мои матросы уже прыгали в шлюпки, покидая тонущее судно. Вслед за ними и я нырнул в пучину, а вынырнув, стал озиаться в поисках своей посуды, но она уже ушла на дно.

– Есть настоящая любовь, – захлёбываясь, бормотал я. – Недавно встретил одного приятеля. Они с женой сильно любят друг друга, хотя прожили вместе уже одиннадцать лет. «Счастливчик ты», – говорю. А он мне: «Так это мы друг друга сделали, построили наши отношения, лепили друг друга, как скульпторы. А вначале всё было сложно, несколько раз даже порывались разводиться».

Меня уже не слушали – я произносил слова в свирепое морское пространство. Покинутый, опозоренный, я плыл в волнах, но спасительного берега не видел.

– Теоретик! Слабая база! – крикнул кто-то со шлюпки, и до меня донёсся насмешливый хохот.

– Я бывалый капитан... И скажу вот что: неверно, что любовь бывает только раз. Бывает и вторая, и третья любовь... И они не менее достойны первой... Поскольку с годами повышается избирательность. Но хватит об этом, совсем разболтался. Последнее время я что-то стал страшным болтуном. Дайте передохнуть, доплыть до суши.

– Крепче всего запирают свои души те, у кого в них ничего нет. Это, кажется, изречение виконта де Лилля, – внезапно сказала темноволосая девушка с бледным лицом.

До этого она молча сидела у окна. Я посмотрел в её сторону и увидел залитую ярким солнцем безмятежно-спокойную полосу земли.

– Спасибо за поддержку, – пробормотал я, подплывая к берегу.

В этот момент в других аудиториях закончились занятия, в коридоре захлопали двери. Мои слушатели вскочили с мест, но тут же потребовали, чтобы после перерыва я продолжил «лекцию», поскольку у них по расписанию ещё один свободный час, а со мной «клёво сачковать».

– Хорошо, – согласился я, почувствовав под ногами твёрдую почву. – Конечно, на вашей стороне абсолютный численный перевес, но ладно... только где у вас буфет? Нужно выпить кофе, а то так наглотался воды, что голова кружится.

Окружённый студентами, пошатываясь, я направился в буфет, но меня вдруг вызвали в деканат. Кто-то донёс, что я читаю «безнравственную лекцию», и декан, хмуро оглядев меня, пообещал сообщить о моей «безответственности» в дирекцию театра.

Это была моя первая и последняя лекция, бесславное, изнурительное плавание. Через несколько дней, выходя из театра, я заметил темноволосую девушку с бледным лицом; она стояла, прижавшись к водостоку, и настороженно смотрела на меня.

– Здравствуйте! – услышал я и сразу узнал свою спасительницу, девушку, которая сидела в аудитории у окна и сказала мне, тонущему, ободряющие слова.

– Ты кого-нибудь ждёшь?

– Да. Вас, – она серьёзно посмотрела мне прямо в глаза, и до меня всё дошло.

Я вспомнил её тревожный взгляд во время лекции, вспомнил, как она нервничала, когда меня атаковали вопросами её сокурсники, как протянула руку помощи. «Она влюбилась, – мелькнуло в голове. – И решила признаться».

– Ты хочешь ещё задать мне парочку вопросов? – я неуклюже попытался пошутить.

– Нет. Я к вам с просьбой. Вы сказали, что наш преподаватель ваш друг. Пригласите меня как-нибудь к нему в гости... Мне наскучила роль студентки-отличницы, пусть он увидит во мне женщину...

«ВЕСЁЛЫЕ КАРТИНКИ»

После театра я окунулся в потрясающий мир художников-юмористов, клан неиссякаемых выдумщиков и едких насмешников. Этот клан можно представить в виде облака с электрическим полем юмора, попадая в которое невольно трясаешься от смеха. Назывался клан: журнал «Весёлые картинки», а возглавлял его бородач с едкой ухмылкой – Виталий Стацинский, который рисовал «штампами», имел неважный характер, но был пробивным организатором.

Говорят, юмористы в жизни – мрачноватые люди. Чепуха! Ответственно заявляю: юмористы, которых я знал, были приветливыми и компанейскими людьми. Стараясь не обижать других художников, скажу: находиться в кругу юмористов – праздник.

Юмористы все разные по характеру, и для одних юмор – естественное состояние духа, показатель крепкого здоровья; такими они родились – со склонностью подмечать всякие нелепости. Разумеется, глядя на эти нелепости, мы догадываемся, как должно быть. Для других юмор – стремление скрасить нашу жизнь, показать, что она состоит не только из проблем и борьбы. Для третьих – своего рода защита от незащищённости. Такие художники слишком близко всё принимают к сердцу, и юмор для них – прикрытие своей ранимости.

– По части юмора мы переплюнули многие страны, на все случаи жизни имеем анекдот, – говорил юморист Владимир Каневский, большой знаток анекдотов. – Может, оттого что у нас только на юморе и можно продержаться.

Каждый юморист имел свою манеру рисования. Жуткие курильщики Анатолий Елисеев (весельчак, спортсмен и актёр вспомогательного состава) и Михаил Скобелев (фантазёр вроде Мюнхаузена) черкали размашисто, точно фехтовальщики; их рисунки (порывистые линии, «мерцание контрастных пятен») выглядели небрежными; главным богатством они считали тему, то есть мысль, которую несёт рисунок.

Интеллигентный, предельно учтивый англичанин Андрей Брей рисовал пластично и мягко, от его зверей было трудно оторвать взгляд.

Степенный ленинградец Юрий Васнецов слыл «мастером сказочных сюжетов». Смешно сказать, в детстве я воспитывался на его рисунках,

а теперь работал с ним бок о бок, и мастер никогда не подчёркивал огромное расстояние между нами, держался естественно и скромно.

Олег Теслер (любитель джаза, меломан) и Рубен Варшамов (яхтсмен, перевязанный «собачьим» шарфом от радикулита) рисовали монументально, в полном смысле этого слова, хотя у первого юмор был чёрный (на рисунках вечно что-то взрывалось и рушилось), а второй слыл специалистом по динозаврам (у него аборигены соседствовали с гигантскими чудовищами). Оба художника имели чёткую позицию, что-то решали раз и навсегда. Например:

– Хорошая выставка, без всяких мерцаний, завихрений.

Или:

– Плохая выставка, что чудят?

Марьяна Рябиндер писала картины-обманы; писала скрупулёзно и до такой фотографичности отделяла детали, что некоторые зрители пытались смахнуть нарисованных букашек и капли. Её излюбленной темой были добрые и злые карлики – гномы и тролли. Вдобавок Рябиндер делала прекрасные украшения и просвещала нас по части камней:

– Жемчуг – камень горя и слез, янтарь – вселяет радость, бирюза – успокоение, душевный комфорт...

Интересно рисовал Виктор Чижиков, юморист, похожий на киноактёра, – на него засматривались все женщины. Чижиков рисовал комиксы. Он сделал отличную серию – «Я и Наполеон», где с императором побывал на рыбалке, в бане – и всё не выходя из границ приличия. Затем он сделал серию «робких и зловещих» котов, и стал известен всей Москве, а вскоре выдал «олимпийского медведя» и прославился на весь мир.

Из всего братства «Картинок» несколько выбивался самоуверенный Виктор Пивоваров. Он был безразличен к миру детей и животных (мог нарисовать цаплю, шагающую «коленями» вперед!); в журнале (и в детских издательствах) он выступал как формалист и являлся одним из тех, кто шёл в авангарде разрушителей реализма. Стацинский, который тоже шествовал в этом авангарде, часто, «чтобы показать властям фигу», привлекал в журнал скандальных личностей. Я ничего не понимал в работах формалистов, а сейчас и вовсе считаю – их работы никогда не впишутся в русскую культуру.

Ещё будучи студентом, Пивоваров увлёкся чешскими иллюстраторами (в частности Бруновским) и в дальнейшем работал под них (в сорок лет вообще развёлся с женой, женился на чешской искусствоведке и перебрался в Прагу). Он называл себя «опередившим время» и в конце концов договорился до абсурда:

– «Чёрный квадрат» Малевича вызвал русскую революцию, а «Чёрный квадрат», написанный мною, вызвал революцию пражскую.

Оказывается, бывают и такие идиотские упражнения, забавы самонадеянных художников. А нам остаётся только с содроганием ждать, какая ещё блажь втемяшится им в голову.

В детской книге формализм Пивоварова выглядел неким калейдоскопом, где рисунки рассыпались на кубики, каждый из которых был насыщен цветом и имел немало привлекательных деталей, но все вместе они никак не сочетались и создавали для ребенка не гармоничный мир, а какой-то изломанный, какой-то красочный хаос. Подобные упражнения делаются для того, чтобы удивить зрителей и других художников – дети во внимание не принимаются.

Среди формалистов, работающих в детской книге, я никогда не слышал разговоров о восприятии детей, и, повторяюсь, большинство этих художников пришли в детские издательства только потому, что в них разрешалась некоторая условность. Детская книга для них была лишь ширмой, прикрытием. Ну а для взрослого зрителя они, понятно, создавали такие дебри, к которым было страшно подходить.

Раз в месяц юмористы собирались в «Картинках» на «темные» сошествия. На них мог прийти любой человек, и ему за смешную тему выписывали десять рублей. Заходили многие, но крайне редко приносили стоящее; чаще всего – перепев известных тем. Да и мы часто повторялись, вернее, делали импровизации на старую тему. Бывало, принесёшь пачку набросков, а друзья начнут обсуждать, и останется один-два. Но это обсуждение происходило замечательно: кто-то смеялся, кто-то отпускал колкие реплики, но всегда в лёгкой, дружелюбной форме. Случалось, обсуждаем слабую тему, вдруг кто-то подскажет удачный ход, кто-то добавит удачную находку – и тема превращается в маленький шедевр.

Иногда мы выступали в школах, устраивали для ребят викторины и победителям дарили открытки с изображением героев нашего жур-

нала: Карандаша, Самоделкина, Чиполлино... Нас встречали как инопланетян. Ещё бы! Живые художники из любимого журнала!

Некоторые юмористы кроме «Картинок» сотрудничали в «Аллигаторе», как мы называли «Крокодил». Таких юмористов принимали за инопланетян и взрослые. Во всяком случае, с удостоверением «Крокодила» пускали куда угодно – все боялись, что их в журнале пропесочат.

Стацинский в «Картинках» отвечал за рисунки, а главным редактором журнала был красавец мужчина Иван Максимович Семёнов, бывший моряк, знаменитый карикатурист, который к своей славе относился иронично-насмешливо.

– Не хочу быть знаменитым! – смеялся он. – Это мешает работе. На улице все пристают, журналисты лезут. Ну их в болото!

Новых художников Иван Максимович встречал по-отечески:

– Ну, сынок, расскажи анекдот. Лучше морской. А ещё лучше покажи смешной рисунок на морскую тему... И чего ты такой кислый, как мороженная треска?! Неверие в свои силёнки не способствует успеху в творчестве. Так что соберись с духом и держи нос по курсу.

Я притащил в «Картинки» кипу рисунков про Нептуна, русалок, осьминогов (не зря работал в Институте океанографии) – просмотрев их, Иван Максимович пожал мне руку:

– Принимаем в наш клан.

МАСТЕРСКАЯ-КЛУБ

Жизнь творческого человека – колоссальное напряжение, постоянная работа по отбору и запоминанию впечатлений и связанных с ними ассоциаций, воспоминаний. Творческий человек, словно аккумулятор, накапливает не только свою энергию, но и энергию других людей и разряжает её в работе. Впечатления и опыт других людей он как бы отфильтровывает, отделяя яркое от тусклого, глубинное от поверхностного. И конечно, настоящий художник всегда испытывает ответственность за то, что происходит вокруг него.

И ещё одно: сейчас в искусстве моден вычурный авангард (музыка без мелодии, живопись без рисунка, литература без сюжета), но мне

кажется, тому, кто кое-что пережил, не до выкрутасов, ему бы выразить чувства. Уж я не говорю о том, что с годами вообще тянет к простоте, классике...

Каждому человеку необходимо общение с единомышленниками, а творческому вдвойне. Ценность общения – это не только обмен впечатлениями на какие-то события, но и сопереживание, участие в другой жизни. Художник должен иметь питательную среду, где мог бы поделиться задумками, услышать профессиональный совет, отзыв о своей работе.

Как ни крути, а большинство людей плохо подготовлены к восприятию искусства, ведь умение видеть, слышать, чувствовать необходимо прививать с детства. С детства же необходимо воспитывать вкус. Слесарь или тракторист могут испытать бурю чувств от художественного произведения, но в полной мере не оценят мастерство художника, даже если у слесаря очень высокая квалификация, а тракторист – герой труда. То же самое – и художник никогда в полной мере не оценит их ремесло, несмотря на свою бурю чувств. Только профессионал может по-настоящему оценить цветовые решения, поверхностную кладку мазков, сочетание слов и звуков, угадать подтекст, намёк, уловить далекую мысль. Именно поэтому творческие люди и собираются в клубах.

На Бутырском Валу в огромном доме проживали десятки художников; в том же доме на верхнем этаже художники имели мастерские, одна из них принадлежала Стацинскому (её кто-то удачно окрестил «собранием старых ворчунов»). Мастерская представляла собой разношёрстный клуб; в ней можно было встретить поэта и кинорежиссёра, бродягу, собирателя народных поделок и кинозвезду, ну и, само собой, в мастерской собирались художники.

Два Виктора находились в центре внимания. Невозмутимо спокойный скульптор Платонов играл на гитаре, взрывной живописец Дувидов пел. В своих концертах они делали упор на классику, но расправлялись с ней чересчур вольно, временами несли отсебятину, тем не менее имели бурный успех.

В своей мастерской Платонов, с его точки зрения, «выявлял энергию в камне», с моей точки зрения – делал камень прозрачным, как лепесток. Платонов был красивым человеком и добряком, каких мало

(позднее, когда я вёл изостудию, он широким жестом отдал мне гипсовую голову Давида и множество ценных штуковин).

Дувидов слыл лучшим колористом из всей художнической публики, и – что особенно важно – он всегда был дружелюбным, сногшибательно улыбчивым, в его глазах всегда читался внутренний нешуточный праздник, яркий коктейль чувств.

Рассматривая работы этих мастеров, я думал: «Ремесленник – всего лишь способный человек, овладевший техническими приёмами, а чтобы стать мастером, необходим талант. Именно поэтому всегда заметна разница между работами ремесленника и мастера – работа мастера светится! И, главное, эта работа выполнена с такой простотой, что самого мастерства и не видно. Только долго приглядываясь, можно различить некоторые тонкости, но не все. В этом-то и состоит волшебство!»

Часто в мастерскую заходили художники Николай Попов и Борис Гуревич; оба имели мастерские (первый – отличную, получше многих квартир, и в центре, рядом с улицей Герцена; второй – вполне сносный трёхкомнатный полуподвал, недалеко от Театра на Таганке); к Стацинскому они приходили «для общения».

Мускулистый Попов, похожий на боксёра-«мухача» (когда-то он и в самом деле боксировал), по его словам, испытывал в творчестве то подъёмы, то спады, то окрылённую фантазию, то фантазию с подрезанными крыльями. Потому временами писал картины с сильной оптимистической струёй и духом геройства и тогда, входя в мастерскую с видом триумфатора, устраивал буйное веселье, изъяснялся вольно, без единого художнического слова. А временами впадал в религиозные искания, бегал в церковь святить воду, картины писал в умеренных тонах, а то и вовсе в унылых, наводящих тоску, – какие-то руины, которые оставило время, и тогда, понуро входя в мастерскую, не поднимал глаз от пола и имел вид боксёра в нокадауне.

Гуревич молодость провёл в крайней бедности и потом, в зрелом возрасте, писал картины в «солнечных» тонах и носил только жёлтые рубашки; и в квартире устроил «солнечную энергию»: яично-жёлтые обои, охристая мебель, рыжий кот. И на даче Гуревича постоянно светило солнце: жёлтый дом и забор, жёлто-бурые тыквы, подсолнухи, нарциссы, по участку летали бабочки-лимонницы. Как и Снегур,

Гуревич служил на флоте и тоже кое-где побывал. Когда он рассказывал о странах Средиземноморья, передо мной открывался горизонт и шальные мысли о странствиях не давали покоя.

Почти каждый вечер к Стацинскому заглядывал Борис Жутовский (его мастерская находилась на том же этаже); заглядывал ненадолго – у него, моторного, вечно было дел невпроворот. Надолго он заходил только к диссидентам, поскольку и сам находился в жёсткой оппозиции к властям. Жутовский считался крепким графиком, рисовальщиком со своей манерой; он проиллюстрировал сотни книг, но смотрел на эту работу как на заработок, а душу отводил в абстракциях – их настряпал невероятное множество – я в них абсолютно ничего не понимал.

Крайне редко заходил и Илья Кабаков; он являлся ещё более вздрюченным, чем Жутовский, но если у графика было неплохо подвешен язык и временами он слушал других, то живописец нёс какую-то ахиною и балаболит часами, не давая другим вставить слово. В пределах Садового кольца у него была приличная мастерская, где он время от времени делал детские книги (декоративные, в заливку по контуру), но большую часть мастерской занимали инсталляции с ключами, консервными банками, окурками – художники-реалисты рассматривали эти штуковины с напускным интересом, а за спиной «мастера» считали «собачьей чухью».

Яснее ясного, все авангардисты были диссидентами и только и думали, как бы уехать на Запад. То, что они делали, меркло перед полотнами Корина, Пластова, Стожарова, того же Лактионова, которого они без усталости поливали грязью.

Изредка в мастерской появлялись художники из Ленинграда: Георгий Ковенчук, Светозар Остров и Михаил Беломлинский.

Ковенчук не входил, а врвался, словно катер с Невы, и сразу всех повергал в смятение, поднимал штормовую волну. Огромный, крикливый, с неистовой жестикуляцией, он был слишком велик для комнаты – прямо вытеснял мебель и всех заслонял собой, подавлял напором – волны расшатывали мастерскую, выплёскивались в окно. С художниками Ковенчук был строг, к работам подходил с повышенными требованиями, «брал на бордаж», а по выражению кого-то из художников – «разевал львиную пасть».

– Разгильдяи! Купаетесь в довольстве, отдыхаете, сытые, – гремел он. – Талантливый всегда строг к себе! Кому много дано, с того и больший спрос. Я к себе строг как никто!

Он был великолепен в своём «праведном гневе» (к сожалению, себе прощал многое и постоянно хвастался, что Клод Лелуш, будучи в Ленинграде, из-за него задержал концерт). Взбаламутит мастерскую, перевернёт всё вверх дном и хлопнет дверью, спешит в другие мастерские – «поднимать настроение» там. По слухам, он и родных держал в страхе. И не терпел, когда на него повышали голос. Ковенчук тоже увлекался авангардом и сокрушался, что у нас, на родине этого явления, нет музея «современной живописи».

Скромник Остров, незаметный, неброский (но сильный цветовик), говорил тихо, иногда шёпотом и в задумчивой отстранённости:

– Испытываю мощный восторг! – если работы нравились.

– Замысловато! – если не нравились.

– Испытываю чувство досады! – если видел безвкусицу.

После каждого высказывания Остров доставал из куртки фляжку с коньяком и делал глоток (приятелям никогда не предлагал).

На утончённом до рафинированности Беломлинском лежала тень Исаакиевского собора – так он был благороден. Пока Ковенчук полыхал, а Остров нашёптывал, он царственно сидел в кресле, внимательно слушал, наклонив голову набок, и улыбался. Но вскоре я убедился, что Беломлинский и не слушает вовсе – только делает вид, а думает о своём (позднее, когда он перебрался в США, стало ясно, о чём он думал).

Заходил в мастерскую и Юрий Копейко – один из вождей Союза художников – светлоглазый, лысый здоровяк, балагур, вечно подтрунивающий над друзьями, но не ядовито, а с легкой иронией. В компании Копейко демонстрировал талант лидера. Бывало, рассматриваем чьи-либо рисунки, одни художники строят разные гримасы (восторженные или кислые), другие бормочут что-то невнятное, Копейко сразу выдаёт:

– Здесь нет крепкого рисунка. И цвет пестрит. Рукоделие бабуси.

Или:

– А здесь – то, что надо. Всё грамотно. Здесь полёт души.

Копейко объездил весь мир и имел мастерскую более впечатляющую, чем пристанище Стацинского, – всё чердачное пространство

большого дома на Басманной, с камином, бильярдом; в мастерской библия соседствовала с книгами о космосе, фотография жены Копейки – с коллекцией бабочек, шаржи на друзей – с фигурками слонов, этюды, написанные художником в экзотических странах – с пейзажами русского Севера. Собственно, и сам хозяин мастерской отличался многогранностью: он был заядлый автомобилист, кошатник и собачник, не верил в приметы и нечистую силу, но посещал Елоховский собор. И его веселость уступала место серьезности, когда он брал в руки гитару. Подчеркивая важность момента, он долго настраивал инструмент, хмурился, надувал губы, прокашливался и, наконец, выдавал какой-нибудь старинный романс.

Однажды в издательстве «Малыш» выходила моя книжка «Зоопарк моего деда», и Копейко, будучи главным художником издательства, предложил мне самому сделать иллюстрации. Я сделал. Копейко всё одобрил, но три рисунка отложил.

– Здесь надо подправить, – заявил. – Здесь нужна рука большого мастера.

На следующий день он собрал в мастерской Лосина, Моница и Перцова, раздал им мои рисунки, а мне бросил:

– Пока они вкалывают, беги за бутылкой, надо же обмыть работу.

Когда я вернулся из магазина, Лосин уже «расцвел» моего петуха, Моница придумал «живописности» деревьям, Перцов «облагородил» мальчишку. Понятно, мои рисунки сразу «заиграли», и я возгордился совместной работой с большими мастерами. Ну, а потом, само собой, мы «обмывали» работу, произносили тосты «чтобы зарядить напиток энергией», и слушали романсы в исполнении хозяина мастерской. После выхода «Зоопарка», если кто-нибудь хвалил книжку, Копейко пояснял:

– Это результат коллективного творчества, – и, кивнув на меня, смеялся: – Но его рисунки не портят общего впечатления.

Заглядывали в мастерскую Стацинского и «гении» – те, кто без всякого стеснения так себя называли. В их числе художники Юрий Куперман и Отарий Кандауров, испытывающие жадную потребность прославиться и выглядевшие довольно смешно в своём напыщенном величии; они вели себя нескромно, даже нахально. Первый, на редкость практичный, пробил себе мастерскую в Зачатьевском монасты-

ре – жил среди русской культуры, но при случае насмехался над ней. Это не просто удручало, это вызывало гнев. Второй таскал с собой лунный камень, излучавший холодный мутноватый свет и оберегавший владельца от всяких неприятностей; таким же мутным светом были освещены и его картины (водоросли, ракушки, утопленники). Это вызывало недоумение.

Оба художника с удовольствием говорили о себе; при встрече с ними я старался поскорее закончить разговор, а распрощавшись, облегчённо дышал, словно сбросил тяжёлую ношу или выбрался из сырого подвала на солнечную улицу.

Бывал в мастерской и Владимир Зуйков, с лица которого не сходила напускная многозначительность, ледяной взгляд никогда не теплел. Он делал работы не хуже, не лучше других, но хотел казаться айсбергом. При встрече не раз извещал меня горячим шёпотом:

– Я значительный художник. Думаю, даже гениальный.

Только, когда вода сошла (авангардистам разрешили выставляться) и всё обнажилось, никто ничего особенного у художника не увидел. В общем, айсберг оказался пенопластом.

Однажды по каким-то делам к Стацинскому зашёл Ролан Быков; в нашем обществе он провёл часа два, и всё это время я испытывал тягостные чувства. Одному художнику, как лакею, он отдал пальто:

– Повесь на вешалку!

Другому небрежно бросил:

– Поддай карандаш!

Недоступность, важность, непомерная надменность исходили от этого маленького некрасивого человека. Когда его о чём-то спрашивали, отвечал с презрительной гримасой, не глядя на спрашивающего, на ценные реплики поджимал губы:

– Надо же! (и как, мол, ты, дурак, до этого догадался).

От посещения актёра и режиссёра осталось гнетущее впечатление – более ожесточённого, ядовитого человека я ещё долго не встречал; он убедительно продемонстрировал «комплекс карлика».

Зато там же, у Стацинского, я познакомился с не менее известным киношником оператором Вадимом Юсовым. Вот уж кто держался великолепно! Легко, свободно, с достоинством, но без снобизма. Голубо-

глазый великан, талантище, как никто преданный кинематографу, он свои сногшибательные успехи сводил к шутке:

– Всё зависит от умения ладить с людьми.

Он не подавлял ни своей массой, ни величиим духа – наоборот, был предельно прост и доброжелателен, и всё, что рассказывал, вызывало у нас жадный интерес. Помнится, мы вдвоём вышли из мастерской, и мне всё хотелось оттянуть время, чтобы подольше побыть с ним. Позднее мы встречались в Доме журналистов и в магазине «Инструменты» на Кировской (Юсов строил дачу, а я катер), и каждый раз он говорил со мной, как с близким другом, будто мы знакомы десятки лет и нет никакого различия между ним, знаменитостью, лауреатом всяческих премий, и мной, никому не известным. Ну ладно, когда мы толковали о досках, шурупах, но ведь он и об искусстве говорил со мной как с равным – что-то спрашивал, советовался. Он явно завышал меня, вселял в меня уверенность, что и я могу чего-то достичь – пусть не сейчас, когда-нибудь, в чём-нибудь.

Дважды мастерскую посещала переводчица Галина Лихачёва. Вначале в проёме двери показывалась её шляпа, из-под которой лучились светлые глаза, потом накрахмаленная кофта и отутюженный серый пиджак, потом она появлялась вся, вежливая и умная. Однажды одному художнику она сделала подстрочник английского текста, потом другому перевела письмо из Франции, третьему прочитала инструкцию – «Пользование немецкой темперой» и ещё произнесла какие-то слова на языке аборигенов Папуа-Гвинеи.

Всего один раз в мастерскую робко, словно мотылёк, впрорхнула задумчивая любительница поэзии художница Лидия Стерлигова (она рисовала «чувственные» картинки: «зелёные городки», «яблоневые деревушки»). Пока мы болтали, Стерлигова сидела у окна и смотрела на «тревожный закат», а с наступлением темноты предложила побродить по улицам... «насладиться романтикой ночного города».

Больше она не приходила. «Всё замечательное на расстоянии ещё замечательней...» – говорила.

Перечитав этот последний очерк, я подумал: «Как же мне повезло, ведь я знал целую ораву гениев; большинство людей за всю жизнь и одного не встретят, а я за короткий период узнал человек тридцать, не меньше. К художникам, которые таковыми себя считают и о кото-

рых я уже сказал, можно приплюсовать ещё нескольких мастеров кисти, толкующих о своём величии: Юрия Нолева-Соболева, Виталия Петрова и ещё с десятка личностей, не стану всех перечислять (и так уже очерки напоминают домовую книгу коммунальной квартиры), скажу лишь – время всех расставит по своим местам, но вообще, пожалуй, самый большой талант – быть просто хорошим человеком.

ВИД НА МОСКВУ СО СТОРОНЫ ВОРОБЬЁВЫХ ГОР

В мастерской Юрия Селивёрстова возвышались бумажные храмы сложной конфигурации. Певец света и тени Селивёрстов закончил архитектурный институт, но работал художником: иллюстрировал детские книги, делал портреты русских философов. И писал стихи-молитвы, а для будущих поколений, которые по словам Селивёрстова начнут восстанавливать разрушенные церкви, проектировал храмы. Особенно впечатлял проект храма Христа Спасителя. Он был сработан чеканно, если можно так выразиться о бумажном сооружении. На месте взорванного исполина Селивёрстов предлагал соорудить стальной каркас – в точности повторяющий силуэт храма.

– Никто не воссоздаст храм в первозданном виде, – говорил он. – Не восстановит росписи, уже нет великих мастеров. А каркас будет как символ прежнего величия. А внутри каркаса надо поставить часовню, куда люди могут прийти, помолиться.

Несмотря на святые замыслы Селивёрстова, его земные дела не отличались праведностью: когда к нему заходили приятели, он доставал плавленые сырки, сигареты «Чайка»; когда же его навещали девушки, на столе появлялись американские сигареты, коньяк. Всех девушек Селивёрстов делил на «сестричек» и «сказки».

Ближайшим другом Селивёрстова являлся писатель-фантаст Владимир Григорьев, высокий, лысый, закоренелый холостяк (Григорьев был не прочь жениться, но всех своих девушек показывал матери, а той никто не нравился – похоже, старушенция просто-напросто ревновала сына, и было ясно – свадьбы не будет до её смерти). Григорьев девушек делил на «стрелки» и «балычок».

С Селивёрстовым у Григорьева были и другие существенные различия. Григорьев не скрывал, что является безбожником, но, кивая на Селивёрстова, повторял, что уважает чужие взгляды.

Григорьев тщательно маскировал лысину, зачёсывая остатки волос из-за ушей. Однажды он исчез – и объявился через полгода... с роскошной седой шевелюрой. На недоумённые взгляды приятелей сообщил, что был в Туве и шаманы дали ему бутылку какой-то мази.

– Втираю раз в неделю, и волосы прут – не успеваю стричь, – сказал Григорьев, выпучив глаза для убедительности.

Приятели уже начали клянчить волшебное зелье, как вдруг Селивёрстов достоверно заявил, что Григорьев снимался в фильме «Гусарская баллада», и у него парик.

Мы с Григорьевым жили в разных концах города, я – у «Водного стадиона», он в районе «Сельскохозяйственной выставки».

– У меня красота, – как-то сказал Григорьев. – Лихоборка под боком течёт. Сижу, рыбку ловлю.

– Какая Лихоборка? – удивился я. – Она около меня течёт.

– Правильно, и дальше через Тимирязевку ко мне. Можешь послать мне бутылку с запиской.

Я не поленился, проверил: запечатал в бутылку клочок бумаги, где назначал ему встречу у Селивёрстова. Действительно, он выловил бутылку, пришёл в мастерскую и протянул мне записку.

В мастерской Селивёрстова постоянно торчали художник Анатолий Ясинский и редактор журнала «Семья и школа» Пётр Гелазония.

Ясинский был виртуозом макета, именно он придумал внешний вид большинства столичных журналов. Всегда предельно вежливый, Ясинский во время бесед на отвлечённые темы прямо-таки страдал от избытка скромности (он и носил синие рубашки – цвета чистоты и скромности), говорил тихо, почти извиняющимся тоном. Но когда дело касалось искусства и политики, становился непримиримо резким, и, что удивляло, – даже тогда не выходил из себя, по-прежнему говорил тихо, отчего его слова звучали особенно весомо, а порой и просто убийственно. Будучи истинным патриотом, Ясинский глубоко презирал художников, которые уезжали из страны.

– Заметьте, они все не русские, – говорил он. – Они так и не пропитались русской культурой, их мысли всегда были на исторической родине. И душа там же. Их искусство чужеродное.

Когда в мастерской обсуждали чьи-либо работы, он обычно стоял в стороне и высказывал своё мнение последним.

– Дайте взглянуть, – просил и тут же выдавал: – Это не просто сырые заготовки, это какая-то дребедень! Это не имеет никакого отношения к искусству!

Его слова заставляли вздрагивать. «Дерзкий нарушитель порядка, конфликтный человек», – прозвал Ясинского кто-то из художников. И в редакциях Ясинский оставался верен себе:

– Ваше мнение меня не интересует. Берёте или нет?

До женитьбы Ясинский подрабатывал везде, где только можно, даже красил дома. Женившись, работал только в графике и во время «художнических» споров уже «полыхал» с меньшей силой. Позднее жена вообще запретила ему общаться с художниками.

– Ты выдающийся человек, – сказала, – тебе нельзя тратить время попусту.

Тучный Гелазония напоминал былинного богатыря. Доброжелательный и мягкий, он мог примирить самых непримиримых противников, при этом восклицал что-нибудь этакое:

– Нельзя нравиться всем, это противоестественно. И хорошо, что у вас разные взгляды, вы как букет полевых цветов... Завидую вам! А всё, что я делаю, – не след в искусстве, а царапины. Мне до вас так же далеко, как одуванчику до вершины дерева.

– Хорош одуванчик! Ты – баобаб! – смеялась Люба Юкина, художница-кукольница с затуманенным взглядом.

– Ты Гаргантюа, – вторил Любе её муж, график Сергей Юкин, у которого были тёмные круги под глазами. И на его картинах все предметы имели тёмную обводку и выглядели барельефами. Куклы его жены, напротив, выглядели живыми существами, персонажами с яркими характерами. Из отходов от шитья (лоскутов, тесьмы) Юкина создавала царство огромных (с подушку) пузатых мышей и птиц; из разных безделушек, пряжек, пуговиц, блёсток (у неё всё шло в дело) конструировала рыб, из ваты и ниток – серию стариков и бабуль.

– Почему ты не продаёшь куклы? – как-то спросил я Юкину, зная, что они с мужем живут в постоянной нужде.

– Как же я могу их продавать? – возмутилась Юкина. – Это ж мои дети! Мои куклы играют большую роль на бытовом уровне. Сергей ведь пишет жёстко, он и человек жёсткий. Прекрасный, но невыносимый. У нас случаются весёлые скандалчики, я их называю «увеселение души». Так вот, мои куклы смягчают атмосферу в семье. У нас терпимое сожительство. Мы немного устали друг от друга, ведь знакомы сто лет. Он ещё в детстве дёргал меня за косы, кидался камнями – я уже тогда нравилась ему.

Бывая в мастерской Селивёрстова, я думал: «Хорошо, что у нас есть своя микросреда, где всегда найдёшь понимание. И, что странно, у художников разные материальные возможности, но жизнь протекает более-менее одинаково».

В мастерской Купермана, о котором я уже упоминал, постоянно блуждали женщины с пышными формами в легкомысленном одеянии – они вдохновляли на работу хозяина мастерской и его закадычного друга художника Кирилла Дарона. Эти типы в основном любили слабый пол и только отчасти живопись. Случалось, в мастерской появлялись даже малолетки, испытывающие гормональный бум, – они то и дело выдавали художникам плаксивое обожание.

Мастерская в монастыре настолько обросла легендами, что трудно было понять, где правда, где вымысел, но точно известно – Куперман и Дарон носили только импортные одежды (занимались «фарцовкой», покупали шмотки у иностранцев), а по вечерам фланировали по улице Горького, подходили к театрам и своеобразно кадрили юных зрительниц:

– Как вам понравились наши декорации? – спрашивали, выдавая себя за оформителей спектакля.

У обоих художников была чёткая цель: жениться на богатых иностранках и укатить из страны, что позднее они и осуществили (один теперь в Англии, другой в Бельгии).

О работах этих деятелей ничего хорошего сказать не могу; Куперман черкал (рахитичным штрихом) какие-то замысловатые сюжеты (не имеющие никакого отношения к русским традициям), а Дарон одно время рисовал улицу Горького и Кремль, потом ромашки и ва-

ильки – сплошные ромашки и васильки (картины отличались только форматом), но «цветочную» серию покупали иностранцы, как символ России.

Эмигрировав, Куперман первым делом показал свои «штрихи» Шагалу и тот сказал: «Молодой человек, я это давно прошёл». Дарон, по слухам, вообще забросил живопись. Вполне возможно, ведь теперь у него богатая жена, коттедж с видом на залив. Зачем ему теперь утруждать себя рисованием, тем более что в Бельгии полно красивых женщин.

Виталий Петров писал полотна под Рокуэлла Кента, но считал себя повыше американца и, само собой, повыше большинства собратьев по творческому цеху. Его жена работала в Союзе художников и пробила мужу огромную мастерскую-мансарду в сталинском доме на Кировской, и должность доцента в Калининском художественном училище, и немислимые привилегии: дорогостоящие командировки на Чукотку, персональные выставки. В коллективных выставках он не участвовал (ну если только с «равными по классу»). После смерти жены Петров лишился этих привилегий, но не раскис – выписал с Севера знакомую учительницу чукчу, расписался с ней, купил катер и стал с новой женой путешествовать по Подмоскovie.

На Метростроевской имел мастерскую Игорь Галанин, низкорослый, худощавый, суетливый (имел прозвищу Шустряк). Половину мастерской занимала печь для обжига эмалей (невиданная роскошь!), но владелец мастерской эмали делал редко, чаще гобелены (под Люрса), а ещё чаще – рисунки к детским книгам (точнее – кружевами из мелких цветочков, какими-то бессмысленными пятнами). Тем не менее в издательстве «Детский мир» у него были «свои» редакторы, которым он доставал голландскую гуашь, а те, в благодарность, снабжали его работой. Кстати, гуашь Галанин доставал через иностранцев – он уже тогда налаживал связи с заграницей и при первой возможности уехал из нашей страны.

С Галаниным соседствовал художник Василий Ситников, который бравировал могучим здоровьем – зимой ходил в пиджаке, с фетровыми «наушниками», спал с открытым окном. Он имел дюжину учениц (от двадцати до тридцати лет); художницы с утра до вечера вкалывали в его мастерской, а потом он «проходил кистью по их намёткам» и продавал полотна иностранцам за своей подписью.

На Разгуляе находилась мастерская Леонида Бирюкова, «мастера изящной линии, утончённого рисунка». Он иллюстрировал Есенина, Блока, Фета и писал очерки об ушедших из жизни известных оформителях книг, которых прекрасно знал, поскольку работал художником в «Детгизе». Что знаменательно, Бирюков в основном писал о тех, кого при жизни почти не замечали (часто незаслуженно), а после смерти и вовсе забыли. Бесспорно, Бирюков делал благородное дело, и я горжусь, что приложил к этому руку – сподвиг его выступить в качестве писателя, и при встречах тормозил, разогревал, и был первым читателем его записей.

Следует упомянуть и две скульптурные мастерские: одну в Трубниковском переулке, где ваял Платонов, другую на Комсомольском проспекте, где творили Вадим Сидур, Николай Силис и Владимир Лемпорт. Платонов работал в классическом стиле, и я только ахал от его высокой техники. Позднее он с женой уехал в Италию «совершенствоваться», но остался там навсегда.

Три мастера со звучными фамилиями делали композиции из кирпича, труб, радиаторов, арматуры и прочего подручного материала, создавали объёмный мир: разнообразные дома с лихо запрокинутыми крышами под медным солнцем, согнутые под ветром деревья-трубы, железные птицы, летящие по странным траекториям, массивные женские фигуры и пластичное литьё из бронзы, как застывшие тяжёлые жидкости.

Большинство перечисленных мастерских было видно со стороны Воробьёвых гор; они отличались размерами, изнанкой своей жизни, но среди них не было ни одной скучной. Часто после посещения мастерских у меня опускались руки, я не мог смотреть на свои каракули. Работы художников и скульпторов подавляли меня, в голову приходили жестокие мысли: «Куда лезу? Мой удел – грибы, лишайники, а я полез ввысь, замахнулся на неподвластное. И сколько в России талантов, сколько моих сверстников уже достигли высот, а я всё топчусь на месте. Может, подростком совершил ошибку, взявшись за рисование!» Мысль о собственной неполноценности приводила меня на пиратский корабль детства. «На том поприще я добился бы гораздо большего», – думалось, и мой рот невольно растягивался в кривую пиратскую усмешку.

ПРЕУСПЕВАЮЩИЕ

Но были в Москве и другие мастерские. Они находились на лучших улицах города (Алексея Толстого, Воровского) и занимали по сто пятьдесят квадратных метров. В мастерских красовались каминные, полиграфические станки, дорогостоящие иконы. Обладатели этих богатств ездили на «мерседесах», а в Химках имели целый корабль – списанный речной трамвай. Всё это принадлежало Льву Збарскому, Виктору Щапovu, Борису Мессереру. Они преуспевали вовсе не потому что были самыми талантливыми, а потому что во всех издательствах на ключевых должностях сидели их приятели. Естественно, эта группа оформляла всё, что хотела.

Кое-кого работы «группы» не впечатляли, но даже скептики отмечали впечатляющий выход этих художников в плавание. Набив трюмы парохода всевозможными напитками и яствами и прихватив красавиц (в основном манекенщиц), они поднимали на судне флаг и направлялись на Пироговское водохранилище. У них был свой механик и капитан, которым они выдавали зарплату. И, разумеется, был вахтенный журнал, куда записывались даты плаваний и, ради бравады, названия напитков и имена спутниц.

Понятно, если хочешь что-то рассмотреть как следует, надо рассматривать с нескольких точек, а я на этих людей смотрел только с одной, так что эти зарисовки нуждаются в дополнениях.

Конечно, от некоторых встреч остался тяжёлый осадок, но, как известно, ничего не бывает зря – плохое не меньше, чем хорошее обогащает опыт, не говоря уже о том, что творческий человек из всех неприятностей выжимает максимум для работы. Стоит только отметить одно обстоятельство. Почему-то я всегда считал, что большой талант непременно и замечательный человек – ведь он смотрит на жизнь с огромной высоты и, соответственно, великодушно прощает нам проступки и слабости. Оказалось, это далеко не так.

Художник газеты «РТ» Николай Литвинов, «элегантный фитиль», «аристократ до мозга костей», всегда улыбался. Он в основном рисовал марки. У него была интересная серия «Зоопарки». Разглядывая серию, я искренне хваливал Литвинова, а он небрежно отмахивался:

– Нет ничего проще! Накропал за пару часов! – и улыбался.

Но когда Литвинов выпивал, улыбка с его лица исчезала, он мрачнел, становился заносчивым, грубым.

– Все вы бездари! – злодейски трубил «собратьям по цеху». – А я гений! Мой дед был графом! А вы все плебеи!

Такой был улыбчивый мастер кисти, в душе озлобленный на весь белый свет за то, что его маловато ценили.

Главный художник журнала «Знание – сила» Юрий Нолев-Соболев ходил с палкой (у него были больны ноги), не вынимал трубку изо рта, не говорил, а вещал с надменной усмешкой и открыто делил людей по национальности (в своём журнале пригрел десятки «своих»; «не своим» работу не давал). Он имел хорошую мастерскую на Маяковке, куда постоянно приводил девиц; его жене вход в мастерскую был запрещён, «чтобы не стесняла свободу действий». (В конце концов у неё случился нервный срыв и она покончила с собой). Кстати, этот субъект одним из первых уехал в Израиль.

Но, конечно, большинство художников относились друг к другу сердечно. В этом плане самое большое сердце имел Евгений Поляков, он всех встречал объятиями и поцелуями. Его лозунгом были слова Линкольна: «Лучшее в жизни человека – его дружба с другими людьми».

Заканчивая очерки о мастерских, надо сказать вот о чём: почти все художники имели чердаки и подвалы (иногда с баскетбольную площадку) и платили за этот нежилой фонд (со всеми удобствами) копейки (только за свет и газ); о таких мастерских западные художники могли только мечтать. Подсчитано, на Западе из ста художников пробивается один, у нас пробиваются почти все. На Западе мало быть талантливым – надо, чтобы тебя ещё «раскручивали» дельцы, в руках которых выставки, реклама и прочее. У нас всё зависит от самого художника.

И платят у нас художникам прилично (например, иллюстраторам намного больше, чем авторам текста). И никто не мешает человеку, умеющему держать кисть, работать в клубах, в оформительских комбинатах. А уж члены Союза и вовсе живут припеваючи: Дома творчества, дешёвые материалы, салоны по продаже картин. По сути, кто считает шестидесятников не полностью реализовавшимся поколением – кривит душой. Что тогда говорить о предыдущем поколении?! И если быть до конца честным – «бульдозерная выставка» и «Метрополь» предста-

вили слабые вещи и откровенный эпатаж. Рубен Варшамов говорил прямо:

– «Бульдозерная выставка» была провокацией. Организаторы умоляли за границу, а тем, кто остались, досталось.

В самом деле, западникам было выгодно раздувать подобные акции, теперь это яснее ясного. Как ни крути, а многие из формалистов попросту разрушители. Не случайно их вождь Малевич, автор «чёрного квадрата», считал, что «все греческие скульптуры надо сжечь в крематории». Ну куда уж больше!

Кстати, «чёрный квадрат», на который молятся формалисты, поэт Игорь Мазнин назвал очень точно – «антииконой, прославлением сатанизма».

Несколько слов об эмигрантах. Факт остаётся фактом: абсолютное большинство из них не были русскими художниками, и в нашем Отечестве они жили лучше многих из нас: имели хорошие квартиры, мастерские, дачи, машины, не испытывали недостатка в заказах и выставлялись не меньше других (Гробман, Стацинский, Дарон, Куперман, Кабаков, Блох, Блюх, Зальцман, Збарский, Неизвестный и ещё десятки лиц). Разговоры о том, что их зажимали, – вранье. Все находились в одинаковом положении. Они просто спекулировали на «правах человека».

Одно дело покинуть Родину после переворота семнадцатого года, другое – оттого что выставляешься меньше, чем хотелось бы, или живёшь в обычной квартире, а считаешь, что достоин замка. Кстати, тот, кто что-то представлял из себя здесь, и на Западе не пропал, а кто делал ставку на зарубежное признание, потерпел крах.

Правда заключается в том, что эти эмигранты не только ненавидели власть (мы все к ней относились с презрением), они ни во что не ставили весь русский народ – одни открыто, другие тайно. А на понятие «Родина» им попросту было наплевать. Родиной они считали любое место, где им жилось спокойно и безбедно. Между тем каждый настоящий художник неотделим от своей страны. К счастью, лучшие художники всё-таки остались в России.

НЕОЦЕНЁННЫЕ, НЕПРИЗНАННЫЕ, ВСЕМИ ЗАБЫТЫЕ

Владимир Сосин окончил Строгановское училище, без особых погуг поступил во ВГИК на режиссёрский факультет и делал «обвальные» курсовые работы, делал с щегольским профессионализмом, который отточил в период «домашнего образования».

– Искусство не отображение жизни, а её воспроизведение, – говорил Сосин. – Художник должен работать не для того, чтобы дать рецепт счастья, а чтобы облегчить людям жизнь, дать хоть немного радости.

Сосин носил отутюженные костюмы, а дома устраивал фанфарные вечера, произносил витиеватые тосты, рассыпая яркие сравнения, крепкие поддразнивающие шуточки, и непрерывно смеялся.

Как художник он был нарасхват, но его картины покупали только любители живописи, а «неофициальные» коллекционеры почему-то не ценили. Возможно, потому, что он писал «радостный мир», а не «голую правду». Вокруг его дома на Почтовой улице тянулся забор, оклеенный объявлениями, валялись ящики из-под овощей, ржавые жестянки, битые бутылки, окурки; во дворе шастали пьяные чумазые работяги с ближайшего завода – его окружала тусклая убогая жизнь, а он писал улицы, запруженные солнцем, половодье цветов, красивые улыбающиеся лица; солнце отражалось в окнах, на мокром асфальте, от множества солнц прохожие сходили с ума, сбитые с толку цветы не знали куда поворачиваться...

Однажды к Сосину явился богатый иностранец и протянул чек:

– Поставьте любую сумму, я готов купить все ваши работы.

Но художник отказался, заявив, что его картины должны принадлежать нашему народу. Такой он был патриот.

Сосин имел хорошую квартиру, встречался с «пылкой душой», весёлой начитанной девушкой; он был слишком счастливым, и судьба, чтобы всё уравновесить, подбросила ему несчастья. После окончания института его пригласили снимать фильм за рубежом, но секретные ведомства не пустили; внезапно умерли родители, бросила девушка, довольно весело пропел:

– Разойдёмся, как в море корабли...

Сосин стал часто выпивать; «радостный мир» превратился в «искажённый»: заскорузлые камни, чёрные стволы с чёрными листьями – всё будто обугленное.

– Я заглянул в другое пространство, – взволнованно говорил Сосин. – Раньше писал цветы и листья, теперь стебли и корни. В принципе суть в том, что питает растения. И у животных и людей всё дело в наследственности. А вообще, нормальный человек останавливает внимание и на прекрасном, и на уродливом.

Теперь Сосин за собой не следил, одевался во что попало; его мучила бессонница, раздражали сигналы машин и карканье ворон, сутолока в транспорте; только собутыльники в пивной не раздражали. Большую часть времени он проводил в «логове», как окрестил свою квартиру, из которой постепенно продал все вещи, и она действительно превратилась в логово. Теперь при встрече с друзьями Сосин говорил нервно, беспокойно:

– В принципе жизнь – это множество пустяков. А судьба – это в нужный момент оказаться в нужном месте и раскрыть то, на что способен. Всё очень просто, но угадай этот момент, найди это место.

Он падал всё ниже; мало работал, влезал в долги; с утра, небритый, «отмокал» в пивной. Однажды сказал мне со вздохом и определённым умыслом:

– В принципе я потерпел поражение. Я не боюсь смерти, и так достаточно насыщенно пожил. Умру, когда сам захочу. Силой внушения. Когда начнут мучить болезни.

Скорее всего, так и произошло; во всяком случае, вскоре он исчез и больше никто о нём не слышал.

Было ещё два художника, которых признавали единицы: Вячеслав Пирогов и Александр Костылёв, оба интеллигентные, с седыми усами, только Пирогов – мясистый, рыхлый, с толстыми губами, а Костылёв – сухой, с спалыми щеками и узким, плотно сжатым ртом.

По образованию Пирогов был историком; он преподавал в университете и лекциями об истории России приводил студентов в трепет. А дома Пирогов занимался живописью, писал мифы и «невидимый мир» и так объяснял своё творчество:

– Есть мир видимый – всё, что можно охватить взглядом, и есть невидимый – мысли, совесть, Бог, ангелы, нечистая сила. Невидимый

мир значит для нас гораздо больше, чем видимый. Я непременно докажу существование нечистой силы.

Эти ясные мысли вызвали огромное любопытство у девушки со странным именем Малина. Любопытство Малины росло с каждым днём, её глаза так блестели, что Пирогов воспламенился любовью. Эта любовь сжигала его до тех пор, пока он не женился на Малине.

На мой взгляд, Малина выглядела женщиной-картинкой, цветочной вазой, неким безликим совершенством, в ней не было изъяна, который придаёт красоте жизненность. Но Пирогов считал иначе. Обливаясь слезами счастья, он сказал мне:

– В Малине полно скрытых талантов.

– Она – «Титаник» с затонувшими сокровищами, – ляпнул я.

– Точно, – кивнул Пирогов. – У неё гаснут нераскрытые способности. И угасли бы совсем, если б она не встретила меня.

После женитьбы Пирогов ушёл из университета и полностью посвятил себя живописи.

– Всё изменяется, – мужественно заявил он Малине и приятелям. – Меняется расположение звёзд, континенты. И человек должен менять деятельность и коллектив. Американцы вывели – больше семи лет работать в одном коллективе вредно. Тупеешь, и отдача не та. Я решительно всё меняю...

Малине не понравились эти мужественные слова, она кокнула об пол фарфоровую чашку и закипела от возмущения:

– Выбрось это из головы! На что мы будем жить, если до сих пор у тебя не купили ни одну картину?! «Невидимый мир» прекрасен, но его надо писать в свободное время! Если ты не вернёшься в университет, попадёшь в ад.

– Согласен! Меня это устраивает, – нахально заявил Пирогов, и его семейная жизнь затрещала по всем швам.

С того дня он безудержно писал картины, а Малина безудержно его ругала и била чашки; казалось, «Титаник» подняли со дна океана и переоборудовали в броненосец.

– Тебе, видимо, нравится звон битой посуды, – ухмылялся Пирогов и тем самым ещё больше распаял жену.

Перебив всю посуду, Малина подала на развод. Пирогов, несмотря на крепчайшие внутренние силы, испугался и вернулся в университет, а мне, со вздохом, объяснил:

– Любовь это весы – на одной чаше огонь, на другой лёд. Главное в семье – проявлять гибкость.

Он продолжал писать картины, но, не выставляясь, не имея поддержки, через несколько лет разочаровался в себе и забросил живопись. А жаль! Наше Отечество потеряло хорошего художника.

Костылёв работал искусствоведом в Музее имени Пушкина, а для себя писал «живописную старину»: особняки с железными кружевами решёток, ампирную мебель – и всё дотошно выписывал.

– Раньше вещи делали искусные добрые мастера, – задумчиво произносил Костылёв. – Доброта порождает доброту. Вещь заиграет, если к ней подходить с любовью.

Свои работы он хранил в сундуке и редко кому показывал – считал «несовершенными». Кстати, на этой почве мы с ним и подружились. Я тоже сомневался в том, что делал, но, в отличие от Костылёва, показывал свои работы, ведь критика приятелей шла на пользу.

Костылёв чередовал работу в музее с домашней работой над «старинной», помогал жене вести хозяйство, дочь воспитывал в духе гимназисток, лето с семьёй проводил в палатке на Онеге, «на острове с ароматическими травами». Но однажды они приехали на остров, а там все травы вытоптаны и полно мёртвых бабочек.

– Плохая примета, – вздохнула жена Костылёва, тихая, впечатлительная женщина с ярко-жёлтыми глазами.

В самом деле у Костылёва начались разлады с сотрудниками музея, тема «старинны» завела в тупик, дочери надоела «гимназия», и она ударилась в «тусовки», и только жена не изменилась.

– На работе следуй заповеди: «Беги от тоски и с глупцами не спорь!», – мягко посоветовала она мужу. – А «старину» временно оставь. По-моему, ты исчерпал эту тему. Порисуй что-нибудь другое.

Костылёв последовал совету жены – запер сундук, но за новые темы так и не принялся. Зато в музее, следуя совету жены, всё уладил и защитил диссертацию. Спустя десять лет он стал вполне современным (купил машину и отпуск проводил в доме отдыха), сундук открывал раз в год, просматривал рисунки и усмехался:

– Мои привязанности к старине выглядели какими-то ложными, изношенными.

А между тем в его «старине» была подлинность, высокая культура, старомодная трогательность и прочее, так мне кажется.

Я СНОВА ТОНУ В ПРАЗДНИКЕ

Семь лет я работал в «Картинках» – тонул в празднике, но с годами мой юмор стал терять свой накал. Всё чаще я ловил себя на том, что в трамваях и автобусах вслушиваюсь в разговоры людей, запоминая удачные реплики, мучительно пытаюсь выжать из них смешные темы. Это были последние потуги. Вскоре я окончательно утонул в «юмористическом море», то есть мой юмор полностью иссяк. Но удивительное дело – «на дне моря» меня ждал новый праздник: царство журнала «Мурзилка». Возглавлял это царство Нептун без бороды и трезубца – Анатолий Митяев.

Ни для кого не секрет – то было золотое время, расцвет «Мурзилки». Митяев сам не рисовал, но имел художническую натуру. Он прекрасно разбирался в живописи и обладал чутьём на потенциальные, неразбуженные таланты, не случайно в «Мурзилке» начинали многие впоследствии известные мастера. Митяев был обаятельным человеком, от него веяло теплом. Он прошёл войну, но сохранил детское восприятие – восторгался простыми вещами и делал постоянные открытия в окружающем мире. И, что особенно важно, – открывал в людях то, чего они в себе и не подозревали.

Подмечено, что хорошего человека и окружают хорошие люди. Это наглядно демонстрировали чаепития в редакции журнала.

– Я только и жду наших сборищ, – улыбался Лев Токмаков и прикладывал руку к сердцу, давая понять, что у него внутри немислимая комбинация чувств.

– Ужасно вас, чертей, люблю, – смеялся Николай Устинов, и всем было ясно, что у него внутри исключительная радость.

Токмаков создал совершенно новую изобразительную манеру: малыми средствами, всего двумя-тремя мазками, добивался невероятной выразительности и точности. Всего два-три мазка на белом лис-

те бумаги, но какое организованное пространство, какая лёгкость во всём, какие живые линии и как на месте безошибочно лежат! Ничего не хочется добавить и ничего нельзя убрать – что значит настоящее мастерство! Настоящее мастерство – когда в работе ничего нет лишнего, случайного. На взгляд оно удивительно просто; кажется – возьми кисть, и у тебя получится так же. Но это только на поверхностный взгляд. Иногда для того, чтобы сделать эти два-три мазка художнику требуется вся жизнь. А лёгкость, понятно, достигается кропотливым трудом.

Устинов тщательно, любовно выписывал все детали; в его работах была предельная ясность. Токмаков прививал детям хороший вкус, Устинов давал им знания, учил наблюдательности. Эти художники были совершенно разными: и по изобразительной манере, и по складу характера, и внешне (один высокий бородач с тихим голосом, другой маленький крепыш, звонкий смехач), но их отличало дружелюбное отношение друг к другу.

Особенно крепко дружили Евгений Монин, Вениамин Лосин и Владимир Перцов – три бородача, которые время от времени сбрасывали бороды, но Монин при этом оставлял усы. Каждый из этих художников создал самобытный изобразительный мир.

Архитектор по образованию, Монин великолепно рисовал дома, мосты, замки. В его домах обитали философы и неисправимые мечтатели, с мостов падали разные нескладёхи и беспечные влюблённые, в замках колготились незадачливые мастера. Монин отталкивался от чешского художника Трынки – его персонажи были такие же кукольные, носатые (жаль только, что они были далеки от русских персонажей). Но основным, ударным оружием художника был цвет. Монин играючи расправлялся с цветовой гаммой: как бы подбрасывал краски в воздух и, рассматривая необычные сочетания, выбирал из них самые интересные.

В «Мурзилке» Монин был главным заводилой. Прихлёбывая чай, он без умолку рассказывал нелепые случаи из собственной жизни, вроде того, как вместе с хиппи угодил в милицию – его приняли за «хиппового вождя». Рассказывал Монин блестяще и при этом не боялся выставить себя в неприглядном свете. Здесь он чем-то напоминал своих героев, или, вернее, они напоминали его (не зря говорят – художник

рисует себе подобных). Но, как известно, выставлять себя не в лучшем свете, смеяться над самим собой способны только сильные люди, и эта внутренняя сила всегда угадывалась в Монине, каким бы дураком он себя ни представлял.

Подогретые красочными чудачествами Монина, мы тоже припоминали всякие нелицеприятные истории из своей жизни. Я особенно старался, но почему-то моё нарочитое самоуничтожение выглядело своего рода самоутверждением – видимо, мне не хватало внутренней силы. Нередко во время наших выступлений поднимался немалый шум, но Митяев всегда контролировал ситуацию и не давал страстям выплёскиваться за пределы редакции, чтобы не ставить под угрозу работу всего издательства.

Лосин считался рисовальщиком-виртуозом. С закрытыми глазами он мог нарисовать бегущую лошадь, или плывущего по реке лося, или внушительную группу людей – и каждого со своим характером! Обладая редкой зрительной памятью, Лосин знал всё: как связан хомут и оглобля, как цветёт бамбук, как растут кокосовые орехи, как плавают киты и аквариумные рыбы, какие крепления в паровых механизмах, а уж анатомию человека знал лучше врачей.

Кстати, во время чаепитий в «Мурзилке», когда Лосин рассказывал о растениях, я был уверен: он ботаник, когда он описывал птиц, принимал его за орнитолога, когда он зарисовывал машины – не сомневался, что он инженер. За справками к Лосину бежали все художники. Рисунки Лосина отличались динамизмом, цвет лежал широкими, сочными мазками. Лосин работал на табуретке (!) и одной большой кистью; этой кистью писал и море, и делал блик в глазу. На его рисунках бурлила жизнь: равнины пересекали поезда, и тени от вагонов скользили по травам и цветам, вверх по течению рек тяжело шли моторные лодки, по лугам бегали табуны лошадей, по городским улицам мчались машины, по небу носились облака...

Перцов имел безупречный вкус; у него даже в квартире всё выглядело законченными натюрмортами, а на участке в деревне – не просто виды, а мини-пейзажи. И конечно, каждую иллюстрацию Перцова хотелось вставить в раму и повесить на стену – такими законченными они были. Перцов сильнее всех художников пропитался русской культурой, и лучшие его работы – исторические сюжеты (былины, сказания) – это

и понятно, он один из потомков князей Голицыных, его родословная восходит к самим Рюриковичам! И держался Перцов скромнее всех (срабатывали гены).

Перцов иллюстрировал мою первую книжку, где на форзаце изобразил Крымский мост, набережную и прилегающие дома.

– Почему именно это место? – спросил я.

– А здесь мы жили до войны, – он показал на дом, в котором до войны жили и мы. (Наверняка в то время мы виделись во дворе, но, конечно, не могли вспомнить друг друга).

Перцов известен не только как иллюстратор, но и как мастер шрифтов – всем друзьям оформлял обложки книг (его шрифты непременно войдут в энциклопедию оформительского искусства).

Работая над иллюстрациями, Перцов невероятно гримасничал, принимал позы своих героев; иногда изображал их перед зеркалом, чтобы всё представить со стороны. Он вообще был артистичен: красиво двигался и сидел, красиво одевался – с неизменным бантом на шее, красиво играл в шахматы и красиво ухаживал за девушками. Здесь, правда, ему не везло. Почему-то девушкам было мало красивых ухаживаний, им хотелось, чтобы чувства подкреплялись весомыми подарками и вообще чтобы ухажёр «имел основательную базу». А у Перцова деньги появлялись от случая к случаю, жил он в скромной мастерской, гонорары тратил на книги.

– Мужчина должен твёрдо стоять на ногах, – холодно заявляли эти девушки. – А вы бессребреник. Что вы можете дать женщине?

– Написать её портрет, – улыбался Перцов.

Этот мягкий аргумент некоторое время удерживал девушек около Перцова, но, как только он заканчивал портрет, они забирали его, а с художником прощались навсегда.

Монин, Лосин и Перцов были поглощены работой, но выкраивали и свободное время. И тогда втроём ездили на рыбалку (для этой цели, а также потому что «город забирает душевный покой», за сносную цену купили деревню, вернее, три дома-развалюхи, один из которых вскоре какие-то негодяи разграбили и подпалили); сражались за шахматной доской, с ватагой мальчишек азартно гоняли мяч. При всём том, что они были поглощены работой, они умудрялись буквально через день отмечать праздники (и слыли не только прекрасными художниками,

но и большими любителями крепких напитков). Причём частенько праздники выдумывали, чтоб был повод встретиться. Как они умудрялись совмещать работу и праздность – загадка. Этих художников ещё отличало заботливое отношение друг к другу: когда однажды Монин отчаянно влюбился и надумал жениться, Перцов долго придирчиво изучал его невесту, а женатый Лосин подробно объяснял ей, как строить семейное счастье.

Всерьёз я не люблю превосходных степеней, но этих трёх искуснейших мастеров назову великими; они докопались до истины и в работе достигли совершенства. Не случайно на международных выставках они получали награды. Я горжусь дружбой с этими художниками. Как-то случилось великолепное совпадение: по рассеянности Митяев под моим рисунком поставил фамилию Монины, а гонорар выписал Перцову.

– Хороший повод устроить небольшой праздник! – разразился Лосин. – Совсем маленький, камерный.

Конечно, маленький праздник плавно перешёл в большой, такой большой, что под конец мы все потерялись. Но тот рисунок я не потерял и храню как память о золотом времени.

Сейчас я подумал вот о чём: не слишком ли светло расписал своих друзей? Ведь у них есть и недостатки, и не мешает их отметить, чтоб эта троица не зазнавалась и самосовершенствовалась. Но, конечно, по большому счёту о человеке надо судить по его положительным сторонам, а о художнике – по его лучшим работам.

ГДЕ-ТО МОРЕ, ГДЕ-ТО СОЛНЦЕ, ГДЕ-ТО СЧАСТЬЕ

Однажды, чтобы посмешить приятелей, я написал пару детских рассказов, которые неожиданно понравились Митяеву, и он напечатал их в «Мурзилке»; тут же члены редколлегии журнала предложили мне командировку в Артек.

– Нам нужен очерк о пионерах, – сказали и, хохотнув, пропели: «Где-то море, где-то солнце, где-то счастье».

Я отказался. Во-первых, потому что считал глупостью делать детей партийными, организовывать в отряды, дружины, вбивать в светлые

головы воинственные марши. Во-вторых, по слухам, «Артек» представлял собой показушный лагерь – на что у меня всегда была аллергия. В-третьих, опять же по слухам, в этом лагере были вовсе не те ребята, которые хорошо учатся или помогли колхозникам собрать урожай, а отпрыски всяких деятелей. В-четвертых, у меня всегда были определённые принципы: никогда ничего не писать по заданию, только – к чему лежит душа. Выслушав мои доводы, Митяев насупился:

– Хорошо! Напиши о море, о горах, о чём угодно, к чему лежит твоя душа. Можешь вообще ничего не писать. Дай душе отдохнуть. Скажу по секрету: в редакции есть лишние деньги, и командировка – награда тебе за рассказы. К тому же, ты будешь жить даже не в Артеке, а в Гурзуфе. Сейчас там Голявкин, известный писатель из Ленинграда, знаменитый художник Глазунов и нашумевший скульптор Неизвестный.

Из-за этой прославленной троицы я и поехал.

До Гурзуфа добрался поздно вечером, по тропе спустился с шоссе к гостинице и увидел в вестибюле десятка два приезжих с детьми.

– Мест нет! Мест нет! – кричала администраторша.

Я протиснулся к её окошку, сказал, что из Москвы и мне забронирован номер.

– Ничего не знаю! Никто не звонил! – отчеканила администраторша. – Мест нет. Женщин с детьми не могу устроить, а то вас! Скажите спасибо, что разрешаем ночевать на диванах.

Я вышел покурить на свежий воздух. Передо мной простирался ночной Гурзуф: цепочки огней среди листвы, сверкающая под луной бухта, силуэты баркасов. Глядя на баркасы, я почувствовал, как защемило в груди (то, о чём мечтал в детстве, сохранил и в зрелом возрасте, то есть не терял надежды походить на морской посудине).

Докурив сигарету, я подумал: «Быть может, из Москвы послали телеграмму?» – и снова подошёл к окошку хозяйки гостиницы.

– Никакой телеграммы нет, и свободных мест нет, – устало проговорила администраторша. – Один номер есть, но ждём писателя. Он вот вот прибудет. Вам можем поставить раскладушку в коридоре, но за плату.

Горничная, застилая раскладушку, пожаловалась:

– Сейчас самый сезон, огромный наплыв отдыхающих.

– А чайку, мамаша, нельзя? – попросил я.

– Какого чайку! Скажи спасибо, что раскладушку-то выделили.

Я уже почти уснул, как меня разбудила администраторша:

– Давайте паспорт. Надо вас записать.

Через десять минут она вернулась:

– Так что ж вы сразу не назвались?! Это ж мы вас ждём! Вот ключи от номера, пожалуйста, проходите, отдыхайте в своё удовольствие, – и бросила горничной: – Принеси писателю чай с вареньем.

Так я стал писателем.

Утром ко мне появился Виктор Голявкин. Толстяк, смехач и говорун, появился в роскошных шортах, с сигарой в зубах.

– Пишу по одному гениальному рассказу в день и выбрасываю в море, – прогоготал Голявкин, доставая из сумки трёхлитровую банку вина. – Но пишется плохо. Мозги расплавились от жары. И девушек здесь слишком много. Правда, и в этом плане у меня творческий тупик. Всё должно проходить через трудности, а если сваливается с неба – не ценишь.

Пока пили вино, Голявкин рассказал о всех достопримечательностях Гурзуфа и вновь упомянул про девушек с «бронзовым загаром».

– В «Артек» заглянул, – сообщил Голявкин. – Начальство на «чайках» катается, ребята стоят в линейках, караулах.

– Догадываюсь, – бросил я. – И не собираюсь туда.

– Нет, пойдём! Там сейчас скульптор Неизвестный. Возводит стену-барельеф. Зверская работа!

На стройплощадке среди рабочих с отбойными молотками выделялся мужчина средних лет, голый по пояс, со шрамом на спине; он вышагивал вдоль громоздкой стены с дурацким нагромождением деталей, давал указания и, как мне показалось, бравировал шрамом перед зрителями, окружавшими стройплощадку.

– Мне всё равно, кто даёт деньги на работу. Комсомол, так комсомол, – сказал Неизвестный после того, как Голявкин нас представил. – Искусство должны поддерживать меценаты.

Неизвестный пригласил нас в свой номер гостиницы, показал иллюстрации к Достоевскому и между делом перечислил города, где стоят его скульптуры.

– Он работает как бульдозер, – пояснил Голявкин, когда мы вышли. – И на море не ходит, и не замечает девушек с бронзовым за-

гаром. Кстати, ты как относишься к девушкам? Я немного попишу, схожу на свиданье, потом снова попишу. Девушки стимулируют творчество. Короче, в перерывах между работой устраиваю приключения.

– А я работаю в перерывах между приключениями, – ляпнул я.

– Молоток! – Голявкин показал мне кулак. – Пойдём заглянем к Илье Глазунову, он работает интересней, чем ты и я – совмещает живопись и бронзовые загары, попросту, рисует девушек. Он наш, питерский, но бывший. Теперь живёт в вашей суетливой Москве.

Перед номером Глазунова стояла стайка девушек.

– Какие прекрасные девушки! – Голявкин широко раскинул руки. – Особенно одна!

Девушки заинтересованно вытянулись и замерли в ожидании, кого именно выделит Голявкин, но он засмеялся:

– Позировать, барышни, или как?

– Или как! – кокетливо откликнулась одна из девушек.

Глазунов делал набросок углём сидящей напротив девушки с бронзовым загаром; поздоровавшись с нами, сказал:

– Вот недавно в Италии писал Джину Лоллобриджиду, во Франции – Джульетту Мазину, а сейчас Машу, ведь вас так зовут?

«Модель» покраснела и тихо пробормотала:

– Так. Но почему именно меня? Во мне ничего такого нет. В Гурзуфе столько красивых девушек...

– А мне понравились вы, – прояснил Глазунов. – Понимаете ли, милая, художники видят скрытую красоту, скрытую. В вас она есть. Я это сразу отметил ещё там, на набережной...

– Перед твоей дверью топчется ещё несколько бронзовых загаров, – объявил Голявкин, когда девушка ушла.

– Знаю, – спокойно кивнул Глазунов. – Садись, будь как дома, рассказывай, что нового в Москве, я здесь уже целый месяц. А ты, Вить, достань из тумбочки вино, сигареты, я тоже выпью, покурю, – он открыл дверь, ввёл новую девушку и достал новый лист бумаги.

За три дня, проведённых в Гурзуфе, я ничего не написал, не сделал ни одного карандашного наброска, но выпил ведро вина с Голявкиным, слушал рассуждения Неизвестного об искусстве да вёл беседы с Глазуновым, одновременно любясь его «моделями». В общем, не-

плохо провёл время. Перед отъездом из Гурзуфа я ещё познакомился с местным примитивистом, который подарил мне картину: «Корабль попал в заблуждение».

– Это турецкое судно заблудилось в тумане у наших берегов, – объяснил художник. – Иди за вином, выпьем, и я намалюю тебе «Корабль выбрался из заблуждения».

Примитивиста звали Степан; он носил экзотическую одежду, выглядел как папуас и был довольно известен в Гурзуфе. Степан сразу почувствовал мою странствующую душу, потому и расщедрился.

По возвращении в Москву я время от времени принимался за рассказы, и друзья-художники всё чаще насмешливо обзывали меня «писателем». Но именно тогда моё положение было особенно удобным. Когда меня ругали за рассказы, я говорил, что вообще-то занимаюсь графикой, а рассказы пишу для себя, в свободное время. Когда же ругали за рисунки, говорил, что вообще-то я литератор, а графика только хобби. Если ругали и за то, и за другое, заявлял, что являюсь профессиональным шофёром, а в искусстве всего лишь любитель. Тогда те, кто ругали, хлопали меня по плечу с напутствием:

– Ну это другое дело! Рисуй (или пиши), может, и получится что-нибудь дельное.

ПУСТЬ ДОГОНЯЮТ!

Однажды художник Валерий Дмитрюк обратился ко мне:

– Имеется одна рукопись для детей, давай проиллюстрируем вместе. Ты больше тяготеешь к живописи, я к рисунку. Если наши устремления пересекутся, возможен приличный результат.

У нас было много общего: оба из провинции, оба лысели, оба работали в «Картинках» и одновременно, без всякого лицемерия, испытывали чувство недовольства сделанным. Мы имели одинаковые взгляды на искусство, нам обоим нравился кинорежиссёр Феллини и девушки с волосами морковного цвета. Короче, у нас были родственные души, и мы проработали вместе десять лет. Здесь надо отметить: обычно в совместной работе друзья в запале частенько крепко ругаются. Мы с Дмитрюком не ссорились никогда.

В детской книге я окончательно нашёл себя. Во взрослой книге иллюстрации всего лишь сопровождают текст, в детской несут самостоятельную смысловую нагрузку. Художник в детской книге – такой же автор, как и писатель. У него много белых листов бумаги, огромный простор для творчества и огромная ответственность. Через рисунок ребёнок познаёт мир, рисунок развивает его наклонности. Многие рисунки, которые мы видим в детстве, остаются с нами навсегда как самые яркие зрительные впечатления, а рисованные герои – как самые близкие друзья (взрослые ведь только придумывают сказку, а дети живут в ней).

И ещё: есть такое понятие – память цвета. Бывает, взрослый человек увидит какое-нибудь сочетание красок (в интерьере, одежде), и сразу перед ним встаёт картина из детства, когда он впервые увидел эту гамму. Память цвета позволяет вернуть прошлое, с полузабытыми звуками и запахами.

Работа иллюстратора в журнале проще простого: прочитал текст и делай к нему рисунок. Оформление книги – сложная штука. Прежде всего надо представить её в голове, представить её конструкцию – архитеконику, как выражаются художники. Потом сделать макет и разметить, где будет текст, где рисунки. Затем предстоит работа над эскизами иллюстраций, которые должны утвердить редактор и автор. Только после этого можно садиться за оригиналы.

Мы с Дмитриюком в основном иллюстрировали авторов-современников. Обычно писатели нас хвалили, и не скрою – было приятно.

– Отлично! – поднимал большой палец Владимир Коркин. – Спасибо за рисунки. Вы всё чётко прочувствовали, именно таким я всё и представлял.

– Прекрасно, как жужжание пчелы! – радовался Игорь Мазнин. – И у меня здесь есть высокие строчки.

– Здесь и говорить нечего! – восклицал Юрий Коваль. – Рисунки потрясают... почти как мой текст!

Иногда нас начинали хвалить, но заканчивали руганью.

– Интересный разговор! – выдавливал Юрий Кушак. – Но могли бы сделать и лучше. Обложка невыигрышная, непродажная, а шрифт – ваша несильная сторона.

– Книга хорошо скомпонована, старики, – тараторил Сергей Козлов. – Хороший макет и рисунки... не портят общего впечатления. Хотя лучше б половину убрать. Лучше б, старики, я дал побольше текста. И потом что вы так тянули? Работать, старики, надо быстро.

Попадались и капризные, привередливые авторы. Как-то мы делали книжку одной поэтессы из Волго-Вятского издательства. Стихи были неумелые, с претензией на изысканный слог, но мы решили «вытянуть» книжку за счёт рисунков, выжать из текста максимум. Три месяца корпели, но, когда привезли работу в Нижний Новгород и показали поэтессе, она сморщилась.

– Мне нравятся ваши рисунки, – сказала; сказала певуче, растянуто. – Но, вообще-то говоря, образы зверюшек мне представляются иными. Подождите, сейчас придёт муж, он лучше меня разбирается в живописи. Может, он что-нибудь подскажет.

Пришёл её муж и гаркнул:

– Я не против ваших рисунков, но скажите честно, вы схалтурили? Подумали: «А-а, провинция! Для них и так сойдёт». Сейчас явится сын, он учится в художественной школе, он вам даст советы.

Пришёл их сын, долговязый парень, и с жутким невежеством стал нас, ровесников его отца, учить что к чему. Разнёс рисунки в пух и прах: и звери-то у нас «слишком развесёлые», и деревья «слишком корявые», и травы «лихие», и «небо – не небо, и вода – не вода».

– Налицо отсутствие чего-то главного, – шумел он. – Всё разрозненно. Отсутствие всякой предметности.

– Отсутствие присутствия, – хмыкнул Дмитрюк.

– Вот, вот! – ухватился парень.

Но окончательный, смертельный удар нас поджидал на следующий день в издательстве. Художественный совет принял иллюстрации, но, когда мы понесли подписывать листы к директору, он плотно закрыл за нами дверь и прогундосил:

– Не слушайте никого. Они ничего не понимают и живут недисциплинированно. А я хотя и по специальности военный, но имею понятие о рисовании и уважаю художников. Я, знаете ли, и сам люблю помалевать на природе пейзажики разные. Вон моя работка.

На стене висел бездарный пейзаж – этакий компот из одних синих красок. Мы с Дмитриюком переглянулись и, глубоко вздохнув, поняли, какая нас ожидает казнь.

– Как говорится, всё хорошо, прекрасная маркиза, – директор склонился над листами. – Но вот этого слона отсюда из угла передвиньте сюда наверх. Так будет дисциплинированной... А это за ним кто? Кого вы насандалили? Мартышки, что ли? Их подвинем сюда. Пусть как бы его, слона то есть, догоняют!

Мы вывалились из кабинета и чуть не упали – нас вовремя подхватили на руки члены художественного совета.

– Не слушайте его, – сказали с дикой нежностью. – Он ничего не понимает. Главное – наши подписи, а он отвечает за текст.

Мы радостно вздохнули и сразу поняли, почему директор подбирает таких авторов, как наша поэтесса.

РАДОСТНЫЙ ДЕНЬ С НОТОЙ ГОРЕЧИ

В Волго-Вятском издательстве мы с Дмитриюком оформили книгу пятнадцать, не меньше. Когда привозили работу, Дмитриюк останавливался у родственников, а меня пристраивал к соседу, другу детства, Ивану. Однажды Иван предложил мне отведать наливки собственного изготовления. Мы только расположились на террасе, как у изгороди возникли два парня. Громко, с провинциальной прямоотой один из них сказал:

– Слыхали, Вань, у тебя квартирант москвич. Не мешало б сходить на пятачок, показать гостю, как живём в Нижнем.

– У нас серьёзный разговор, – тоже достаточно громко остановил Иван пришельцев, которые уже открывали калитку.

– Эти нам неподходящая компания, – пояснил он, когда парни удалились. – У них одна задача – налить глаза, а я люблю беседы в интеллигентном варианте, – всем своим видом Иван давал понять, что он и парни – некие неперемешивающиеся слои общества, что у него с ними несовместимая культура.

Выпив наливки, Иван откинулся на стуле.

– Как мы живём и слепому видно. Я покажу тебе то, чего ты в своей столице никогда не увидишь. Вы там перекормлены всякими зрелищами, но такого ты не видел. Пойдём!

Мы спустились к Волге, на улицу Студёную, где старые деревянные дома соседствовали с пустырём, заросшим коноплей. Около одного дома Иван остановился, стукнул кулаком в массивную, с жестяными заплатами дверь и зычно крикнул:

– Мария Алексеевна!

Никто не отозвался. Иван снова стукнул и гаркнул:

– Мария Алексеевна!

За дверью стояла полная тишина, и я сказал:

– Никого нет. Зайдём попозже.

– Погоди! – Иван дробно заколотил в дверь.

Где-то внутри дома послышались шорохи, скрипы, и вдруг раздался тонкий старческий голос:

– Кто там?

– Это я, Иван! – Иван подмигнул мне, предупреждаяще покашлял и, довольный, что-то замурлыкал под нос.

Но в доме скрипы и шорохи смолкли, и опять надолго воцарилась тишина. Иван нахмурился:

– Мария Алексеевна! Это ж я, Иван! Не узнаете, что ли?!

– Чего тебе?! – скрипы и шорохи перешли в шарканье, кряхтенье; обитательница дома явно подошла к двери. – Ну, чего тебе?!

– Дело есть. Тут один друг из Москвы хочет взглянуть на ваше искусство, – Иван многозначительно кивнул мне.

– Не могу открыть, – пропищало за дверью.

– Почему?

– Сын не разрешает!

– Мария Алексеевна, ну как можно? Хороший человек из Москвы. Мой друг. Приехал в командировку. Я ему много рассказывал о вашем искусстве...

Иван вновь подмигнул мне, как бы объясняя, что его слова – и не враньё вовсе, а сюрприз.

Наконец загремели засовы, и на пороге появилась маленькая, сморщенная, белая, словно вылепленная из воска, старушка в сарафа-

не, с чепчиком, который, когда я пригляделся, оказался ватными плечиками на бечёвках.

– Ладно уж, входите, – вздохнула старушка.

Пройдя за ней и Иваном в сени, я увидел на внутренней стороне двери надпись мелом: «Мама, никому не открывай!».

В комнате старушка прошла к тумбе с какими-то сине-зелёными стекляшками, села в кресло и затаилась. Иван обвёл рукой комнату.

– Вот, хотел показать, что вы сотворили, – он наклонился к хозяйке, свидетельствуя своё уважение.

Я осмотрелся. На этажерке, тумбе и подоконнике стояло множество акварелей в овалах. Это были тщательно отделанные миниатюры; портреты дам из прошлого века.

– Вполне профессиональные работы, – сказал я. – Вы, Мария Алексеевна, где-нибудь учились?

– Когда-то закончила местное художественное училище, – отозвалась старушка. – Работала в театре. Получала мало... Когда родился сын, подрабатывала где придётся...

– Муж Марии Алексеевны умер рано, – вставил Иван.

– Да, одна растила сына, – горькая память нахлынула на старушку, она часто заморгала, но пересилила себя. – Потом нанялась в подручные к швеям. Они отдавали мне лоскуты. Шила одеяла лоскутные, подушки-думки. Потом занялась аппликацией... Кое-что осталось, зайти взгляни, – старушка кивнула на соседнюю комнату.

Я откинул занавеску и онемел. На стенах висело штук десять картин – натюрмортов-аппликаций; все работы большие, на подрамниках и сделаны так виртуозно, что не виделось ремесло – ни стежки, ни обмётка. Лоскуты были подобраны с таким вкусом, что один цвет плавно переходил в другой; создавалось впечатление, что цветы на полотнах – живые, а горшки и вазы – настоящие, объёмные. Но главное, натюрморты наполняло солнце: на столах и подоконниках играли солнечные блики, от букетов падали тени.

– Смотришь на эти вышивки, и как-то радостно становится на душе, – протянул Иван за моей спиной.

– Радостно, – согласился я, а про себя подумал: «Ну понятно – большие полотна – люди маленького роста часто стремятся ко всему большому».

шому, но откуда эта жизнерадостность?! Может, оттого что жизнь была без радостей?!»

– Мария Алексеевна, вы продаёте свои работы? – обратился я к старушке. – Ведь такие вещи стоят очень дорого.

– Раньше дарила всем, кого они волновали... Потом продавала, когда деньги были нужны. Когда сына растила... А теперь зачем мне деньги? – старушка привстала с кресла, взяла с этажерки альбом и мягко предложила мне: – Вот посмотри лоскуты.

Я начал листать альбом с шёлковыми, атласными и батистовыми лоскутами; на каждом развороте были лоскуты одного цвета, но разных оттенков: от ослепительно ярких до приглушённых, бледных.

– А выставки?! Местные власти устраивали ваши выставки?

– Сама не хочу, – старушка опустила в кресло.

– Лет пять назад устроили выставку, – высунулся Иван, – да три картины стащили.

– Зачем мне такие выставки, посуды сам, – старушка махнула рукой и отвернулась.

– Прекрасные работы у Марии Алексеевны, – сказал я, когда мы с Иваном вышли на улицу.

– Я зря болтать не буду, – хмыкнул Иван. – Но ты уяснил, что никому нет дела до её искусства?

– Ну а её сын? Он, я так понял, бережёт её работы?

– Он печётся о себе. Никчёмный мужик. Картёжник. Как проиграется, одну картину продаёт. Незаметно выносит и загоняет на барахолке за бесценюк. А матери говорит, что украли.

«ФАБРИКА БЕЗ ГОЛОВЫ»

Однажды по какой-то неясной причине меня пригласили на телевидение, в детскую редакцию.

– Сделайте нам что-нибудь, – сказали.

Мне понравилось это «что-нибудь», но я всё же уточнил:

– Что именно?

– Что хотите, мы вам доверяем. Сделайте какой-нибудь фильм в картинках. Что-нибудь этакое с красочными подробностями.

Несколько дней я работал не разгибая спины, придумал фильм «Олимпийские игры у зверей» и кучу «красочных подробностей».

– Замечательно! – сказали в редакции. – Но, понимаете, красочные подробности не очень красочны. Разные бегемоты, жирафы – не «наши» звери. Оставьте только «наших» – медведей, зайцев. И потом, понимаете, у нас есть определённый набор кукол, декораций; надо укладываться в них, чтоб не клянчить деньги на новые...

Я столкнулся с трудностями, но отступить было поздно, уже дал слово, что сделаю «что-нибудь», да и мои мысли уже устремились в кинематографическую область.

Снова засел за работу, ухлопал целый месяц, написал сценарий и сделал тьму рисунков про «школу под водой»: морскую черепаху-учительницу и акулу-разбойницу (что-что, а надводный и подводный миры никогда не покидали меня).

Фильм снимал режиссёр Александр Сахаров; снимал через аквариум: за плавающими рыбами двигались «ученики школы»: игрушечные осьминожек, морской конёк... Фильм понравился, Сахаров получил премию, а мне заказали продолжение. На это продолжение я ухлопал ещё месяц, но за работу получил меньше, чем получал за один рисунок в «Весёлых картинках».

– Мы заплатили вам по высшей ставке, как Пушкину, – сказали в редакции. – Понимаете, за продолжение платят половину от первой серии. Считается, что одни и те же герои...

– Теперь понимаешь, почему на телевидении нет приличных авторов? – пробубнил Сахаров. – Огромное предприятие, а денег нет. И туча установок: или слюнявый романтизм, или клюква. О Бабе-яге и чёрте писать нельзя. Телевидение – это фабрика без головы. Вернее, мусоропровод: пока летит – гремит, пролетело – пусто.

Всё-таки и на телевидении я встретил хорошего художника – Бориса Сафронова, который оформлял детские передачи исключительно ради любви к «волшебному миру детей».

– Многие считают, что мы здесь халтурим, – говорил Сафронов. – Это неверно. Халтура не работа, а отношение к работе.

«Для себя» Сафронов ничего не писал – он писал «для других» – то, что просили знакомые, и просто дарил картины.

– Не жалко отдавать? – как-то спросил я.

– Жалко, но отдавать и надо то, что жалко, – усмехнулся Сафронов. – А что не жалко – надо выбрасывать.

Однажды подвал, где Сафронов хранил живопись (а он писал гуашью), затопило, и все работы размыло.

– Кошмар! – растерянно бухнул я Сафронову.

– Ничего, сюжеты помню, – невозмутимо ответил он. – За год-два восстановлю и сделаю получше. С нюансами. Ведь всё дело в полутонах, нюансах... Знаешь, народы Севера для обозначения снега используют триста понятий, индусы называют сотню оттенков зелёного цвета – какое тонкое восприятие мира!

Последней моей работой на телевидении был сценарий (с рисунками) про Новый год – естественно, с «красочными подробностями». Моя работа понравилась, но после «редактуры» от неё мало что осталось. Можно сказать, с моей новогодней ёлки сняли все игрушки и обстругали ветви, оставив одну палку. Я возмутился, забрал сценарий, а дома отправил его в мусорное ведро.

До этого безрадостного случая произошёл ещё один, более-менее радостный. Как-то режиссёр Сахаров вызвал меня в телецентр и торжественно объявил:

– У меня большие задумки на будущее, о них через час поведём качественный разговор, а пока впихну тебя в жюри – сейчас будет конкурс молодых актёров-кукольников, надо отобрать самых талантливых. Ты, вроде, работал в театрах. В жюри, кроме меня, есть ещё один знаток, а ты будешь для массы. Потом поговорим о будущей работе и шумно отпразднуем твоих подводных головастиков.

По пути в просмотровый зал Сахаров отчеканил:

– Поставь каждому по несколько баллов. За сцену движения, за речь. В сумме не больше десяти.

Начался спектакль. Над ширмой появились тряпичные герои. Как я ни присматривался к их движениям, как ни вслушивался в голоса – всё было обычным, без волшебства, но вот деревья раскачивались – хоть куда! Я даже ощущал ветер. После спектакля из-за ширмы вышли актёры – молодые ребята; поднялся Сахаров и начал что-то втолковывать актёрам, потом за поддержкой обратился к «знатоку». Тот полностью согласился с Сахаровым и объявил, что всем поставил тройки. Для формальности Сахаров спросил моё мнение. Я некоторое время

морщился, делал вид, что занимаюсь немалым умственным трудом, потом объявил, что поставил пятёрку тому, кто раскачивал деревья. Неожиданно Сахаров изменился в лице:

– Наш гость верно заметил таланты, а мы с вами, коллега, их просмотрели. Так что первую премию даём тому, кто имитировал ветер. Кто это делал?

Руку поднял пожарный, который, как оказалось, за бутылку пива помогал актёрам.

ОХ УЖ ЭТИ ХУДОЖНИКИ!

В Домжуре имелся кафетерий, пивной бар и холл с шахматными досками; там я основательно расширил круг знакомых художников.

Чаще всего встречался с Борисом Степанцевым, который рисовал и ставил как режиссёр мультфильмы. На лице Степанцева всегда играла усмешка; он насмеялся на выставках:

– Хорошая выставка, но слишком обширная экспозиция, всё пестрит... И много мешанины. Всё замусолили, и получилась чепуха. В общем, всё никуда не годится!

Над художниками-эмигрантами:

– Пусть уезжают, атмосфера будет чище. Если ты не патриот, значит, не имеешь права жить в нашей стране.

О себе говорил тоже со смешком:

– Я немного лучше других вижу, немного лучше запоминаю и изображаю. Из этих «немного» складывается моё огромное преимущество.

Это не было преувеличением. Его огромное преимущество доказывали отличные мультфильмы: «Щелкунчик», «Пер Гюнт» и др.

В шахматы я играл с Алексеем Годуновым, который жил на Брестской (где, как и на Бутырском валу, был целый дом художников с более шикарными мастерскими; у некоторых – прямо над квартирами; оба помещения соединяла винтовая лестница). Годунов серьёзно оберегал своё «душевное спокойствие» – чтобы не волноваться, частенько повторял:

– Не надо о неприятном...

И страшно боялся болезней; стоило кому-нибудь чихнуть, как он откликался:

– О, это дуновение смерти!

В основном он рисовал «хлороформ» – неживые листья и травы, этикие конструкции из растений, причём писал одной тушью – «масло неприятно пахнет, акварель коварна, капризна», – заявлял.

Однажды в Домжуре появился редактор журнала «Детская литература» Игорь Нагаев, здоровяк со шкиперской бородой и крутыми плечами; он с ходу басом сообщил мне, что сейчас повезёт последний номер журнала в Абрамцево художникам Татьяне Мавриной и Николаю Кузьмину, и предложил поехать с ним. Я давно искал повод напроситься в гости к знаменитой супружеской паре, и вдруг такой случай!

Маврина с Кузьминым встретили нас приветливо – Нагаева понятно почему, а то, что я заявился именно с ним, уже было неплохой рекомендацией. Мы пили чай с вареньем в саду за скромным дощатым столом. Маврина показывала на цветы и подробно объясняла, как их выращивать, при этом восклицала:

– Слышите? Это поют чижи! Они поют почти как соловьи!

Кузьмин, подмигивая нам, то и дело подтрунивал над супругой, кидал орехи белкам, прыгающим вокруг стола.

Потом художники показывали свои работы. Гуаши Мавриной напоминали декоративные панно, и некоторые художники говорили:

– Она советский Пикассо, потому и получила премию Андерсена. Западники поддерживают всех в России, кто отошёл от реализма, им главное – насолить нашей системе ценностей.

Это верно, но, по-моему, дело ещё и в другом: многие прекрасные изобразительные находки художников интересны только их коллегам, а зрителям непонятны. В детской книге это особенно заметно. Я знаю точно: ничто не заменит ребёнку реалистических рисунков Пахомова, Лебедева, Чарушина, Рачёва.

Работы Кузьмина были попросту блестящими. Глядя на его иллюстрации к Пушкину, я наконец понял, что взрослая иллюстрация вовсе не сопровождение текста, а самостоятельное изобразительное повествование.

После шумной Москвы и дымных застолий в Домжуре дача в Абрамцево предстала как тихий самодостаточный творческий мир. Уз-

нав, что художники часто и зимуют на даче, я удивился такому добровольному заточению и спросил, не скучно ли здесь, в оторванности от столицы, без телефона, без друзей?

– Некогда скучать, – откликнулась Маврина. – Пока сходишь на станцию за продуктами, пока растопишь печь, всё приготовишь. Птичек, белок надо покормить, расчистить дорожки. Посидишь за столом над рисунками, попишешь пейзаж – зимой здесь такая красота!

– Надо просто знать, чего хочешь, – улыбнулся Кузьмин, – что главное для тебя. Тогда времени не останется на скуку... Да и вон библиотека, – он кивнул на шкафы, забитые книгами.

В шестидесятых годах в Москве открылось несколько выставок абстрактной живописи: вначале Пикассо, затем поляков и американцев. Как всякое новое мероприятие, выставки вызвали бум. Зрители охали и ахали, а я тупо взирал на ломаные линии, пятна, брызги и сильно страдал от непонимания подобного «современного» искусства.

В то время в среде интеллектуалов, чтобы не прослыть невеждой, следовало тасовать набор имён: Малевич, Кандинский, Шагал. И, соответственно, ругать Герасимова, Пластова, Томского, Лактионова. Этот штамп был паролем для входа в среду «левой» молодежи. Если ты отходил от штампа, на тебя вешали позорный ярлык – «слишком советский». Мне не нравились оба набора, но было стыдно в этом признаваться. Я восхищался Конёнковым, Дейнекой, Пластовым, Грицаем, Сарьяном. С точки зрения «интеллектуалов» это был неплохой ряд, но всё-таки он не дотягивал до их «набора», поэтому на выставках я помалкивал.

Понадобилось немало лет, чтобы я научился говорить то, что думаю; после чего, естественно, кое-кто стал обходить меня стороной, но к этому времени собственные принципы мне уже были важнее добрых отношений. Именно поэтому призыв «говорить друг другу комплименты», я уверен, – ведёт ко лжи. Многие (не все, конечно) комплименты вообще лицемерны и нужны слабым людям. Для пользы дела умная критика, пусть даже жёсткая, гораздо ценнее. Теперь я часто цитирую Аристотеля: «Платон мне друг, но истина дороже».

МАСШТАБНЫЕ, ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЕ, НЕПОВТОРИМЫЕ, НЕЗАМЕНИМЫЕ ДРУЗЬЯ МОИ, ХУДОЖНИКИ ДЕТСКИХ КНИГ

У нас, в России, самоирония чуть ли не общенациональная черта, нас хлебом не корми – только дай посмеяться над самими собой и нашей жизнью. Но у художников больше принято подтрунивать друг над другом: они не упустят случая выставить друзей нескладёхами, оболтусами – на эти беззлобные штучки нельзя обижаться, ведь за ними стоит почти родственная привязанность. Но некоторые перебарщивают. Так, Монин написал слишком желчный стишок о Глазунове, а Устинов – разгромный о Шилове. Это выглядело особенно грубо, потому что они сочинили ужасные стишки в возрасте, когда уже принимаешь разные направления в искусстве, а не только своё.

Известно, многих художников раздражает компиляция Глазунова и зализанная живопись Шилова, но у обоих есть свои зрители, и их немало. К тому же дай бог всем художникам такую адскую работоспособность и так же любить Россию, как её любят эти два мастера.

Кроме желчных стишат, ничего отрицательного в Монине и Устинове не найти, а положительного – хоть отбавляй! Взять хотя бы их всегдашнюю готовность забросить работу ради встречи с другом. Здесь они явно отличаются от каких художников, как например, Попов, Чапля, Кабаков, которые чёрта с два встретятся с тобой просто так, с бухты-баряхты. По делу – пожалуйста, а для «пустых разговоров» – извини, давай через недельку, а лучше через две. Хотя ради романтических приключений моментально забрасывают не только работу, но и всё остальное.

В жизнерадостном Лосине больше всего поражает его ироничное отношение к жизни. Каким-то неведомым образом он умеет расцветить насмешливостью любое событие, любой поступок приятеля (в том числе и свой).

Однажды в «Детгизе» у меня выходила книжка рассказов (о Волге), и редакторша сказала:

– Просто не знаю, кому её отдать иллюстрировать.

– Лосину, – не раздумывая брякнул я. – Ведь он рыбак и охотник. Он сделает лучше всех.

– Что вы! – прыснула редакторша. – У Лосина работы на год вперёд. Он делает только классику!

– Он мой друг и возьмёт мою рукопись, – с торжествующей наглостью отчебучил я и под обалделый взгляд редакторши отправился к художнику.

Лосину я объяснил суть дела.

– Давно мечтал порисовать Волгу, рыбаков, – заявил мой незабвенный друг.

Он отложил классику и за месяц сделал книжку; сделал иллюстрации в своей манере – отмывкой (мокрой кистью); рядом с его отличными и иллюстрациями мои рассказы сразу поблекли.

Чижиков – неиссякаемый на выдумки рисовальщик-юморист, и уникальный, единственный в своём роде художник – он дальтоник (ему жена под красками обозначала цвета), но он годами боролся со своим недугом и в конце концов победил – научился чувствовать цвет.

Как-то Митяев решил выпустить номер «Мурзилки», посвящённый «художникам, которые пишут». А таких, повторяю, было немало; к тем, кого уже упоминал, добавлю ещё нескольких: Перцов написал очерки о Дальнем Востоке и набрасывал солидный труд о русских свя-тых, Иван Бруни тоже писал очерки, Чижиков – рассказы, Денисов – сказки. Но всех обставил Токмаков – он написал и издал целую книгу прекрасных рассказов «Уральские самоцветы», а позднее и сборник стихов.

Так вот, Митяев придумал рубрику, но почему-то на его призыв откликнулись только трое: Чижиков, Денисов и я (по-моему, остальные посчитали, что достойны более серьёзного журнала). И здесь, надо признать, Чижиков утёр нам с Денисовым нос: его рассказ и рисунок к нему был посильнее, чем накопал я и накарябал Денисов, – не знаю, как так получилось, ведь мы старались. После этого я стал стараться вдвойне, а Денисов посчитал, что наступил конец света и бросил сочинительство.

Со временем многие мои друзья-художники получили звания заслуженных и народных; некоторые, вроде Сергея Алимова и Копейко, даже стали академиками, но большинство из них не заважничали и, общаясь с такими, как я, не задирали нос, оставались прежними, простыми и компанейскими.

Чижиков тоже носил звание заслуженного и имел кучу премий, но он единственный, кому предложили издать сразу десять книг с его иллюстрациями (в том числе – три, где он выступал и как писатель). Узнав об этом, я сказал ему:

– Поздравляю! У тебя выходит десятитомник!

– Точно, выходит, – подтвердил мой друг. – Только не десяти, а двадцатитомник. Так что можешь поздравить дважды.

По какой-то неясной причине, когда мы в Серебряном Бору играли в футбол, Чижиков не играл, но охотно брался судить матч.

Это были исторические встречи. Монин слишком серьёзно относился к игре – краснел, сопел, надувался и, случалось, в азарте лупил партнеров по ногам.

Анатолий Елисеев был отличным футболистом и вообще многогранным спортсменом, но чересчур демонстрировал свою технику, давая понять, как нам далеко до него; и в ответственные моменты игры застывал на дачниц и терял нить игры.

Я уже говорил, Перцов всё делал красиво: изящно рисовал, грациозно играл в шахматы, изысканно ухаживал за девушками и, понятно, в футбол играл не так напористо, как Монин, и не так технично, как Елисеев. Он играл элегантно, при этом великодушно прощал партнёрам ошибки.

Чижиков судил качественно и знал толк в нюансах игры, но иногда забывался и выдавал восторженные вопли на ту или иную комбинацию – то есть по сути превращался в зрителя. В такие моменты приходилось напоминать ему о судьейских обязанностях.

О Михаиле Скобелеве разговор особый. Я не раз от него слышал, что генерал Скобелев его родственник, что он рисует, только выпив бутылку портвейна, что знаком со всеми «сильными мира сего». Как-то объяснил:

– Недавно приехал из Италии. С Лоллобриджидой крутил роман.

– Ну уж! – удивился я.

– И с Пампанини тоже, – не моргнув выдал Скобелев и, достав сигареты, в припадке прекрасных чувств сказал: – Кури, арабские, у меня их полно. Король Хусейн прислал...

– Хвастун. Всё выдумывает, похлеще, чем скульптор Лурье, – заявляли художники. – Пусть заливает, если ему хочется.

А я никак не мог понять: что за дурацкое самоутверждение?

Однажды мы, человек пять-шесть, собрались в мастерской Перцова; вдруг зашёл Скобелев.

– Слыхали, актёр Цибульский погиб? Ко мне ехал...

Реакции не последовало; наоборот, кто-то заговорил о футболе. Скобелев, после паузы, заметил, что один раз сыграл за «Динамо».

–...Несколько лет назад во второй команде заменил мастера, – вполне серьёзно сказанул он.

Художники только переглянулись – все давно привыкли к закидонам товарища и не помышляли избаловать его во лжи.

Не помню, с чего завели разговор о болезнях; кажется, после взволнованного разговора о женщинах – в том смысле, что о них разбилось немало мужчин, – и я пожаловался на язву желудка.

– Тебе надо масло облепихи попить, – сказал один художник. – У меня жена работает в аптеке. Завтра утром тебе позвоню.

– И я позвоню, – вмешался другой художник. – У меня дома стоит пузырёк этого зелья.

– Сколько надо? – бросил Скобелев. – Ящик хватит? Сегодня вечером сделаю звонок в аптечное управление. Завтра заберешь!

Мы разошлись в полночь, а утром никто не позвонил; уже надел пальто, чтобы отправиться по делам, как вдруг раздался телефонный звонок. В трубке послышался голос Скобелева:

– Что ж не едешь? Облепиха тебя ждёт!

Он достал лекарство – не ящик – одну упаковку, но достал. А позднее я достоверно узнал, что он ездил в Италию и был знаком с Цибульским. Играл ли за «Динамо», неизвестно.

Стацинский выглядел утонченным интеллигентом, но в разговор вставлял матерные словечки, причём произносил с явным желанием огорошить собеседника. Такое несоответствие внешности и шофёрского сленга ставило в тупик. К тому же Стацинский был крайне задиристый (в конце концов многие с ним разругались), да ещё завистник. Если у кого в издательстве «рубили» рисунок, он непременно его печатал в своём журнале, но не для того, чтобы помочь художнику, а чтобы насолить издательству. Если у того же художника дела шли в гору, Стацинский говорил о нём гадости.

Как иллюстратор он рисовал штампами под лубок, а как оформитель выдавал авангардистские макеты книг и журналов, уподобляясь тем, кто утверждался за счёт внешних эффектов.

Квартира Стацинского была заставлена мебелью из карельской берёзы, а мастерскую заполняли иконы и антиквариат: граммофон, мушкет, сабля, подзорная труба, старинные пистолеты, телефоны, часы, книги... Всё это он распродал перед тем, как эмигрировать.

В Стацинском уживалось возвышенное и низменное: он мог рассуждать о религии, Брейгеле и Босхе и в то же время обсуждать тайные романы друзей, что, как известно, не делает чести мужчине. Он эмигрировал со второй волной. Перед отъездом сказал мне:

– В Канаде меня ждёт одна женщина, в Англии другая.

Канадка и англичанка почему-то не приняли его, и он осел во Франции. По слухам, живёт на окраине Парижа в какой-то хибаре; работал нянькой, разносил газеты, учил сорбоннских студентов русской ругани; за прошедшие годы язык не выучил, проиллюстрировал всего одну брошюру стихов Холина (кого ж ещё, как не поэта, стихи которого могут читать только те, у кого мозги набекрень), общается с такими же, как он, эмигрантами-неудачниками, ходит к психиатру, мучается бессонницей. Плохо ли ему здесь жилось? Главный художник журнала, в год выпускал по книжке, участвовал во всех выставках, имел прекрасную квартиру, мастерскую...

Теперь несколько слов о Снегуре. Я уже рассказывал, как он, рукастый, строил дачу... Сейчас добавлю к его портрету несколько положительных и отрицательных штрихов. Самое положительное в нём было то, что, пребывая на суше, он не забывал о водных просторах и даже сходил на барже по Волге до Астрахани, откуда привёз кипу рисунков. Самое отрицательное – то, что он, эгоист несчастный, своей патологической подозрительностью и ревностью довёл двух жен до сумасшедшего дома – об этом распространяться не хочу, его семейная жизнь – тема для психиатра.

Однажды в Доме журналистов мы со Снегуром, поиграв в шахматы, направились в ресторан поужинать. Выпив известного напитка и съев по филе, мы расплатились и, как это часто бывает, почувствовали, что не мешает выпить ещё, но денег уже не было.

– Подожди, – сказал я другу, – схожу в холл, займу у кого-нибудь из знакомых.

Но никаких знакомых не встретил.

– Может, я кого встречу, – сказал Снегур, когда я вернулся с кислой миной.

– Вряд ли, – хмыкнул я. – Ты бываешь здесь редко, а я почти каждый день. Уж если я никого не встретил...

После этого диалога нам захотелось выпить ещё жгучее, и Снегур отправился на поиски знакомых. Но тоже вернулся ни с чем.

– Не повезло, – вздохнул я. – Ладно, пойдём по домам.

– Давай ещё посидим, – сказал Снегур.

– Чего высиживать-то?

– Посидим, покурим...

В этот момент передо мной расшаркался официант и сообщил нечто захватывающее:

– Это вам! – он снял с подноса бутылку водки и салаты.

– Вы, наверно, ошиблись, – сказал я.

– Вы Сергеев? – спросил официант и, после моего кивка, пояснил: – Прислали лично Вам.

– Но кто? – я окинул зал и не увидел ни одного знакомого хотя бы в лицо. – Скажите, кто? В следующий раз я должен ответить.

– Просили не говорить, – понизил голос официант и удалился.

Я так опешил и притих, а Снегур оживился:

– Брось интеллигентские штучки! Прислал какой-то хороший человек, спасибо ему! – он взял бутылку и разлил водку по рюмкам.

Позднее я узнал, что он оставил официанту паспорт под залог.

ЗАЧТЁТСЯ НА НЕБЕСАХ!

Среди моих знакомых поэт Игорь Мазнин занимает особое место – он, доброе сердце, всегда готов помочь тем, кто попал в беду, и всегда говорит то, что думает, говорит открыто и безбоязненно, поэтому нажил себе массу врагов. Японцы считают: у каждого должно быть семь врагов. У Мазнина их гораздо больше. Зато друзья восхищаются его мужеством. Ко всему Мазнин даже в самые пасмурные дни за

облаками видит солнце, другими словами – не сгущает неприятности и в трудном положении не падает духом, да ещё сохраняет чувство юмора.

– У тебя есть возможность заняться благородным делом, – сказал однажды Мазнин. – Учить детей рисованию. В Доме литераторов открывается изостудия, меня попросили найти руководителя. Я назвал тебя.

– Ты спятил! – вполне серьёзно заявил я. – Чему я могу научить?! Сам всю жизнь учусь!

– Правильно, учишь и других учи. Из камней делай кометы! Студия не профессиональная, а любительская. Твоя задача – выявлять способных ребят и направлять их в художественные школы. Это даже мне по плечу, хотя я не умею держать карандаш, а ты столько работал для детей. Так что хватит бззить, берись за дело и действуй решительно! Тебе зачтётся на небесах!

Долго я раздумывал над этим предложением, раздумывал с тяжёлым сердцем – на меня давила ответственность. В конце концов решился.

Директор Дома литераторов встретил меня с распростёртыми объятиями, обрушил на меня поток дружелюбных чувств.

– Под изостудию мы отвели Малый зал, – возвестил он. – Там большие окна, фигурный паркет. Мы организация солидная, так что не стесняйтесь, сколько надо денег на бумагу, краски, мольберты?

Я прикинул в уме, но явно притормозил раньше времени.

– Рублей двести.

– Всего-то? – директор вздёрнул плечи. – Берите две тысячи!

У меня захватило дух. Я скромно отказался от этой баснословной суммы и вскоре пожалел. Через год директор ушёл на пенсию, а на его место пришёл менее щедрый человек, вернее – слишком экономный, ещё вернее – скупой. С его приходом нам выделяли минимум бумаги и карандашей, краски и кисти надлежало покупать за свой счёт, да ещё мы постоянно испытывали притеснение – в зале то и дело намечались разные мероприятия.

Надлежало записывать в студию только детей писателей, но я брал всех ребят, которые любили рисовать. Даже тех, кто рисовал неважно, поскольку знал, что многие способные – лентяи и забрасывают рисо-

вание при первых же трудностях, а менее способные, но усидчивые добиваются успеха. Конечно, по одному рисунку, даже по нескольким линиям можно сразу определить способности человека, так же как по одной музыкальной фразе понять – есть у него слух или нет. И нельзя вселять в ученика ложные надежды – они могут привести к жестокому разочарованию и тем самым поломать всю жизнь. Лучше сразу говорить всё как есть. Но я не спешил выносить приговор, и, чтобы не ошибиться, всем давал возможность порисовать несколько занятий, и, если у кого-то совсем ничего не получалось, советовал родителям развивать в ребёнке другие способности.

Известна истина: все дети способные, но по мере взросления чаще всего эти способности куда-то улечучиваются. У одних – от семейных условий, у других – от лени, у третьих – от плохих учителей. Сколько заглохло талантов оттого, что в детстве некому было помочь! Ведь в школах учат «правильному» рисованию, рисуют пирамиды и кубы, то есть прививают детям ремесло, да ещё пытаются обуздать своенравных, непокорных (как раз из таких и получаются личности). А надо бы развивать у ребят воображение, поощрять инициативу, самостоятельное мышление, заражать своим предметом. Садовод, чтобы получить урожай, ухаживает за яблоней: утепляет, обмазывает известью. Так и преподаватель должен бережно и терпеливо выращивать учеников.

До двенадцати лет детям следует давать только свободные темы: «подводное царство», «праздник», «летний отдых», «зимние каникулы», рисунки к рассказам и сказкам. И на примерах объяснять, что такое композиция, перспектива, освещённость, тёплые и холодные тона. Например, перспективу я объяснял предельно просто:

– Видите, на окне цветок, а за окном дерево, и оно меньше цветка. Почему? Потому что цветок близко, а дерево далеко... Муха может быть больше собаки?

– Может! – голосили сообразительные ученики. – Если муха рядом, на стекле, а собака очень далеко.

– Правильно! Каждый из вас может быть выше телеграфного столба. Если вы нарисуете себя в начале улицы, а столб...

– В самом конце! – уже кричали все.

Так же просто я говорил об освещённости, роли света:

– Если мы сидим под зелёным абажуром, наше лицо и одежда будут с зеленоватым оттенком. При закате солнца всё будет каким?

– Лиловым! Розовым! Пурпурным! – слышались голоса.

– Да. И даже в зелёной листве будет тепло заходящего солнца. И в тени будет много цвета. Кстати, в тени всегда много цвета, и внутри тень прозрачна. Поэтому чёрную краску сразу уберите, чтобы не рисовать ею тени. Для нас ничего нет белого и чёрного. Как известно, в белом цвете все цвета радуги, а в чёрном масса оттенков.

В заключение я рассказывал о художниках по свету в театрах и показывал репродукции с картин великих колористов.

В другой раз я говорил о том, как цвет создаёт настроение: мягкие зелёные тона – успокаивают, вселяют умиротворённость; синие, изумрудные – наводят грусть; жёлтые, оранжевые – радуют, бодрят; ярко-красные – возбуждают...

– Возьмите цветную посуду! – вещал я. – Тарелки с оранжевым орнаментом поднимают аппетит, а синие и зелёные тарелки для тех, кто сидит на диете. Красивые вещи устанавливают приподнятое настроение, оптимизм.

Я рассказывал о знакомой художнице, которая выкрасила стены своей комнаты в серый цвет, а потолок – в красный, и её гости постоянно испытывали дискомфорт, а то и приходили в возбуждение. Кстати, в ещё большее возбуждение гости приходили от самой хозяйки, ведь её наряд обычно соответствовал характеру беседы – она ходила в «сетях» – в платьях крупной вязки на прозрачное бельё. Об этом, понятно, я ученикам не говорил. Говорил о другом:

– А ведь приятно находиться в комнате с обоями тёплых, приглушённых тонов. Или с голубыми обоями. Голубой цвет даёт ощущение свежести. Даже маленькая комната со светлыми обоями кажется шире, кажется, в ней воздуха больше. Точно так же, как полный человек в яркой и узкой одежде кажется ещё полнее, и, значит, чтоб быть поизящней, ему следует носить какую одежду?

– Не яркую! Не узкую! Широкую, свободную, – вразной подсаживали ребята.

– В чём радость рисования? – подводил я аудиторию к главной мысли. – В том, что мы можем сделать весь мир таким, каким хотим, чтобы он был. Зимой можем сделать лето, когда пасмурно, можем всё на-

полнить солнцем, побывать там, где пока не можем побывать, сделать несчастных людей счастливыми – и всё на чём?

– На белом листе бумаги! – дружно подхватывал хор, чувствуя причастность к великому.

РАДОСТЬ ОТКРЫТИЯ

Мы занимались по воскресеньям полтора, иногда два часа. Ребята до десяти лет рисовали за столами, постарше – за мольбертами. На первых занятиях, ещё не перезнакомившись, ребята садились группами: «столовщики» у стены, «мольбертщики» у окон, но уже через пару недель рассаживались вперемежку, кто с кем хотел, при этом старшие опекали младших. А иногда случалось и наоборот. Например, очень способный третьеклассник Игорь Новиков с трогательной серьёзностью помогал рисовать выпускнице техникума Юле Цимайло, у которой был слабый рисунок.

«Столовщикам» я давал полную свободу творчества (например, рисовать «мечту»). Было интересно наблюдать противостояние ребенка один на один с листом бумаги. Вначале – растерянность. Ещё бы! Такой простор перед глазами, и всё, чем заполнять лист, надо придумать самому!.. Смотрю – задумался, припомнил что-то, что когда-то поразило. И вот уже первая линия, первая краска и... радость открытия; лист бумаги наполняется ещё непрочными постройками и полуживыми существами, но они начинают самостоятельную жизнь, даже как бы подсказывают юному художнику, что собираются делать.

Теперь ребёнка не остановить! Я только слегка направляю его бурлящую фантазию. И не учу, а выявляю и развиваю то, что в ребёнке заложено. Позднее помогу ему из нагромождения линий и красок выбрать стройные и красивые, чётче обозначить слабую, ещё еле различимую цель. Другими словами, зароню в ребёнка стремление внести в жизнь что-то своё, прекрасное, самобытное...

Почти все дети открыты, восприимчивы, чувствительны к несправедливости, к назиданиям, или наоборот – к сюсюканью. Именно поэтому я говорил с ними как с равными, словно у нас одинаковый запас знаний, но они кое-что забыли, и я напоминал.

– Ты ведь знаешь, что цапли спят в воде, спрятав клюв под крыло. Так и рисуй, – говорил я.

Ребёнок мог этого и не знать, я нарочно завышал его знания, но после занятий он уже стремился расширить свой кругозор и рисовал с двойным старанием.

И ещё одно обстоятельство: конечно, можно ученику давать задание – рисовать «от и до», но лучше его заинтересовать темой, подвести к ней. При таком методе отдача намного полноценней. «Заинтересовывая темой», я не только водил карандашом, но и корчил гримасы, тарачил глаза – старался зажечь ученика.

«Мольбертщикам» я давал вольные темы по композиции и через занятие ставил натюрморты, причём не эстетские, а самые обычные, чтобы умели различать красоту и красоту.

– Вот на полу ведро с тряпкой и разлитая вода, – я показывал на инвентарь уборщицы. – Смотрите, какие отражения, какие складки на тряпке, вмятины на ведре! Живописная тряпка, живописное ведро! Красота вещей в их простоте, полезности, удобстве.

Каждый человек – особый мир; объединить несколько миров – задача не из лёгких, особенно если учесть, что в студии занимались ребята от семи до семнадцати лет. Как мне это удавалось – не знаю, но скажу без ложной скромности: мы жили одной семьёй, даже дни рождения каждого отмечали в кафетерии, и в подарок именинник получал десятки рисунков.

Родители говорили, что дети тянутся ко мне, с нетерпением ждут воскресений, дома пересказывают истории, которыми я расцвечивал занятия, что верят мне, поскольку видят мои работы в журналах, говорили ещё какие-то приятные слова. Во всём этом была доля правды. Ребята действительно любили студию. Но что её было не любить, если после занятий они ещё валяли дурака в кафетерии, где буфет ломился от лимонада и пирожных, а ребята постарше всегда могли подняться в Большой зал и посмотреть заграничный фильм. Так что я и это учитывал и особенно не обольщался на свой счёт.

После наших занятий в Малом зале проводились различные мероприятия, чаще увеселительного характера, но иногда и грустного, когда состоялись похороны. Хоронил писателей старший рабочий Пал Палыч, известный тем, что знал абсолютно всех писателей, а также где

что можно достать; и тем, что постоянно потягивал «винишко», своеобразно объясняя своё пристрастие:

– Выпивки с друзьями – это исповедашня. Нам, творческим людям, без выпивки никак нельзя.

Незнакомым людям Пал Палыч представлялся «дизайнером сцены» и тише добавлял:

– По совместительству заведующий ритуальным бюро.

– Ты это, скоро закруглишь занятия? – спрашивал меня Пал Палыч. – И это, чтобы ускорить дело, выдели мне двоих-троих ребят постарше. Помогут натянуть тюль да собрать постамент под гроб. За мной не встанет. Лимонадом их напою, сколько влезет. Да, собственно, что я! Помоги-ка сам, для разминки.

Вот так и заканчивали мы занятия вокруг стола с цветами и яствами, если намечалось веселье, или вокруг постамента в траурном обрамлении, если предстояли похороны.

ТАК КТО ГЕНИЙ?

Крепко сбитого пятиклассника Диму Климонтовича все, и я в том числе, звали по имени-отчеству – Дмитрий Иванович. Словно Тартарен, Дмитрий Иванович ходил увешанный с головы до ног оружием: ружьями и саблями всех образцов. Он врвался в студию, палил из пробочного пугача и объявлял о своём очередном подвиге (начитавшись детективов, он всюду видел преступников и находился в постоянной боевой готовности).

Выявляя могучие силы, Дмитрий Иванович рисовал только сражения со множеством действующих лиц и разнообразной боевой техникой. Рисовал быстро и при этом выкрикивал команды, подражал грохоту орудий, чем вызывал усмешки «мольбертчиков» и восхищённые стоны у «столовщиков». Случалось, в запале Дмитрий Иванович выхватывал пугач и стрелял в воздух. «Мольбертчики» вздрагивали, грозились разоружить Дмитрия Ивановича, а у «столовщиков» тихое восхищение переходило в бурный восторг.

Сорванец Дмитрий Иванович рисовал с таким напряжением, что у него часто поднималась температура. Я был не против батальных

сцен Дмитрия Ивановича, но вскользь говорил о гуманизме и о том, что на свете много и другого, достойного внимания художника. И всё старался внушить воинственному ученику, что вначале на листе всё надо набрасывать, идти от общего к частному, чтобы рисунок не рассыпался, чтобы его держали крупные детали. Дмитрий Иванович кивал, но продолжал мельтешить.

Он был наделён редкостным видением мира: рисункам соседей давал меткие и неожиданные определения. Так, акварели соседок, писавших цветы и бабочек, называл «ведром духов».

Раз в месяц Дмитрий Иванович не рисовал, а «подвергал себя испытаниям»; «назло себе» сидел перед мольбертом и «закалял волю». Отсидит полтора часа и, попросившись, уходит, с гордостью за выполненный долг перед самим собой.

Доказано, что девочки лучше мальчишек чувствуют цвет, но десятилетняя Саша Букова, по прозвищу Мимоза (она носила только жёлто-зелёную одежду), и среди учениц являла исключение. У неё было природное чувство цвета; она интуитивно угадывала благородные сочетания красок и, что встречается крайне редко, – рисовала размашисто и смело, прямо-таки в мужской манере. Я думал – её родители художники. Оказалось – нет, обычные служащие. Вот и получалось – её дар от Бога. Сашу-Мимозу отличало искреннее восхищение работами других студийцев. Когда мы обсуждали рисунки, кое-кто позволял себе вольности:

– Это не солнце, а блин, – мог сказануть Дмитрий Иванович.

Саша находила только прекрасные слова:

– Замечательное, жаркое солнце! И такие мягкие и тёплые облака! Вот мне бы написать так! – и это говорила она, лучший цветовик студии! Похоже, она ещё не осознавала своё творчество, так же как и многие малыши, которые восторженно прищёлкивали языками около работ старшеклассников и бормотали:

– Всё как настоящее.

Они не догадывались, что их «не настоящее» подкупает чистой и наивностью, что непосредственность и раскованность не менее ценны, чем сдержанность и вдумчивость.

Тринадцатилетний Андрей Маленкович рисовал так, как рисует в его возрасте один из сотни. Он сразу мне дал понять, что умеет обра-

щаться с пространством: заполнил лист бумаги по спирали, от центральной точки раскрутил сюжет до краёв. Всё получилось целостно и ёмко; и как он это представил в своей маленькой голове? К сожалению, когда я его похвалил, он перестал рисовать и стал делать замечания соседям. А когда я вышел покурить, подошёл к первокласснице Ксении Талызиной, которая рисовала принцессу, и бросил:

– Это кто?

– Принцесса, – выдохнула рисовальщица.

– Ишь отъелась! Какая же это принцесса, это же бегемот! – и подрисовал красавице усы.

Довёл девчущку до слёз; правда, когда я вернулся, уже «усаживал принцессу в карету» – усердно замаливал свою грубость.

– А вы царя видели? – задыхаясь, спросил однажды Андрей, когда я во время занятий рассказывал о своей работе в театрах.

– Вы царя видели? – повторил «мастер спирального рисования» и впился в меня взглядом.

– Нет, не видел, – признался я. – Конечно, я старый, но не до такой степени.

– Андрей, ты что? Совсем глупый? У тебя по истории кол? – вступился кто-то из учениц-старшекласниц. – Цари-то когда были? Как ты можешь такое спрашивать? А ещё мой будущий жених!

Андрей покраснел, но в следующий раз удивил меня ещё больше:

– А скажите, кто среди нас гений?

– Какой гений?! – возмутился я. – Мы все просто способные. Ещё неизвестно, станем ли мы Художниками, получим ли высокое звание – Мастер. Художник – тот, кто сделал открытие и создал свой мир, свою изобразительную манеру. Настоящих Художников не так уж и много. Большинство только рисовальщики и живописцы. Мы ещё пока только учимся на рисовальщиков и живописцев, на Мастеров. Путь нам предстоит долгий.

Некоторые родители поступают непедагогично: подогревая тщеславие своих детей, вставляют их «шедевры» в рамы, вешают на стены. Напрасно они это делают. Чрезмерное восхваление мешает серьёзным занятиям. К тому же сегодня ребёнок сделал «шедевр», а завтра может выдать такую посредственность!

Синеглазая неугомонная Эвелина Храмченко была одарённая девушка: делала стилизованные игрушки из проволоки и ниток, писала стихи, готовилась поступать в прикладное училище, учиться на гримёра. Она была умницей, но не умничала: говорила искренне и просто, и это лишний раз доказывало, что она умница. Чтобы Эвелине получше подготовиться к экзаменам, я ставил ей гипс, но холодные бесцветные фигуры не очень-то вдохновляли её, непоседу. Ей быстро надоедали всякие построения и штриховка светотеней.

– Рисуй не столько сам предмет, сколько вокруг него, – я черкал карандашом Эвелины, а она вздыхала:

– Я, может, и не стану учиться на гримёра. Может, буду поступать на журналистику. Пока не знаю своей голубой мечты.

Здесь будет уместно заметить, что многим эмоциональным ученикам не хватает усидчивости. Сегодня они хотят быть художниками, завтра – танцовщиками, через неделю – лётчиками, а чаще – и тем, и другим одновременно. В такие моменты многое зависит от преподавателя – сумеет ли он увлечь своим предметом, скрасить чисто технические моменты, неизбежные в обучении, уловить настрой подопечных, когда у одного притупляется восприятие, другой пасует перед трудностями. Всю эту науку я познавал постепенно, то есть в студии тоже проходил немалый курс обучения, и ещё неизвестно, кто больше дал друг другу: я ученикам или они мне.

Рядом с Эвелиной ставил мольберт Денис Лучин, высокий, задумчивый паренёк-десятиклассник. У него были тонкие черты лица, тонкие пальцы, изысканные манеры – принц из сказки, а не выпускник обычной школы. И писал Денис изящно: чёткими, звонкими, прямо-таки хрустальными мазками. Долгое время он только поглядывал на Эвелину и смущённо выводил зигзаги на стойке мольберта, а она делала вид, что никак не может разобраться, в чём дело; даже когда Денис писал ей записки, она одаряла его притворным взглядом, как бы вопрошая: «И почему ты выбрал именно меня? Здесь столько красивых девушек!».

На глазах всей студии вырисовывалась любовь: вначале они только обменивались записками, потом то и дело уходили в кафетерий и наконец однажды покинули студию, взявшись за руки. Спустя несколько лет заглянули ко мне.

– Поздравьте нас! – сказали. – Мы стали мужем и женой!

СТОЛ «ДАРОВАНИЙ»

За отдельным широким столом у нас сидели «дарования». Так ученики-старожилы называли новеньких, которые приходили в студию и сразу выкладывали о себе далеко не скудные сведения:

– Рисую день и ночь, родители прямо от стола не оторвут. В школе по рисованию одни пятёрки.

Некоторые «дарования» в первый день сидели тихо, только хлопали глазами, но на второй вели себя как дикари: кричали, пачкали стулья, кидали в соседей кисти. «Стол дарований» был своего рода фильтром в нашей студии, неким вступительным экзаменом для чрезмерно самоуверенных художников.

За «столом дарований» сидела семилетняя Баранова Настя, которая на мой первый вопрос: «Наверно, ты хочешь быть принцессой?» – спокойно ответила:

– А я и есть принцесса!

В будущем она собиралась стать королевой и первое время воспринимала меня как великовозрастного придворного; на каждую мою тему капризно надувала губы:

– Это не хочу рисовать!.. Буду вот это... фломастерами.

Рядом с Настей усаживалась её бабушка, хотя обычно я отправлял родителей, бабушек и дедушек в кафетерий или к телевизору, чтобы не смущали других учеников, но новеньким делал исключение, давал возможность освоиться в новой обстановке.

Как правило, ребята из продлёнок более общительны; они вписывались в коллектив моментально. С маменькиными сынками и дочками дело обстояло посложнее, к ним приходилось подбирать ключи. Здесь я выработал определённую систему: избалованных проказников усаживал рядом с серьёзным учеником, чтобы был пример для подражания. Робких и застенчивых прикреплял к какому-нибудь Тартарену-Диме, который в любого мог вселить жизнеутверждающий заряд. Ну и понятно, с одарённых ребят требовал большей отдачи, учеников со средними способностями подхваливал, чтобы придать им дополнительные силы.

Так вот, рядом с Настей усаживалась её бабушка и за каждый мазок внучки совала ей в рот конфету. Несколько раз она пыталась под-

кармливать заласканную внучку домашними пирожками, такими роскошными, что у других учеников бежали слюни. Заметив эти попытки, я их пресёк на корню. Кстати, та бабушка и рисунки рассматривала как продукты питания: «Это вкусно, аппетитно», говорила – «А это неаппетитно, от этого тошнит».

Настя никому не разрешала пользоваться своими красками, так что, отучив её от подкармливаний, я отучал её от жадности, объяснял, что у нас всё общее и что «вообще давать приятней, чем брать». Только после этой подготовительной работы мы с Настей занялись непосредственно рисованием.

– Пожалуйста, рисуй что хочешь, – сказал я строптивой барышне. – Только одной краской рисует маляр. Окунает кисть в ведро и мажет, например, забор. А у нас с тобой картина! Посмотри, сколько у тебя замечательных красок, а если мы попробуем их смешать, то получим много и других красок, ещё более замечательных.

Я рассказал Насте про основные и дополнительные цвета, показал, как искать «свой» цвет, и после первоначальных капризов у неё появилась заинтересованность, она почувствовала многообразие мира цвета.

– Никаких фломастеров, – решительно говорил я родителям. – Ребёнок привыкает к крикливым цветам. Одним жёлтым рисует и солнце, и лица, и цветы. Потом трудно переучивать, показывать, что цвет делится на сотни оттенков. И лучше рисовать не акварелью, а гуашью. Пока ребята учатся и путаются в цвете, гуашь незаменима. Всегда можно ошибку перекрыть.

Через «стол дарований» прошли братья Сашко Алик и Эдик, которые одно время посещали художественную школу и потому на первом занятии на всех смотрели свысока, громко смеялись, жонглировали карандашами и жевали жвачку.

– Парнишки высокого полёта! – хрипло сказал дед Игнат, сторож Дома литераторов, тоже мой ученик.

По словам деда Игната, он «сызмальства имел пристрастие к рисунку, но жизнь так сложилась, что было не до рисования». Теперь, на пенсии, дед Игнат навёртывал упущенное, и, надо сказать, довольно успешно. Во всяком случае, на наших выставках около его работ зрители охали и ахали:

– Какой гениальный ребёнок!

Потом наклонялись, читали возраст ученика и, стушевавшись, спешили к другой экспозиции.

– Парнишки высокого полёта! Это ко многому обязывает, – сказал великовозрастный ученик дед Игнат об Алике и Эдике. – Но чем выше взлетаешь, тем больней можно шлёпнуться.

За «столом дарований» кипели исключительные страсти. Старший Алик постоянно обвинял брата в том, что он «слизывает» у него темы, а младший Эдик исподтишка ставил загогулины на рисунках Алика, при этом мог ляпнуть что-нибудь такое:

– Он прикарманил мой карандаш!

После таких обвинений Алик вскрикивал:

– Ты дурак! – и замахивался на брата.

– Почему он называет меня дураком? – зывал Эдик.

– Не слушай его, грубияна! – откликнулась Эвелина. – Садись рядом со мной, слизывай у меня.

Братья Сашко были смышлёными, выдумщиками и благополучно миновали «стол». Уже через два занятия они поняли, что им ещё есть чему поучиться. И поняли также, что не учебное заведение красит ученика, а ученики заведение и, простите, преподаватели.

ШЛЯПА С «ОГОРОДОМ»

Манекенщица Ия подкатила к Дому литераторов на «жигулях», небрежно хлопнула дверью и на высоченных шпильках, в полупрозрачном одеянии, увенчанная шляпой с овощами, фруктами и цветами, окутанная облаком духов, прошествовала в студию.

– Мне нужны индивидуальные уроки, – сказала Ия, за локоть выводя меня в коридор.

– Индивидуальные! – повторила Ия. – Вы понимаете? Оплата меня не интересует.

Я объяснил Ии, что индивидуальных уроков не даю, но что она вполне может заниматься в студии. Напоследок я спросил:

– А зачем вы хотите научиться рисовать? Просто для себя или имеете определённую цель?

– Цель у меня вполне определённая, – заявила Ия. – Не знаю, как вам это объяснить. Ну, в общем так... Я решила утереть нос своему поклоннику. Он скульптор, все дни и ночи торчит в мастерской, на меня – ноль внимания. А мне нужна безумная головокружительная любовь. С ревностью и сумасшедшими поступками...

– С похищением, погоней, стрельбой? – я попытался пошутить.

– Я достойна такой любви, – продолжала Ия, не обращая внимания на мою вставку. – Ведь я красивая! – она покрутилась на месте, чтобы я оценил её красоту в полной мере, и пожала плечами: – Думаю, людям всегда приятно видеть красивую женщину, ведь так? Но я не только красивая. Этот мой скульптор считает, что я пустышка, ничего не понимаю в искусстве. А я – талантливая.

– Возможно, возможно... – пробормотал я.

– Научите меня рисовать! Я хочу утереть нос моему скульптору. Напишу его портрет, и он поймёт, что я совсем не пустышка. За два месяца научите? Я талантливая. Уверена, у нас всё быстро пойдёт!

Я посадил Ию за «стол особых дарований» – просто-напросто выделил ей отдельное рабочее место, и у нас дело действительно пошло довольно быстро. Даже стремительно. Не снимая шляпы с «огородом», как окрестил необычный головной убор великовозрастный ученик дед Игнат, Ия день ото дня демонстрировала фантастические успехи и, конечно, свою фигуру.

– Воображала! А уж надушится – хоть из студии выходи! – с презрением поджимали губы ученицы-старшеклассницы, втайне завидуя красоте Ии, её успехам и, безусловно, шляпе.

Всего месяц Ия посещала студию – и вдруг внезапно пропала. Видимо, утёрла нос бесчувственному скульптору.

БЕЛОСНЕЖКА БЕЗ ГНОМОВ

Восьмиклассница Олеся Черемшина носила белый берет, белые гетры, белые туфли и такие ослепительно-белые платья, что, казалось, с них сыпались искры. Олеся была замкнутой; ни с кем не разговаривала и всегда одиноко садилась у входа в студию, как бы оберегая свой таинственный мир от остального мира. Не раз после занятий студийцы

звали её в кафетерий, но она отказывалась, благодарила и торопливо убегала. Такая была вежливо-недоступная, студийцы звали её «Белоснежкой без гномов».

Каждый раз, когда я давал задание, Олеся приглушённо фыркала и тихо, с иронией говорила мне:

– Сегодня в моей коробке с гуашью совершенно другое.

– В твоей чудо-коробке то, что ты захочешь нарисовать, – чувствуя ответственность момента, я подыгрывал ей. – Ведь не материал властвует над мастером, а мастер над материалом.

– А надо мной властвуют краски, – упрямо твердила ученица. – Они мне подсказывают темы.

– Ну что ж! Я уважаю чужую индивидуальность, – сдавался я. – Давай, твори, что они там тебе подсказывают.

Олеся рисовала интерьеры; если комнату, то её непременно украшали ковры, если террасу, то сверкали цветные стёкла: ромбы, овалы. Она имела явную склонность к орнаменту и рисовала аккуратно, без клякс и подтёков, в отличие от большинства начинающих живописцев. Её работы были такие же чистые, как и она сама в отутюженном, накрахмаленном одеянии. Долгое время я не мог понять, куда Олеся торопится после студии. И вдруг узнаю: она ещё учится в прикладном училище зодчества и ваения.

– Что же ты скрывала? И зачем тебе вообще наша любительская студия? – недоуменно спросил я.

– У вас интересно, – просто ответила Олеся.

Мы с Олесей расписывали окна кафе и магазинов. На бумаге, естественно. И расписывала Олеся, а я только следил, чтобы сочетание красок было благородным; особенно следить не приходилось – у Олеси всё получалось как нельзя лучше.

Через два года занятий Олеся неожиданно появилась с десятком дошколят и, покраснев, объявила:

– Это мои ученики. Я тоже организовала студию при жэке.

– Ура! У Белоснежки появились гномы! – закричал Дима Климонтович и пальнул из пугача, чем привёл свиту Олеси в восторг.

ОЧАРОВАННЫЕ РОДИТЕЛИ

Ох уж эти родители, я с ними мучился больше, чем с самыми упрямыми и взбалмошными учениками. Ладно, некоторые водили детей не для того, чтобы сделать из них художников, а для общего развития. Это неплохо. Неплохо, когда ребёнок во всём дилетант: немного рисует и лепит, немного занимается музыкой, сочиняет стихи – в конце концов что-то перетянет, ребёнок остановится на том, что ему ближе по наклонностям. Но ведь некоторые родители думали не о ребёнке, а о себе. Изостудия была для них ширмой, чтобы покутить в ресторане Дома литераторов. Случалось, с одним ребёнком, как бы в студию, приходила дюжина его опекунов.

Помню одного мальчишку, который вообще не хотел рисовать, но отец насильно запикивал парня ко мне, и бодро направлялся в ресторан, и гулял там до закрытия, а его отпрыск после занятий слонялся между телевизором и буфетом.

Некоторые родители впадали в другую крайность: прямо тряслись над своим чадом, и стоило мне отлучиться покурить, как тут же подсаживались к ребёнку и помогали рисовать. Так, писатель Юрий Постников вначале водил рукой сына по бумаге, потом вообще выхватывал у него кисть и сам заканчивал рисунок. Я-то сразу видел, где рука ребёнка, а где родителя, и отчитывал Постникова, говорил, что в каждом рисунке видна душа художника, а здесь две души и большая душа явно давит на маленькую душу – это всё равно что рядом с хрупким цветком растёт мощный репей, и рано или поздно цветок увянет; что, наконец, он, Постников, убивает в ребёнке непосредственное восприятие, индивидуальность.

– Возьми бумагу, садись рядом и рисуй до посинения! – возмущался я. – Но не лезь в мою систему обучения. Не порть ученика.

– Ничего страшного, – оправдывался Постников. – Мы с сыном творим в соавторстве, неужели не ясно? Под рисунком сделаем надпись: «рисовал Постников-младший, помогал – старший».

Кстати, у Постниковых и на рисунках мелькало немало подписей в духе Киплинга: «Кота не видно – он за чемоданом», «Пёс не уместился, но вот его цепь».

Очень пожилой писатель Богданов привёл в студию дошкольницу; записывая её в журнал, я необдуманно спросил:

– Ваша внучка?

– Нет, дочка! Представьте себе!

Обычно родители в возрасте крайне трогательно относятся к своим поздним детям; Богданов не был исключением, но, в отличие от Постникова, усадив дочь за стол, тут же прощался с ней со словами:

– Слушайся учителя. Я приду к концу занятий.

Некоторые родители были попросту очарованы своими детьми, от них только и слышалось:

– Чудо, а не ребёнок! Вы только посмотрите, как рисует! Какая прелесть! Потрясающе! Непостижимо! Поражает чрезвычайно! – и целовали отпрыска: – Моё золотко! Душа моя!

Эти «очарованные родители» досаждали мне больше всего. Гораздо больше, чем их невероятно одарённые дети. Во-первых, они постоянно сообщали мне массу всяких глупостей: что их «чудо природы» ест на завтрак, какие перенесло болезни, что нарисовало бабушке. Во-вторых, они доставали своим детям такие заграничные краски, от которых у остальных студийцев перехватывало дыхание. В-третьих, эти «очарованные родители» постоянно лезли в процесс обучения и советовали мне обратить особое внимание на их детей. В-четвёртых, просили о дополнительных занятиях и намеками про крупные вознаграждения, от чего я, естественно, категорически отказывался и шутил, что и так не знаю, куда девать деньги, хотя получал смехотворный оклад и вёл студию только ради любви к детям и ради их привязанности ко мне.

Однажды, чтобы избавиться от натиска «очарованных родителей», я предложил некоторым из них порисовать.

– Никогда не поздно заняться каким-нибудь увлекательным делом, – произнёс я очень оригинальную фразу и подкрепил её примером старушки-американки, которая всю жизнь вышивала, а в девяносто лет взяла кисть и к своему столетию натворила столько картин, что для выставки отвели целый музей.

Некоторых «очарованных родителей» это сообщение заинтересовало, они решили попробовать свои силы в живописи. К ним присоединились «не очарованные», нормальные. И что примечательно –

многие из родителей обнаружили скрытые недюжинные таланты и искренне сожалели, что когда-то встали не на тот путь.

С некоторыми родителями-художниками приходилось воевать. Что ни скажешь, они сразу:

– Мне уже поздно меняться, у меня сложившиеся представления. Смешно, когда хочет измениться зрелый человек. Это всё равно что пересадить взрослое дерево или пройти через стену.

Они упорно делали иллюстрации к «Мастеру и Маргарите», к рассказам Чехова и Платонова – сразу начинали со сверхсложного. Я пытался им внушить, что всё большое начинается с малого и главное – постепенность; набрасывал им упрощённые натюрморты, несложные интерьеры, но где там! Артачились до изнеможения.

Некоторые родители шли ещё дальше: писали картины-представления, как они хотели бы жить, какой жизни достойны, писали надуманные смутные образы. Я пытался их заземлить, делал на листах наброски реальности, говорил, что и в нашей жизни немало замечательного, но их ничего не убеждало.

– Наши мечтания лучше вашей реальности, – заявляли они непоколебимо. – Это естественное состояние наших душ. Мы, конечно, испытываем к вам пламенное почтение, но не давите на нас, не заглушайте наш творческий порыв.

– Хорошо, – сдавался я, – пишите мечтания, но хотя бы слушайте про технику выполнения. Талант, конечно, от Бога, но мастерство зависит от нас самих. Писать мечтания крайне сложно.

– Не принимайте нас за дураков! – срывались такие родители. – Мы прекрасно знаем, что этому надо учиться, что это адский труд, но, поймите, мы уже сложившиеся люди, – и дальше морочили мне голову про дерево, которое нельзя пересаживать, или стену, через которую нельзя пройти.

Среди родителей-художников была одна «разочарованная» женщина с беспредельной печалью на лице. Она проявляла особое, прямо-таки святое отношение к живописи, называя её «трепет души». Десятилетний сын этой женщины Митя, который обычно рисовал вдалеке от матери, однажды во всеуслышанье заявил:

– Я люблю дядю Колю. Когда он к нам приходит, всегда приносит мне подарки. А отца не люблю. Он нас бросил.

Митина мать покраснела, вывела сына в коридор, и краем глаза я увидел, как моя взрослая ученица дала подзатыльник моему младшему ученику. Позднее она, смущаясь, быстрым шёпотом объяснила мне причину своего разочарования:

– Наши отношения с мужем задрезали сразу, как только мы поженились. У нас разные биополя. До Мити мы только царапались, а потом дошло до драк. Я была на грани помешательства. И Митя всё это переживал. Так что вы, пожалуйста, не обращайте внимания на его глупости. Он такой нервный мальчик.

Эта женщина писала «туманные пейзажи», в которых был холодный, безжизненный свет.

– Понимаете какая штука, – говорил я очень осторожно, боясь поранить разочарованную натуру. – У вас всё красиво, но как-то печально. А ведь в жизни немало и радостного.

– Да-да, – бормотала она. – Но эти картинки напоминают мне юность.

– Вам ещё рано ударяться в воспоминания, – менее осторожно говорил я. – Всему своё время: время открывать мир, искать в нём своё место, время любить, творить и уж только потом вспоминать. Вы молодая женщина, у вас всё впереди, можно сказать – жить только начинаете. То, что было, – всего лишь прелюдия, а теперь начнётся настоящая, осознанная жизнь.

Как ни странно, эти мои банальные сентенции дали разочарованной женщине больше, чем мои художнические советы. Во всяком случае, на её лице появилась лучезарность, а на «туманных пейзажах» наконец взошло солнце, и они превратились в «пейзажи, освещённые солнцем».

ДЕНЬ ЛЮБОВАНИЯ, ДЕНЬ ЛЮБЕЗНОСТИ И ДРУГИЕ ДНИ

В японских школах есть предмет – любование, когда учеников водят по улицам, показывают красивые дома, деревья, красиво одетых людей, устраивают «воспитательный момент». Мы в студии ввели этот предмет и расширили его диапазон: во время поездок на этюды не только любовались красотами, но и зарисовывали их. На этюды ез-

дили два раза за полугодие, но оба занятия были предельно насыщенными. Мы устраивали вылазки на станцию Левобережная; там были зелёные лужайки с берёзами, замшелый деревянный мост через низину и колоритный старый дебаркадер на канале, то есть множество объектов для любования. «Объекты» писали часа два, позднее этюды раскладывали на полу изостудии и устраивали повторное любование с обсуждением.

Рисованию с натуры я придавал особое значение. Иногда ученики спрашивали:

– Что важнее: реальное или выдуманное?

– Реальный мир изучать необходимо, – убеждённо говорил я. – Ведь всё выдуманное – это надстройка над реальностью, а чтобы выдумывать лучше, чем в жизни, всё-таки нужно знать жизнь. Нужно интересоваться всем, что нас окружает, развивать свою наблюдательность... Теперь понимаете, какие мы счастливые? Можем рисовать невыдуманное и выдуманное; прошлое, настоящее и будущее – как бы жить в разных временах. Быть и динозаврами, и инопланетянами...

День любезности придумала Таня Судакова, дочь посудомойки из буфета. Я вышел покурить, смотрю – у портьеры плачет девушка-подросток.

– Что случилось? – спрашиваю.

Она отвернулась, сжалась, точно пугливый зверек. Вдруг, вытирая руки о передник, подходит её мать.

– Она хочет рисовать, но стесняется. Говорит, у вас все очень хорошо рисуют. Она боится, что так не сможет.

– Они, когда начинали, тоже рисовали плохо. Пойдём, нарисуешь то, что у тебя дома хорошо получалось. Пойдём, я помогу.

Взяв девочку за руку, я ввёл её в зал и усадил рядом с Машей Ермаченко, способной и общительной девушкой, которая выполняла роль моего заместителя (во время моих перекуров). Пока я объяснял, как начать рисунок и пользоваться краской, Таня хмуро сидела перед мольбертом, потом вдруг встряхнулась и выдала такую яркую живопись, что все сбежались (она написала искрящееся озеро и дальний берег). Посыпались комплименты, и на хмуром лице Тани появилась улыбка. Я изобразил благородное негодование:

– Ну-ну, не перехвалите, а то ещё у Татьяны закружится голова, ещё зазнается, чего доброго!

– Не зазнаюсь! – отпарировала Таня. – Меня никогда не хвалили... Вот только сегодня.

С того дня она с невероятным рвением взялась за живопись: раньше всех приходила в студию, и уходила последней, и с каждым занятием работала кистью всё смелее. Её яркие краски прямо-таки звучали. Однажды она сказала:

– Давайте устроим день любезности, когда будем вежливы, будем говорить друг другу только приятные слова...

Предложение приняли и в дальнейшем неукоснительно соблюдали. Только я изредка срывался, но стоило мне повыситься тон, как из-за мольбертов в меня летели... не кисти, конечно, – устные отравленные стрелы:

– Как вам не стыдно?! Вы забыли, какой сегодня день!

– Вам надо учить правила хорошего тона! – палил из пугача Дима Климонтович, а Галина Кравцова кидала «гранату»:

– Теперь понятно, почему у вас нет жены!

Мне ничего не оставалось, как извиняться и путано объяснять, что моё поколение получило жёсткое воспитание и прочее.

Бывали дни, когда мы в конце занятий обогащались знаниями из истории живописи. Я заранее просил кого-нибудь из учеников подготовить рассказ о том или ином великом художнике и рассказ ученика дополнял репродукциями с картин Мастера.

КОРОЛЬ БЕЗ КОРОЛЕВЫ И КОРОЛЕВА БЕЗ КОРОЛЯ

На свете сплошь и рядом король без королевы и королева без короля. Другими словами, часто прекрасные люди встречаются не с теми, кого достойны, не тем доверяют, не к тем привязываются.

Семнадцатилетний Сергей Лапин имел от природы хорошую голову, умный, цепкий взгляд, имел основательную подготовку в художественной школе. Высокий, стройный, он одевался под древнерусских молодцев: носил косоворотку, подпоясывался верёвкой, его лоб обрамляла лента-повязка – она сдерживала светлые, буйные волосы

и выражала протест всему современному. Сергей иллюстрировал былины, его кумирами были Васнецов и Кустодиев.

– Современная абстракция – картины без идеи, – говорил Сергей. – Набор квадратиков и кубиков, непонятная, конфликтная живопись. Эти художники любят не искусство, а себя в искусстве.

Я не возражал Сергею, но говорил, что абстрактную живопись всё же можно рассматривать с прикладной, декоративной точки зрения.

Сергей жил с больной матерью и подрабатывал мойщиком окон. Однажды мыл окна в этнографическом музее и после работы решил сделать зарисовки экспонатов. Присел с папкой возле манекенов, изображавших бытовые сцены из жизни древних славян, и в экзотической одежде как нельзя лучше вписался в эти сцены. В какой-то момент мимо проходил служитель музея и, заметив неподвижную фигуру рисовальщика, в недоумении уставился на новый экспонат. Тут Сергей разогнулся, и... служитель плашмя хлопнулся в обморок.

Эта нелепая история больше всех нравилась подружке Сергея, которая одно время поджидала его в буфете. Как-то я предложил ей порисовать, но она проверещала, что у неё «другие планы и мечты». По словам Сергея, она мечтала выйти замуж за иностранца и уехать на Запад. И вот от этой «мечтательницы» Сергей потерял голову и делал одну глупость за другой. Когда «мечтательница» перестала заходить в ЦДЛ, он начал её преследовать, тратить деньги на подарки, в студию забегал всего на полчаса. Когда же «мечтательница» осуществила свою мечту, Сергей вообще забросил живопись.

Ум в человеке почти всегда побеждает: заставляет сдерживаться, когда душит злость, придаёт силы в минуты отчаяния и опасности – во многом человека спасает ум и только в любви не спасает.

Оксану Рудых звали «золотой девушкой». У неё были золотые локоны, золотые руки, золотое сердце, и носила она платья золотистого цвета. Ольга Синюкова, которая готовилась учиться на «мастера по причёскам», тренировалась на Оксане – терзала её «гриву» и так и сяк, и «модель» стойко переносила эти мучения. Студийцы часто делали наброски друг с друга, но Оксану больше других заставляли позировать; её рисовали со всех сторон, а она смеялась:

– Не забудьте про линию живота! Линия живота – самая главная! В ней всё дело!

Оксана жила в Подмоскowie и в студию приезжала на электричке и метро.

– Я всегда на колёсах, вечно в пути! – звонко смеялась золотоволосая загородница.

Словно золотистая бабочка, она прилетала с подмосковных просторов в городскую студию и сразу наполняла её жёлтым светом.

– У нас за городом уйма цветов, шмелей, гусениц, стрекоз, – радостным голосом сообщала Оксана. – Мы кормим ежат, которые бегают у домов. У меня живёт ящерка...

Оксана делала расплывчатые акварели – писала «по мокрому» полупрозрачными наслоениями красок. Она считалась специалистом по «малой живности»: великолепно рисовала жуков, лягушек, мышей и помогала их рисовать всем, кто обращался к ней за помощью. И надо же такому случиться – эта замечательная девушка влюбилась в парня из сомнительной компании. Парень, работавший на заводе, ввёл Оксану в круг своих дружков, научил покуривать, играть в карты. На моих глазах в Оксане шло перерождение: она уже редко смеялась, на её красивом лице появилась тихая печаль. Она уже не влетала в студию, а заглядывала, точно бабочка с опалёнными крыльями. И в её творчестве началось затухание: на картинах, когда-то красочных, теперь проступали тёмные отчаянные цвета.

Не раз я беседовал с Оксаной наедине в кафетерии, расписывал её будущее на поприще художника, доставал ей оформительскую работу на студии «Диафильм», но всё напрасно. Однажды, сильно покраснев, она сказала мне, что «один человек запретил ей посещать студию». После этого вбежала в зал и крикнула всем:

– Прощайте! – и, запустив в воздух жёлтый бумажный самолётик, исчезла навсегда.

Самолётик ещё долго кружил по спирали, расцвечивал воздух желтизной, но это был всего лишь отблеск желтизны «золотой девушки». Я всё надеялся, что Оксана вернётся, но она не появилась.

Много неудавшейся любви, душевных трагедий прошло передо мной за годы преподавания. Ученики – мои радости и боли.

Скромницы Мила Хмельницкая и Линда Астахова на третий год занятий стали краситься и наряжаться сверх меры.

– Несусветная красота! Уморительно! Полный обмороз! – встречали их студийцы. – Куда это вы нарисовались?

– Рисовать, – отвечали модницы, но через двадцать минут подсказывали ко мне:

– Можно мы уйдём? У нас сегодня день рождения подруги.

Потом и вовсе стали приходить без папок и красок.

– Можно мы сегодня не будем рисовать? – обращались ко мне.

– Опять празднуете?

– Ага!

– Ну что ж с вами поделаешь! Только скоро выставка, а у вас меньше всех работ.

– Мы дома порисуем! – но не уходят, топчутся на месте.

– Что-нибудь ещё хотите сказать?

– Ага! Если родители позвонят, вы скажите, что мы занимались.

– Но это ж враньё! Так не пойдёт, красавицы. Я думал, вы рисуете для себя, а вы для родителей!..

– Мы для себя, но, понимаете...

Как не понять, если после занятий я встречал их на улице в обнимку с молодыми людьми?!

Не всем удаётся совместить занятия живописью с первыми увлечениями. В некоторых начинается противоборство, и что перетянет – зависит от меры способностей, от силы чувств, от преподавателя и родителей, к которым, правда, не очень-то прислушиваются.

Ну а самый сложный момент у преподавателя – это романтическое послание от ученицы; однажды он открывает журнал, а в нём записка, почти неприкрытое признание. Случается, девушки влюбляются в того или иного преподавателя. Это болезнь, от которой они быстро излечиваются, и нужно просто переждать. Однажды и я получил записку от ученицы, которая оканчивала школу. После занятий, в кафетерии, я долго рассказывал девушке о своих дурацких холостяцких привычках, о том, что не терплю в доме соринки и пылинки, что обругаю любого, кто возьмёт вещь и положит не на то место... По выражению лица своей слушательницы вижу – её ничто не останавливает. И тогда я прибег к сокрушительному доводу:

– На ночь я глотаю кучу таблеток и по ночам храплю, брыкаюсь и выкрикиваю страшные слова. На ночь мне надо делать массаж, ставить грелки, примочки, клизмы...

– Петь колыбельную не надо? – съязвила девушка. – Вы хороший преподаватель, но ужасный мужчина. Зануда! Бедная женщина, которая надумает жить с вами. Только дура какая-нибудь...

Я облегчённо вздохнул и подумал: «Наверняка найдётся такая дурочка, и она будет не такой уж «бедной». Я имел в виду свой богатый жизненный опыт, и богатый внутренний мир, который женщины почему-то не видели, и, конечно, богатую мечту насчёт плаваний, к которой женщины вообще относились с усмешкой.

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЖИВОТНЫХ

Раз в месяц мы ходили в зоопарк, делали наброски зверей, благо зоопарк был под боком. В студии, чтобы оживить процесс обучения, я рассказывал ученикам о животных (когда-то зачитывался Брэмом). Нередко и ребята что-нибудь рассказывали о своих питомцах, то есть животные постоянно незримо присутствовали на наших занятиях (как же без них общаться с детьми?). А однажды и вполне зримо.

В тот день я опаздывал в студию и, возвращаясь с дачи, гнал «запорожец» километров под восемьдесят, что для моего старого драндулета почти мировой рекорд. Я возвращался со своими дворняжками. Справа от меня восседал старикан Челкаш, на заднем сиденье – юный Дым. Притормозив у Дома литераторов, я сказал собакам, что иду на работу и скоро вернусь. Они всё поняли и улеглись на сиденьях отдыхать после утомительной дороги. В это время мимо, размахивая альбомом, шёл Никита Королёв, который вечно опаздывал на занятия, хотя жил в двух шагах. Ребята, жившие за городом, не опаздывали, а этот опаздывал, и ещё вышагивал нехотя, как бы раздумывая, рисовать сегодня или поболтать по улицам...

– Ого! – протянул Никита. – Это ваши собаки?

Я кивнул и заспешил в студию, но Никита с невероятной прытью опередил меня и с порога сообщил о моей «охране». Разумеется, ре-

бьята бросились на улицу к машине, а потом уговорили меня привести собак в зал и, после долгих поглаживаний, начали их рисовать.

Мудрый Челкаш в своей жизни видел всё, его ничем не удивишь. Он и раньше любил фотографироваться, а тут и вовсе забрался на сцену и замер, оскалившись в улыбке. Но Дым стушевался от такого внимания, забился под стол и ни за какие коврижки не хотел вылезать. Его так и изобразили, скрюченным под столом. Теперь у меня дома штук сорок собачьих портретов, целая галерея.

Во время уборки зала мы устраивали викторину (обычно на тему живописи, но иногда говорили и о животных).

– Почему медведь сосёт лапу? – спрашивал я.

– Есть хочет, – вздыхал Копанев Дима.

– Ему снится сладкий сон, – мягко произносила Двигубская Катя, склонная к поэтическим образам.

– Учите, в природе ничего просто так не происходит, – говорил я. – Это мы можем просто так засунуть палец в рот, а медведь...

– У него на лапе остался мёд, – вскрикивала Свиридова Даша.

– Почти угадала, – кивал я. – Прежде чем залечь в спячку, медведь топчется на ягодах, набивает на лапах сладкие лепёшки и зимой в берлоге их сосёт. Так мне рассказывал один лесник... А вот почему у крокодила никогда не болят зубы?

– Ему их чистят птички-секретари! – возвещал Максим Мастрюков. – Я это читал в журнале.

– Верно! Молодец! – хвалил я. – А почему, по мере взросления, крокодил глотает камни? У взрослого крокодила в желудке находят булыжники с мой кулак. Для чего он это делает?

Кто-нибудь из ребят отвечал правильно:

– Камни перемалывают пищу!

– Верно! – хмыкал я. – Словно жернова. Но ещё для чего он их глотает? Сдаётся?

– Не-ет! – голосила студия.

– Чтобы быть тяжелее! – догадывалась Дана Дагурова.

– Точно! – отдувался я. – Чтобы над водой были одни глаза.

Дальше я рассказывал о домашних «братьях наших меньших» и напоминал об «ответе за тех, кого мы приручили». Как-то завёл разговор о вегетарианстве, привёл в пример Толстого, Шоу, Эйнштейна (послед-

него процитировал: «Животные – мои друзья, а друзей я не ем» – эти слова произвели должное впечатление). Естественно, я и сам старался быть вегетарианцем, но у меня не всегда получалось.

Вот так у нас всё и произрастало. В заключение – несколько слов о друзьях, любителях животных.

Дмитрюк на даче приютил бездомную собаку Толику, и она ответила ему безмерной любовью – не подпускает к хозяину даже его друзей. Как-то я привёз к ней свататься своих собак, так она, деревенская дурёха, не оценила городских ухажёров и отвергла их самым злобным образом.

– Есть поверье, – говорил Дмитрюк, – если взял бездомное животное, подвалит счастье. Точно. С тех пор как я привёл Толику, жутко везёт в работе, а уж счастья – хоть отбавляй!

Поэту Леониду Мезинову по наследству досталась дача с невиданным обзором – с окнами на все четыре стороны, и огромный участок – всё это он завещал после смерти под приют для животных, а пока на его участке обитает дюжина бездомных собак и кошек, которым он неустанно подыскивает хозяев.

Понятно, эти мои друзья имеют отзывчивое сердце (тот же Мезинов, когда я сломал ногу и два месяца ковылял на костылях, приезжал ко мне, выгуливал собак и усердно лечил меня крепкими зельями). Но кроме необычного сердца они ещё имеют повышенное чувство ответственности за своё дело, за свои слова и поступки, за все, что происходит вокруг нас. Видимо, ответственность за животное, которое им доверилось, порождает в них и массу других ответственностей. Это важно, если вдуматься.

ГОСТИ СТУДИИ

На рисование водили детей совершенно незнакомые мне люди, и, конечно, мои знакомые, и знакомые моих знакомых. Приходили неизвестные люди и вполне известные.

– Опыт гласит – природа отдыхает на детях, – шутил я, записывая новичков известных людей. – Но посмотрим, как у них пойдёт дело. Раз любят рисовать – это уже немало.

Не было ни одного занятия, чтобы в студию не заглядывал кто-нибудь из моих друзей. Чаще других заходили художники Валентин Коновалов и Ашот Сагратян. С Коноваловым приходили его сын и дочь, которые тоже были моими учениками.

– Меня дома не слушают, – объяснял мне Коновалов. – Ты говоришь то же самое, но тебя слушают.

К своим детям Коновалов не подходил. Подходил к другим «мольберщикам»; только и слышалось:

– Здесь добавь лилового... Здесь больше охры... И смелей! Что у тебя всё тает, как мороженое?! Смелей выражай своё видение, свой мир!.. Не стремитесь рисовать необыкновенно. Рисуйте по-своему, будьте самими собой. Это самое необыкновенное...

К «столовщикам» Коновалов относился предельно нежно. Поглаживая по голове, приговаривал:

– Рисовать значит размышлять. Представь, в этом доме будешь жить сам, и наполняй его вещами... А ты чтой-то весь перемазался? Даже лицо в краске! Краски не ешь, это ж не карамель, а акварель!

Сагратян учил ребят рисовать цветы и, для наглядности, приносил свои работы. Студийцы звали его «цветочник».

– Ты вот что, – говорил мне Сагратян. – Обязательно устрой в студии выставку своих работ, чтобы ребята уважали. Чтобы знали, с кем имеют дело. Недавно моему знакомому преподавателю в институте студенты сказали: «А вы сами-то что можете? Никто не видел ваших работ!» С моим приятелем было плохо.

– Ребята видят мои работы в журналах и книгах, – спокойно замечал я. – Мне не надо заниматься саморекламой. К тому же на дни рождения я дарю им свои книжки.

Почти на каждое занятие заглядывали (по пути в буфет) писатели Юрий Коваль и Константин Сергиенко. Когда они появились впервые, я представил их, перечислил их книги.

– У меня эти книжки есть дома! – воскликнула первоклассница Лена Маковская. – Но я думала, эти писатели умерли, – Лена подошла и потрогала моих друзей, чтобы убедиться в их реальности.

– Ещё живы, слава богу! – пробасил Коваль. – Нам ещё на небеса рановато. Надо ещё кое-что сделать здесь. Я вообще завтра бросаю выпивать и курить. Буду себя беречь, я нужен Отечеству.

Коваль ходил среди мольбертов, давал дельные советы и бурчал:

– Вообще-то слушайте вашего учителя, он мастер зрелый и откровенный. И мой постоянный собутыльник (он совершенно не думал о моём авторитете).

Сергиенко подсаживался за стол к какой-нибудь девчухе и, подчёркнуто вежливо спрашивал:

– Простите, сударыня, это у вас что изображено?

От такого обращения пигалица смущалась, заливалась краской и сбивчиво объясняла. Сергиенко с серьёзным видом кивал и просил:

– Вы не могли бы потом подарить мне этот рисунок? С дарственной подписью, разумеется.

– Ты невероятный счастливчик! – довольно искренне говорили писатели, имея в виду моих учеников.

По сути дела я действительно был счастливым, но, конечно, не до такой степени, как они выражались.

– Ведите студии, литкружки и тоже будете счастливыми, – что ещё я мог посоветовать?

Заходили художники Леонид Бирюков и Владимир Нагаев и, оценивая работы, часто слово в слово повторяли мои слова, точно до этого стояли за дверью. Ученики подумывали: мы сговорились. Стоило немалых трудов убедить их, что очевидные вещи лежат на поверхности. Как водится у художников, частенько мои дружки дурачились, изображали литературных персонажей. Бирюков, заметив, что на него восхищённо смотрит какая-нибудь ученица, корчил устрашающую гримасу:

– Сейчас тебя съем!

– Я вас не боюсь! – отважно заявляла ученица, сражённая его артистизмом.

Время от времени из кафетерия в студию влетали мои приятели-литераторы. Покашливая и покрывавая, вытирая вспотевшие лица, они прыгивали на сцену и просили их нарисовать.

– Сразу тридцать портретов, если можно! – принимая позу Наполеона, кричали свежее испечённые герои. Студийцы с бурной готовностью откликались на все просьбы и, как истинные таланты, щедро раздарили свои творения.

Среди гостей студии было немало просто любопытных и празднующихся ротозеев. Просто любопытные вежливо спрашивали:

– Можно посмотреть?

– Конечно, можно. Почему нельзя? – разжигая их любопытство, я приглашал широким жестом. – Заходите смелее! Дима Климонтович, спрячь оружие, не пугай зрителей!

Любопытные у каждой работы тарасили глаза, испытывая невероятный прилив чувств:

– Красотища! Шикарно!

– Берите лист бумаги, садитесь, тоже порисуйте, – предлагал я, но любопытные спешно удалялись.

Праздные ротозеи обычно вываливались из ресторана и вели себя довольно назойливо. Особенно докучливым я говорил:

– Вы, наверное, из какой-нибудь проверяющей комиссии?

– Что вы, что вы! – встревоженно махали руками ротозеи. – Мы просто так зашли, облагородить искусством души.

– облагородить души весьма полезно, – важно изрекал я. – И надо это делать почаще, иначе души черствеют.

Ротозеи соглашались, с их лиц исчезала праздность, и они с тоскливой завистью смотрели на нас, счастливых.

– Есть очень простой способ облагородить души, – продолжал я. – Взять и порисовать самим.

– Ой, что вы, что вы! – испуганно махали руками ротозеи и с непостижимой быстротой устремлялись к выходу.

Здесь самое время признаться – я начал эти очерки в надежде поделиться опытом работы с детьми, но скоро убедился, что к общеизвестному мало чего добавляю, и тогда решил просто записать некоторые моменты своей жизни и немного расцветить их выдумкой, чтобы повеселить друзей.

ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ

С годами популярность изостудии ширилась, росла и цвела. К Новому году из ресторана и соседнего клуба нам делали заказы: рисовать больших зайцев, пятиметровых драконов. А однажды Киевская студия мультфильмов предложила нам сделать рисованный фильм. Целый месяц ребята под руководством режиссёра, который сразу объявил,

что у него «трепетное отношение к детскому творчеству», корпели над всякими персонажами. Работали увлечённо, наивно полагая, что их труд даром не пропадёт. Впоследствии оказалось – из двух сотен рисунков режиссёр использовал всего несколько штук, самых «трепетных», а на мой взгляд – далеко не лучших.

– Это профессиональная тайна, – объявил мне режиссёр, – но вам, так и быть, её открою. Видите ли, красивые вещи не всегда лучшие... Возьмём яблоко. Я всегда выбираю червивое – то, что ест червяк, то ем и я. Червяк не ошибётся, выберет чистое, а не большое, красивое. Так и здесь. В этих, как бы не очень красивых, рисунках есть подлинность, чистота. В этом весь фокус.

Вот так рассуждал этот режиссёр, носитель тайны.

Из журнала «Творчество» пришла молодая журналистка с фотографом внушительного вида. Два часа они мучили нас вопросами, фотографировали как бы «за работой». Понятно, в тот день мы ничего не сделали, только напоказ махали кистями. Да и что можно было сделать, если мальчишек подавило такое внимание, а девчонки больше думали о своём внешнем виде, нервничали, кусали ногти. И как можно работать, когда кто-то стоит над душой?

В пик нашей популярности с телевидения нагрянула орава осветителей и звукооператоров во главе с ведущим детской передачи по фамилии Фиолетов. Деловые, энергичные телевизионщики взбаламутили всю студию, всё перевернули вверх дном.

– Напрасно вы это делаете, мы совершенно не готовы к такому повороту событий, – сказал я Фиолетову.

– Тем лучше! – Фиолетов хотел по-братски тряхнуть меня, но, увидев мои страдания, сдержался. – Что может быть лучше живого эфира?! Непосредственности, импровизации?!

– Мысль о непосредственности, импровизации вообще-то прекрасна, – вздохнул я, – но всё-таки лучше набросать хотя бы какую-то схему действия.

– Не волнуйтесь! – махнул рукой Фиолетов. – Всё будет весело, интересно. Дети – податливая глина, а что можно сделать из глины? Всё можно сделать из глины! И потом не забывайте, мы кое-что подрежем, подклеим. Всё сделаем на высшем уровне. Проводите занятие, как всегда, без напряжения, а мы по ходу дела всех снимем.

Легко сказать – без напряжения! Как будто нас каждый день показывают на всю страну! В общем, сняли. Но потом выяснилось, что передачу зарубил главный редактор. Он сказал:

– Дети прекрасны, а вот преподаватель не на высоте.

Действительно, я выглядел беспомощно. Ну что я мог ответить на вопросы: «Вы хороший художник?», «Какие ваши иллюстрации самые известные?»? Естественно, я говорил то, что было на самом деле: «Не очень хороший. Есть гораздо лучше»; «Известных иллюстраций нет» и прочее.

Довольно интересными были наши выставки в фойе Дома литераторов. Собственно, что я говорю – «довольно интересными»! Это были впечатляющие, бурные события! Развешивать экспозицию помогал целый отряд родителей. Они вставляли работы в паспарту, вместе с учениками придумывали названия, делали надписи и в сильнейшем беспокойстве всё норовили выставить побольше работ своих детей, но здесь я был начеку.

– Глупо выставлять всё, – говорил я таким настырным родителям. – Есть правило: «Лучше меньше, да лучше».

– Подумать только! Я потрясена! – восклицала одна родительница, которая называла себя «чувствительной женщиной» и чуть что «потрясалась».

– Я потрясена! – бросала мне в лицо эта родительница. – Это бесчеловечно! Выставки так обогащают. Неужели вам трудно выставить все?! В фойе столько места! Можно всё развесить, с неожиданным, обжигающим смыслом. Доставьте нам радость, что вам стоит?!

– Какие всё же несносные характеры у художников! – жаловалась другая родительница, называющая себя «женщиной, тяготеющей к покою». – У меня муж художник. Это не жизнь, а кошмар! Когда он работает, лучше не подходи – ты для него враг, не иначе. А не работает – ещё хуже: я виновата, что ему ничего не приходит в голову. Просто ужас, а не жизнь!

Ясно, это был выпад, нацеленный в меня, но я стойко переносил все ядовитые слова и уколы. Да и ребята с пониманием относились к моему отбору.

На вернисаж собиралось приличное количество поклонников искусства и, конечно, родители, дедушки и бабушки героев торжества. Поэт

Игорь Мазнин открывал выставку, начиналось обсуждение работ: слышались восторги и разные примечательные слова. Переводчик Галина Лихачёва читала рассказы о художниках и дарила ребятам принадлежности для рисования. Выступали мои друзья – художники и писатели; они красовались перед аудиторией – держались картинно, говорили замысловато:

– Детские рисунки это явление счастья, они излучают добро...

Выступали мои бывшие ученики – они говорили сбивчиво, но искренне; в их выступлениях было немало приятных слов в мой адрес. Но друзьям я с усмешкой говорил:

– Кто умеет – делает, кто не умеет – учит. Сам-то я ничего по-настоящему стоящего не сделал.

– Не болтай чепуху! – как-то сказал поэт Владимир Дагуров. – Ученики есть у всех. У меня так целое литобъединение.

Дальше он ярко, выпукло объяснял, что в жизни каждого есть цель, и есть смысл, и нередко они не совпадают, и что смысл имеет перво-степенное значение.

Выставка продолжалась две недели. За это время распухла книга отзывов, часть работ ребята прямо со стендов дарили особенно «потрясённым» зрителям. К сожалению, две-три работы пропадали. Я помню, кто-то исхитрился стащить роскошного «зеленоглазого кота» Жанны Лурье, и я долго не мог успокоить девочку.

– Неужели вы не понимаете, такого кота я больше никогда не нарисую, – вытирала слёзы Жанна.

– Если стащили твоего кота, значит, он больше всего понравился и его будут хранить, – не очень убедительно объяснял я. – Но ты можешь нарисовать кота и получше. Например, кота с бантом. Пойдём, нарисуешь мне усатого франта, я его повешу над столом, он будет меня вдохновлять на подвиги.

Жанна смутно улыбнулась и пошла в студию.

В День книги в Доме литераторов проводился конкурс на лучший рисунок. Приходили сотни ребят со всего района, и Дом превращался в муравейник. Ребята рисовали в нашем зале, в фойе и даже на лестнице; мелькали листы бумаги, палитры, банки с водой, кисти. Ребятам помогали мои старшие ученики; они же были членами жюри; позднее, когда все собирались в Большом зале, они на сцене вруча-

ли призы. Самых одарённых приглашали в нашу студию. И это было большой честью. Я не зря говорю – наша популярность цвела очень пышно.

ЗНАКОМОЕ ЛИЦО

Самое страшное в жизни – это посредственность, человек ни то ни сё. В искусстве посредственность страшнее вдвойне. Похвально, когда человек стремится быть первым, вырваться вперёд, сделать что-то значительное, оставить после себя конкретный след. Я не ручаюсь, что этот дух лидерства и созидания вселил во многих учеников, но кое в кого, хочется верить, вселил и, во что абсолютно верю, – во многих вселил дух странствий, желание побывать в разных странах.

Пятнадцать лет я вёл изостудию. Один за другим завершали обучение ребята и, как правило, бесследно исчезали. Я не обижался – в молодости мы все эгоисты; несёмся вверх по лестнице жизни, и нам некогда оглядываться назад. Очень немногие из бывших учеников заходили в студию, да и то лишь на выставки, или мимоходом, перед сеансом кинофильма, или по пути, во время романтической прогулки. Иногда бывшие ученики передавали мне приветы от других учеников, но, конечно, это были неполноценные приветы.

Приблизительно половина моих учеников поступала в художественные школы и училища. Это немало для любительской студии. Хотелось думать – из этой половины хотя бы часть стала настоящими Художниками.

Я посещал молодёжные выставки, в надежде встретить своих учеников. Бывало, увижу на стенде знакомую манеру, знакомую цветовую гамму; «Мой ученик», – бормочу. Подойду ближе, а фамилия не та. Случалось, и фамилия вроде была знакомой, и я отправлялся на поиски автора, но передо мной возникал совершенно незнакомый человек.

Однажды, закончив занятия в изостудии, я направился к метро; внезапно рядом затормозила иномарка.

– Леонид Анатольевич! Садитесь, подвезу! – из машины вышла моя бывшая ученица Валя Горбунова.

Всего три-четыре года назад она была скромной девушкой, влюблённой в живопись; в изостудии я готовил её к экзаменам в художественное училище. И вот теперь передо мной стояла молодая, уверенная в себе женщина. Поблагодарив, я отказался от предложения Вали, сослался на хорошую погоду и любовь к прогулкам и спросил, поступила ли она в училище?

– Я не поступала, – засмеялась Валя и рассказала, что вышла замуж, занимается теннисом, а живопись забросила.

– Напрасно, – с горечью сказал я. – Возможно, позднее пожалеешь (что ещё я мог сказать?).

Спустя некоторое время я получил письмо от бывших учеников – они приглашали меня на свою пирушку. Я ехал к ним и вспоминал...

Это был мой первый и самый дружный выпуск, и среди учеников – группа: трое молодых людей и две девушки. Все они тяготели к узорам, делали инкрустации из благородных пород деревьев и собирались стать художниками по витражам. Я вспоминал их эскизы: строгие, с приглушёнными цветами; и хаотичные, ярмарочные; и нежные, мягкие, с дымчатыми разводами, выражавшими смирение. Эта группа постоянно находилась в поиске, и я всячески поощрял их искания. Они резко отличались от других, модных в то время художнических групп. Они не ломали традиции, а развивали их.

...Они сильно повзрослели – я еле узнал их; все они стали научными сотрудниками. Заметив, что я сник, они заговорили, перебивая друг друга:

– Ваши занятия до сих пор в моём сердце!.. Вы заронили в нас зёрна творчества!.. Умение рисовать помогает в работе!..

Тяжёлый осадок оставила эта встреча. «Неужели столько лет ухлопано зря? – унылые мысли приходили в голову. – Ну хорошо, – рассуждал я. – Эти не стали художниками, но те, кто поступил в училище, где они?» Я ходил по улицам, вглядывался в молодых людей. Казалось, много знакомых лиц мелькало в толпе. Некоторые улыбались мне, кивали и проходили мимо... Как-то на бульваре меня окликнула девушка.

– Здравствуйте! Не узнаете? Я у вас занималась. Не помните? Моя фамилия Иванова. Иванова Лена.

– Да-да, припоминаю... смутно, – бормотал я, мучительно припоминая. – Ну как ты, наверно, уже окончила школу?

– Хм, школу! Я уже институт окончила! Текстильный. Работаю модельером в Доме моделей. Моя коллекция недавно получила премию в Праге.

А потом ко мне домой неожиданно пришли бывшие ученики, окончивших художественное училище. Они пришли поделиться радостью – их приняли в Союз художников.

И наконец, я получил открытку, в которой бывшая ученица Саша Кокина приглашала... на свою персональную выставку!

Саша встретила меня у входа в помещение, подвела к одной из картин и сказала, что эта работа посвящена нашей изостудии. На картине за мольбертом в раздумье сидела ученица; рядом стоял учитель и показывал за окно, где виднелся огромный, многоликий мир. Картина называлась «Белый лист бумаги».

...Оглядываясь назад, подытоживая свой художнический путь, я вижу, что прошёл его не так уж и плохо. Конечно, не добрался до вершин, карабкался по одним предгорьям, то есть не сделал чего-то значительного, но тут уж надо бичевать самого себя. Что успокаивает – некоторые мои ученики пошли дальше своего учителя, как, собственно, и должно быть. Они-то осуществят мою мечту – побывают в «разных странах»; пусть не пиратами и матросами, но хотя бы пассажирами третьего класса.

И всё же главное путешествие я совершил – ведь каждая жизнь есть не что иное, как путешествие с целью познать окружающий мир и самого себя. И в этом смысле мне повезло: я побывал в разных житейских водоворотах, боролся с волнами в свирепый шторм, когда неприятности накатывались одна за другой, и нежился на спокойной глади в полный штиль, когда испытывал радость величиной с небо... И у меня ещё есть время, чтобы всё это изобразить. На белом листе бумаги.

1984 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Утренние трамваи	3
Ветер нам в спину!.....	111
Белый лист бумаги.....	233

СЕРГЕЕВ
Леонид Анатольевич

ПОВЕСТИ

Редактор В. Яр
Компьютерный набор автора
Компьютерная вёрстка С. Шацкая
Корректор С. Машевич

ISBN 978-5-91366-285-9



Подписано в печать 18.05.2011 г. Формат 60x84 ¹/₁₆. Гарнитура «Calibri».
Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 25, 25. Тираж 200 экз.

ИПО «У Никитских ворот». 121069, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 50/5,
тел.: 690-67-19, www.uniki.ru